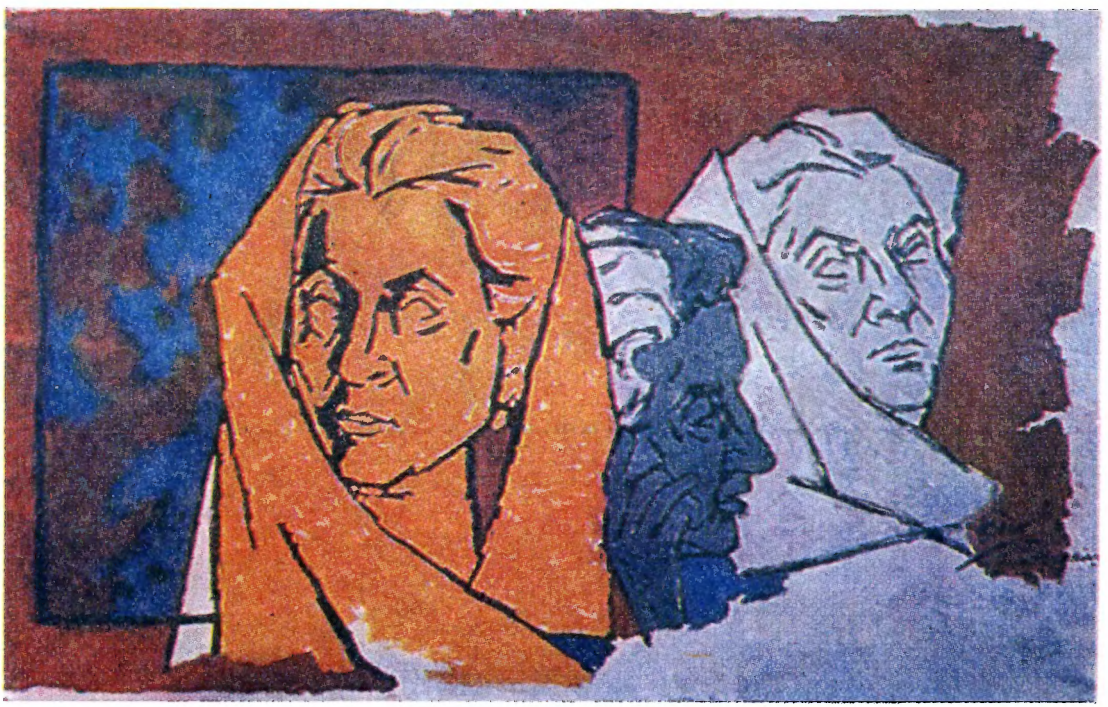
ISSN 0130–6545

8. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



«Я нашел».

Цветные иллюстрации номера — работы индийского художника М. Ф. Хусейна

На 1-й странице обложки —

Из серии «Индира Ганди».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1987

Содержание

Из поэзии хинди

(Вступление и перевод с хинди Александра Сенкевича)

ЭРНЕСТ ДЖ. ГЕЙНС — И сошлись старики *(Роман. Перевод с английского Л. Беспаловой и Е. Коротковой. Вступление Я. Н. Засурского)* 12

АЙРИС МЕРДОК — Сон Бруно *(Роман. Окончание. Перевод с английского Ольги Татариновой и Игоря Шварца)* 105

Литературное наследие

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ — Новые переводы. К 100-летию со дня рождения *(Вступление и перевод с болгарского Владимира Соколова)* 179

Публицистика

АНДЖЕЙ КЕМПИНСКИЙ и ЗБИГНЕВ КИЛЯР — Кто есть кто в Польше — и н а ч е *(Фрагменты книги. Вступление С. Ларина. Перевод с польского В. Селивановой)* 183

Критика

Т. МОТЫЛЕВА — Братья Манн и политика (Полемические заметки) 208

Философские аспекты

Т. ГРИГОРЬЕВА — Встреча с Гумбольдтом — встреча времен 213

Редакцию посетили... 212, 236

Встреча с Максом Фришем 222

Наши публикации

О высоком искусстве Из переписки К. И. Чуковского с американскими славистами *(Вступление, перевод с английского и комментарии М. Лорие. Публикация М. Лорие и Е. Чуковской)* 223

Наши интервью

Н Вагапова — Владимир Герич (СФРЮ): «Мне кажется, я переводил всегда» 233

К нашим иллюстрациям

А. Т. Орлов — На коне мечты 237

Среди книг

Издано в СССР

З. А. Абдрахманова — С барабаном и трехстрункой *(Лао Шэ. Сказители)* ✦ Л Ермакова — Паломничество души *(Нидзё. Непрошеная повесть)* ✦ О. Зернецкая — Моральный императив Руфуса Доуза *(Маркус Кларк. Осужден пожизненно)* 240

Издано за рубежом

Л. Степанов — От эпохи мамлюков до наших дней *(Гамаль аль-Гитани. Диковинная история султанского брадобрея. Джунгли города)* ✦ Хуан Кобо — Возвращение к истокам *(Марио Варгас Льоса. Кто убил Паломино Молеро?)* 244

Из месяца в месяц 248

© «Иностранная литература», 1987

Из поэзии хинди

■

Вступление и перевод с хинди АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

Поэтическое слово в Индии не только высоко ценится, но и считается словом мудрым, учительным. Гениальные индийские поэты прошлого обладали редчайшей способностью к предвидению, осознавали глубинную взаимосвязь нравственности и социальной жизни. Вот почему до сих пор живут произведения Вальмики и Тулсидаса, Кабира и Сурдаса — это гимн добру, это послание нам, людям конца XX века, в котором звучит предостережение не погубить жизнь на земле.

Поэзия независимой Индии сохранила эту тысячелетнюю традицию — быть помощницей людям в их движении к осуществлению идеала справедливой жизни, в их стремлении жить по совести. Но, сохранив эту традицию, она решительнее, чем раньше, повернулась к миру повседневному, миру людей. Ее обращение к сложнейшим философским и нравственным проблемам связано так или иначе с идеей социальной справедливости. Эта идея объединяет большинство современных поэтов Индии, именно в ее осуществлении они видят гарант обретенной свободы.

Шесть поэтов, чьи стихотворения представлены в журнале, пишут на языке хинди. Старейший из них, Агьейя, принял участие в освобождении Индии от английского господства, самый молодой, Горакх Пандей, родился за два года до независимости. Для поэтов, заявивших о себе в годы независимости, главной творческой задачей становится непосредственное отображение окружающей жизни. Агьейя был составителем и редактором вышедших в 40-х и 50-х годах поэтических антологий хинди, в которых появились стихотворения новые как по мировосприятию, так и по поэтической технике. В одной из таких антологий в 1951 году состоялись и поэтические дебюты Рагхувира Сахая и Кедарнатха Синха.

Агьейя действительно предпринял немало усилий, чтобы поддержать молодых тогда «новых поэтов» [1]. Объединяет этих поэтов интерес к социальной проблематике, рожденной противоречиями антагонистического общества, изображение характерных для современной Индии противоречий между патриархальным полуфеодальным и капиталистическим жизнеустройством. Они были одними из первых, кто в индийской поэзии начал осваивать формы свободного стиха.

Что же касается самого Агьейи, то он оставался в бóльшей степени поэтом традиционалистом, чем новатором,— об этом свидетельствует, например, стихотворение «Взаймы», открывающее подборку. Чтобы понять это стихотворение, необходимо расшифровать некоторые его символы, воспринять его в контексте индийской культурной традиции. Известно, что одной из ключевых идей индуизма и буддизма является идея метемпсихоза или реинкарнации — бесконечного странствия души, принимающей различные телесные оболочки. Отсюда и вытекает вывод поэта о взаимозависимости всех форм многообразной и вечной жизни. Необходимо также иметь в виду распространенное среди верующих индийцев представление о том, что человек с самого своего рождения — должник бога. Вся его жизнь — это выплата долга богу, выплата «в рассрочку», поскольку человек обязан ему даже своим появлением на свет. Однако развитие поэтической мысли в стихотворении Агьейи «Взаймы» свидетельствует о раздвоенности чувства поэта: о его вере и неверии в индусскую модель мира. Такой скептицизм мог появиться в результате нового отношения к человеку: человеческая личность провозглашалась поэтом самоценной. В отличие от Агьейи его преемники Рагхувир Сахай и Кедарнатх Синх в своем творчестве поставили важнейшие социальные проблемы, успешное решение которых подготовило бы почву для развития освобожденной личности, помогло бы ей преодолеть предрассудки прошлого, сохранить все лучшее в национальном характере и обрести новые черты. Традиции старой жизни, если они находятся в противоречии с велениями совести, для этих поэтов неприемлемы. В их поэзии возрастает ощущение вины перед теми, кто находится на низкой ступеньке социальной лестницы.

Горакх Пандей, Сомдатт, Вишванатх Прасад Тивари более аналитичны, более уверены в своих силах, ибо считают, что поэзия способна перестроить то общество, в котором они живут. Их поэзия — часто своего рода незримая социологическая анкета, на которую они стремятся дать ответ. Вместе с тем они ищут красоту в повседневной жизни.

Знакомство с поэзией независимой Индии — это прежде всего обогащение, расширение нашего духовного опыта. Одаривая нас новыми ощущениями, индийские поэты повышают нашу способность к восприятию многогранной жизни, укрепляют в нас нравственный иммунитет против зла. Ведь настоящая поэзия — это всегда справедливость и правда.

Правда и справедливость, личная и общественная.

---

[1] См. «ИЛ», 1971, № 12.

АГЬЕЙЯ

Взаймы

Я проснулся
и увидел расцветшее солнце.
По земле оно разлилось, как бескрайние воды.
Оборвалась в небе
птичья песня.
И тогда я сказал солнцу:
«Одолжи мне немного тепла!»
И тогда я сказал птице:
«У тебя прошу сладкозвучья!»
И тогда я сказал, наклонившись, травинке:
«Дай мне свежесть полей
или росинку!»
И сказал я цветку:
«Одолжи мне пригоршню робких лучей!»
И ветру сказал:
«Свободой со мной поделись,
дай открытость свою!»
У волны попросил непокорный стремительный взмах,
а у неба —
бездонный всевидящий взгляд.
У всех взаймы попросил.
Никто мне не смог отказать.
Вот так я жил и живу
и называю жизнью
тепло,
сладкозвучье,
свежесть,
солнечный свет,
дурманный свободный простор,
нежность,
мягкость,
радость,

АГЬЕЙЯ (настоящее имя Саччидананд Хирананд Ватсайян, 1911—1987) Индийский поэт и прозаик. Автор романов «Жизнь Шекхара» (т. 1—2, 1941—1944), «Острова на реке» (1951), «Чужие» (1961), многих поэтических сборников. Публикуемые стихи взяты из книг «Золотистые водоросли» (Дели, 1966), «В скольких лодках сколько раз» (Бенарес, 1967).

всплеск резвой волны
и осознание безмерной
земной неземной красоты.
Все это получил я взаймы.
Но однажды проснулся в ночи
и услышал, как бесплотное нечто мне говорит:
«Поделись!
У тебя в этой жизни вдоволь всего.
Так одолжи мне немного любви.
Сторицей тебе ее возвращу,
как только опять появлюсь у тебя».
Я ответил:
«Ты просишь любви?
Ведь такого никто никогда
у меня не просил.
Никогда».
Но бесплотное нечто
упрямо сказало:
«Да! Любви, потому что любовь —
это отклик одинокой души,
и тревога,
и смятение,
и неуклюжесть в движениях,
и страдание,
и страстная жажда найти,
и разлад,
и разлуки неотступная боль,
и прозренье в ночи:
что мое — то не мое.
Всем этим тебя наделила с избытком природа.
Поделись!
Хоть единственный раз поделись!
Как мне нужно все это сейчас!»
Вот какие услышал слова
в глубокой ночной темноте.
Но я ничего не сказал.
Испугавшись, молчал и молчу до сих пор.
Боюсь дать взаймы
бесплотному нечто.
Кто знает, что за гость ко мне приходил.

Я увидел

Я увидел: внезапно
капля
оторвалась от морской пены.
На мгновение она окрасилась
огнем закатного солнца.
И я понял:
в бесконечной Вселенной
и пылинка, опаленная светом,
свободна
от смерти.

РАГХУВИР САХАЙ

Увидел во сне

Во сне я видел разных людей
с которыми был когда-то знаком
или знаком по сей день
или только собираюсь познакомиться.

И все это были лица женщин.

Проснулся и стало не по себе
Почему мне не приснилась она?
За нее нестерпимо болит душа.

Забытье

Ты смотрела в одну точку
твои глаза были рядом
их остановило горе.

Я никуда не бегу — сказал я самому себе —
не могу оставить тебя в таком состоянии одну
я бросил бы все дела чтобы быть с тобою
здесь.
Я чувствую за собой вину
думал что все образуется
но как — этого я не знал.

Ты приподнялась
и посмотрела в противоположную сторону
повернулась на другой бок.

Я боялся самого себя и сидел рядом
ты очнулась и мне стало легче
но вскоре ты снова ушла в себя
твое лицо вспухло болью
потемнело
раскрылось как книжка напечатанная мелким шрифтом

я читаю твое лицо
прислушиваясь к прошлому в отголосках
и скрипах нашего дома!

© Рагхувир Сахай 1982

РАГХУВИР САХАЙ (род. в 1929 г.)
Индийский поэт. Автор сборников стихов «На ступеньках в жару» (1960), «Против самоубийства» (1967), «Не теряй времени, смейся» (1975).
Публикуемые стихи взяты из сборника «Люди забыли» (Дели-Патна Раджкамал пракашан, 1982).

КЕДАРНАТХ СИНХ

Солнце

Солнце как соль которой посыпан хлеб.

С солью горбушка черствого хлеба кажется мягче
такой хлеб вызывает радость
и снится голодному человеку.

Ни свет ни заря просыпается мальчик
бежит сквозь туман в молочную лавку —
отец любит чай с молоком.

Вскипает молоко в котелке
красноватый отсвет костра ложится на лицо
тяжелые испарения поднимаются
с табачных полей
и отравляют кровь человека.

Убежден
что солнце восходит не с восточного края неба
а выходит как тигр из пещеры
а к вечеру проваливается за горизонт
его засасывает рутинная жизнь
толстого лысого господина
Исчезает солнце в одиноком величье.

Солнце — настоящая пытка
для человека с мотыгой
оно испепеляет
оно как топор
который крестьянин несет на плече
направляясь в джунгли.

Жаль
что хлеб не выпечь на солнце.

© Кедарнатх Синх, 1985

КЕДАРНАТХ СИНХ (род. в 1934 г.)
Индийский поэт, критик. Автор сборников стихов «Сейчас, только-только сейчас», «Земля созревает», «Смотри отсюда» и др.
Публикуемые стихи взяты из книги «Избранные стихи» (Дели, Раджкамал пейпербукс, 1985).

Ладонь

Взял ее ладошку в свою руку
и подумал:
вот таким же красивым и теплым
должен быть мир.

В какой стороне Гималаи?

В какой стороне Гималаи?
я спросил у мальчишки
запустившего змея.

Вот там! Там!— он показал
на змея взмывшего в небо.

Я поверил
так я впервые узнал
где Гималаи.

ГОРАКХ ПАНДЕЙ

Ода креслу

I

Когда он стоял на земле —
кресло казалось никчемным
как только он оказался в кресле —
показалась никчемной земля.

II

Он не сводил с кресла глаз
а кресло уставилось на него
оно обволакивало всепроникающим взглядом
заключало его в себя
подобно тому как он людей
заключал в тюрьму.

© Горакх Пандей. 1983

ГОРАКХ ПАНДЕЙ (род. в 1945 г.)
Индийский поэт. Автор сборников стихов «Девять песен на бходжпури» (1980) и «Пробудитесь, спящие» (Дели, Раджкришна, 1983), откуда взяты публикуемые стихи.

III

Кресло — не конструкция
из железа или дерева
оно механизм для возвышения
незначительного или серьезного —
решает его высота
а человеку — каким бы он ни был —
свободным подневольным
счастливым несчастным
не миновать судьбы:
кресло всосет словно топь.

IV

Папки с делами громоздились до потолка
справедливость откладывалась на потом
хлеб не доходил до голодных детей
лекарства не поступали больным
невинных
ожидала казнь
За всем этим
стояло кресло —
воплощенное зло
осуществлялся дележ —
демократию и взятки только своим!

V

Кресло трещит — демократия расползается по швам
пошатнется кресло — и распадется страна
развалится кресло — погибнет земля!
Спасти бы кресло —
и к черту страну демократию землю!

VI

Из океана крови возникли крупные деньги
на этих деньгах было воздвигнуто кресло
которое словно таран
расплющит любого —
попробуй приблизься!

VII

В мире вздохов и слез
кресло недвижимо
до того мгновения
пока его ножки
не охватит пламя.

VIII

Падая с кресла человек теряет сознание
приходит в себя в сточной канаве
и только тут
преодолевает опьянение креслом.

IX

Не будем
славословить кресло!
Хотя приросшие к креслу
уверяют
что оно воплощает пространство
и время.

Правда

Она достается кровавым потом
ее скрывают от хищных глаз
снова и снова подтверждают делом.

СОМДАТТ

Дом

Стыдно дому
Не по себе и отцу — стыдно за дом
Дырявая крыша пропускает дожди
под ней в жару не укрыться —
тень от дерева больше и гуще.

Спят домочадцы
Дом словно мать беззвучно хлопочет
кажется — поправляет одеяла на детях
Но приглядитесь:
нет одеял на спящих вповалку
обессилевших с голодухи.

Сон их сморил
Но
дом никак не заснет
Жалко ему голодных детей.

Дом потихоньку ветшает
Когда были совсем молодыми хозяин с хозяйкой
что-то в них надломилось
Не потому ли еще в моем детстве
подгнили опоры дома?

© Сомдатт, 1986

СОМДАТТ ГАРГ (род. в 1939 г.)
Индийский поэт. Автор сборников стихов «В железнодорожном туннеле» (1974), «Разнообразные истории» (1980).
Публикуемое стихотворение взято из сборника «Из кладовой предков» (Хапур Самбхаона пракашан, 1986).

ВИШВАНАТХ ПРАСАД ТИВАРИ

Сновидения

Тяжелая жизнь у тех
кто не мечтает во сне.

Эти сновидения бесконечны как небо
и незнакомы как дальние дали
и нежны словно дети
сновидения парят над землею
и дремлют как леса в предрассветном тумане
и просыпаются с гомоном птичьим.

Мне говорят: продай нам что видишь во сне!
Но что я куплю если продам эти радужные мечты?

■

© Вишванатх Прасад Тивари. 1985

ВИШВАНАТХ ПРАСАД ТИВАРИ (род. в 1940 г.)
Индийский поэт, критик. Автор сборников стихов «Идя вместе» (1976) «Ради лучшего мира» (Дели-Патна Раджкамал пракашан, 1985). Публикуемое стихотворение взято из последнего сборника.

СЕНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1941 г.)
Советский критик, поэт-переводчик, кандидат филологических наук. Автор книг «Хариваншрай Баччан» (М., 1979) «Современная литература хинди» (Дели, 1984; на языке хинди) «Древняя молодая» (М., 1987). Переводит с языков хинди, бенгали, английского, португальского. В его переводе публиковались стихотворения Х. Баччана, С. Д. Саксены, Р. Сахая, А. Нето, М. Руя и др.

ЭРНЕСТ ДЖ. ГЕЙНС

И сошлись старики

РОМАН

Перевод с английского Л. БЕСПАЛОВОЙ и Е. КОРОТКОВОЙ

Роман Эрнеста Дж. Гейнса «И сошлись старики» представляет новое и очень плодотворное направление в современной американской прозе, связанное с развитием афроамериканской литературы, литературы американских негров, чернокожих американцев, тех, кто до сих пор испытывает гнет белых расистов.

Эрнест Дж. Гейнс родился на плантации в Луизиане и жил там, пока не переехал с семьей в Калифорнию. Он служил в армии, учился в Сан-Францисском и Стэнфордском университетах, но главным университетом для него осталась плантация. И проблемы, которые он видел на плантации, сегодня приобретают новые очертания, новые стороны.

Эрнест Гейнс уже известен советскому читателю по своему историческому роману «Автобиография мисс Джейн Питтман». Но в отличие от него новая книга Гейнса посвящена злободневным проблемам современного американского Юга.

Нашему читателю хорошо известен Юг Уильяма Фолкнера, Юг бедных и богатых белых, Юг патриархальный, гибнущий в столкновении с коммерцией и бизнесом Севера. В романе Гейнса — другой Юг. Это та же американская глубинка, что и у Фолкнера, но она не только чуть южнее, чем у Фолкнера,— штат Луизиана, где происходит действие романа «И сошлись старики», южнее штата Миссисипи, в котором обитали герои Фолкнера и сам Фолкнер. Действие перемещается из города в сельскую общину, и живут там в основном черные американцы — потомки рабов, и белые — не столько и не только потомки плантаторов и полковников армии конфедератов, но и бедных белых. Непривычны картины Америки, нарисованные Гейнсом, картины провинциальной сельской жизни.

В центре романа — острая, конфликтная ситуация: черный рабочий, шофер, убивает своего работодателя, белого хозяина, который подвергал его издевательствам. Автор смотрит на этот конфликт глазами черных и белых жителей сельской Луизианы, показывая, как изменилось понимание мира и черными и белыми: традиционные, фашистского толка молодые хулиганы-расисты, многие из которых принадлежат к потомкам бедных белых, и осознающие свое человеческое достоинство и право на самозащиту черные старики.

Автор не ищет легких решений, он видит сложную динамику развития американского Юга, которая не позволяет привыкшему к скорой расправе с неграми отцу убитого расиста прибегнуть к суду Линча. Его останавливают сыновья: один из них выступает в футбольной команде университета штата Луизиана, где он играет в тандеме с черным игроком; другой владеет мясной лавкой, имеет дело с чернокожими покупателями. Может быть, характеры белых выглядят несколько схематично.

Роман пронизан гуманистическим, антирасистским духом. Интересен он и в литературном отношении: он построен в виде рассказа от имени пятнадцати героев, черных и белых. И каждый рассказ, каждый монолог передает не только особенности мышления, сознания, понимания жизни, свойственное герою, но и является его

© 1983 by Ernest J. Gaines.

ЭРНЕСТ ДЖ. ГЕЙНС — ERNEST J. GAINES (род. в 1933 г.)

Американский писатель. Автор романов «Кэтрин Кармье» («Catherine Carmier», 1964), «Любовь и прах» («Of Love and Dust», 1967), «Кровное родство» («Bloodline», 1968). «Автобиография мисс Джейн Питтман» («The Autobiography of Miss Jane Pittman», 1971; русский перевод — М., «Прогресс», 1980), «В доме отца моего» («In My Father's House», 1978).

Э. Гейнс — лауреат многих литературных премий, в том числе премии Негритянской академии искусства и литературы. В университете юго-западной Луизианы ведет курс писательского мастерства. Роман «И сошлись старики» вышел в Нью-Йорке в 1983 году («A Gathering of Old Men». New York, Alfred A. Knopf). Печатается с небольшими сокращениями.

речевой характеристикой. Искусство Гейнса, знатока луизианского негритянского диалекта и острого наблюдателя американской действительности, проявляется здесь в полной мере.

Роман «И сошлись старики» рисует нам непривычную для нас Америку — современный Юг, сегодняшнюю южную деревню с ее нищетой и расовыми конфликтами, рост самосознания негритянского народа, который воплощают старики, вставшие на защиту человеческого достоинства.

Профессор Я. Н. ЗАСУРСКИЙ

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ МЛАДШИЙ, он же КУКИШ

Кэнди зашла к нам во двор и позвала мою бабушку. Наша троица — Тодди, Минни и я — сидела за столом и ела, а бабушка стояла у плиты; она смотрела, много ли еще еды в кастрюле и хватит ли на ужин. А Кэнди во дворе все кричит да кричит: «Тетя Гло-о! Тетя Гло-о! Тетя Гло-о!» Я вскочил — хотел посмотреть, чего ей нужно, но бабушка велела мне сидеть, где сидел, и все докушать, потому как мое имя не Гло и не тетя. И посмотрела на меня в упор, чтобы как следует дошло; и потом только двинулась к двери во двор, где надрывалась Кэнди: «Тетя Гло-о! Тетя Гло-о! Тетя Гло-о!»

Тодди глянул в мою сторону и ощерился: думает, я очень огорчился, что бабушка мне не велела вставать с места. Я показал ему кулак, но он знал: я его все равно не ударю потому, как он один раз нас в бурьяне застукал — Минни и меня,— мы играли в папу-маму, и Тодди мне сказал, что теперь целый год я не смогу ему ничего сделать, а он может что угодно, а ежели я сдачи дам, он расскажет бабушке, как нас застукал. Он сказал, он может надо мной смеяться, и ударить меня кулаком и ногой, и, если захочет, может слопать мой сладкий пирог, и он может проиграть мне все стеклянные шарики, но чтоб я не смел их брать, и чтоб я не смел трогать волчок, когда он его запускает, а не то он расскажет бабушке, чем мы с Минни занимались в кустах. Он сказал, так будет целый год, и чтоб я не смел вякать. А случилось это как раз перед тем, как Кэнди стала кликать мою бабушку — мы только-только вошли в дом и сели за обед, и я сразу же услышал во дворе ее голос.

Кэнди спрашивает бабушку:

— Кукиш тут?

— Тут, тут, обедает. В чем дело, Кэнди?

— Позови его,— говорит Кэнди.

— Он чего натворил? — бабушка спрашивает.

— Поскорей, тетя Гло,— говорит Кэнди.

— Кукиш! — кричит бабушка.

Тодди и Минни тоже вскочили, а бабушка обернулась и говорит:

— Сидите, как сидели, и кушайте репку. Я Кукиша звала.

— А почему это Кукиш не будет кушать репку? — Тодди спрашивает.— Почему это только Минни и я должны кушать репку?

— Потому что я его зову,— говорит бабушка.— Шагом марш за стол и кончайте репку.

— Я не машина для кушанья репки,— Тодди говорит.

Когда я вышел на галерейку, Кэнди рядышком стояла, у самого крыльца. На ней была белая рубашка, брюки защитного цвета и коричневые туфли с золотыми пряжечками. Волосы у нее светло-каштановые, а стрижка короткая, как у мужчины.

— Пойди сюда, Кукиш,— говорит она.

Я спрыгнул на землю, где она стояла, и она сразу хвать меня за плечи. Наклонилась прямо к моему лицу, и глаза ее такого цвета, как дым, когда он синий, шальные, бешеные. Я подумал: может, я чего натворил, и она на меня разозлилась.

— Теперь слушай,— говорит она.— Я тебе велю: беги и не останавливайся. Скажешь Руфу, и его преподобию Джеймсону, и Коринне, и остальным, чтоб все сейчас же собрались у Мату. А теперь слушай внимательно,— говорит Кэнди и так сжимает мне плечи, что даже больно,— ты пойдешь в Усадьбу и узнаешь, там ли сейчас мисс Мерль. Если там, скажи ей, пусть немедленно приезжает сюда. Нет, не так... если она там, пусть сперва позвонит Лу и велит ему сейчас же сюда ехать, а потом немедленно приезжает сама. Если же ее там нет, пусть Джени позвонит мисс Мерль и Лу и ска-

жет, чтоб они сейчас же сюда приезжали. Пусть все бросают и прямо сюда. Ты все понял, Кукиш?

— А зачем всем этим людям сразу сюда ехать?

— Это не твое дело, Кукиш. Ты еще маленький. Ну, двигай давай, и никаких остановок.

Я сразу за ворота. Выскочил на дорогу, гляжу — перед домом Мату стоит трактор. Мотор запущен — слышно, как стучит, дымок тоже видно, а Чарли на тракторе нету. Тростник нагружен, а Чарли нет. На обочине, у дома Мату, большой черный автомобиль — машина Кэнди; стоит, блестит на солнце. Вообще-то Кэнди мне ничего не велела передавать Мату, но я прикинул: у него же в доме надо всех этих людей собрать, стало быть, прикидываю я, ему тоже следует знать про все про это. И как только я до его дома добежал, сразу шасть во двор, а там я Бо увидел. Лежит на траве, весь в крови.

— Пошел вон, мальчишка!— кричит Мату с галерейки.

— Меня Кэнди послала,— отвечаю я.

— Не сюда она тебя послала,— кричит он.— Убирайся отсюда давай.

Мату сидит, прислонившись к стене, а в руках у него двухстволка. В шляпе сидит, в старой своей серой шляпе, такого цвета, как земля. В белой грязной майке и в зеленых штанах. Сигарету курит. Сам черный-пречерный, только борода белая.

— Кэнди хочет, чтобы все у тебя в доме собрались,— говорю я.

— Если хочет, так беги и делай, что тебе велят,— отвечает.

Я глянул на трактор. Мотор урчит. Глянул на Мату — сидит себе, спиной к стене прислонился.

— Где Чарли? — спрашиваю.— Почему это он не уехал на тракторе?

— Не твое дело,— Мату говорит.— Выметывайся с моего двора да побыстрей, а не то возьму прут и надеру по заднице.

Мату стал приподниматься, и я мигом выскочил за ворота и помчал по деревне, а сам себя подхлестываю по заду, как подстегивают лошадь, чтобы бежала скорей. Руф был на огороде, полол сорняки. Огород у него за домом, Руф копается там целыми днями и поет. Когда я сказал ему то, что Кэнди велела, он сначала вылупился — удивился, что случилось, мол; за ним-то она зачем посылает; а потом как шваркнет мотыгу на землю и бежать. Я подхлестнул свою лошадку и тоже припустил дальше по деревне. Коринна в эту пору на кухне — это я смекнул и не стал в переднюю дверь стучаться. С ходу прошмыгнул через весь дом на кухню. Сидит она за столом и прямо из кастрюли кушает овощи с рисом. Одна ест. У нее ни мужа, ни детей. Одна во всем доме — сидит, ест и смотрит во двор. Когда я ей передал, что велела Кэнди, она медленно так повернула голову и посмотрела на меня, а глаза у нее совсем темные и такие усталые. Ничего не сказала, даже «угу» или как-нибудь уж хмыкнула бы. Сидит и все, такая старая, такая усталая. Жует передними зубами — и такая старая, усталая на вид. Я повернулся и бежать, только по заду себя подстегнул, как подстегивают лошадей, чтоб скакали быстро. Его преподобие Джеймсон выходил из своего дома как раз в ту секунду, когда я влетел к нему во двор. С Джеймсоном у нас неважные отношения. Он все ворчит, что в церковь надо ходить и богу молиться, а я, мол, только шарики катаю и гоняю мяч. Я передал ему слова Кэнди, он глянул в ту сторону, да разве там чего разглядишь, все заросло. Я не стал дожидаться, пока он чего спросит, повернул и дальше побежал по деревне. Я теперь уже не забегал во двор, просто стану на дороге и ору, зову хозяев. Я не знал даже: а может, их и дома нет. Сорняки такие высоченные, да еще кустарник, тут не то чтобы людей — бывает, домов не видно. Ору во всю глотку, зову хозяев; потом дальше бегу, подхлестываю себя по заду и опять во всю глотку ору: «Кэнди велела тебе бежать к Мату! Кэнди всем вам велела бежать к Мату, быстро! Кэнди всем велела бежать к Мату!»

Когда я до Усадьбы добрался, я так устал, что еле ноги волочил; протащился кое-как по выгону до цветника. В калитку не вошел, стал у калитки, зову Джени. Ору, ору. Она долго что-то не показывалась, потом выходит на галерейку и сразу напустилась на меня.

— Что с этим мальчиком случилось? — говорит.— Ты разве не знаешь, что майору и мисс Би нужен сон?

— Меня прислала Кэнди,— говорю.

— И что ж она тебе велела? Пробудить усопших, да?

Смотрит, смотрит на меня, потом наконец по ступенькам спустилась. Платье на ней белое, туфли белые и фартук. Джени такая же толстая, как моя бабушка, но не такая старая; кроме того, бабушка моя светлей. Подходит так, не торопясь, вразвалочку, к калитке.

— Что там у тебя? — спрашивает, когда к калитке подошла.

— Кэнди велела, чтоб ты позвонила Лу.

— Надо говорить «мистер Лу» и надо говорить «мисс Кэнди»,— Джени отвечает и смотрит на меня сверху вниз.— Я не знаю, они все уж там такие тиллигенты, только ты еще сопляк. И чтоб при мне завсегда говорил «мисс» и «мистер». Не такой ты еще взрослый, могу тебе по заду всыпать, будь здоров.

— Мисс Мерль дома? — спрашиваю.

— Нету,— Джени отвечает.

— Тогда, наверно, тебе можно это дело поручить,— говорю я.

— Благодарю вас, сэр,— говорит Джени и смотрит на меня поверх калитки.— Очень это лестно для меня.

— Позвони Лу,— говорю я.— Скажи, что Кэнди ему велела сейчас же приехать сюда.

— Я тебе только что, всего одну минуточку назад, сказала, чтоб ты при мне говорил «мисс» и «мистер».

В упор уставилась и долго так глядит. Они, взрослые, всегда так делают, когда хотят, чтобы ты хорошенько что-нибудь запомнил.

— Зачем это понадобилось Кэнди их в деревню вызывать? — спрашивает меня Джени.

— Там чего-то приключилось с Мату и Бо. Бо лежит на спине у Мату во дворе. А Мату сидит на галерейке и держит в руках дробовик.

И тут Джени мигом переменилась в лице. Только что сердилась, теперь напугалась. Распахнула калитку и меня за шиворот — хвать.

— Тот выстрел, что я слыхала? — спрашивает.— Тот самый выстрел?

— Пусти, больно,— говорю, потом вывернулся.— Есть у тебя кекс или торт... как его... пралине?

— Ну и ну,— говорит Джени и на меня замахнулась.

Она не сердилась, просто напугалась. Я шмыг — и увернулся от нее.

— Значит, тот, что я слыхала? — спрашивает она снова. И такое у нее лицо, будто она вот-вот заплачет.— Тот самый выстрел, что я слыхала?

— Не знаю, вроде тот,— говорю.

Тут она давай голосить: «Господи, помилуй! Господи Иисусе, смилуйся над нами! Да ты знаешь, что теперь будет? Фикс нагрянет к нам в деревню со своим кодлом. Ты еще мал, не знаешь, что такое Фикс. Да я-то его знаю».

Повернулась, пошла к дому. Я гляжу через калитку ей вслед.

— Кекс принесешь? — кричу.— Кэнди меня к вам послала и не дала ничего.

Она молчит, не отвечает. Идет себе, и все. Потом гляжу: глаза фартуком вытирает.

— Э-ей! — кричу. Прижался к калитке, прямо вдавился в решетку лицом.— Есть у тебя кекс или торт пралине?

ДЖЕНИС РОБИНСОН, она же ДЖЕНИ

Господи, смилуйся надо мной, Иисусе, как быть? С кого начинать? Куда кинуться? Майор? Что с него толку? Сидит на галерейке, пьяный в драбадан, а время ведь только двенадцать часов. Мисс Би? Все равно что со стеной говорить. Кто еще? Мистер Лу? Ага. Кэнди велела позвонить мистеру Лу. Мистеру Лу и мисс Мерль. Позвоню-ка я сперва мистеру Лу. Господи, смилуйся надо мной, пошли мне силы, да будет на то твоя святая воля.

Вошла обратно в дом и начала звонить в эту его газету в Батон-Руже, и палец у меня дрожит, ну, просто ужас как. Телефонистка мне ответила, и я ей говорю, что, мол, мне нужен мистер Лу Даймс Она сказала «Город» и велела трубку не класть. Потом еще кто-то отозвался, тоже «Город» сказал; а потом говорит: «Тоби Райт». Я говорю ему: мне нужен срочно мистер Лу Даймс. «Лу сейчас обедает».— отвечает он. «О, господи,— говорю.— Где? Сыщите его. Поскорей. Кэнди требует его немедленно сюда. Очень прошу вас, сэр. Очень прошу вас». «Не опускайте труб-

ку,— говорит.— Успокойтесь. Он скоро придет. С кем я говорю? Это Джени?» «Да, сэр,— отвечаю.— Это я. Сыщите его поскорей, ну, как можно скорей, и чтоб он как можно поскорей сюда приехал. Не надобно ему сюда звонить. Пусть приезжает, и конец. Только поскорей, пожалуйста».

Я так плакала, я так рыдала, когда с ним говорила, мне пришлось обтереть фартуком все лицо. Потом стала я звонить мисс Мерль. Никто трубку не берет. Дюжину гудков переждала — нет ответа. Господи Иисусе, думаю, господи Иисусе, спаси и помилуй.

На переднюю галерейку иду. Майор свернулся на качелях калачиком, спит. Лицом в руки уткнулся. Рядом с качелями на перильцах полстакана виски с водой. Господи Иисусе, думаю, до вечера-то еще далеко, а он уж готов, накачался. Господи Иисусе, спаси и помоги. Вернулась в дом, пошла к мисс Би на второй этаж, но посередке лестницы остановилась, вспомнила — в комнате-то ее нет, на заднем выгоне она. Пошла на черный ход, заглянула в дверь — тут она, моя голубушка, вон куда забрела, под орехом топчется, махонькая такая, метра полтора в ней от силы, тросточкой в траве роется, орехи ищет. Господи Иисусе, думаю, ну, всякое же может быть, всякое бывает ведь, ну, вот выползет змея из сорняков из этих или еще какая пакость и укусит старушку. Господи Иисусе, говорю, спаси и помоги. Помоги мне, да будет на то твоя святая воля, господи.

Вернулась в дом и снова звоню мисс Мерль, а ее опять нет дома. Помоги мне, господи Иисусе, говорю. Смилуйся, помоги рабе твоей смиренной, сколько живу я, твоей воле покорялась. Опять пошла на галерейку, на майора поглядеть — спит себе, свернувшись; храпеть начал. Забрала я стакан этот виски с водой, снесла на кухню и оттуда снова посмотрела через выгон на старушечку, как она шарит своей тросточкой в сорняках и орехи ищет. Вы видали, думаю. Видали вы ее? Ведь ежели ее, старушечку эту, кто ужалит, виноватить-то будут меня. Господи Иисусе, говорю, помоги мне, господи Иисусе. Помоги мне. Снова в комнаты вернулась, обратно мисс Мерль звоню, и снова ее дома нет. Господи Иисусе, говорю, помоги мне, господи Иисусе.

Стала снова пыль вытирать, как раз этим занималась, когда он прибежал, этот мальчишка, и поднял переполох. Минут десять пошуровала я тряпкой, слышу — машина подъезжает с улицы. Я бегом на ту галерейку, и как увидела, что это мисс Мерль, словно гора у меня с плеч свалилась. Я бегом по лестнице, во дворе ее перехватить.

Улыбается. Всегда она улыбается. Замечательный характер у нее. Уж такая душенька, никого нету лучше на свете.

— Господи, помилуй, до чего ж я рада, что вы приехали,— говорю.

Она заметила в момент, что я плакала, и перестала улыбаться.

— Что случилось? — спрашивает.

Дама она полная, личико круглое, приятное, носик маленький, острый такой, ротик красный, тоже маленький, глаза серые. На сову она похожа, очень смахивает на сову; наши деревенские так ее и называют — Совушкой, за глаза, конечно.

— Случилось что-то? — спрашивает опять.

На майора поглядела — он свернулся там на качелях. «Джек уже пьяный»,— говорит. Она глянула тогда на часики. «Первый час, даже полпервого нет»,— говорит.

— А я вам все домой звоню, все звоню, звоню,— рассказываю.

— Я в это время ехала сюда,— объясняет она.— Да что случилось-то? В чем у вас дело?

— Кэнди,— говорю.

— Что Кэнди?

— Смертоубийство,— говорю.

— Бо?— спрашивает она.— Кэнди? Бо? Да что же, наконец, случилось?

— Бо убили,— говорю.

— Кэнди? — спрашивает она.

— Не знаю,— говорю.

— Где сейчас Кэнди?

— В деревне,— отвечаю.

— И что там делает?

— Да ведь в деревне-то все и случилось,— говорю.— У Мату во дворе.

— Боже мой, боже ты мой,— говорит и зажимает рот рукою. Глянула на галерейку, где майор на качелях свернулся.— Джек! — кричит она ему.— Джек! Джек!

— Как он может вас услышать? — говорю я.

— Где Беатриса?— спрашивает мисс Мерль.

— На заднем выгоне, орехи ищет. Мисс Мерль,— говорю,— Кэнди просит вас сию минуту в деревню ехать.

— Кто еще об этом знает? — спрашивает мисс Мерль.

— Только наши деревенские,— отвечаю.— Она велела мне вас известить и мистера Лу, и никого больше.

— Ты до Лу дозвонилась? — спрашивает мисс Мерль.

— Он обедает,— отвечаю.

— У, ч-черт,— говорит она и опять взглядывает на галерейку.— Джек! Джек!

— Не слышит он вас,— говорю.— Он с одиннадцати часов уже такой.

— Съезжу-ка я в деревню,— говорит тогда мисс Мерль.

И влезает в машину, толстущая до того, что еле в дверку втискивается.

— Молись,— говорит она мне.— Молись, Джени.

Я понимаю, про чего она думает, про Фикса и его дружков.

— Молись, Джени,— говорит она и развернулась на своей машине. Наехала маленечко на клумбы и кусты, гравий из-под колес как посыплется — все засыпал, все как есть кругом и меня, грешную. «Молись,— говорит и выезжает со двора.— Молись».

Я вернулась в дом. Могла бы не просить меня молиться. Она еще не приезжала, а я уже молилась.

МЕРТЛЬ БУШАР, она же мисс МЕРЛЬ

Я велела Люси испечь яблочный пирог, потому что знаю: Джек его обожает. Как только Люси пришла утром, я ей сразу говорю: испечешь самый лучший пирог в своей жизни, будешь свободна с половины дня. Она мне говорит: и испекла-таки, ей-ей — лучше я не ела и не видела. Ровно в двенадцать я ей говорю: ты свободна, поскольку я человек слова.

Вышли мы из дома в одно время — она отправилась к себе в Медлоу, а я — в Усадьбу, в гости к Беатрисе и Джеку. Пирог-то для Джека, конечно... господи боже, если б он меня любил так же, как он любит яблочные пироги. Но я это уже столько лет повторяю.

Только въехала к ним во двор, выбегает из дома Джени и бросается к моей машине. Я сразу чувствую: что-то произошло, а когда Джени во двор спустилась, я вижу — она вся зареванная.

Потом она мне все рассказала, и я думаю: господи, господи. Гляжу на Джека, спит себе, свернувшись на качелях, а сама думаю: господи, господи.

Сразу же забыла про яблочный пирог. Скорей назад в машину и за ворота. Въехала в деревню — посреди дороги стоит трактор, а блестящая черная машина Кэнди — на обочине справа. И вот что интересно: пока я проезжала по деревне, где стоят их развалюхи, мне ни души не встретилось. Попрятались, думаю, как клопы. Всполошились, как клопы, и попрятались. Подъезжаю, однако, я к дому Мату и гляжу: какие там клопы. Все как один собрались у Мату во дворе и на крылечке. Трое даже с дробовиками — Мату, Джонни Пол и Руф. Женщины все без ружей; женщины и дети просто так сидят и таращатся на меня. К тому времени как я выбралась из машины, Кэнди уже на дороге стоит.

— Я убила Бо,— выпаливает с ходу.

А я гляжу мимо нее, на Мату, на Руфа и на Джонни Пола, на стариков этих со старыми дробовичками. Мату на корточках, спиной к стене, возле самой двери, и ружье, как ребенка, к себе прижимает. Он всегда на корточках — не сидит и не стоит; как выйдет на крыльцо — любимая его поза. А местечко — у дверей спиной к стене — самое любимое его местечко. Джонни Пол на крыльце и дробовик в руках; а Руф в углу на крыльце примостился.

— Что?— спрашиваю я, а сама никак не отведу глаз от галереи.

— Я убила Бо,— говорит Кэнди.

Тогда я посмотрела на нее. Медленно так повернула голову и посмотрела. Я знаю Кэнди двадцать пять лет, даже немножко больше. Ей было годиков пять или шесть, когда ее родители погибли в автомобильной катастрофе; а я ее растила. Я и Мату. Уж это точно — Мату здесь, в деревне, и я в Усадьбе занимались ею не меньше, чем

дядюшка и тетушка. А может, и побольше. Да, да, да, мы с Мату занимались ее воспитанием куда основательней, чем они, ее дядя и тетя. И поэтому я знаю, когда она мне врет, и сейчас увидела сразу: она врет мне.

— Кэнди, что такое здесь творится? — спрашиваю я ее.

— А вы послушайте,— отвечает.

Кэнди маленькая и тощая, как щепка. Одеваться совершенно не умеет, и волосы слишком короткие для девушки, которая хочет пользоваться успехом у мужчин. Но Кэнди, наверно, не хочет. Молодой человек имеется, только убей меня бог, если я себе представляю, какие у них отношения. Вполне возможно, такие же, как у меня с Джеком.

— Я не знаю, что тут творится,— отвечает Кэнди.— Мне только нужно было, чтобы вы и Лу приехали раньше Мейпса. Я не...

— Дробовики зачем понадобились им? — спрашиваю.

— Не знаю, мисс Мерль,— отвечает.— Я его застрелила. Но тут вдруг Мату заявляет, будто это он сделал. А потом ни с того ни с сего Руф говорит: нет, это не Мату, а он. Джонни Пола тут вообще и близко не было. Но потом является сюда, видит все это и объявляет, что у него было достаточно причин прикончить Бо, а после этого бежит домой и достает свой старый дробовик. Но это я его убила.

Я посмотрела на тело, лежащее на траве. Трава была такая высокая, что я увидела только носки ковбойских сапог. А подходить поближе, чтобы разглядеть получше, я, разумеется, не стала.

— Разве они не знают, с кем имеют дело? — спрашиваю я.

— Знают,— отвечает Кэнди.— Просто они хотят, чтобы считалось, будто они. Это важно для них. Но это я его застрелила.

— Что ты болтаешь, Кэнди? Где ты его застрелила? Здесь, во дворе у Мату? Мейпс не дурак, тебе это известно.

— Я его застрелила,— говорит она.— И вы должны мне поверить. Мейпс может и не верить, мне плевать. Но мне нужно, чтобы вы поверили. А с Мейпсом Клинтон справится в суде.

— А кто справится с Фиксом, ты мне не скажешь, Кэнди? Прежде, чем вы доберетесь до суда. Кто с Фиксом справится?

— Я его застрелила,— опять повторяет она.— Вы должны мне поверить.

— Не должна,— говорю.

— Должны.

— Нет,— говорю и головой качаю. Я посмотрела мимо нее на Мату, сидящего спиной к стене на корточках, с дробовиком в руках. Он сидел и курил. Он знал, что я на него гляжу, но смотрел не на меня, а на трактор, который стоял на дороге. Вся остальная публика на галерее и на ступеньках безмолвно наблюдала за нами.

— Я не позволю им трогать моих людей,— говорит Кэнди.— Это я его убила.

Я посмотрела ей в глаза. Кэнди видела: перед этим я смотрела на Мату.

— Вот так, и только так,— говорит. Говорит, а сама понимает, что я вовсе не согласна с ней.

— Кэнди,— говорю я.

— И мне понадобится ваша помощь,— быстро проговорила она.

— Самая большая помощь, какую я могу тебе оказать,— это заставить тебя рассказать правду, Кэнди,— говорю я.

— А я вам правду рассказала,— отвечает она. Но понимает, впрочем; я ей ничуть не верю.— Вы можете сделать одно из двух,— продолжает Кэнди.— Помочь мне или уехать.

— Уехать? — спрашиваю я. Мне уже незачем смотреть на убитого. Мне уже незачем смотреть на Мату. И она, девчонка эта, отлично понимает, что никуда я не уеду, что уехать я не могу.— Уехать? — снова спрашиваю я.

— Тогда п: могите.

— Как я могу тебе помочь?

— Мне нужны еще дробовики,— говорит Кэнди.

— Что?

— Достаньте мне дробовики, дробовики двенадцатого калибра,— говорит Кэнди.— И пригоните сюда побольше народу.

— Побольше народу? — переспрашиваю я.— А это еще зачем?

— Вы их видите? — спрашивает Кэнди и кивает на галерею.

Я их уже видела, и мне совершенно незачем еще раз на них смотреть.

— Я вижу стариков с дробовиками, конечно, вижу,— говорю я,— а дальше что?

— А дальше,— отвечает она,— мне нужно, чтоб их было больше. Приедет Мейпс, двоих излупит и заставит расколоться, потом одного арестует. Мне нужно, чтобы здесь было много людей.

— Кэнди, ты в своем уме? — спрашиваю.— Ты в своем ли уме? Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Я понимаю, что я говорю, и понимаю, что я делаю,— отвечает Кэнди.— Пригоните сюда как можно больше народу и побыстрей.

— Кого тебе пригнать?

— Кого? — говорит она. И смотрит на меня так, будто я ей голову морочу. Но я вовсе не морочу ей голову: я действительно не понимаю, о ком она говорит.— Кого? — спрашивает она снова.— Да здесь во всей округе нет такой семьи, которой не принес бы горя Фикс и компания. Вы старше, вы все это знаете лучше, чем я. Зовите сюда любого, всех зовите. Пришла их пора дать отпор.

— И погибнуть? Ты этого хочешь? Залить кровью деревню?

— Вы взгляните, взгляните, мисс Мерль,— говорит она и показывает рукой на крыльцо. Мне незачем туда глядеть и без того знаю, как тихо они там сидят, как жадно слушают.— Разве не готовы они умереть?— спрашивает Кэнди.— Посмотрите на Мату. Вы ведь знаете Мату, вы его знаете, мисс Мерль? Мисс Мерль, я спрашиваю: знаете вы Мату?

— Знаю, Кэнди, знаю я его,— отвечаю.— Мату я знала задолго до того, как ты родилась.

Я посмотрела на нее и смотрела довольно долго, чтобы дать ей понять: стрелял он, а не она, и мне это известно. Кэнди быстро отвернулась.

— Посмотрите на Руфа,— говорит она — специально, чтобы отвлечь меня от Мату.— Посмотрите на Джонни Пола.

— Ох, Кэнди!— говорю я.

— У нас мало времени,— говорит она.— Нам ведь надо же когда-нибудь известить Мейпса. Я хочу опередить его хотя бы на час. Лу должен приехать сюда раньше Мейпса. Мне нужно, чтобы сюда пришло как можно больше народу с дробовиками двенадцатого калибра и гильзами из-под пятого номера. Стреляными гильзами. Стреляными. Времени у вас немного. Поговорите с Джени.

— С Джени? Да о чем мне с ней говорить?

— Если сами вы забыли, что и кому здесь сделали Фикс и его шарага, может быть, Джени напомнит вам. Я не дам своих людей в обиду ни Мейпсу, ни Фиксу.

— Кэнди,— говорю я. Я протягиваю к ней руку, но она отодвигается.— Кэнди...

— Нет, я не позволю обижать моих людей,— говорит,— я их буду защищать. Мой папа и все остальные, которые тут жили до него, всегда так поступали, и я...

— Кэнди! — говорю.

— Я одна буду их защищать. Пусть только попробуют кого-нибудь из них обидеть, я их буду защищать одна.

— Кэнди, я прошу тебя. Пожалуйста, Кэнди...

— Это я его застрелила,— говорит она.

— Да ведь ни одна душа в округе этому не поверит.

— А мне все равно, чему верят люди в этом округе,— отвечает.— Какое мне дело, чему они тут верят, в этом округе? Я одна буду их защищать.

Я отвернулась и стала смотреть на Мату — он сидел на корточках, черный-пречерный, и, как ребенка, держал двухстволку в руках. Бог ты мой, сколько раз мы разговаривали с ним — я стояла во дворе, а он сидел на корточках, как сейчас, а она, малышка эта, рядом с ним в углу крылечка! А сколько раз я на машине, не останавливаясь, проезжала мимо, но всегда махала ему рукой, а он сидел возле стены в своей любимой позе, а малышка на крыльце или в уголке, и вечно-то они о чем-то меж собой толкуют. А сколько раз мы разговаривали в Усадьбе — я сидела на веранде, Мату — на крыльце, держа между колен свою старую шляпу, а она на перилах, ближе всех к нему, ни ко мне, ни к тетушке, ни к дяде. Сколько раз это все было? Сколько? Сколько?

Я снова повернулась к ней. Но не успела я открыть рот, как она выпалила уж в который раз:

— Я его убила.

— Сломя голову бежать отсюда — вот что мне надо делать,— говорю.— Будь я поумней, я сделала бы это много лет тому назад. Но я дура. Всегда была дура. Верно?

— Мне не к кому обратиться, кроме вас и Лу,— говорит она.

— Еще бы,— отвечаю.— Два сапога пара. Оба дураки. Обоим надо бы давно убежать без оглядки. Но нет, ах, что вы!

— Посоветуйтесь с Джени,— говорит.

— Мне кажется, я согласия не давала...

— Пусть сразу назовет вам имена,— продолжает свою песню Кэнди. Горох об стену — все, что я ей говорю.— Пусть назовет много имен, как можно больше,— инструктирует она меня.— Дробовики двенадцатого калибра и гильзы из-под номера пятого. Стреляные. Когда сюда заявится Мейпс, мне будет нужно очень много стреляных гильз из-под пятого номера.

— Конечно,— говорю я.— Стреляли-то в него пятым номером.

Тут она умолкла на секунду, но всего лишь на одну секунду. Затем снова повела свое:

— Пусть Джени станет на западной галерее, чтобы не пропустить машину Лу. Когда Лу проедет мимо дома, звоните Мейпсу. Не звоните Мейпсу прежде, чем проедет Лу. Лу должен быть здесь раньше. Мисс Мерль, если наша семья вам хоть немного дорога, если вы меня хоть капельку любите... Я вас так прошу.

— Никогда я тебя не любила,— говорю я и смотрю ей в глаза.— Никогда не слыхала о вашей семье.

Я покосилась в сторону — на чуть видневшиеся из травы носки ковбойских сапог, на Мату, сидевшего с дробовиком в своей излюбленной позе. Он снова закурил. Теперь он даже не глядел на нас. Он глядел куда-то в сторону деревни. Что он там видел? Не было там ничего, кроме высокой травы, что росла на обочине. Я пошла к машине, ни словечка не сказав ей в ответ.

Минуты за две, за три я добралась до Усадьбы. Еще за воротами начала сигналить что есть мочи, и когда машина остановилась во дворе, Джени была у дверцы. Джек по-прежнему спал на качелях.

— Возьми с заднего сиденья яблочный пирог и следуй за мной,— говорю я Джени.— Где Беатриса?

— На западной галерейке.

— Джек!— кричу я, взбираясь по лестнице.— Джек!

— Как он может вас услышать? — спрашивает Джени.

Я подошла к качелям и принялась его трясти: «Джек! Джек!»

— Все без толку,— говорит Джени.

— Джек! — Я покрепче встряхнула его. Хоть бы хны.— Да ну его к черту! Он ведь всегда держался как можно дальше от таких дел.

Мы с Джени входим в дом. Она тащит в кухню пирог, а я тем временем иду на западную галерею, где должна быть Беатриса. Она сидит в кресле-качалке у дверей и глядит куда-то далеко-далеко, за цветник, на деревья на дальнем выгоне. Там, за деревьями, проселок, ведущий в деревню. Проселок этот ответвляется от шоссе на Байону, а сразу за шоссе — река, Сент-Чарльз. Вот потянуло ветерком от реки, и ветерок принес к нам слабый аромат чистоуста, растущего в правом углу сада.

— Нам нужно поговорить, Беатриса,— сказала я.

— Это ты, Мерль? — Она повернула ко мне голову.— Почему бы не поговорить? Но сперва я хоть горло промочу. Бог ты мой, скоро час. Куда девалась Джени? Джени-и! — крикнула она.

— Беатриса,— сказала я, обошла ее кресло и встала прямо перед ней.— У нас нет на это времени, Беатриса.

— Чушь,— отвечает она.— Еще чего не хватало — нет времени промочить горло. Где Джени?

— Беатриса,— говорю я ей.— Неужели ты не знаешь, что случилось?

— Наплевать мне на то, что случилось,— говорит она и поворачивается в сторону двери, затянутой москитной сеткой.— Джени! — кричит.

— Да, мэм? — отзывается Джени и вылезает на галерею.

— Тебе известно, который час? — спрашивает Беатриса и смотрит на нее снизу вверх из качалки.

Джени оглядывается на меня. Не знает, как ей быть.

— Беатриса,— говорю я.— Умер человек. У вас в деревне. И человек этот — Бо Бутан.

— Ну и что? — отвечает она.— При чем тут я? Каждый день кто-то умирает. И я когда-нибудь умру, и ты умрешь. Джени, тебе известно, который час?

— Стой на месте, Джени,— говорю я.— А тебе, Беатриса, придется вместе со мной выйти из дома,— продолжаю я.— Ты слышала, что я сказала? У нас тут в деревне убит человек. Кто-то убил Бо Бутана. И Кэнди тут же прискакала туда и уверяет всех, что это она его застрелила. Понимаешь ты, чем дело пахнет?

— Отчаянная девчонка,— говорит Би.— Отчаянная — я давно говорю. Она и замуж не выходит поэтому. Джени, ступай и принеси мне коктейль.

— Никуда не ходи, Джени,— говорю я.

— Что ты сказала? — спрашивает Би и поднимает на меня глаза. Ее белое, под толстым слоем пудры, маленькое личико сморщено, как чернослива. Подсиненные седые волосы такие реденькие, что сквозь них просвечивает серая кожа. И только серо-голубые глаза по-прежнему молоды и полны жизни, но сейчас в них пылает гнев.— Что ты сказала? — спрашивает она снова.— Ты ей велела никуда не ходить? Мисс, вы ошиблись, вы не у себя в «Семи дубах», вы у Маршаллов в Усадьбе, мисс, а в Усадьбе я распоряжаюсь, нужно что-то делать или нет.— И она повела на Джени таким же гневным взглядом, каким только что одарила меня.— Чего ты дожидаешься?— спрашивает она Джени.

— Слушаюсь, мэм,— сказала Джени и пошла в дом.

Коктейль, наверно, был уже приготовлен и дожидался в холодильнике — не прошло и двух минут, как Джени возвратилась на галерею с двумя стаканами. Стакан я поставила на перила, зато Беатриса с жадностью набросилась на свой. Это была ее первая порция спиртного за день, да к тому же с опозданием на полчаса. Мы с Джени, стоя, ожидали, когда она допьет.

— Так что, ты говоришь, там натворила Кэнди? — спросила Беатриса.— Отчаянная девчонка. Вылитый дедушка Нат.

— Господи! — говорю я.— О господи, Беатриса! Кэнди только что мне сообщила, что убила человека. А ты, узнав об этом, не можешь ничего сказать, кроме того, что она похожа на своего дедушку!

— На моего дедушку,— отвечает она.— Ей он пра-пра-дедушка. Дед ее деда. Что ж, давно пора, пожалуй, пристрелить хоть одного из этих кэджанов[1], перерывших тракторами нашу землю. Отчаянная девчонка, молодец.

Тут я вполне отчетливо усвоила, что разговоры с Беатрисой — пустая трата времени, и повернулась к Джени. Та стояла, глядя на хозяйку, и кусала губы — казалось, она вот-вот опять расплачется.

— Держись, Джени,— говорю.— Мне одной не справиться с такими делами. Так что, будь добра, пожалуйста, держись.

— Я не подведу вас, мисс,— отвечает.

— Не подведи,— говорю.— А теперь послушай. Мне нужны одни ответы. Одни ответы, больше ничего. Никаких вопросов. Только ответы. Знаешь ты кого-нибудь, кто не любит Фикса?

— Мэ-эм?— говорит она, и пятится, и глядит на меня как на сумасшедшую. Можно подумать, я спросила, кто из ее знакомых любит черта.

— Джени, я предупредила: никаких вопросов, только ответы,— говорю.— Нам просто времени не хватит, если мы с тобой обе станем задавать вопросы. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Так вот: знаешь ли ты кого-нибудь, кто не любит Фикса?

— Я его не люблю,— говорит Би.— И никогда не любила. Чего ради мы пустили на свою землю этих людей, ума не приложу. Приволокли свои противные тракторы и изуродовали нам всю землю.

— Беатриса, будь любезна, заткнись,— говорю я.— Сделай мне такое одолжение, Беатриса, очень прошу тебя.— Она поднесла ко рту стакан и опять присосалась к соломинке.— Джени, так кого ты знаешь, кто не любит Фикса?

— Я не знаю никого, кто его любит,— отвечает она.

— Думаешь, они его так ненавидят, что не побоятся Фикса?

— То есть как это, мэм?— спрашивает она.

---

[1] Здесь: французы, переселившиеся из Канады в Луизиану в конце XVIII века.

— Джени, я тебя предупредила,— говорю я строго.— Только да или нет. Струсят ли они перед Мейпсом со своими пустыми дробовиками?

— Я не понимаю, про чего вы говорите, мисс Мерль,— отвечает Джени, и я чувствую: она вот-вот заплачет.— Не сердитесь, мэм, но я не пойму, про чего вы говорите.

— Сейчас я тебе объясню, о чем я говорю,— отвечаю я.— Один раз я тебе отвечу, ну а уж после этого отвечать будешь только ты. Белая девушка тридцати лет от роду, белая девушка, у которой мозги набекрень, явилась в деревню и утверждает, будто она только что убила белого человека. Я прекрасно знаю, что убила его не она... убил Мату. Но ей хочется спасти Мату. Ей так этого хочется, что она готова для его спасения втянуть в эту заваруху все чернокожее население штата. Два старых дурака уже пришли, Руф и Джонни Пол, оба клянутся, что убили Бо Бутана. Но ей этого мало. Ей нужно еще. Еще десять человек, пятнадцать, двадцать... тысячу! Она хочет, чтобы все они притащили с собой дробовики двенадцатого калибра и гильзы из-под пятого номера, чтобы все они выстрелили из своих дробовиков и сохранили стреляные гильзы, так что, когда Мейпс укажет пальцем на Мату, каждый из них сможет крикнуть... Так, кого ты знаешь, кто не любит Фикса? Марш к телефону и звони им всем.

Тут она давай реветь... ну, просто как корова.

— Господи, смилуйся надо мной, Иисусе. Ох, не надо меня ничего такого заставлять. Я вас так прошу, мисс Мерль, мэм, мисс Мерль, пожалуйста, Христом богом вас заклинаю: не надо меня ничего такого заставлять.

Я сгребла ее за шкирку и влепила две-три затрещины.

Напугалась она, вижу,— голову откинула назад, лицо, черное и круглое, словно желе, трясется, а слезы прямо градом по щекам. Я понимаю: я безжалостно себя веду — меня припекло, я свою боль на ней срываю, но что поделаешь! Уж если я в это впряглась, придется всем им быть в этой упряжке. И если мне пришлось затрещину ей влепить, чтобы она освоилась с этой мыслью, весьма плачевно, но, увы, у меня нет другого выхода.

— Так кто не любит Фикса? — снова спрашиваю я.

— Клэту, уж это точно,— вдруг произносит Би.— Враждуют испокон веку.

Я поглядела на нее, но Беатриса уже снова присосалась к соломинке.

Стала я припоминать, что сделал Фикс Клэту. Я неплохо знаю историю этой реки и этого округа за последние полсотни лет. И вот я, значит, припоминаю: что же такое между ними было, между Фиксом и Клэту? Припомнила. Вовсе не Фикс, а псих этот, его братец, Форе Бутан, чуть не изнасиловал одну из сестер Клэту. Он к ней полез, а она защищалась тесаком, которым рубят тростник, и ударила его раз пять. Насмерть не убила, но изуродовала навсегда. А ее — опять же навсегда — упрятали в каталажку; она там просидела много лет, так много, что под конец сошла с ума и умерла там, безумной. Случилось же это как раз перед второй мировой войной.

— Клэту на прежнем месте живет, в Гленне? — спрашиваю я.

Джени упорно старается высвободиться из моих рук, но руки у меня — это известно всем — самые сильные в округе Святого Рафаила.

— Да, мэм,— говорит она, убедившись, что из ее попыток ничего не выходит.— Там же все, на прежнем месте, огородик у него.

— А телефон у него тоже есть?

— Я, я, я...— лепечет она.

Тут я как рвану ее за ворот:

— Отвечай, дуреха.

— Он у Эммы там живет,— всхлипывая, говорит она.

— А как фамилия этой Эммы?

— Хендерсон,— отвечает.— Так мне кажется... да, мэм. Хендерсон ее фамилия.

Тут я вышустила ее наконец из рук, и она сразу же стала растирать себе шею.

— Я сейчас пойду и разыщу ее номер в телефонной книге,— говорю я.— А ты и Беатриса пока что пошевелите мозгами и вспомните еще кого-нибудь. Ну, скажем, дюжину людей. То ли мы все в тюрьму угодим, то ли в сумасшедший дом. Где у вас телефонная книга?

— На столе, возле камина,— Джени говорит.

— Когда я закруглюсь с Клэту, вы обе мне еще нескольких подберите,— говорю я.— Дженни, слышишь ты меня?

— Да, мэм,— отвечает.

— Сначала приготовь мне коктейль,— говорит Би и протягивает Джени свой стакан.

— Боже милосердный,— говорит Джени...— Мало, по-вашему, у меня хлопот сегодня, мисс Би?

— Возьми стакан, пойди на кухню и приготовь коктейль,— говорит Беатриса.— А когда вернешься, я помогу тебе припомнить, кого нужно.

Джени взяла ее стакан, я сняла с перил свой, и мы вместе вошли в дом. Она отправилась на кухню готовить коктейль для Беатрисы, а я к телефону, звонить Клэту.

РОБЕРТ ЛУИ СТИВЕНСОН БЭНКС, он же САЖА

Сидим мы себе с Мэтом на бережку, удим рыбу. Мы с ним по вторникам и четвергам завсегда на рыбалку ходим. Теперь на реке только одно это местечко и осталось. То ли дело раньше — вся река твоя, где хочешь, там и уди. А теперь белые всю реку скупили, никуда не ткнешься, одно это местечко только нам и оставили. Ну мы с Мэтом по вторникам и четвергам и ходим сюда. По другим дням другие ходят, зато уж вторник и четверг наши. Мы сюда лет десять, а то и одиннадцать ходим, ни одного вторника и четверга не пропустили. Только сюда. А больше-то теперь некуда и податься.

И просидели мы с ним этак с час. Мэт поймал штук восемь-девять порядочных окуньков, и я шесть, ну и парочку крапши для ровного счета добавьте. Сидим мы себе с Мэтом, прохлаждаемся, беседуем потихоньку. Мэт на сумке на своей, на холщовой сидит, я — на ведре на своем. А рыбу на низке в реку спустили, чтоб посвежее была. Сидим, значит, беседуем себе потихоньку про прежнее житье-бытье.

А тут старшой мальчонка Берто, тот, балованный, его еще Фью кличут, скатился на берег и говорит: Клэту, мол, говорит, мисс Мерль, говорит, Маршаллов молодая хозяйка, Кэнди, велит, чтоб враз к ним идти. Прихватить дробовики двенадцатого калибра и патроны с пятым номером и чтобы выстрелить, а стреляные гильзы не выбрасывать и безотлагательно к ней.

Мы с Мэтом смотрим на него, а с него пот градом льет — здоровенный уж парень вымахал, ряшку наел, сразу видать, балованный,— в джинсах, в синей ковбойке, и ковбойка мокрая, хоть выжимай — бежал, видать, со всех ног.

Мэт и говорит:

— И из-за чего это?

А парень аж ногами сучит — до того ему дальше бечь не терпится. По лицу пот текет. Из этих здоровенных балованных парней — по одной по ряшке по его гладкой видать, что балованный.

Фью и говорит:

— Из-за Мату да из-за Бо Бутана. Бо у Мату во дворе мертвый лежит. А больше я ничего не знаю и знать не хочу. Дальше дело ваше, а я свое дело сделал. Хотите — идите к ней, делайте по ее, нет — идите домой, двери позапирайте да залезайте под кровать, это вам не внове. Ну а я побег.

И давай ходу.

— Ты куда? — Мэт ему вслед.

А Фью ему:

— Ни тебе, ни кому из Бутанов о том не дознаться.

— Тогда тебе лучше и вовсе из Луизианы удрать,— это уже Мэт сам себе сказал.

А до парня и не докричаться — знай себе чешет, хоть и на кручу, от этих гладких, балованных парней чего и ждать.

Мы с Мэтом еще долго друг на друга не глядели. Прикидывались, будто нам удочки больно интересны. Только не удочки у нас на уме. На уме у нас, что с нами делали после того, как такое делалось, ну пусть не совсем такое. Не убийство, нет. Отродясь не слыхал, чтобы у нас в округе черный белого убил. Драться дрались, грозиться грозились, а чтоб убивать, такого не водилось. И теперь у меня на уме было, чем эти драки да угрозы кончались, как белые после на нас злобу вымещали.

Вот что у меня на уме было, да и у Мэта, я знаю, тоже. Вот почему мы еще долго друг на друга не глядели. Не хотелось видеть, что у другого на уме. Не хотелось видеть лицо его напуганное.

— А ведь пути господни неисповедимы?— говорит Мэт. Тихо так, будто не со мной, а сам с собой говорит. Но я-то знаю, он со мной говорит. Говорит, а на меня и не глядит, но я все равно знаю, он со мной говорит. А я все на удочку гляжу.

— Так люди говорят,— отвечаю.

А Мэт все на удочку глядит. Мне и глядеть на него не надо, я и так знаю, что он на удочку глядит. Мы с ним, почитай, сызмальства вместе, я и не глядя знаю, что он делает.

— Не хочешь — не отвечай, Сажа,— говорит. И опять тихо так говорит. Он удочку только что подсек — я слышал, как леска воду прорезала.

— Чего-чего? — говорю.

А он опять удочку подсек. Может, это черепаха за наживкой охотилась. А может, он удочку подсекал, чтобы на меня не глядеть.

— Боишься? — спрашивает. А голос у него все такой же тихий. И на меня все не глядит.

— Боюсь,— говорю.

А он опять удочку подсек. И вытащил краппи с ладонь величиной, не больше. Наживил крючок, поплевал на наживку, чтоб не сглазить, и снова закинул удочку в воду. А на меня как не глядел, так и не глядит. И я на него не гляжу. Это я краем глаза вижу. А как удочка под воду ушла, он и говорит:

— Мне семьдесят один год, Сажа, семьдесят один с гаком. И под кровать, как Фью говорит, лезть у меня уже нет сил.

— А мне семьдесят два,— говорю. Но на него и тут не гляжу.

Сидим, на удочки глядим. А река текет — чистая, голубая, тихая, спокойная. Так бы и сидел весь день да на удочку глядел.

— Думаешь, это он? — Мэт спрашивает.

Я плечами только пожал.

— Откуда мне знать, Мэт?

— Если это он, Сажа, сам понимаешь, нам туда беспременно надо идти,— говорит Мэт.

Я ему не ответил, но о чем речь, понимал. Помнил, как Мату с Фиксом схватились у Маршаллов в лавке. Сыр-бор загорелся из-за бутылки кока-колы. Фикс свою бутылку выпил и велел Мату пустую бутылку в лавку отнести. А Мату ему и скажи: я, мол, тебе услужать не нанимался. А Фикс ему: неси, мол, бутылку, не то схлопочешь у меня.

Нас в лавку целая орава набилась — белые, черные, сидим на галерейке, лимонад пьем, коврижками заедаем. И шериф наш, Гидри, тоже тут. Мату шерифу и говорит: если Фикс к нему привяжется, он даст сдачи. А Гидри и ухом не ведет, знай лимонад попивает да коврижкой заедает.

И велит Фикс опять Мату бутылку отнести, а Мату знай себе сидит, тут Фикс как вдарит, ну они и схватились. Всем дракам драка была, в жизни страшней не видал. Час целый что один, что другой не мог взять верх. А как час к концу подошел, Фикс оземь хлоп, а Мату — тот стоит. Белые хотели вздернуть Мату, но Гидри их окоротил. Подошел к Мату и как плюху отвесит, враз с ног свалил. Потом повернулся к Фиксу — бац в зубы, ну и Фикс в другой раз оземь бряк, а Гидри сел на галерейке и лимонад с коврижкой прикончил. Тут и драке конец. Мату и после на реке не раз случалось с белыми драться. Вот про чего Мэт говорил. Вот чего у него на уме было, когда он говорил: мол, если это Мату, беспременно надо нам туда идти. Перед белыми все пасовали, один Мату, один он им спуску не давал.

Гляжу я, как Мэт на сумке на своей сидит. За удочку ухватился двумя руками, на леску уставился. Я знал, про чего он думает — недаром мы, почитай, всю жизнь вместе. А все равно спросил.

— Да про кровать про эту,— говорит.— Стар я стал под кровать лезть. Сил моих больше нет. Низкая она, больно низкая она, кровать моя, Сажа.

— Да и моя не выше,— говорю.

Тут он на меня поглядел. Из себя он красивый, темный, но не черный. Вся наша жизнь рядом прошла. В холостые годы гуляли вместе. От жен гуляли тоже вместе, хоть и немного пришлось погулять. Вместе в разных переплетах побывали, в серьезных, правда, не случалось. Ну а такого, о чем сейчас думали, сроду не делали. Думать, может, и думали, как не думать. А до дела не доходило.

— Твое слово, Сажа? — спрашивает Мэт.

Я кивнул.

Смотали мы удочки и полезли на кручу. Мэт свою рыбу в сумке несет, я — в ведре.

— Велела перво-наперво выстрелить,— говорю,— кабы знать зачем.

— Откуда мне знать,— говорит Мэт.— Как твой старый дробовик, исправный?

— Последний раз хорошо стрелял,— говорю.— Только когда ж это было!

— А патроны с пятым номером у тебя есть? — спрашивает Мэт.

— Пара-тройка должна где ни то валяться,— говорю.— Только я давненько на них не глядел.

— Если найдешь, отложи парочку для меня,— Мэт говорит.— Похоже, мне и ружье тоже придется просить. У меня в доме только дробовик двадцатого калибра да старая винтовка, а больше почитай что ничего исправного нет.

— И как ты думаешь туда добраться? — спрашиваю.

— Тут без Клэту не обойтись,— говорит Мэт.— Попрошу Клэту подкинуть на грузовике.

— Попроси, чтобы он и меня прихватил,— говорю.

А как поравнялись с моей калиткой, Мэт опять на меня глянул. Ростом он куда выше меня будет, и мне пришлось задрать голову — иначе мне его глаз не увидеть.

— Ну как, Сажа, решился? — говорит.

— Ты пойдешь, Мэт. И я с тобой.

— Мне беспременно надо идти, Сажа,— говорит.— Другого случая у меня, может, и не будет.

Я поглядел ему в глаза. Глаза у него карие, светлые. И глаза его сказали мне куда больше, чем он сам. Глаза его за нас обоих все сказали.

— Тогда и я пойду,— говорю.

А Мэт все глядит на меня. И глаза его больше говорят, чем он сам. Глаза его говорят: и мы до сих пор ждали? До самой старости дождались и только теперь расхрабрились?

Я не знал, что отвечать. Знал одно: если он пойдет, тогда и мне беспременно надо идти.

Мэт пошел к себе домой, а я прошел во двор. И через порог переступить не успел, как моя старуха на меня насела. С чего это я так рано домой заявился? До вечера, покуда жара не спадет, она рыбу нипочем чистить не будет. Я ничего ей не ответил. Поставил ведро с рыбой на стол в кухне, прошел в залу, взял старый дробовик — он там к стене прислоненный стоял. Перебрал патроны — я их держал в сигарной коробке на шкафу, нашел-таки с пятым номером. Сдул с них пыль, зарядил дробовик, сунул в окно, а голову отвернул — не ровен час еще разорвет — и стрельнул. А старуха тут как тут сызнова на меня насела:

— Ты чего это, старик? Чего это тебе стрелять вздумалось, чего шум поднял?

— Я пока и сам не знаю, чего стрелял,— говорю ей.— Но смотри у меня, чтоб рыба на столе была, когда из Маршалловой деревни вернусь, не то придется мне опять за дробовик взяться. Слышь, что я тебе сказал?

Она губы поджала, глаза выкатила, но смекнула, что не время умничать. Я прихватил еще пару патронов, сдул с них пыль и вышел на дорогу — поджидать Клэту.

МЭТЬЮ ЛИНКОЛЬН БРАУН, он же МЭТ

Пришел я домой, сумку с рыбой Элле отдал и прошел в другую комнату — позвонить Клэту. Жюли, Эммина дочка, говорит мне: мол, Клэту только-только ушел, а что, спрашивает, у вас там стряслось? Клэту, говорит она, мисс Мерль позвонила, и Клэту достал старый дробовик, сел в машину и уехал, а вы скажите, говорит,— и с тем же ко мне вопросом: что у вас там стряслось? Если Клэту тебе ничего не сказал, говорю, значит, и я ничего не могу сказать, и не сказал ли Клэту, спрашиваю, куда он едет? Нет, говорит, ей про то ничего не известно, но она слыхала, мисс Мерль по телефону он говорил чего-то насчет мистера Билли Вашингтона и чего-то насчет мистера Жакоба Агийяра. Вдруг вы их еще нагоните, говорит, не в Сайло, так в Мулатском поселке, и что такое у вас там стряслось?— спрашивает сызнова.

Я повесил трубку, нашел телефон Билли Вашингтона. А жена его, Селина, мне и говорит: Билли только-только уехал с Клэту на грузовике. А дробовик, спрашиваю, Билли взял с собой? То-то и оно, что взял, говорит, только вы-то откуда знаете? А они не сказали, спрашиваю, куда дальше поедут? Сдается ей, говорит, что не иначе как в Мулатский поселок подались, а то с чего бы им Жакоба Агийяра поминать. А у Жакоба, спрашиваю, есть телефон? Насчет Жакоба не скажу, говорит, а вот у Лиолы Бовэ есть. Не вешайте, говорит, еще минуточку трубку, я посмотрю номер. А погодя чуток берет сызнова трубку, дает мне номер и туда же: что у вас там стряслось? — спрашивает. Я трубку повесил. Звоню Лиоле. Клэту только-только остановился у Жакобова дома, говорит Лиола. Похоже, говорит, что и Билли Вашингтон с ним, и, похоже, у них у обоих дробовики. А вот и Жакоб из дома вышел, и у него тоже дробовик. Выбеги, велю ей, на галерейку и вели Клэту малость обождать. Положила она трубку, а погодя чуток, слышу, сызнова взяла. Клэту, говорит, обождет. А у тебя, спрашиваю, есть исправный дробовик двенадцатого калибра? От мужа, говорит, от покойного, остались ружья, но ей один калибр от другого ни-почем не отличить. А что у вас стряслось-то? — сызнова спрашивает. Тащи, говорю, ружья к Клэту да вели ему, чтоб проверил их, и если найдется среди них исправный дробовик, пусть прихватит с собой. А патроны с пятым номером, спрашиваю, у тебя есть? Не знаю, говорит. Бери, велю ей, все патроны, какие найдутся, тащи к Клэту и вели Клэту выбрать какие надо и прихватить с собой. И повесил трубку. Оглянулся, смотрю: в дверях Элла стоит — руки в боки уперла. Вот бабища, весь проем загородила.

— Для какой такой надобности вам дробовики? — спрашивает.

— На охоту собрались,— говорю.

— Посередь дня на охоту?

— Поохотиться захотелось.

— Не увиливай, Мэтью,— говорит.— И на кого ж вы охотиться будете?

— Вернусь, тогда скажу.

— Пока не скажешь, тебе из дому не выйти,— говорит.

— Отойди от двери, баба. Иди отдохни,— говорю,— это дело только нас, мужиков, касаемо.

— Нет, оно и меня касаемо,— говорит и пошла на меня.— И на кого ж вы охотиться будете?

— Отцепись, баба,— говорю,— хоть раз в жизни, покуда я не помер еще, могу я...— и осекся.— И не задавай ты мне, Христа ради, вопросов,— говорю и на галерейку вышел.

Слышу, она по телефону говорит, потом трубку повесила, другой, слышу, номер набирает. А потом как закричит: «Что? Что? Дядя Билли? Что?» Бряк, слышу, трубку и — шасть на галерейку.

— А дяде Билли для какой надобности дробовик в его-то годы?

— А я почем знаю? — говорю.— Дядя Билли Вашингтон, он мне не подчиненный.

— Знаешь, еще как знаешь,— говорит она и опять руки в боки уперла.— Тебе ли не знать. И пока ты мне все не выложишь, я тебя из дому не выпущу.

Тут я к ней обернулся.

— Тебе надобно знать, что стряслось? — говорю.— Тебе все надобно знать?

Она от меня задом-задом — испугалась, видать, как бы я ее не прибил.

— Так я тебе скажу,— говорю.— В Маршалловой деревне мертвый кэджен лежит. У Мату во дворе. Теперь ты знаешь, что стряслось.

— А тебе-то какое до этого дело? — говорит. Отошла от меня подальше и теперь уж не боится — сызнова волю языку дала.— И какое дяде Билли до этого дело?

— Выходит, тебе что говори, что ни говори — все одно? — спрашиваю.

Отвернулся от нее, на дорогу гляжу. А Клэту все не видать.

— Старый ты дурень,— говорит она,— старый дурень. Вы что, ополоумели все?

— Вот-вот,— говорю, а сам на нее не гляжу, гляжу на дорогу.— Только мы решим за себя постоять, нам говорят: мы ополоумели. Правда твоя, ополоумели мы.

— Старый ты дурень,— говорит.— Старый дурень. Если я с тобой не слажу, так и знай, я твоего брата позову. Он с тобой сладит.

— Что ты, что Джесс — лучше мне не перечьте, не то как бы вам пожалеть не пришлось,— говорю, а сам на дорогу гляжу. А Клэту все нет и нет.

— Так я тебя и пустила в Маршаллову деревню, чтоб тебя там убили...

— Пустила не пустила, а тебе меня не удержать,— говорю, а сам на дорогу гляжу.

— А я закон призову,— говорит.— Пусть ты ни меня, ни брата слушать не хочешь, закона ты не ослушаешься.

Тут я к ней обернулся, тычу в нее пальцем:

— Тронь только телефон, баба, костей не соберешь!

— Это мы еще поглядим! — говорит и шасть в дом.

Я ее догнал и как толкану, да где там — мне такую бабищу с места не сдвинуть. Зато до телефона я первый добег, шнур вырвал и швырнул на пол.

— Давай теперь звони,— говорю.

— Старый дурень,— говорит.— Старый ты дурень. Что с тобой, дурень, ты старый, в чем дело-то?

А у меня грудь ходуном ходит. Будто я на гору лез, на крутую гору, и теперь доверху добрался. Гляжу я на бабу мою, это сколько ж я лет с ней прожил — не счесть, гляжу и не узнаю. А грудь у меня все ходит ходуном, гляжу я на нее и не узнаю. И лицо у меня, видать, такое, что она от меня задом-задом. И все задом-задом пятится, пока в стену не уперлась. А я все гляжу, гляжу на нее и не узнаю. И грудь у меня все ходит и ходит ходуном.

— Что со мной? Что со мной стряслось, спрашиваешь? Сколько лет мы вместе, а тебе все невдомек, в чем дело? Сколько мы горбатились на Джорджа Медлоу, и он богател и богател, а мы нищали и нищали, а тебе все невдомек, в чем дело? Сколько лет я выходил на задний двор и клял господа, и сколько лет я выходил на галерейку и клял весь свет, и сколько раз приходил домой надравшись и колотил тебя без всякой твоей вины, а тебе все невдомек, в чем дело? В Оливере дело, баба! — ору.— В Оливере! Они его в больнице уморили потому только, что он черный. Ни один доктор к нему не подошел, и он кровью истек, а все потому, что он черный. А ты еще спрашиваешь, что со мной стряслось?

Замолчал, гляжу на нее. И чую, по лицу моему катятся жаркие слезы. Чую, губы у меня трясутся, я сжал их покрепче, а слезы все равно знай катятся. Давно я с ней так не разговаривал. А уж слез моих она не видала и того давней. И голову не отворачиваю. И лица не вытираю. Стою и гляжу на нее. Сперва она напугалась. Потом обозлилась — с перепугу, понятное дело, обозлилась.

— Неисповедимы пути господни,— говорю ей.— Он дает мне, старому негру, случай — пусть, мол, старик не напрасно проживет жизнь. Он мне дает такой случай, и я его не упущу. Я пойду в Маршаллову деревню. А там пусть хоть и умру. Я знаю, что я совсем старый, а может, и полоумный, а все равно туда пойду. И тебе тут ничего не поделать. Молись, если тебе так легче. Молись за нас, за всех старых дурней. Но остановить меня не пытайся. И да поможет мне бог, а ты и не пробуй меня остановить.

Тут слышу, Клэту гудит, ну я утер лицо и вышел на галерейку. Клэту сидел в старом зеленом грузовичке, на котором он овощи со своего огорода развозил. В соломенной шляпе, в белой рубашке и при галстуке. Клэту, он не давал забыть, что у него своя торговля.

В кабине с ним сидели Билли Вашингтон и Жакоб Агийяр. Билли жил в Сайло, а Жакоб — в Мулатском поселке. Жакоб и прочие мулаты не больно якшались с теми, кто потемнее, но сегодня и Жакоб приехал.

В кузове сидели Сажа и Персик Белло. Персик, он желтый с краснинкой, темные волосы курчавятся шапкой. Я влез в кузов, подсел к Персику с Сажей. Пока Клэту разворачивался, Элла вылезла на галерейку — посмотреть, что мы будем делать.

— Видать, никого без боя не отпустили? — спрашивает Персик.

— Моя нипочем не хотела меня пускать,— говорю.

— А я в магазине был, когда позвонили,— говорит Персик.— Моя и знать ничего не знает. А я, конечное дело, не стал ей звонить докладываться.

У Персика Белло торговля вином и бакалеей на шоссе между Сайло и Батон-Ружем.

— А я своей так и сказал: смотри, чтоб к моему приезду обед был на столе,— говорит Сажа.— Ей невдомек, куда я еду. Да, похоже, и наплевать.

Мы разместились на полу кузова, спинами в кабину уперлись, ноги вытянули. Около Персика Белло лежали два дробовика двенадцатого калибра, один он мне отдал. Дал и пару патронов к нему.

— Это тебе Лиола послала,— говорит.

— Все патроны расстреляли? — спрашиваю.

— Я расстрелял,— Сажа говорит.

— А я свой поберегаю, пока на поле не выйдем,— говорит Персик.— Неравно заяц повстречается. Чего попусту хороший патрон расходовать.

— Клэту нас ссадит перед самой Маршалловой плантацией,— Персик говорит.— А там пройдем полем и задами выйдем к Мату. Клэту еще за другими надо съездить. Похоже, в Маршалловой деревне сегодня прорва народу соберется.

— Это уж точно,— тихонько говорит Сажа.

Сажа сидел посередке. Ростом он пониже меня и Персика Белло будет. Да и почернее меня и Персика, за то его Сажей и прозвали. Когда друзья его Сажей зовут, он не против, он знает, это не в обиду ему говорится, но чтобы белые его звали Сажей, не терпит. Папаша мой, всякий раз напомнит, нарек меня не Сажа, а Роберт Луи Стивенсон Бэнкс, а им хоть бы хны, посмеются над ним, и опять он у них Сажа да Сажа.

Гляжу я на Сажу — он посередке между мной и Персиком сидит. На моего старого друга, друга старого, с которым мы всю жизнь рыбалим. Я Сажу спокон веку знаю. Ближе его у меня теперь друга нет, остальные-то все перемерли.

— Как ты, приятель? — говорю.

А он глядит на меня и ухмыляется. «До смерти боюсь,— говорит.— До смерти боюсь,— говорит,— но я здесь».

Я кивнул ему и ухмыльнулся в ответ. Я и сам боялся до смерти. И все равно у меня на душе было славно оттого, что и я, и Сажа, и Персик, и остальные отважились на такое, на что не отваживались всю нашу жизнь.

ГРАНТ БЕЛЛО, он же ПЕРСИК

Янки поджидал нас за кустом, по ту сторону дороги, что ближе к реке. Клэту притормозил, и старикан Янки запрыгнул в кузов на ходу. Клэту даже останавливаться не пришлось. Янки прежде ковбоем был и по сю пору себя ковбоем мнит, хоть ему и перевалило за семьдесят. Лет тридцать — сорок тому назад Янки объезжал лошадей и мулов и посейчас одевался как в ту пору. Соломенная шляпа заломлена лихо, на ковбойский манер. Вокруг шеи наверчен линялый красный платочек в горошек. Брюки заправлены в сапоги, правда не ковбойские, резиновые. Сколько раз он ключицы, спину ломал, не счесть, оттого его при ходьбе и крепит наперед. Руки у него тоже ломаные-переломанные, так что теперь он их ни свести, ни развести толком не может. А все ковбоем себя мнит. Поначалу мы немного поговорили, потом больше помалкивали. Уж очень гордились. Я это по Янки видел; а Сажу и Мэта я хоть и не видел — они со мной рядом сидели,— но и так чувствовал, что они гордые. Гордые-прегордые.

А километра через полтора после того, как подобрали Янки, подобрали Чумазого в Толботе. Клэту пришлось гуднуть, Чумазый только тогда из-за дома вышел. Дробовик свой старый держит за ствол, приклад тащит чуть не по земле. Из угла рта самокрутка свисает. На самокрутке столбик пепла чуть ли не длинней самокрутки. Чумазому руку поднять лень, чтобы стряхнуть пепел. Столбик как подлиннее нарастет, сам падает. Чумазый вскарабкался в кузов и всех чохом поприветствовал.

— Здорово! — говорит.

Поздоровались и мы. Чумазый на Сажу глядит.

— Как жизнь, Сажа?

Сажа кивнул. Чумазый осклабился в ответ.

А километров через пять-шесть после того, как Чумазого подобрали, Клэту свернул с шоссе на грунтовую дорогу, ту, что Морганову плантации от Маршалловых отделяет. По обе стороны ее тростник рос, по одну сторону — морганов ский, по другую — маршалловский. Высоченный, аж к дороге клонится. Отъехали мы малость, чтобы с шоссе нас не видать, и Клэту грузовик останавливает: вылазьте, говорит. Ему надо назад на шоссе ворочаться — других подобрать. Ждите, говорит, нас на кладбище, а там все вместе пойдем к Мату. Так, думает, оно лучше будет, чем сходиться туда по одному, по двое. Развернул грузовик и покатил к шоссе, а мы пошли себе потихоньку.

Жакоб и Мэт впереди, Сажа впритык за ними. Жакоб свое ружье на плече по-солдатски несет. Мэт свое под мышкой, дулом к земле, по-охотничьи. Сажа тоже под мышкой ружье несет, только до Мэта и Жакоба ему далеко — выправки у него той нет. Шаркает, голову свесил, словно следы в пыли разглядывает. Случись Мэту с Жакобом остановиться, он бы в них врезался, ей-ей. Мы с Янки за Сажей идем, а за нами Чумазый и Билли Вашингтон. Билли ружье вскинул, но оно у него ерзает по плечу. Так впору палку нести, не ружье. Билли и в амбар нипочем не попасть даже с двух шагов. Следом за ним Чумазый идет, волочит по пыли дробовик. И не скажу, кто из них жалчей выглядит: Чумазый, Билли Вашингтон или Сажа. Скажу одно: вид у них у всех не больно боевой.

А по обе стороны от нас тростник стоит, высоченный, иссиня-зеленый, слева — Морганов, справа — Маршаллов. Только теперь он уже не Маршаллов был. Бо Бутан всю как есть плантацию у Маршаллов заарендовал. Уже лет двадцать пять — тридцать как Бо и родня его всю землю тут заарендовали. Ту самую землю, на которой мы работали, на которой отцы наши работали, на которой деды и прадеды наши работали еще со времен рабства. А теперь она вся как есть его была, мистера Бо. Точнее сказать: была его до полдня, до сегодняшнего.

Прошли мы километра с полтора и повернули направо — тут межа начиналась. Здесь тоже тростник рос, но только по одну сторону. Слева тростник убрали и увезли, так что стало видно болото. И такая меня тоска взяла. На старости особливо, когда тростник рубят; как вижу пустое поле, меня всегда тоска берет. Борозды стоят оголенные, серые, тоскливые — ни дать ни взять старый дом, откуда все жильцы съехали. Откуда твои друзья съехали, и дом стоит пустой, нежилой, и никого, кроме привидении, там не встретишь.

Смотрю я, смотрю на поле и тут слышу — выстрел. Повернулся — вижу: крольчишка прыгает по пустым бороздам. Пока я целился, он уже на середину поля ускакал, прыгает с одной голой борозды на другую, только ушки мелькают. Оглянулся посмотреть, что Билли и Чумазый поделывают. Смотрю — Билли ружье опускает. Мы с Янки чуток подождали, пока они с Чумазым нас нагонят.

— Ну что, Билли, промазал?— спрашиваю.

Билли промолчал. Ни на меня, ни на Янки не глядит. Стыдно ему.

— Ты хоть в Фикса-то не промажь,— поддел его Чумазый. У Чумазого изо рта самокрутка торчит, голову набок свесил, чтоб глаза дым не ел.— Кролик совсем рядом был, я уже дробовик занес, хотел его прикладом оглоушить, да ладно, думаю, пусть Билли пользуется.

— Да он же побежал,— говорит Билли. Спокойно так говорит. А в нашу сторону и не глядит.

— Ты об него споткнулся, вот он и побежал,— не унимается Чумазый.

Билли даже головы не поднял.

— Будет у тебя и другой случай, Билли, погоди маленько,— говорю.

И снова пошли себе потихоньку. Мы с Янки — впереди, Билли и Чумазый за нами. Мэт, Жакоб и Сажа постояли-постояли и тоже пошли следом. Слышу я, позади Чумазый заливается. На минуту затихнет и опять смеется-заливается. Я-то знаю, это он над Билли смеется. Уж не дурной ли это знак, опасаюсь: может, если Билли и по кролику промазал, нам сегодня ни в чем удачи не будет.

А впереди уже завиднелись масличный орех и дуб на кладбище в Маршалловой деревне. На кладбище было с десяток деревьев и могильных камней почти столько же, ну разве чуток побольше. А двадцать пять — тридцать лет тому назад там и всего-то два-три могильных камня стояло. Когда я мальчонкой был, никто никаких камней не ставил. У каждой семьи свой участок был, и все знали, где чей. Если семья большая и ей своего участка не хватало, они себе еще земли отрезали, и подчас у той семьи, что поменьше. А что тут такого? Все мы из одного округа, все при жизни так перепутались, что после смерти сторониться друг друга и подавно не резон. На старом кладбище черных хоронили еще с рабских времен. Мне семьдесят четыре, а там еще мои дед с бабкой похоронены.

Присели мы на корточки под орехом, прямо у кладбищенской ограды. Земля вокруг вся орехами засыпана, а подымешь голову, на дереве орехов тьма-тьмущая и почитай что все порастрескались. Пойди дождь или подуй ветер посильней — они разом и попадают. Орех нынче уродился на славу.

Посидели мы так минут десять, от силы пятнадцать, и Жакоб поднялся и на кладбище прошел. Глянул я через плечо — вижу, он на Тессиной могиле сорную траву полет. Тесси — это сестра его. Красивая мулатка, из тех, что любят хороводиться с мужиками, с белыми, с черными — без разбору. Белые не хотели ее делить с черными, велели ей подальше от них держаться. Но она белых не больно-то слушалась. Ну они и убили ее. Прогнали через всю деревню, покамест в самую реку, в Сент-Чарльз, не загнали — на масленой, в сорок седьмом.

А дальше вот что было. Ее же сродственники из Мулатского поселка отказались забрать ее домой. Она против их воли пошла, когда поселилась здесь — среди тех, кто потемней кожей. Сам-то я не темный, я светлый не хуже их, только я не из французов, а раз так, значит, они меня не считают ровней, сортом пониже держат. Себя-то они держат за самый что ни на есть первый сорт, а вот Тессино тело домой не взяли. Похоронили ее рядом с теми, с кем она жила. Может, Жакоб потому сегодня с нами и пошел, что уж больно плохо он с сестрой обошелся лет тридцать с лишним назад и теперь загладить хотел свою вину перед ней. А как всю сорную траву с ее могилы повыдергал, стал на колени у могилы и крестным знаменем себя осенил. А за ним и все мы потянулись на кладбище, разбрелись по могилам родни своей.

Тут такие могилы есть, что к ним и не подойти — дорожки по колено заросли сорной травой. Обычно кладбище расчищали, если кого хоронят, ну и на Всех святых. Но здесь давно уж никого не хоронили, а Всех святых еще только через месяц, так что сорной травы там страшная сила. А уж сколько орехов, желудей в траве — идешь, так под ногами и катаются, только хруст стоит.

И каждый пошел к своим, на свой участок. А где кто лежит, точно не знаем. Кого похоронили лет двадцать — двадцать пять назад, про того, конечно, знаем точно. А кого, к примеру, схоронили лет сорок — пятьдесят назад, и не скажешь — тот ли в той могиле лежит, кого ищешь, или кто другой. Со временем почитай все могилы перепутались и не разберешь, где чья.

Чумазый подальше, к углу ограды отошел. Мы его родню обегали. Держали их за нестоящих людей — они ведь пальцем пошевелить и то за тяжкий труд почитали. От всего от их рода теперь один только Чумазый и остался. Может, потому он сегодня с нами и пошел, чтоб одному за всех своих постоять. А может, и все мы сюда сошлись, чтоб за всех постоять.

Опустился я на колени, помолился над могилками над своими и побрел туда, где Чумазый на отшибе стоял. Орех грыз и глядел на могилы, сплошь сорняком заросшие. Чумазый — он и на колени не стал, и траву ни с одной могилы не выполол. А тут и такие могилы были, что и вовсе осели.

— Вот там мой брат Габ лежит,— говорит Чумазый. И сызнова орех разгрыз, так что куда он смотрит, я не понял. Колол он орехи не руками — орех об орех, а разгрызал по одиому.— А вон мама моя Жюди, а вон там папа мой Франсуа,— говорит. А я никак не пойму, куда он смотрит.— А тут где-то дядя Нед,— говорит.

Участок его чуть не весь осел, зарос сплошь сорной травой, так что куда уж там Чумазый смотрел, и не скажешь. Я на него не глядел, потому и не видел, переводил он глаза с одной могилы на другую или нет. Я так думаю, что нет — мне ли Чумазого не знать. Перетрудиться боялся. Чумазый глазом моргнуть — и то за тяжкий труд почитал.

— Эвон сколько нас тут,— говорю и оглядел кладбище. Вижу: Мэт, Сажа, Янки и все-все стоят, каждый у своих могил.— Хочешь, чтоб тебя тут похоронили? — спрашиваю Чумазого.

— Почему бы и нет, пока что кладбище еще не снесли,— говорит.

— Старые-то кладбища теперь разоряют одно за другим,— говорю.— Белые, что нынче сюда понаехали, мертвых не больно почитают.

И гляжу на поле, на голое, по ту сторону ограды. Борозды шагах в двадцати — тридцати от кладбища начинаются. Тростник Бо успел убрать и свезти, так что аж болото видно. Гляжу я на длинные борозды сжатые, и тоска меня взяла, и стародавние времена вспомнились.

— Бо с Чарли много успели убрать,— говорю Чумазому.

— Но больше Бо убирать не придется, это точно,— говорит Чумазый.

— Ты что об этом думаешь, Чумазый? — спрашиваю.

— Я на это так смотрю,— говорит.— Сколько мне еще времени осталось?

Только всего и сказал. И не договорил даже. Чумазый — он такой, ничего до конца не доводит. Силы бережет. И Чумазый такой, и вся его родня такая, для них первое дело — сил не потратить.

— А раз тебе немного времени осталось, хочешь остаток этот прожить не зря? — спрашиваю, стараюсь подбить его на разговор.

— Вроде того,— говорит. И еще орех разгрыз.

— Родня твоя будет тобой гордиться, Чумазый.

— Надо полагать, как нынешний день кончится, многим из тех, кто здесь лежит, будет чем гордиться,— говорит.— А кое-кому из нас придется и рядом с ними здесь лечь.

— Думаешь, до этого дело дойдет?

— Это уж от Фикса зависит,— говорит он и глядит на меня, ухмыляется. Потом отвел глаза и говорит: — А вот и Клэту подоспел.

Они подходили с той стороны дороги, где проложены рельсы. Клэту впереди, в правой руке у него дробовик, слева, под мышкой, коробка из-под ботинок. За ним, на шаг отступя, Дин и Дон Лежены с протока Двух Индейцев. Оба — в защитном, в соломенных шляпах, и если вплотную к ним не подойти, нипочем не скажешь, кто из них кто есть, а если не знать, что у Дона шрам на левой щеке, так и не скажешь, с кем говоришь. Следом за ними Простокваша Хорнби, альбинос из Жарро, сам по себе идет. Издаля у Простокваши что лицо, что волосы в один цвет — белее белого. И бог весть для чего ему дробовик. Он ведь бесперечь моргает. И не то что убить кого, а и прицелиться толком не может. За Простоквашей — Жан Пьер Рикор и Гейбл Роан. Вот уж кого не чаял увидеть, это Гейбла. Он теперь из дому и не выходит никогда. Разве что в церковь, а больше никуда. А за ним и Жан Пьером — Седрик Такер и Сидни Брукс. Седриков брат, Сайлас, последним черным издольщиком здешним был. Он тут и похоронен. За Седриком — Сидни Брукс, его у нас Простая Душа кличут. Простая Душа шел в солдатской, еще с первой мировой форме. При фуражке, через плечо — портупей. Ружье — на другом плече, на солдатский манер. Мы ушли с кладбища и двинулись им навстречу. Там, под орехом, и сошлись. Кое-кто сразу на корточки сел, притулился к проволочной ограде.

— Все выстрелили? — Клэту, едва подошел, первым делом спрашивает.

— Билли кролик на ногу сел, он в него стрельнул и промазал,— говорит Чумазый. Чумазый — он на корточках у ограды сидел.

Кое-кто засмеялся шутке Чумазого.

А Билли ему и скажи:

— Кролик и бежал, а ты, Чумазый, сидишь и не забывай об этом.

И снова все засмеялись. Негромко. Спокойно. Задумались, видно. И тревоги в смехе том было больше, чем веселья.

— Чего ты развоевался, еще навоюешься,— говорит Клэту Билли Вашингтону.— Те, кто не стрелял, стреляйте,— говорит. — Она велела стреляные гильзы принести.

— А чего мы будем делать с этими гильзами, в Фикса, что ли, их кидать? — спрашиваю я Клэту.

— Это ты у нее сам спроси, как туда придешь,— говорит Клэту.— Кто еще не стрелял, стреляйте по деревьям. Пусть в Усадьбе услышат.

Пятеро-шестеро вскинули ружья и выстрелили. Орехи, желуди, листья посыпались с деревьев на просевшие могилы.

— Кто желает что сказать, перед тем как дальше идти,— есть такие?— спросил Клэту.— Есть такие, кто хочет обратно поворотить? Там сегодня жарко будет. Есть такие?

Обратно никто поворотить не хотел — не нашлось таких.

— Ладно,— говорит Клэту.— Пошли. Голову выше, подтянись! Чтоб как солдаты идти, не как бродяги! Договорились?

Сам первым зашагал, дробовик в одной руке, коробка из-под ботинок — в другой. За ним Мэт и Жакоб, а за ними следом и все мы. Жан Пьер, Билли Вашингтон, Сажа изо всех сил стараются, головы вверх тянут, спины распрямили.

СИРИЛ РОБИЙЯР, он же КЛЭТУ

Кэнди встретила нас у калитки, вернее, там, где раньше калитка была,— теперь там ни забора, ни калитки. Кэнди стояла по одну сторону канавы, мы — по другую. Кэнди — она мелкая, щуплая, невысокого росточка и ходит всегда в брюках, в рубашках. В платье ее никто не видал. Спасибо, что пришли, говорит. До того обрадовалась, как нас увидала, прямо вся сияет. То одному спасибо скажет, то другому, то третьему. Она почитай что всех по именам знает, да и как не знать, в одном округе небось живем, и она весь день по округу колесит. А как каждый перекинулся с ней словечком, снова на меня поглядела. Она знала, что я овощи на продажу рощу, и смекнула, что это я всех подвез на своем грузовике. И давай мне рассказывать, что да как приключилось. Я ее выслушал, хотя сразу понял: врет она. Перво-наперво мне было известно, как ее семья, а она пуще всех, обязана Мату. А потом уж больно она старалась, чтобы я ей поверил. Здешние белые, когда тебя в чем хотят убедить, умеют так глянуть, что поопасешься им не поверить. И вдобавок уж больно складно она говорила, больно гладко — сразу видать: не впервой рассказывала.

Выслушал я ее и гляжу на Мату — он на корточках к стене притулился, в руках дробовик держит. На нас не глядит, глядит поверх наших голов на деревья по ту сторону дороги. И вид у него такой, словно ему без разницы, что мы пришли, что не пришли. Мату — он из сингалезских негров, черный аж синевой отливает. И вечно похваляется, что в нем в все белой крови нету. А всех нас, у которых она есть, ниже себя держит. У меня кожа коричневая — дед мой белый, бабка наполовину индианка, наполовину черная, а родители — те оба черные, потому меня Мату не так низко держит, как других прочих, Жакоба, скажем, или Персика, или братьев Леженов. Простокваше и Кочету он еле кивнул. Кочет — он смуглый, с черными, курчавыми волосами; Простокваша — тот белый, как молоко, а волосы у него тоже курчавятся, только белые. Так вот Мату хоть одному, хоть другому кивнул головой — и только.

Мы прошли во двор, обстали Бо — он в траве лежал. Глаза и рот раскрыты, лицо грязью заляпано, в темных волосах семена запутались. Дробины ему в левую сторону груди угодили, всю рубашку разодрали. Кровь запеклась, ее обсели мухи.

Поглядел я на Бо и пошел пожать руки Руфу Сиберри, Джонни Полу и Кочету Джексону — они у огородного плетня стояли. Говорить нам было особо не о чем, они мне кивнули только, но так кивнули, что видно было, какие они гордые, что сюда пришли.

Гло Эбер, Хейзл Робинсон и Кочетова баба, здоровущая Бьюла Джексон, сидели на крылечке. Гло облепили трое внучат, мал мала меньше. Чтобы подойти пожать им руки, мне надо было миновать его преподобие Джеймсона. Джеймсон, он здешний священник, и из всех нас только он был без ружья, и только он смотрел на всех на нас зверем. Я пожал руку Гло, она выпустила мою руку не сразу. Тому, я знал, были две причины. Ее беспокоило, что с нами станется, если нагрянет Фикс,— это первое. И она гордилась, что мы все здесь собрались,— это второе.

Хейзл и Бьюле тоже пожал руки, с Коринной перекинулся парой слов — она сидела на галерейке в качалке. Вытянулась, ровно палку проглотила, и не шелохнется — ну пугало пугалом. Ни с кем ни словом не перемолвится, никому не кивнет, смотрит во двор и ничего и никого не видит. Я прошел в конец галерейки поговорить с Мату.

— Ты как, ничего? — спрашиваю.

— Ничего,— отвечает, а на меня не глядит.

Я обошел дом и спрятал коробку из-под ботинок под домом, у второй сваи. А когда обратно мимо Мэта прошел, рукой ему помахал, и он мне кивнул. Потом сел в конец галерейки, стал глядеть на Мату. Остальные по двору разбрелись. Одни отошли к плетню потолковать, другие там, где галерейка кончалась, собрались. Чумазый, а с ним и еще кое-кто, те прямо посреди дорожки расселись. Кэнди во двор вернулась и стала у крылечка, около Гло с внучатами. А на отшибе от всех от нас стоял Джеймсон. Глаза у него с одного на другого перебегают. Чего-то хочет сказать, а как подступиться, не знает.

— Что скажешь? — спрашиваю Мату.

— Это она всех созвала, я не звал,— говорит, а на меня и не глядит, глядит на дорогу, туда, где трактор стоит. Мотор у трактора так никто и не заглушил, но Мату

на трактор не смотрел. Глядел поверх трактора, поверх прицепов с тростником на деревья на дальнем лугу.— Как он приедет, я сразу объявлюсь,— говорит.

— Ты хочешь сказать: это я объявлюсь? — от огородного плетня Джонни Пол подал голос. Дробовик под мышкой зажал, стволом к ноге. — Чего я сделал, ты себе не приписывай.

— Твой черед после меня,— Руф говорит. Он рядом с Джонни Полом у плетня стоял.

— Меня не обойдите,— с другого конца двора подал голос Мэт.

— Ты-то как его мог застрелить? Ты здесь и не живешь,— говорит Джонни Пол.

— А все коршун,— говорит Мэт и на небо глядит. А небо ясное, голубое, ни облачка на нем. И теплынь на дворе, хоть и октябрь.— Коршун, чтоб ему, бесперечь у меня цыплят таскает. Вот сегодня я и говорю Саже: возьму-ка я дробовик и пойду поохочусь на коршуна, чтоб ему пусто было. Бежал вслед за ним от самого Медлоу до Маршалловой деревни. А чтоб подбить влет, случая не вышло.— А сам все на небо смотрит, будто коршун вот-вот у него над головой пролетит.

— Он мне и точно на коршуна жаловался,— Сажа голос подал. И тоже на небо глядит. Даже отступил чуток, стал глядеть на орех за домом Мату.— Потому и я ружье достал и тоже побежал вслед за коршуном за этим.

— А чего это я никого из вас не видал? — говорит Дон Лежен. Они с братом Дином стояли на дорожке против Сажи.— Я тут с Мату чуть не все утро проговорил, а не видал...

— А и я тебя не видал,— говорит Дин.

— А вот это ты видал? — Дон ему шутейно кулаком погрозился.

— А ты это вот видал? — Дин ему в ответ тоже кулаком погрозился.— Ты меня не зли. Меня разозлишь — хорошего не жди, кому-кому, а тебе это известно.

— Как же, как же,— говорит Дин.— Только тебе и в амбар из пушки не попасть. И здесь, на пестоке, это каждая собака знает.

Все как сговорились. Один толкует — он убил, другой — нет, он, и так один за другим. Простокваша, Жан Пьер, Билли, Кочет, Простая Душа — один за другим. Чумазый — он на дорожке сидел — вынул самокрутку изо рта и сдул пепел. Только не сразу. Сначала подождал: может, пепел сам упадет. Увидел, не падает, тогда сдул. Но сначала скосил глаз на самокрутку, проверил. И только потом на нас посмотрел.

— Братцы, это что ж такое деется, я убил, а меня и в расчет не берут? — спрашивает.

— Слышь, Чумазый, тут в очереди настоишься, прежде чем Бо застрелить дадут,— говорит Персик Белло.

Чумазый посмотрел на самокрутку, постучал по ней пальцем, потом снова сунул в рот.

— А что, если нам со старичком Гарри пострелять чуток, чтобы эту очередь подсократить и вперед продвинуться,— говорит.— Что скажешь, старичок? — дробовику своему говорит.— Как ты насчет того, чтобы очередь подсократить?

Пока они перешучивались, я смотрел на Джеймсона и видел, что он все больше накаляется. Джеймсон — он низенький, лысый, черный как уголь старикашка, а усы и борода у него совсем седые. Лысина под солнцем под жарким блестит чисто зеркало.

— Еще день не кончится, а вы другую песню запоете,— говорит он.— Помяните тогда мои слова.

— Ваше преподобие, я же говорила вам, чтобы вы шли домой,— с другой стороны крылечка Кэнди голос подала.— Я вам уже битый час твержу: идите себе домой, вы же не хотите быть здесь. Мне надоело повторять вам одно и то же.

— Кэнди, я здесь живу,— говорит Джеймсон.— И если деревню спалят, мне жить будет негде.— Повернулся к нам, на лысине пот крупными каплями выступает и вниз по лицу текет.— Вы хоть понимаете, чего я вам втолковываю? — спрашивает.

Никто Джеймсону не ответил. Глаза у него с одного на другого перебегают, а никто ему не отвечает. И никто почитай на него и не глядит. Он подошел поближе к галерейке.

— Мату, да объявись ты, Христа ради,— упрашивает.— Ну пожалуйста.

А Мату через голову его на деревья на дальнем лугу глядит. И ничего ему не отвечает.

Джеймсон прошел в конец галерейки, ко мне подошел. Плачет. Губы сжал, ну а слезы все равно не скроешь — так по лицу и текут.

— Клэту,— говорит.— Ты-то все понимаешь. Поговори с ним, скажи ему, чем это кончится.

Я на это ничего не сказал. И глядеть на него не стал. Глядел на трактор на дороге. Мотор у него так никто и не заглушил.

— Клэту, ну пожалуйста,— говорит Джеймсон.— Пожалуйста.

— Я пришел сюда за себя постоять, а не разговоры разговаривать,— говорю, а на него так и не гляжу.

А он все глядит на меня. Стоит около меня, плачет, губы сжал, глаз с меня не спускает.

— Зачем вы все сюда сошлись? — говорит.— Чтобы умереть? Надеетесь так обиды свои избыть? Вот на что вы надеетесь?

Я ничего ему не сказал. И глядеть на него не стал. Видел краем глаза, что он губы опять сжал, а слезы по его лицу как катились, так и катятся.

Теперь он на Кэнди глядел.

— Вы довольны?— спрашивает.— Довольны? Думаете, для него хорошо сделаете, если эту землю зальете кровью?

И она ему тоже ничего на это не сказала. А он глаз с нее не сводит. Мне краем глаза видно. И как все его не замечают, так и она не замечает. Он от нее отвернулся и обращается к нам:

— Шли бы вы домой, глупые старики,— говорит.— Домой бы шли.

А его как никто не замечал, так и не замечает.

Я повернулся к крыльцу.

— Что скажете? — говорю Кэнди.

Она обернулась и на меня смотрит.

— Дальше-то что? — говорю.

— Все выстрелили? — спрашивает.

— Все. И стреляные гильзы сберегли.

— И у всех гильзы из-под пятого номера?

— У всех,— говорю.

— Всем понятно, Клэту, зачем они нужны?

Я кивнул. Она еще на меня поглядела, потом перевела глаза на Мату и опять стала на дорогу смотреть. А я думаю: «Ты ведь для него на все пойдешь? Ни перед чем не остановишься?»

Джеймсон — он тоже с нее глаз не спускал — решил, что сейчас самое время опять на нее насесть.

— Вы что, надеетесь так Мейпса обмануть? — спрашивает он Кэнди.

Она ничего ему не ответила. Тогда он снова ко мне обратился:

— Вы что, думаете, Мейпс рехнулся? Во дворе у Мату мертвый Бо лежит, перед самым перед домом его трактор с незаглушенным мотором. А из вас есть такие, что живут и в Сайло, и в Мулатском поселке, и в Байонне, за пятнадцать, за двадцать километров. Вы что, не соображаете, Мейпс мигом смекнет, что из вас и половины в то время здесь быть не могло? Совсем, что ли, рехнулись?

— Ваше преподобие, вы бы лучше помолчали,— говорит Бьюла.— Помолчали бы лучше. Вас никто не слушает, так что вы бы лучше помолчали. И послушались бы Кэнди, шли бы себе домой. Все равно сегодня никто вас слушать не будет.

— А что, если мне его застрелить? — говорит Кочет.— Ты как думаешь, Чумазый, может, мне его застрелить?

— Не стоит, сам помрет,— говорит Чумазый.— Может, он, прежде чем стрельбе начаться, сам к нам переметнется.

Кое-кто посмеялся ихним словам.

Посидели, помолчали, потом видим — пыль клубится. Машину мы и не видели — только столб пыли над деревьями, над кустами, над бурьяном к нам летел. Мы гадали: уж не Мейпс ли это припожаловал, но тут машина подкатила и остановилась. И за холостыми стеблями бобовыми, за кустами, за бурьяном по обочинам канавы я разглядел голубую спортивную машину Кэндиного дружка. Кэнди вышла ему навстречу. А мы все, кто где был, там и остались.

ЛУИ АЛЬФРЕД ДИМУЛЕН, он же ЛУ ДАЙМС

Я все терялся в догадках, кто в Маршалловой деревне — нет-нет, не убил,— а кто мог бы убить Бо Бутана. Там одни старики живут. Молодежь вся разъехалась кто куда, а там остались одни старики, ну и несколько ребятишек. Так вот, кто бы мог его убить? Только не Чарли. Я не раз видел, что Бо обращался с Чарли хуже, чем с собакой, а Чарли боялся на него поднять глаза, а уж голос и подавно. Кто же тогда? Джени, когда я с ней говорил по телефону, была в такой панике, что не могла толком ничего объяснить. Сказала только, чтобы я приезжал скорее, потому что Кэнди нуждается во мне. Это Кэнди-то? Я с Кэнди знаком уже три года и не помню случая, чтобы она нуждалась в ком-то.

Шестьдесят без малого километров от Батон-Ружа до Маршалловой деревни я проехал за полчаса. Просто чудо, что вся дорожная полиция Луизианы не села мне на хвост.

Только остановил машину, глядь, на дорогу выходит Кэнди. Совершенно спокойная на вид, а я-то боялся, что она потеряет голову. Но она волновалась куда меньше меня.

— Рада, что ты приехал,— говорит.

— Что случилось? — спросил я, когда уже вылез из машины.

— Посмотри туда,— говорит и мотнула головой через плечо. Я поглядел, но за бурьяном и кустарником по обочинам канавы ничего не увидел.

— Что случилось, Кэнди? — спрашиваю опять.

— Я его убила,— говорит она и глядит на меня в упор. Потом повернулась, чтобы идти во двор, но я схватил ее за руку.

— Ты что сказала?

— Я убила Бо,— говорит и выдернула у меня руку.

Я постоял еще на дороге. Сердце у меня билось часто-часто; билось — не то слово, казалось, оно вот-вот выскочит. Я потряс головой. Нет-нет, не мог я такого слышать, это я ослышался, и пошел за ней. Но едва дошел до Кэндиной машины, как снова остановился. Будто на каменную стену налетел. Передо мной и впрямь встала стена, только не прямо передо мной, а шагов на двадцать—тридцать подальше. Но не каменная, не кирпичная и не деревянная — стена черных стариков с дробовиками. Не скажу точно, сколько их собралось: человек пятнадцать—семнадцать стояли, сидели на корточках, сидели на земле, рассыпались по всему двору. Кого-то поджидали. Явно поджидали. Но только не меня. Это было яснее ясного. Кое-кто из них меня и вовсе не заметил.

Тут я понял, что могу смело идти во двор, перешагнул канаву и подошел к Кэнди. У ее ног лежал Бо Бутан, глаза и рот раскрыты, лицо в разводах грязи, в темных волосах запутались семена. Лет тридцати, смазливый, весом килограммов под восемьдесят. В брюках, в рубашке защитного цвета и в ковбойских сапогах. Его соломенная шляпа тульей вниз валялась в траве неподалеку от меня — слева. Дробовик валялся шагах в двух — справа. Я нагнулся, поднял волосатую, всю в разводах грязи ручищу Бо, подержал и выпустил. С его покрытой запекшейся кровью груди слетел рой мух и тут же сел обратно.

Я распрямился и снова поглядел на стариков. Ни один из них не сказал ни слова и не шелохнулся. Кое-кто смотрел на меня, но таких было мало.

Я пригляделся к ближайшему старику. Скорее всего ему перевалило за семьдесят, но их возраст не всегда определишь. Он был примерно тех же лет, что и другие старики с дробовиками. В комбинезоне, в джинсовой рубашке, в ветхой серой шляпе, в полуботинках с кожаными шнурками на босу ногу.

— Это я его,— говорит.

Без злобы. Без угрозы. А если и с гордостью, то без бахвальства. Не дожидаясь моего вопроса, прямо так и сказал: «Это я его».

Я перевел взгляд на другого старика. Он сидел на корточках у огородного плетня, покуривал. Приклад его дробовика упирался в землю, ствол лежал на коленях, он разглядывал трактор на дороге. Проклятый трактор занимал старика настолько больше меня, что я едва удержался, чтобы самому не обернуться на трактор.

— А как насчет тебя?

Он кивнул. У него, видно, было замечательно развито боковое зрение — и не глядя на меня, он понял, что я обращаюсь к нему.

— Я его убил,— говорит.

Я выбрал еще одного старика — повесив голову, он сидел на крыльце. Постукивал прикладом о лежавший на земле кирпич. Интересно, думаю, заряжен его треклятый дробовик или не заряжен?

— А как насчет тебя, там, на крыльце?

А он все стучит прикладом о кирпич. Голову и то не поднял.

— Да, сэр. Это я его убил.

Понятно, думаю, понятно. Смельчаки все как один, вот оно что.

Перевел взгляд на священника — он стоял на отшибе. Жалкий, лысый, замотанный, тщедушный. Из них всех только у него был испуганный вид. Он обливался потом — упарился, наверно, споря с ними.

— Ваше преподобие, не могли бы вы объяснить мне, что здесь происходит?

— Вы уж лучше ее спросите, мистер Лу,— говорит и кивает на Кэнди.— Она велела мне помалкивать, а нет — идти восвояси.

Я обернулся к Кэнди — она стояла позади меня всего в двух шагах.

— Так как?

— Что, так как? — говорит и подняла на меня глаза.

— Ты что, не слышала их?

— Слышала.

— И ты все еще будешь утверждать, что это ты его убила?

— Буду.

— Ты лжешь, Кэнди. И сама понимаешь, что я понимаю, что ты лжешь.

Тут она как взовьется. Плевать ей, говорит, верю я ей или не верю. Чарли и Бо, говорит, подрались в поле, и Чарли примчался к Мату. Она как раз была во дворе, разговаривала с Мату. Чарли и двух минут здесь не пробыл, как за ним примчался Бо с дробовиком. Она ему сказала, чтобы он не смел входить во двор, а он все равно вошел, и тогда она схватила дробовик Мату и застрелила его. И плевать ей, кто ей верит, а кто нет, говорит, потому что это правда.

— А эти старики зачем сюда пришли? — спрашиваю.

— Чтобы меня защитить, так я думаю.

— С каких это таких пор ты у них ищешь защиты?

На это она не нашлась что сказать. Я поглядел на Бо, на мух, обсевших его грудь.

— Может, кто принесет чем его накрыть? — говорю.

— Коринна,— крикнула Кэнди женщине, сидевшей на галерее в качалке.— Принеси из дому простыню или что-нибудь еще.

Коринна, в буром платье, вылинявшем до того, что не разберешь, какое оно раньше было — синее или лиловое, встала с качалки и прошла в дом. Чуть погодя вынесла покрывало, вылинявшее до того, что не разберешь, какое оно раньше было — зеленое, розовое, синее или лиловое. Теперь же оно было такое же блекло-бурое, как и Коринно платье. Передала покрывало одному из стариков, сидевших поближе к галерее, а уж он принес его мне. Я смотрел на него, пока он шел ко мне, но он прятал от меня глаза. Передал покрывало и вернулся на свой пост на галерее.

— Ты позвонила Мейпсу? — спрашиваю Кэнди.

— Мисс Мерль приезжала сюда,— говорит.— Я просила, чтобы она позвонила Мейпсу, как только ты проедешь мимо ее окон.

— Кэнди, Христа ради, прежде чем Мейпс приедет, скажи правду. Это Мату?

— Я тебе уже сказала,— говорит.— Это я.

— Кэнди, Фикс не успокоится, пока не прольется негритянская кровь. Ты же это понимаешь?

Кэнди подошла ко мне поближе — она была мне по грудь,— глаза полыхают, губы трясутся: просто рвет и мечет.

— Этого подонка убила я,— говорит.— Так я заявлю Мейпсу, так заявлю и радио и телевидению. Этого подонка убила я. А тебя я позвала потому, что мне нужна твоя поддержка. Потому что у меня, кроме тебя, никого нет. Никого. Но если ты не хочешь оставаться, возвращайся в Батон-Руж. Я тебя удерживать не стану.

Мы сверлили друг друга глазами. Она понимала, что я не верю ни одному ее слову, и чем дальше мы глядели друг на друга, тем сильнее она злилась. Губы в ни-

точку собрала. Ее так и подмывало меня ударить, но она сдерживалась. Понимала, что ей без меня не обойтись.

Я отвернулся от нее, посмотрел на старых дураков вокруг. Не знаю, кого мне было больше жаль. Я знал, что не она убила Бо и что ей ничего не будет. Но кому-то придется поплатиться за то, что Бо здесь лежит.

Они завидели пыль на дороге раньше меня. Я повернулся, когда Мейпс уже остановился перед домом. Он сидел рядом с водителем, черный «форд» вел один из его помощников. Еще с минуту они посидели в машине, посмотрели на нас, потом вылезли. Мейпс еле двигался — видно, устал. Он был примерно моего роста, метр девяносто или что-то около того, но килограммов на сорок с лишним потяжелее. Ему давно перевалило за шестьдесят. На нем был летний серый костюм, серая шляпа и белая рубашка с красным галстуком. Помощник его — в бежевом костюме и при галстуке, но без шляпы — вылез с другой стороны. На вид ему можно было дать чуть больше двадцати. Росту в нем было около метра семидесяти и весил он от силы килограммов шестьдесят. Даже издалека бросалось в глаза, как он напуган. Вылез он без пистолета, но тут же нырнул за ним назад в машину. Мейпс кинул ему пару слов через плечо, и он положил пистолет на место.

Мейпс снял шляпу, обтер ее платком изнутри, потом лоб, шею, затылок, водрузил шляпу обратно, а платок сунул в карман, и все это не сводя с нас глаз. Потом, повернув лишь голову, обежал глазами трактор, у которого никто так и не удосужился заглушить мотор. С полминуты разглядывал его и снова перевел глаза на нас. Сунул пальцы в рот, извлек конфету — наверно, остатки мятного леденца. Обозрел его, потом отбросил и прошел во двор. Открывшаяся глазам картина ничуть его не удивила. Ручаюсь, что ни с чем подобным он до сих пор не сталкивался. Но он был человек тертый, на своем веку повидал много чего странного и, вполне возможно, вообще перестал удивляться. Помощник прошел за ним во двор, ни на шаг от него не отступая, как перепуганный малыш за отцом.

Мейпс кивнул нам, но ничего не сказал. Я кивнул в ответ, Кэнди — та воздержалась. Мейпс вперил в меня тускло-серые глаза, но тут же перевел взгляд на покрывало. И снова кивнул. На этот раз не мне, своему помощнику. Но помощнику было не до него, он глазел на стариков с дробовиками.

— Гриффин,— позвал Мейпс.

Помощник не откликнулся.

— Гриффин,— снова позвал Мейпс.

Гриффин отвернулся от стариков, поглядел на Мейпса, он, видно, был не уверен, что Мейпс его звал.

— Вы что-то сказали, шериф?

Мейпс кивком головы указал на землю. Прежде чем наклониться и сдернуть покрывало, Гриффин еще раз оглянулся на стариков. Увидев окровавленную рубаху, перепачканное лицо и перепачканные темные волосы Бо Бутана, он тут же отвернулся. Мейпс — тот не отвернулся, он добрых полминуты разглядывал труп, затем приказал Гриффину снова накрыть его покрывалом. Но Гриффин не слышал. Ему было не до того, он разглядывал стариков с дробовиками.

— Гриффин,— повторил Мейпс.

Гриффин поглядел на Мейпса, но Мейпс уже отвернулся от него. Не глядя на труп, Гриффин накрыл его покрывалом.

— Иди заглуши его,— говорит Мейпс.

— Что заглушить, сэр? — спрашивает Гриффин.

— Трактор,— уже потеряв терпение, говорит Мейпс.

Гриффин двинулся к дороге.

— Гриффин,— позвал его Мейпс. Спокойным, ровным, но не терпящим возражения тоном.

— Да, сэр,— отозвался Гриффин.

Мейпс не обернулся, и Гриффину пришлось возвратиться с полпути, чтобы предстать перед Мейпсом.

— Свяжись по радио. Передай, чтобы Расс — только Рассел, и никто другой,— вернулся к протоку и задержал там Фикса. Никому, кроме него, этого не поручай, пусть задержит Фикса и все его кодло, пока не получит приказ от меня. А Герману вели приехать за покойником. Но за кем, не говори.

Гриффин кивнул и снова двинулся к дороге.

— Гриффин,— окликнул его Мейпс все так же спокойно.

Гриффин остановился.

— Во-первых, выключи трактор,— распорядился Мейпс. Он говорил с Гриффином как с умственно неполноценным.— Во-вторых, позвони Рассу. В-третьих, Герману. Вели ему забрать покойника. Имени не называй. В-четвертых, у тебя не вылетит из головы все, что я тебе говорил, пока ты дойдешь до машины?

— Как можно, шериф?

Пока Гриффин шел к трактору, Мейпс не спускал с него глаз. Потом переключился на стариков с дробовиками.

— Я насчитал человек семнадцать-восемнадцать,— говорит.— Не просчитался?

— Я их не пересчитывал,— говорю.

— А вы? — спрашивает он Кэнди. Но к ней не поворачивается, так, стоя боком, и разговаривает. У него, похоже, уже зароились подозрения, что она приложила руку к тому, чтобы все эти люди сошлись здесь.

— Не могу сказать вам, сколько их,— говорит она.— Но что случилось, сказать могу. Я убила его.

Мейпс чуть повернул голову влево и покосился на нее. Он еще больше укрепился в подозрении, что созвала всех сюда она, но он явно не верил, что она убила Бо Бутана.

— За что?— спрашивает.

— Бо Бутан жил в прошлом,— говорит она.— Ему все казалось, что он может так же избивать людей, как его папаша тридцать—сорок лет назад. Бо в поле накинулся на Чарли с побоями, и Чарли прибежал к Мату. Я в ту пору как раз была во дворе — разговаривала с Мату. Мы спросили Чарли, что стряслось, а он говорит: Бо отколотил его тростниковой палкой. А спустя несколько минут Бо с дробовиком пригнался за ним на тракторе. Когда Бо остановил трактор, я ему сказала, чтобы он не смел переступать канаву. Не раз и не два сказала. Бо, говорю, не смей переступать канаву. Но он меня не послушал. Разве можно избивать человека тростниковой палкой и гоняться за ним, как за диким зверем? Разве можно? Не смей, говорю ему, переступать канаву, остановись. Не смей, кричу, переступать канаву. Но он не остановился, и тогда я схватила дробовик, который Мату держит у двери. И я покажу это на суде под присягой.

Мейпс прямо на нее не глядит, все косится сбоку. Раз, пока она говорила, он метнул взгляд на меня. И я понял, что он не верит ни единому ее слову. Теперь и Кэнди это поняла.

— Я и на суде под присягой покажу, что я его убила,— повторяет Кэнди.— И журналистам так же заявлю.

Мейпс крякнул, отвернулся и снова стал разглядывать стариков. Они не спускали с нас глаз, слушали, но сидели смирно. Даже дети на крыльце присмирели, но и они не спускали с нас глаз. Помощник возвратился во двор, встал рядом с Мейпсом.

— Приведи одного из них сюда,— приказывает ему Мейпс.

— Которого, шериф? — спрашивает Гриффин.

— Такого, который умеет разговаривать,— отвечает Мейпс, не глядя на Гриффина.

С тем Гриффин и отошел.

Кэнди стояла чуть позади Мейпса, но тут она вышла вперед, встала лицом к лицу с ним.

— Я же вам сказала, что я его убила,— говорит.— Зачем вам их допрашивать?

Мейпс не удостоил ее ответом.

— Кэнди, прошу тебя,— говорю. Потянулся к ней, но она отдернула руку.

— Потому что они черные и не могут за себя постоять, вы поэтому за них принялись?

Мейпс пропустил ее слова мимо ушей, смотрел на старика, которого вел к нему Гриффин. Старику было лет восемьдесят, не меньше. Тех, кто помоложе, Гриффин, видно, побаивался. На старике был комбинезон, защитного цвета рубаха и допотопная фетровая шляпа. Слегка наклоняясь вперед, он быстро-быстро перебирал ногами, выбрит он был аж до блеска. Когда Гриффин подвел его к Мейпсу, Кэнди отступила чуть в сторону. Гриффин выпустил руку старика, тот стащил шляпу и прижал к груди. Голова у него тоже была выбрита до блеска. Он поднял было глаза на Мейпса, но тут же опустил. От нервного тика его голая головенка дрожала, и поэтому каза-

лось, будто он все время кому-то поддакивает. Он был на две головы ниже Мейпса как минимум. Мейпс выдержал время, не сразу заговорил с ним.

— Какими судьбами тебя занесло так далеко от дома, дядя Билли? — спрашивает Мейпс.

— Я его убил,— говорит старик, не поднимая глаз от Мейпсовой груди. А его голая головенка все дрожит и дрожит.

— Вот что, дядя Билли, мне время дорого,— говорит Мейпс.— Я сегодня порыбалить собирался. Второй раз тебя спрашиваю: как тебя заиесло так далеко от дома?

— Я убил...

Мейпс как размахнется и хлоп дядю Билли по лицу. Голова у того отдернулась в сторону, изо рта брызнула слюна. Мейпс оказался до того скор на расправу, что я не предвидел и даже не ожидал такого поворота событий.

У женщин на крыльце вырвался стон.

— Что же такое деется,— говорит одна,— чтобы Билли Вашингтона, старого человека, нет, что же такое деется!

— Мейпс, я этого так не оставлю,— говорит Кэнди, тыча в него пальцем. — И свидетелей у меня предостаточно. Я вам этого так не оставлю.

Мейпс пропустил ее слова мимо ушей.

— Что ж, дядя Билли, начнем по новой. Какими судьбами тебя занесло так далеко от дома?

— Я его убил,— повторяет дядя Билли, и его голая головенка все дрожит.

Мейпс снова как развернется и — хлоп! Из дяди Биллиного рта закапала кровь, но он не стал ее вытирать.

— Отведи этого в сторону и давай сюда другого,— распорядился Мейпс.

— Вы что, решили их всех до одного избить, Мейпс?— спрашивает Кэнди.

До того разъярилась — кажется, сейчас накинется на Мейпса с кулаками, но Мейпс дал бы ей сдачи — с него станется. Мне все происходящее тоже было не по душе, но я понимал, что стоит мне вмешаться, и Мейпс вышибет из меня дух и зашвырнет в свою машину.

— Вам бы лучше увести ее отсюда,— говорит мне Мейпс.

— Так он вас и послушал,— говорит Кэнди. — А если вы забыли, напомню — я на своей земле.

— А вам бы лучше не вставать мне поперек дороги,— предупредил ее Мейпс.

— Так я вас и послушалась.

— Так или не так, а послушаться придется,— говорит Мейпс и повернулся к старику, которого подвел к нему Гриффин.

— А тебя-то, Гейбл, что заставило вылезти из-за твоих ветел? — спрашивает Мейпс.

Гейбл этот был поджарый, темнокожий старик со скуластым лицом и седыми волосами. Одет с иголочки — в коричневый спортивного покроя пиджак, клетчатую рубаху, галстук шнурочком, коричневые брюки и начищенные до блеска ботинки. Шляпу он снял, но руку с шляпой не прижал к груди, как дядя Билли, а опустил. И в отличие от дяди Билли, который не смел поднять глаза выше Мейпсовой груди, Гейбл глядел Мейпсу прямо в лицо.

— Я его убил,— говорит.

— Не хотелось бы, Гейбл, мне бить тебя,— говорит Мейпс. — Ты и без того хватил горя в жизни. Так вот, второй раз тебя спрашиваю: как ей удалось тебя вытащить из-за твоих ветел?

— Я его застрелил,— говорит Гейбл.

Мейпс стиснул зубы так, что на его мясистых брылах заходили желваки. Медленно занес правую руку и — хлоп! Гейбл отдернул голову, но тут же снова повернулся к Мейпсу. На глазах у него выступили слезы, но он все равно смотрел на Мейпса в упор.

У женщин на крыльце снова вырвался стон. Девчушка и мальчик поменьше закрыли глаза руками. Старики — те невозмутимо смотрели на шерифа.

— Бейте хоть весь день! — говорит Гейбл.

Тогда Мейпс во второй раз влепил ему пощечину. Гейбл отдернулся, но лишь самую малость. Поморгал и опять уставился Мейпсу в лицо.

А у Мейпса на мясистых брылах желваки так и ходят. Для него и самого не большая радость бить стариков, но как достичь своего иначе — он не знает.

— Отведи этого в сторону и давай следующего,— говорит Гриффину.

— Зачем же нас учили подставлять другую щеку? — спрашивает Гейбл. — Зачем, если вы оба раза по одной по той же щеке бьете?

Мясистое лицо Мейпса от злости налилось кровью. Брылы так и дергаются. Но Гейблу он ничего не ответил.

Гриффин взял Гейбла за руку и отвел в сторонку к дяде Билли. Вижу: дядя Билли смотрит на Мейпса и на губах у него ухмылочка. Спроси меня Мейпс, я бы ему сразу сказал, что побоями от них ничего не добиться.

— А почему бы вам не бить их палкой или шлангом? — говорит Кэнди Мейпсу. — Не ровен час, еще руку зашибете о стариков, которые и сдачи-то не могут дать.

— У них у всех дробовики,— говорит Мейпс.

— Вы же знаете: они не станут стрелять.

— Что верно, то верно,— говорит Мейпс. — Я знаю, что они не станут стрелять, и мы знаем, что они и не стреляли, верно я говорю?

— Я же вам сказала, что я его убила,— говорит Кэнди.

— Как же, как же,— говорит Мейпс. — А я Дед Мороз.

Гриффин шнырял в толпе. Он вдруг очень расхрабрился. Он больше не хватал первого попавшегося, а действовал с разбором. Норовил взять того, кого наметил. Однако, сколько он ни шнырял в толпе, люди на него не глядели. И не потому, что боялись,— просто не удостаивали его вниманием. Но когда он подошел к крыльцу, перед ним вдруг вырос Кукиш, внучонок тети Гло. «А ну садись, пока я тебе не врезал»,— говорит Гриффин. Старым и малым Гриффин спуску не давал. Но мальчишка его не послушал, соскочил с крыльца и двинулся к Мейпсу. Кэнди — она стояла неподалеку — загородила мальчишку от Мейпса, велела ему идти на свое место. Остановиться он остановился, но на свое место не вернулся, пока его не позвала бабка. А тогда уж пошел назад, сел на крылечко рядом с бабкой, она приобняла его за плечи, и оба уставились на Мейпса: мол, бей хоть обоих, хоть одного — на выбор. Кэнди повернулась к Мейпсу, но ничего ему не сказала, только взглядом ожгла. Промолчал и я. Но я знал, что побоями Мейпсу ничего от них не добиться.

А Гриффин уже подводил к Мейпсу здешнего священника Джеймсона. Более жалкого старика тут было не найти. Рубашка у Джеймсона насквозь промокла. Казалось, его вот-вот хватит инфаркт — до того он трепетал перед Мейпсом. Мейпс и сам был недоволен тем, что Гриффин привел священника. Ему нужен был один из стариков с дробовиками. Но у него не было выхода — не останавливаться же на полпути.

— Ваше преподобие, что вы здесь делаете? — спрашивает Мейпс. — Сидели бы себе дома, читали бы Библию.

Джеймсон понурился, уткнулся глазами в Мейпсовы ноги. Он и вообще-то робел поднять глаза выше Мейпсовой груди.

— Мне, шериф, нечего сказать,— говорит Джеймсон, а глаз так и не поднял.

— Вам бы лучше придумать какой-нибудь ответ,— говорит Мейпс. — Что вы здесь делаете?

Джеймсон покачал головой, но глаз так и не поднял.

— Еще раз, ваше преподобие, спрашиваю,— говорит Мейпс,— что вы здесь делаете?

Старик промолчал. На его лысой голове выступили капли пота. Мейпс как развернется и — хлоп ему по щеке. Капли пота с лысой головы Джеймсона разлетелись во все стороны. Если двое других стариков, когда Мейпс бил их, только отворачивались, то Джеймсон зашатался и рухнул навзничь. Люди глядели на него, но никто и слова не проронил. Чуть погодя Джеймсон поднял голову и посмотрел на Кэнди — так побитый щенок смотрит на хозяйку. Но Кэнди не сжалилась над ним. Да и остальные тоже. Джеймсон с трудом поднялся на ноги и снова встал перед Мейпсом.

— Ну что? — говорит Мейпс.

Джеймсон покачал головой, а сам так же понурившись и стоит.

— Мне нечего сказать, шериф.

И снова был сбит с ног.

Как и раньше, с трудом приподнялся и уставился в землю. Попытался встать на ноги, и тут все — и на дворе, и на галерее, и кто сидел, и кто пристроился на

корточках, и кто стоял — потянулись к Мейпсу, встали в очередь. И первой в очереди стояла Кэнди.

— Я за ним, Мейпс,— говорит.

Мейпсовы жесткие, тускло-серые глаза буравили ее, побагровевшие брылы тряслись еще сильней. А ведь он сейчас ее ударит, думаю, и двинулся было, чтобы встать между ними, но тут Мейпс, мотнув головой, пошел прочь, и я понял: он дал мне понять, чтобы я вышел за ним на дорогу. Мейпс прислонился к машине, ноги скрестил, руки сложил на груди. Здоровенный мужик — килограммов сто двадцать потянет — и, видно, очень устал. Прислонился к машине, и я, и мы оба стали глядеть во двор. А народ там снова зашевелился. Кэнди обихаживала дядю Билли, вытирала ему рот платком. И тут я впервые заметил, что Мату — единственный из всех — не встал в очередь. Курил и глядел на нас.

— Вы же знаете, что это он убил Бо? — говорит Мейпс.

Он поуспокоился.

— Кто? — спрашиваю.

— Вы знаете, кого я имею в виду.

Конечно, я знал, как не знать. Мы оба глядели на него, а он сидел на корточках у стены.

— Тогда почему вы его не арестуете? — спрашиваю.

— И какое обвинение я ему предъявлю?

— В убийстве Бо, какое же еще?

— А чем я его докажу? — говорит Мейпс. — Тем, что Бо убили в его дворе? Тоже мне улика. На суде Клинтон камня на камне от такой улики не оставит. И ей это тоже хорошо известно.

— Ну а ружье?

— Вы, видно, не очень-то приглядывались к этим старикам? — спрашивает Мейпс.— У них у всех, от первого до последнего, дробовики двенадцатого калибра. И скорее всего гильзы тоже одного номера. Нет, так его не арестуешь. Хотя убил Бо он, а никто другой. Кроме него, никого на это не хватило бы.

— Чарли видели? — спрашивает.

— Нет, не видел.

— Должно быть, спрятался где-то в поле,— говорит Мейпс.— Его-то мы всегда успеем найти, но не он застрелил Бо. Его застрелил Мату. А вот народ на эту гулянку, конечно, созвала она. Мату к этому непричастен. Он бы никогда на такое не пошел. Старик — крепкий орешек, да вы его не хуже меня знаете. Если бы она не вмешалась, он, по всей вероятности, уже давно бы сдался правосудию, но ему не хочется идти против Кэнди. Бог знает, где только она выкопала это старичье. Поглядите на них. На их ружья поглядите.

Мы оба поглядели на стариков, на их дробовики. Кэнди кончила обихаживать дядю Билли и Гейбла и вернулась к крыльцу, встала около тети Гло и детей. Они с Гло разговаривали и поглядывали через дорогу на нас.

— Послушайте, а почему бы вам с ней не поговорить? — спрашивает Мейпс. — Мне здесь заваруха ни к чему. Это кодло там, в Батон-Руже, уже загодя надирается — в порядке подготовки к завтрашнему матчу. Кой-кому из них неймется порезвиться нынче с удавкой.

— Я пытался. Она и слушать ничего не хочет,— говорю.

— А скрутить ее и зашвырнуть на заднее сиденье вы не пытались?

— Нет, Мейпс, не пытался,— говорю. — Закон запрещает похищать людей. Особенно если они у себя дома.

— И укрывать убийцу закон тоже запрещает,— говорит Мейпс. — О таком законе вы часом не слыхали?

Я ничего не ответил. Смотрел, как Кэнди разговаривает с тетей Гло.

— Нечего сказать, славная из вас выйдет парочка,— говорит Мейпс.

— Не переходите на личности,— оборвал я его.

— А когда свадебка?— осклабился Мейпс.

— Не переходите на личности, Мейпс, договорились?

Он поглядел на меня и тяжко вздохнул. Видно, думал: что ж ты за мужик? И снова стал глядеть на Кэнди.

— Не знаю, жил или не жил Бо в прошлом, но кто точно живет в прошлом, так это она,— говорит Мейпс. — Она забрала себе в голову, что может вести себя так же, как ее папаша и вся их семейка полвека назад. Но те времена миновали. Ей не вызволить его из этой передряги.

— У вас, видно, на него зуб?

Мейпс хмыкнул:

— Попали пальцем в небо. Меня восхищает этот негр — лучше его я, пожалуй, редко кого встречал, как среди черных, так и среди белых. Но он убил человека — и из этой передряги ей его не вызволить. Будь у нее голова на плечах, она давным-давно отвезла бы его в тюрьму. Потому что, даже если не нагрянет Фикс, где гарантия, что не нагрянут другие? И они приедут не разговоры разговаривать. Но я так думаю, она этого не понимает.

И сверлит меня глазами — ожидает, что я скажу. А мне сказать нечего. Тут он перевел взгляд на дорогу и говорит:

— Ну что ж, вот и Герман подоспел.

По дороге медленно катил катафалк. Миновал нас, остановился впереди Мейпсовой машины — следователь с помощником вышли не сразу, посидели в машине, поглядели на людей. И люди во дворе и на галерее в свою очередь поглядели на катафалк.

Следователь вышел и, прежде чем пойти к Мейпсу, снова поглядел на народ. Он был низенький, гладко выбритый, очки в стальной оправе. Сильно за шестьдесят, если не все семьдесят. В полосатом полотняном пиджачке, соломенной шляпе, белой рубашке, при галстуке-бабочке в горошек. Начищенные черные туфли запорошены пылью.

— Привет, Герман, — говорит Мейпс.

Но Герман не отозвался. Только поднял на Мейпса глаза — мне было видно, как его голубые глаза сквозь толстые линзы очков вопрошают Мейпса: объясни, мол, что тут творится. Мейпс перекатил леденец языком, кивнул помощнику Германа, и тот вслед за начальником поплелся к нам. Помощник — его звали Джордж — был куда моложе и крупнее следователя. Такой плешивый блондинистый парень.

— Привет, Джордж,— говорит Мейпс.

— Привет, Мейпс,— говорит Джордж.

Джордж посмотрел на Мейпса точно так же, как смотрел на него Герман. Они хотели, чтобы Мейпс им что-то сказал, думали, Мейпс обязан объяснить им, что здесь творится. А Мейпс отмалчивался. Смотрел во двор, а оттуда все смотрели на него. Перекатил леденец языком и только тогда повернулся к Герману. А старикан Герман все не спускал с него глаз.

— Не пора ли тебе заняться делом, как по-твоему? — говорит ему Мейпс.

Герман подождал секунд десять, потом говорит:

— Правда твоя, Мейпс. — Еще секунд десять посмотрел на Мейпса, а потом говорит Джорджу: — Неси сюда носилки и одеяло.— И пока Джордж доставал из катафалка носилки и одеяло, Герман долго смотрел на Мейпса и только потом уж прошел во двор. А чуть погодя и мы с Мейпсом вернулись во двор.

— Сколько, по-твоему, часов прошло с тех пор, как его убили? — спрашивает у Германа Мейпс.

Герман, опустившись на одно колено, осматривал Бо.

— Я так думаю, часа два, а то и три,— говорит Герман.

— Скорее три,— говорит Мейпс. — Выходит, приблизительно в полдень, так?

— Я так думаю, в полдень,— говорит Герман.

— Я здесь пробыл полчаса,— говорит Мейпс. — Приехал примерно в полтретьего. Значит, они, вернее, она опередила меня на два с половиной часа.

— Что-что? — переспрашивает Герман.

— Сам с собою разговариваю,— говорит Мейпс.

Тут у Германа лопнуло терпение, и он на редкость проворно для своего возраста вскочил на ноги. Он едва доставал Мейпсу до груди. Мейпс был чуть не вдвое выше.

— Что за чертовщина, Мейпс, что тут происходит? — говорит Герман и приступается к Мейпсову животу. — Ты разговариваешь сам с собой, во дворе толкутся негры с дробовиками, а в траве лежит труп белого человека. Какого черта, я требую, чтобы ты мне объяснил, что здесь творится!

— Вам с Джорджем лучше увезти его в Байонну,— невозмутимо говорит Мейпс.

Джордж стоит, носилки с одеялом наготове держит. А Герман все таращится на Мейпса, и глаза его за толстыми линзами огромные, что твои перепелиные яйца. И грудью чуть не упирается в Мейпсов живот так, что между ними и руки не просунешь.

— Я знаю не больше твоего,— говорит Мейпс и поверх головы Германа глядит на труп.

— А не пора ли тебе перестать волынить и узнать побольше моего? — говорит Герман и сам не спускает глаз с Мейпса.

— У тебя есть свое дело, вот ты им и занимайся, а я займусь своим,— говорит Мейпс.

— Понял,— кивнул ему следователь и повернулся к помощнику: — Джордж, приступай.

Джордж расстелил на траве одеяло, они с Гриффином взяли Бо за руки, за ноги и положили на одеяло. Потом Джордж обернул Бо одеялом, и они с Гриффином переложили Бо на носилки и понесли к катафалку. Люди — и на дворе, и на галерее — следили за ними и помалкивали.

— А не пора ли тебе, Мейпс, перестать волынить? — еще раз спрашивает его Герман. — И дело не только в Фиксе, но и в дружках Бо.

Когда Герман заговорил о дружках Бо, его голубые глаза за толстыми линзами очков еще увеличились. И не так то, что он сказал, как его глаза, заставляли к нему прислушаться.

— А ты поменьше болтай,— говорит Мейпс и перекатил леденец.

Следователь покачал головой.

— Как можно, Мейпс,— говорит,— от меня ни одна живая душа ничего не узнает. Я им так прямо и скажу: мол, Бо простыл — оно и немудрено в такую-то жарищу,— вот я и закутал его в одеяло.

— Я не о том,— говорит Мейпс.

— Ты о дробовиках?

— Вот-вот.

— Напрасно беспокоишься,— говорит следователь. — Мне все равно никто не поверит. Вот ты, ты бы мне поверил?

Мейпс не ответил. Следователь окинул взглядом двор и снова перевел глаза на Мейпса. Но он понимал, что Мейпсу нечего ему сказать и, потерянно глянув на меня, пошел со двора. Джордж уже сидел в катафалке, ждал его.

Когда катафалк отъехал, Мейпс снял шляпу, вытер ее изнутри. Потом вытер лицо, руки, а сам тем временем все поглядывал на крыльцо.

— Ладно,— говорит и снова надел шляпу. — Те, кто здесь не живет, ступайте восвояси. А остальные ступайте назад, на галерею. Кому сказано — пошевеливайтесь.

Но никто не тронулся с места.

— Что с вами приключилось? — спрашивает Мейпс. — Вы что, еще и оглохли вдобавок? Сказано вам — пошевеливайтесь.

— Я убил его,— говорит дядя Билли.

Дядя Билли все еще стоял у огородного плетня, там, где Гриффин поставил его полчаса назад. От затрещин Мейпса губы у него распухли, и он так же гордился своим распухшим ртом, как тот юнец в «Алом знаке доблести»[1] своей раной.

Мейпс на секунду задержал на нем взгляд, потом направился к нему. Все ожидали, что Мейпс снова влепит ему затрещину. Но вопреки ожиданиям, Мейпс выхватил у дяди Билли ружье, вытащил из него гильзу, поднес к носу. Потом вложил гильзу обратно и сунул ружье дяде Билли — тот так и держал руки наготове.

— Кто тебе велел выстрелить из этого ружья, дядя Билли? — спрашивает Мейпс.

— Никто не велел,— говорит дядя Билли.

— Это тебе Кэнди велела, верно я говорю? — спрашивает Мейпс.

— Нет,— говорит дядя Билли.

— Ты еще ходишь в церковь, дядя Билли? — спрашивает Мейпс.

— Я баптистский староста в Литл-Шадраке,— говорит дядя Билли.

— А что, если я возьму Библию, дядя Билли, ты по-прежнему будешь говорить, что ты убил Бо?

---

[1] Повесть американского писателя Стивена Крейна (1871—1900).

Дядя Билли провел языком по нижней губе, понурился — видно, задумался.

Мейпс ждал. Все ждали. Мейпс устал ждать.

— Так как? — говорит он.

Дядя Билли поднял голову, поглядел Мейпсу в глаза, кивнул.

— Ты ведь не стрелял в Бо, верно, дядя Билли? — снова спрашивает Мейпс.

— Стрелял, сэр.

— Тебя ведь Кэнди на все это подбила, верно?— спрашивает Мейпс.— Не бойся, я тебя ей в обиду не дам. Обещаю.

— Нет, сэр, я все сам,— говорит дядя Билли, а голова у него не переставая трясется.

— А когда ты сюда пришел, Кэнди уже была тут? — спрашивает Мейпс, меняя тактику на ходу.

— Так в точности не знаю,— говорит дядя Билли.

— Что значит — в точности не знаешь? — спрашивает Мейпс. — Вон ее машина стоит. Стояла здесь ее машина?

— Так в точности не скажу,— говорит старик.

— Вернее, ты так в точности не видишь, дядя Билли, вот как будет вернее?

— Да нет, вижу я хорошо, шериф, очень даже хорошо.

Мейпс, теряя терпение, уставился на старика. Силы его были на пределе.

— Когда ты узнал об убийстве, дядя Билли? В час дня?

— Незачем мне было узнавать про убийство, шериф. Я же был здесь. Я его и убил.

— Ты что делал, когда Кэнди тебе позвонила? Дремал? Обедал? Что ты делал, дядя Билли?

— Незачем ей было мне звонить,— говорит дядя Билли.— Я же здесь был. Я его и убил.

От гнева мясистое лицо Мейпса и вовсе побагровело. Его подмывало опять влепить старику затрещину, а то и вовсе пришибить его.

— Старик, тебе случалось видеть, как умирают на электрическом стуле? — спрашивает Мейпс.

А дядя Билли все трясет головой.

— Нет, сэр,— говорит.

— Малоприятное зрелище, дядя Билли. Особенно когда ток пропускают сквозь тебя самого. Ты так хочешь умереть?

— Нет, сэр, но, видно, так суждено.

— Даже если так и суждено, дядя Билли, ты не хочешь так умереть,— говорит ему Мейпс.— Когда через тебя пропускают ток, стул пляшет — я не раз это видел. Понимаешь, дядя Билли, у нас в Байонне своего стула нет. Нам за ним приходится ездить в Анголу. Так что мы не привинчиваем стул к полу — для одной казни стоит ли труда? Так вот, когда через тебя пропускают ток, стул ходит ходуном, стул пляшет — я не раз это видел. Малоприятное зрелище. Ты так хочешь умереть?

— Нет, сэр.

— А если я тебя сейчас заберу и тебя осудят, что, по-твоему, тебя ждет? Или ты надеешься, что слишком стар и тебя не посадят на электрический стул?

— Нет, сэр.

— Так как?

Старик провел языком по распухшей нижней губе и снова уткнул глаза в землю. Мне показалось, Мейпс его дожал. Все — и на галерее, и во дворе — смотрели на дядю Билли, ждали, что он ответит.

— Некогда мне с тобой целый день возиться,— говорит Мейпс.

Старик поднял глаза на Мейпса, и голова у него опять затряслась.

— Я его убил,— говорит.

— За что? — спрашивает Мейпс.

— Не понял, сэр?

— За что ты убил Бо?

— За то, что они моего сынка погубили,— говорит старик и смотрит Мейпсу прямо в глаза, и голова у него трясется еще сильней. А распухшая нижняя губа дергается. — Забили его. Били, пока он не тронулся, и нам пришлось отдать его в

Джэксон. Он не только меня, маму свою и то узнавать перестал. Мы ему возим конфеты, возим пироги, а он их трескает, как кабан кукурузу. Других сумасшедших нипочем не угостит. Нипочем никого не угостит — ни меня, ни маму, ни других тамошних сумасшедших. Зароется в пирог, как кабан в кукурузу, и давай трескать. Мама ему отрежет ломтик, положит в руку, а он выронит его на стол и знай трескает, как кабан кукурузу. Не пристало человеку таким быть. У мамы всякий раз, как увидит его, сердце кровью обливается.

— Кто бил твоего сына, дядя Билли? — спрашивает старика Мейпс.

— Люди говорят: Фикс с дружками.

— Но точно ты не знаешь?

— Люди так говорят, а мне откуда знать? Меня там не было.

— И когда же это случилось, дядя Билли?

— Давно уже, как он с войны вернулся.

— С какой войны?

— С Гитлером и с япошками.

— И ты с тех самых пор таишь зло на Фикса, дядя Билли?

— Я зла не таю. Библия не велит таить зло.

— И убивать Библия тоже не велит.

— Да, сэр, правда ваша.

— Так как же?

— Порой, шериф, приходится идти против Библии,— говорит Мейпсу дядя Билли, а сам безостановочно трясет головой.

— Не ты его убил,— говорит Мейпс. — И ты, по-моему, знать не знаешь, кто убил Бо. Ты просто пешка. Пешка в их игре. Тебя тут не было, и тебе и не сказали, кто его убил и как убил, верно я говорю?

— Нет, сэр, зачем им было мне говорить? Я его и убил.

Мейпс обвел глазами двор и снова перевел взгляд на старика.

— Прицелься в бобовый стебель вон там, на огороде,— говорит Мейпс.

— В который? — спрашивает старик.

— В который увидишь,— говорит Мейпс.

— Я все их вижу,— говорит старик, а голова у него трясется не переставая.

— Цельсь,— приказывает Мейпс, теряя последние остатки терпения.

Дядя Билли приложил ружье к плечу и прицелился в ближайший стебель метрах в трех от него. Он не сразу сообразил, какой глаз надо закрыть. А когда наконец сообразил, ружье у него так и прыгало — ни дать ни взять волшебная лоза, когда она почует воду.

— Хватит с тебя,— говорит Мейпс.

Старик скинул ружье. Его даже пот прошиб — так он уморился.

— Да, дядя Билли, Бо за тобой не угнаться: ему ведь надо было и трактор остановить, и ружье достать, и во двор войти,— говорит Мейпс. — И ты все равно будешь настаивать, что это ты его убил?

— А я стал целиться, только когда он уже канаву перешагнул,— говорит дядя Билли.

— У того, кто убил Бо, дядя Билли, не тряслись руки,— говорит Мейпс.— И действовал он уверенно, уверенно и спокойно. Знал, что делает. Время, расстояние — все выбрано безошибочно. Бо убил охотник, дядя Билли. Хороший стрелок. Не тебе чета. Ты сроду ни за чем не охотился, кроме как за местом получше в баптистской церкви. Поближе к батарее — зимой, поближе к окну — летом. Сгинь с моих глаз, дядя Билли. Уйди куда подальше.

— Слушаю, сэр,— говорит старик. — А все равно его убил я.

— Сказано тебе: уйди или не сказано? — говорит Мейпс.

— Ухожу, сэр, ухожу,— говорит дядя Билли, пятясь, а сам все трясет головой.— А только убил его я.

— Хорош бы я был, если б привез в Байонну эту развалину,— говорит сам с собой Мейпс. — Да меня бы так обсмеяли, что я носу бы потом не смел сюда показать, и это, считай, еще легко отделался: ведь вполне мог бы и в психушку на веки вечные угодить. — Потом не спеша повернул голову и поглядел на примостившегося у стены Мату. — Мату, поди сюда,— говорит.

Когда Мейпс подозвал Мату, Кэнди двинулась к Мейпсу и загородила от него крыльцо. А за ней и все мы потянулись к Мейпсу. Мейпс поглядел, как мы подступаем к нему, но и глазом не моргнул, а опять поглядел на Мату. Мату уже встал и с ружьем в руках двигался к крыльцу.

— Дальше не ходи,— говорит ему Кэнди.

— Надо же мне подойти к человеку,— говорит Мату.

— Погоди,— говорит Кэнди. — Я не шучу,— и так глянула на него, что он враз остановился, а тогда уж повернулась к Мейпсу. — Вы, Мейпс, не очень-то,— говорит,— распускайте руки. Это вам не Джеймсон. И не дядя Билли, и не Гейбл. Так что руки не распускайте.

— Да, это Мату,— говорит Мейпс. — Но я действую именем закона. А у него во дворе лежит труп. И это дает мне право допросить и самого Мату.

— Допрашивать допрашивайте, а руки не распускайте,— предупреждает его Кэнди. — Если хоть одну каплю его крови... — только и сказала. Ей и не нужно было договаривать.

— Я так думаю, он понимает, что вы не шутите,— это Клэту с дальнего конца галерейки голос подал.

— И я так думаю,— говорит Кэнди, а сама не сводит глаз с Мейпса.

Потом протянула руку — помочь Мату с крыльца сойти. А на крыльце две из четырех ступенек провалились — они уж лет двадцать, если не двадцать пять как провалились, и Мату завсегда с крыльца сходил без чужой помощи. Но раз уж Кэнди протянула ему руку, он на нее оперся, чтоб уважить ее.

А как сошел с крыльца, поклонился Кэнди и потом только повернулся к Мейпсу. Мату давно за восемьдесят перевалило, волосы у него сплошь белые, но он еще крепкий — что голова, что руки не трясутся. Мату встал против Мейпса — прямой, рослый, ружье к боку прижал.

— Как здоровье, Мату? — спрашивает Мейпс.

Про Мейпса много чего плохого можно сказать. Нрав у него крутой, рука тяжелая. Но настоящего мужика Мейпс уважал. А Мату был настоящий мужик, и его Мейпс уважал. А всех нас ни во что не ставил.

— Спасибо, шериф, хорошо,— говорит Мату. — А ваше как?

— Устал я,— говорит Мейпс. — Вот было надеялся порыбалить сегодня.

— Сказывают, нынче клев хороший,— говорит Мату. Голову вскинул, глядит Мейпсу в глаза. Он пониже Мейпса будет. Прямой, ну чисто жердь, да нет, не жердь, а столб. Старый столб, который в землю осел, и хоть и не толстый, а крепкий — не клонится, не качается.

Мейпс глядел на Мату. Мейпс Мату любил. Они вместе охотились. На лесных кошек, на аллигаторов, на оленей. Рыбалили вместе. Мейпсу и вышивать у Мату в доме случалось. Он любил Мату. И теперь, когда с Мату приключилась беда и Мейпсу надо было Мату арестовать, он понимал, что не Мату в том повинен. Но Мейпс и то понимал, что Мату ни перед кем не пасовал. Видать, за то Мейпс его и любил. Мату был мужик что надо. Не чета всем нам.

— Вели им идти домой, Мату,— говорит Мейпс.

— Это, шериф, им решать.

— Если ты скажешь, чтоб они шли домой, они пойдут,— говорит Мейпс.— Скажи им, чтоб шли домой, не то быть беде.

— Мату, ты можешь не отвечать ни на какие вопросы,— говорит Кэнди. Как Мату с крыльца сошел, она от него ни на шаг не отходила. — Мейпс вправе забрать тебя в тюрьму, но он не вправе заставить тебя говорить, пока не приедет Клинтон.

— А я не прочь поговорить,— говорит Мату.

— Скажи им, Мату, чтоб сказали, кто убил,— говорит Мейпс. А на Кэнди и не глядит, глядит на одного Мату. И уважительно говорит с ним, как и допрежь говорил.

— Я его убил, шериф,— говорит Мату.

Мейпс кивнул.

— Я знаю, что ты его убил,— говорит.— Из всех них у тебя одного хватило бы духу его убить. Но мне надо, чтобы хоть один из них это подтвердил. Пусть хоть один скажет, что его позвали сюда после того, как убили Бо.

— Не могу я их заставлять говорить, чего они не хотят говорить,— говорит Мату.

— Ты что, хочешь, чтобы кто-нибудь из них пострадал?

— Нет, шериф.

— Ты же знаешь, что теперь этого не миновать, знаешь, Мату? — спрашивает Мейпс. Это Мейпс на Фикса намекает, хоть Фиксова имени и не называет. И не так слова его про Фикса говорят, как глаза его.

— Мужику положено поступать, как он считает верным,— говорит Мату. — В том и отличие его от мальчишки.

— Верным — неверным, разве в этом дело, Мату? — говорит шериф. — Дело вовсе не в том. А в том, что многие пострадают. Ты ведь этого не хочешь?

— Нет, не хочу. Но им решать.

— Решать тебе, Мату,— говорит Мейпс. — Только тебе. И я тебя прошу как мужчина мужчину — скажи им, чтобы шли по домам.

Мату обежал нас глазами. Уж не знаю, что он хотел сказать, только сказать ему ничего не дали.

— Не выйдет, шериф,— это с дальнего конца галерейки Клэту подал голос.— На этот раз не выйдет.

Мейпс повернулся к нему.

— Кто это сказал? — говорит. Он слыхал, откуда крикнули, и знал, кто крикнул, но думал, что Клэту не сознается.— Кто это сказал, спрашиваю? — говорит.

— Я,— говорит Клэту.

Мейпс прикинулся, что никак не отыщет Клэту: вон, мол, народищу-то сколько. И хоть Клэту один в дальнем конце галерейки сидел, Мейпс все равно прикидывался, что не может его отыскать. А как отыскал, поглядел на Клэту, и долго так, зло глядел. Думал: если поглядеть на Клэту подольше, тот глаза и опустит. Только Клэту глаза не опустил. Сидел, ружье на коленях держал и глядел на Мейпса глаза в глаза.

— Какая муха тебя укусила, Клэту? — говорит Мейпс.— От кого, от кого, а от тебя не ожидал, что ты на неприятности будешь нарываться.

— В том-то самая неприятность для меня и есть,— говорит Клэту.

— В чем же это? — говорит Мейпс. И зло так глядит на Клэту, как только здешние белые умеют глядеть.

— В том, что я неприятностей не имел, оттого что закон блюл.

— И что из того? — говорит Мейпс.

— А то, что стар я стал,— говорит Клэту.

— И что из того?

— А то, что пора мне, покуда я еще не помер, перестать закон блюсти,— говорит Клэту.

— Тебе, видно, не терпится в тюрьму попасть? — говорит Мейпс.

А Клэту ему:

— Надо думать, я, когда Бо убивал, знал, куда попаду.

— Аминь,— это Бьюла с крыльца голос подала.

Мейпс глянул на Клэту, как здешние белые на негра глядят, чтобы укорот ему дать.

— А не стар ли ты для этого? — спрашивает Мейпс.— Что-то ты больно развоевался.

— Мне всегда хотелось воевать,— говорит Клэту.— У меня аж все нутро перегорело оттого, что я воевать не давал себе воли.

— Вот как,— говорит Мейпс и поглядел на Клэту, зло поглядел.

— Вот так,— говорит Клэту.— И зря вы будете говорить с Мату. Ведь не он убил. А я.

— Вот как,— говорит Мейпс.

— Снова-здорово,— говорит Чумазый. Он на корточках у дорожки пристроился, во рту коротенькую замусленную самокрутку держал. Какую он самокрутку курил, ту же, что минуту назад, другую, нипочем не узнать. Никто не видал, чтобы Чумазый новую самокрутку закурил. Когда ни посмотришь, у него в зубах до половины искуренная самокрутка — замусленная, грязная и до половины искуренная. У него небось карманы полным-полны таких самокруток — грязных и наполовину искуренных.— Поимейте совесть, дайте человеку...

— А тебе бы лучше помолчать,— говорит Мейпс.— И ты, и вся твоя семейка одну работу только и знаете — от работы отлынивать.

— Так было до нынешнего дня,— говорит Чумазый. А сам глядит на Мейпса и голову набок держит, чтоб дым глаза не ел.— Но нынче я...

— Ты что, прерывать меня себе позволяешь?— спрашивает Мейпс.

— Он себе и не то позволяет,— подал голос Джонни Пол — он по другую сторону от Мейпса стоял.

Мейпс враз к нему повернулся. Но повернул одну голову. Этакую тушу-то быстро не повернешь.

— И ты туда же, Джонни Пол,— говорит.

Джонни Пол кивнул:

— И я.

Мейпс все еще на Джонни Пола глядел, но тут Жакоб Агийяр заговорил.

— Да нет же, Чумазый, нет, Джонни Пол. И ты, Клэту. Это я убил,— говорит.— Я не забыл, как они мою сестру жизни решили.

— Теперь я все вижу,— говорит Мейпс, а сам уже на Жакоба глядит.

— Чего вы видите? — говорит Джонни Пол.

Мейпс все еще на Жакоба глядел, а тут Дин Лежен заговорил. Дин и его брат Дон стояли бок о бок, посередке между дорожкой и огородом.

— Я убил его,— говорит Дин и стукнул себя в грудь.— Я, я, а не они и не мой брат. Я сам. За то, что они племяшку мою, Мишель Жижи, жизни решили.

— Теперь я всё вижу,— говорит Мейпс и поглядел на Дина и на Дона разом.— Всё.

А Джонни Пол ему, и громко так:

— Ничего вы не видите.— А сам на Мейпса и не глядит, глядит на трактор и на прицепы с тростником на дороге. Но видеть он их не видит, это я понимал. А вот чего он думает, я не понимал, покуда не увидел, что он смотрит на нашу деревню, где допрежь папа с мамой его жили. Только от ихнего бывшего дома не осталось и следа. Да и от других домов тоже. Место, где ихний дом стоял, сплошь бурьяном заросло.

— Глядите-ка,— говорит Джонни Пол.— Сюда глядите. Вы чего-нибудь видите? Чего вы видите?

— Я ничего, кроме бурьяна, не вижу, Джонни Пол,— Мейпс говорит.— Если ты об этом речь ведешь.

— Да, сэр,— говорит Джонни Пол. И на Мейпса и не глядит, все глядит на деревню.— Да, сэр, я так и думал, что вы только его и увидите. Но вот чего все остальные не видят? Чего, Руф, никто из вас не видит? — спрашивает Джонни Пол. А на меня и не глядит, все глядит на деревню.— Чего никто из вас не видит, Клэту? Чего никто из вас не видит, Гло? Чего никто не видит, Коринна, Кочет, Бьюла? Чего никто из вас не видит, ни один человек?

— Нет у меня времени слушать, чего вы там не видите и почему не видите,— говорит Мейпс.— Мне нужно...

Тут Джонни Пол обернулся к Мейпсу. Ростом он не ниже Мейпса будет, только тощий-претощий. И кожа у него черная, аж чернотой отдает, точь-в-точь в жевательный табак цветом. А глаза серые, такие же серые, как Мейпсовы, но той злости в них нет. И уставился на Мейпса в упор.— У вас, шериф, только время и есть, больше,— говорит,— у вас ничего нету.

— Что такое? — говорит Мейпс.

— Я его убил,— говорит Джонни Пол.

— Я вижу, у меня другого выбора нет,— говорит Мейпс,— либо мне придется торчать здесь и слушать твои россказни о том, чего ты не видишь и чего никто не видит, либо везти тебя в тюрьму. Вижу, другого выбора у меня нет.

— Да, сэр,— говорит Джонни Пол.— А только вы все равно ничего не видите. Заросли-то вы, понятно, видите, но вы не видите, чего мы не видим.

— А ты видишь, Джонни Пол? — спрашивает Мейпс.

— Нет, и я не вижу,— говорит Джонни Пол.— Вот почему я его и убил.

— Теперь я все вижу.

— Нет, не видите,— говорит Джонни Пол.— И видеть не можете. Надо всегда жить здесь, чтобы всего этого не видеть. А не бывать здесь наездами. Чтобы всего

этого не видеть, надо семьдесят семь лет здесь прожить. Нет, шериф, ничего вы не видите. И даже не знаете, чего я не вижу.

— А ты знаешь, чего ты не видишь? — спрашивает Мейпс.

— Спросите Мату,— говорит Джонни Пол.

— Я тебя спрашиваю,— говорит Мейпс.— Мату я позже займусь.

— Спросите Гло,— говорит Джонни Пол.— Спросите Такера, Гейбла, Клэту. Янки спросите. Спросите Джеймсона. Хоть кого спросите, хоть всех до одного спросите, чего они давным-давно не видят.

— Ладно,— говорит Мейпс.— Рассказывай. Только поторапливайся. Я хочу еще порыбалить сегодня.

— А все одно вы ничего не видите,— говорит Джонни Пол.— Все одно. И торопиться мне некуда. Да и не к чему: ну посадите вы меня, а больше-то вам со мной ничего и не сделать. И как вы меня ни бейте, шериф, жесточе вам меня уже не обидеть.

— Теперь я все вижу,— говорит шериф.

Тут Джонни Пол как топнет. А сам до того тощий — как только ногу не переломил топаючи.

— Неужто? — говорит.— Неужто? Неужто вы слышите колокольный звон?

— Ты часом не спятил?— спрашивает его Мейпс.— Да мне, похоже, давно надо было тебя об этом спросить. И не только тебя,— говорит. Оглядел нас всех и снова обернулся к Джонни Полу: — Колокольный звон, говоришь, Джонни Пол?

— Я тоже его слышу,— Бьюла с крыльца голос подала.— Джонни Пол не выдумывает.

— Тогда переведи его тарабарщину на английский,— Мейпс говорит.

— Пусть он вам сам скажет,— говорит Бьюла.— Он не хуже меня говорить умеет.

— Ты что, тоже в тюрьму захотела сесть? — спрашивает Мейпс.

— Угадали,— говорит Бьюла.— И сяду, нашли чем пугать. Мне уже доводилось за решеткой сидеть. Так что ты говорил, Джонни Пол?

— Помните, как мы прежде жили? — говорит Джонни Пол. Но не Бьюле отвечает и говорит не с ней и не с Мейпсом говорит. Думает себе вслух, как, скажем, человек сам с собой разговаривает, когда пашет один на один сам с собой или в болотах охотится и при нем собаки и той нет, только ружье.— Помните,— говорит,— помните, когда бурьяна здесь не было и в помине? Помните, как они все на галерейке сидели — мама, папа, тетя Клара, тетя Сара, дядя Месяц, тетя Пряжа, тетя Нитка. Помните? И у всех во дворах цветы росли. Но таких ночных красавиц, как у Жака Туссена, ни у кого не было. И каждый день, аккурат в четыре, они раскрывались — красивые, глаз не оторвешь. Помните? — Он примолк, вспомнил давние времена.

И все мы тоже давние времена вспомнили. Сколько дней я просидел на Жаковой галерейке, любовался цветком этим, и не счесть. А застать, как ночная красавица открывается, так и не застал. Пока сидишь на галерейке, ночная красавица и раскроется, а вот увидать, как она раскрывается, ни разу не довелось. Все равно как часовая стрелка. Двигаться она двигается, а как двигается, нипочем не увидишь.

— Потому я его и убил, чтобы цветы эти защитить,— говорит Джонни Пол.— Только цветов-то этих больше нет. А почему нет? Потому что Жака больше нет. Он там, под деревьями, вместе со всеми нашими лежит. С мамой, с папой, с тетей Ниткой, с тетей Пряжей, с тетей Кларой, с дядей Месяцем, с дядей Джерри — со всеми нашими рядом лежит. Но вы-то все помните, верно? — повернулся он к Гло. Гло сидела на крыльце, так и не сняв фартука, внучата облепили ее. Глаза опустила, давние времена вспоминала. Она кивнула ему.— Ты помнишь, Гло, пальмы в Ниткином дворе? Пальмы во всех дворах росли, но такие пышные да сочные только у одной Нитки росли, больше ни у кого. Помнишь, Гло? — Гло опять кивнула, но на Джонни Пола не глядела. Ей виделись пальмы. И мне виделись пальмы. Когда я мальчишкой был, мы под их завсегда девчонок утаскивали. Летом прохладней места не сыскать. Льет дождь, льет ливень, а под их, под листьями разлапыми никогда не намокнешь.— Помните, как, бывало, Джек и Лихач поутру на поле выезжали на мулах на своих, Алмазе и Иове? — спрашивает нас Джонни Пол. А сам на Гло и не глядит — мимо нее вдаль глядит.— Господи же ж ты боже мой! И не говорите, что не помните утра те ранние, когда солнце только-только из-за деревьев выходило.

И не уверяйте, что не помните, как Джек и Лихач выезжали на поле. Джек на Алмазе, Лихач на Иове летели, земли едва-едва касались, чтобы бороны ровно шли. Знай, мол, наших! А кто, вы мне скажите, лучше их умел борозду провести? Кто? Кто, я вас спрашиваю?

— Никто! — говорит Бьюла.— Уж точно, что никто. Лучше их никто не мог. Да уж эти двое были из мужиков мужики.

Джонни Пол кивнул, но не Бьюле. На Бьюлу он и не глядел. Он опять вдаль глядел, на поле за деревней.

— Тридцать — сорок наших выходили на поле, с мотыгами, с сохами, с мачете — кто с чем. Как на рассвете начнем, так до заката и не присядем — надсадная, постылая работа, а мы с ней управлялись. Жили одной семьей, последним делились, любили и почитали друг друга. А теперь поглядите, что вокруг деется? И где нынче все, кто здесь раньше жил? Где розы? Где ночные красавицы? Где пальмы? И кто раньше в церкви пел да молился, где они нынче? А я вам скажу где. Под деревьями под теми лежат — вон где. А где их дома стояли, теперь заросли стеной стоят, и, того и гляди, ту землю трактором запашут.

Тут Джонни Пол на деревню перестал глядеть. И снова стал глядеть на Мейпса. А все согласно кивали головами, что он ни скажи.

— Вам всего этого не увидеть, шериф, потому что вы никогда этого не видали,— говорит Джонни Пол Мейпсу.— Вам не увидеть ни Лихача с Иовом, ни Джека с Алмазом. Ни церковь, полную народу, и не услыхать, как те люди поют да молятся. Только кто в ту пору жил здесь может всего этого не увидать да не услыхать. А я здесь был, потому я ничего этого и не вижу сейчас, и потому я и убил его. В отместку за тех, кто под деревьями лежит. В отместку за то, что трактор все ближе к кладбищу подступает, и я опасался, что, не убей я его, трактор, того гляди, въедет на кладбище и запашет могилы, чтобы самую память стереть, что мы здесь жили. Они теперь все делают, чтобы память стереть, что черные на земле этой хозяевали, с мулами да с сохами, хотят, чтобы думали, что землю эту спервоначала на тракторах подымали. И точно, вскорости сотрут самую память, что мы здесь жили, уж об этом они позаботятся, но пока я еще жив, этому не бывать. Сколько мои мать с отцом поту пролили на этой вот земле. А сколько ихние мать с отцом поту здесь пролили, и не для того они пот здесь проливали, чтобы кладбище наше трактор разорил и чтобы исчезла самая память о том, что они здесь жили. Из них из всех один я остался. Вот, выходит, мне и нужно позаботиться, чтобы могилы эти не разорили, хотя бы покуда я жив еще. Но убил я его не только в отместку за своих родичей. Я убил его за всех, кто там, под деревьями, лежит, за всех, до одного. За каждую ночную красавицу здешнюю. За каждую розу, каждую пальму, какие бывалоче здесь росли.

Джонни Пол отошел к плетню, видно один побыть захотел. Все притихли. Мейпс и тот притих. Мату так и стоял перед Мейпсом, Кэнди поблизости от него держалась, а дружок ее, Лу, держался поблизости от нее.

Мейпс крякнул. Не громко. Спокойно. Он начинал смекать, в чем дело. И если он верно смекал, он знал, что ему лучше подождать. Он леденец и тот перестал катать, ждал. Но вот заговорил Такер. И Мейпс снова леденец стал катать.

Такер, он щуплый, и не черный, а темный. Это ж сколько я Такера не видел, дай бог памяти, года два, если не три. Последний раз на похоронах Эдны Зино в Малом Сионе. Лет этак двадцать пять назад, а то и больше; и он и родня его жили здесь, но теперь почитай что все его родичи перемерли, и он перебрался в Жарро, километров за тридцать отсюда, поближе к Байонне.

— Вы помните моего брата Сайласа? — говорит Такер.— Я не с молодыми, со стариками говорю. Ты, Кэнди, его не помнишь. Тебя еще на свете не было, когда его порешили. Из черных он последний здесь в издольщиках держался. Последний с трактором тягаться пробовал.

Многие из нас стали глядеть на трактор, на два прицепа, груженные тростником. Но Мейпс на них не глядел, он в землю глядел. Ему все надоело, и чем дальше, тем больше надоедало. Надоело слушать, надоело стоять на ногах, негры надоели. А чего со всем этим делать, он не знал. Он мог отвезти Мату в гюрьму, но чего делать с остальными, особливо с Кэнди? Вот он и глядел в землю, раскидывал умом. Он только один способ и знал — колотить негров почем зря, иначе он управляться с ними не умел, ну поколотить он их поколотил, а дальше что? А когда и это не по-

могло, когда люди стали в хвост становиться: бей, мол, колоти, он не знал, что еще делать. И вот торчал пень пнем, эдакий краснорожий облом, и в землю глядел.

— Мы ему твердили, брось,— говорит Такер,— твердили: мы отступились и ты отступись, все твердили одно. Втолковывали, почему ему не сдюжить. Нам спервоначала самая худая земля досталась и, как мы ни надрывались, с теми, у кого земля лучше, сравняться не могли. Да что я говорю, старики и сами все знают. Когда у Маршаллов плантация совсем заплошала и они решили землю на участки разбить да издольщиков пустить, они лучшую землю кэдженам определили, а худшую, в низине, у самого болота, нам. Мы, черные, сто лет на этой земле работали, сто лет на Маршаллов горбатились, а как участки издольщикам определять, они лучшую землю кэдженам отдали, а кэджены здесь и всего-то без году неделя.

Он осекся. Поглядел на Кэнди. Кэнди стояла рядом с Мату, губы стиснула, аж потемнела вся — на нас не глядела, глядела на поле за деревней. Она знала, что Такер правду говорит, хоть сама — где ей, ее тогда еще на свете не было — того и не видала, но слыхать о том слыхала. Слыхала от Мату, да и не от него одного, так что она знала: Такер правду говорит.

— Я рассказываю все как было,— говорит Такер.— Как было. Настал день расплаты, и я все по правде скажу, не побоюсь, хоть бы даже меня на всю остатнюю жизнь и запрятали в тюрьму.

Мейпс так крякнул, что враз стало понятно — и запросто запрячут.

— Валяйте, крякайте сколько влезет,— говорит Такер Мейпсу.— Ну, посадите вы меня, а больше вам со мной ничего не сделать. Вы что, посадить меня хотите? — говорит он и идет на Мейпса, руки свои ему сует.— Я готов. Валяйте, сажайте.

Мейпс только поглядел на него и опять перекатил леденец.

— Эх, был бы я шерифом,— встрял помощник. Он в сторонке стоял — видать, из себя выходил, но воли себе не давал.— Со мной бы вы так не поговорили.

— И что бы ты мне сделал, недомерок ты беззадый? — говорит ему Такер.

Все так и покатились. А у недомерка аж щеки заполыхали.

— Помолчи-ка,— говорит помощнику Мейпс.

А помощник ему:

— Не привык я, чтобы негры так нахально со мной говорили.

— Побудь здесь подольше — и не к тому привыкнешь,— Бьюла с крыльца голос подала.

— И сколько ж нам это еще терпеть? — спрашивает Мейпса помощник.

— Я тебя не держу, пойди погуляй,— говорит ему Мейпс.— Понадобишься — позову.

— Не хочу я гулять,— говорит помощник.— Если б не вы, этот черномазый хрыч у меня еще час назад в тюрьму б загремел. А первого, кто попробовал бы его вызволить, я бы пристрелил,— и на Кэнди поглядел.

Кэнди — она у крыльца стояла — так через весь двор его глазами и ожгла. И взгляд у нее злобный, твердый, по одному по взгляду сразу Маршаллова порода видна. Недомерок-помощник поглядел-поглядел на Кэнди, но когда понял, что Кэнди ему не переглядеть, отвернулся и опять на Такера стал глядеть. Хотел, чтобы Такер глаза опустил.

— Иди погуляй,— говорит Мейпс.

— Не хочу я гулять,— говорит помощник.

— Тогда помолчи. Дай им обиды свои высказать. А ты дальше рассказывай,— говорит Мейпс Такеру.

— Этот парень, он больше встревать не будет? — спрашивает Такер Мейпса.

— Не будет,— говорит Мейпс.

— Парень, не будешь больше встревать? — Такер уже сам помощника спрашивает.

Недомерок ничего не ответил. Только поглядел на Такера. А Такер не сробел и сам на него как глянет.

— Да вы знаете, как все вышло,— говорит Такер. А на Мейпса и не глядит, глядит на его недомерка-помощника. Поглядел-поглядел, решил, что не стоит он того, чтоб на него глядеть, и обратно к нам повернулся.— Вы помните, как он детей загонял, жену загонял, с трактором тягаючись. Жену до того загонял, что она умом помешалась. Но и тут не остановился. И покуда его не поймали и не забили, он ни-почем не хотел остановиться.

Такер замолчал, но на нас не глядел, глядел вдаль. Мы затихли. Ждали, что он еще скажет. И все вокруг затихло: и заросли, и поля, и болота — все-все.

— Вы не знаете, как оно вышло: ведь вас при том не было, а я не мог никому о том рассказать,— говорит. И опять к нам повернулся.— И все эти годы оно во мне сидело,— говорит и в грудь себя бьет.— Жгло меня изнутри. И все во мне пережгло. И причиной тому страх. Он один. Страх все во мне пережег. Я и сам не пойму, почему я не помер.

И повернулся к Гло. Гло кивнула. Она знала, о чем он говорит,— ей ли не знать. Да и все мы знали.

— Как может человек машину осилить? — спрашивает.— Думаете, человеку не выдюжить? Так, по-вашему? Так вы думаете? Ну а брат мой машину осилил. Он со своими двумя мулами первым до подъемного крана домчал. Брат мой надсаживался, и мулы не хуже его надсаживались. Знали: не осилят трактор — им конец. Все слыхали, как трактор за ними по пятам грохотал, и они не хуже других слыхали и знали, что надо наддать, еще наддать, если не хотят, чтоб им конец пришел. И брат мой знал, и мулы знали. И они наддавали, наддавали и еще наддавали — все ради брата моего, оступались, падали, потом обливались, но все наддавали ради него, ради брата моего. Слюни у них вожжой текли, удила им рты раздирали, слюни с потом мешались, на землю падали, а они все наддавали и наддавали по грязи по непролазной. И осилили трактор. Да, да, осилили. Но не положено им было осилить. Позволительно ли негру на живых тварях осилить белого человека на машине?

И тогда они его забили. Похватали палки гростниковые и били, били, пока не забили. И я там был, а с места не тронулся. Тростник для Тони О'Линде грузил на пару с Джо Тейлором. И видел, как они наперегонки шли, видел, как брат мой Феликса Бутана обошел, хоть тот и на тракторе. Я не вру, нынче я нипочем не стал бы врать. Я видел, как брат мой осилил Феликса Бутана, первым пришел. Но не положено ему было осилить Феликса Бутана, ему положено было отступиться. Мы знали, что ему положено отступиться. Да что говорить, я, брат его родной, и то знал, что ему положено отступиться. Давным-давно еще положено было отступиться, а он все не отступался, как положено негру, и за то его и забили.

И опять замолчал, глядел на нас. Но мы на него не стали глядеть. За кем из нас такого не водилось: при ком из нас не надругались над братом ли, сестрой ли, мамой ли, папой, а мы за них не заступились?

Такер, покуда говорил, все у крыльца стоял. А тут отошел к концу галерейки и туда, где кладбище, стал глядеть. А кладбище отсюда, из-за зарослей, и вовсе не видать. Но мы знали, куда он глядит, знали, с кем он говорит. Кто из нас не стоял в одном из здешних дворов и не кричал так, чтоб на кладбище могли услыхать?

— Прости меня! — кричит. Руки над головой поднял, в одной дробовик держит, другую в кулак сжал.— Прость меня, тварь последнюю! — кричит.— Слышишь меня, Сайлас? Сайлас, скажи, ты меня слышишь?

Бьюла встала, подошла к нему, увела к крыльцу. Они сели, и она обняла его за плечи, обхватила, как дитя малое.

— А что тогда закон делал? — говорит Такер и на Мейпса глядит. А по лицу его слезы текут.— Что закон делал? Закон сказал, что это Сайлас наехал на трактор, что он первый в драку полез. Вон как закон к негру оборачивается. Вон как.— А сам все на Мейпса глядит. Хочет, чтобы Мейпс ему в лицо поглядел. Но Мейпс глядеть на него не стал. Знай себе леденец сосал.— Да разве может телега, мулами, живыми тварями, заложенная, наехать на трактор, на машину? Не может. Никак не может. А они говорят: наехала. А я со страху,— говорит Такер и на нас глядит,— со страху, хоть и видел, как было дело, я со страху с белыми пошел против брата. Убоялся, боли убоялся и бил брата гростниковой палкой вровень с белыми.

И глядит на всех на нас, на одного, другого, третьего. Хочет, чтоб мы осудили его. Да разве нам его судить? Да разве мог хоть один из нас его судить? С кем хоть раз да не было такого?

И тогда заговорил Янки. Мейпс крутанул головой, на Янки поглядеть. Он надеялся, все вдосталь наговорились. Уже начал было что-то Янки говорить, обложить его, что ли, хотел. Но передумал, только поглядел на Янки, долго так, зло поглядел. А Янки и бровью не повел.

— Правда твоя,— говорит.— Все, кому нужно лошадь объездить, звали Янки. Хоть из нашего округа, хоть не из нашего, а все равно звали Янки. Когда нужно

выездить лошадь под женское седло, беспременно звали Янки, потому что знали, я свое дело знаю. Для всех этих белых богатеев, которые на масленой красуются на гуляньe на кровных лошадях, а лошади под ними так и играют, для всех их лошадей ихних я объезжал. Я, Сильвестр Дж. Бэттли,— кто ж еще? Мату, Руф, Такер, Гейбл, Гло, все скажут, я не вру,— и повернулся к Мату. Янки был головы на две ниже Мату; Мату, он высокий, прямой, а Янки низенький, коренастый, ноги колесом. Он глядел на Мату — мутными, подслеповатыми глазами, просил Мату подтвердить его слова. Мату кивнул. Ничего не сказал, взглядом и то Янки не удостоил, кивнул и только. Но Янки и тем был счастлив.

— Всех лошадей, всех мулов я объездил,— говорит. Но не с нами он говорил. Вспоминал давние времена, те времена, когда молодым был, когда мог лошадей объезжать.— Всех, всех я объездил. Для Кэнди я объездил Задиру и Кубика. Кубик меня на плетень скинул — сам не знаю, как жив остался. А все равно сызнова сел в седло. Тут ведь как — или он, или я. Вон он, Кубик, на лужку пасется, нынче-то уже совсем стар стал, только и может, что щипать траву. А вы сходите, спросите-ка у Кубика, кто его объездил, спросите-ка!

Он опять замолчал. Кивал головой. Думал. Вспоминал давние, давнопрошедшие времена.

— А нынче лошадей больше не осталось и объезжать больше некого. Повсюду трактора, повсюду машины, и кто я нынче — последний человек. Нынче меня в расчет не берут, ни во что не ставят, а почему, потому что сижу сиднем, сижу сложа руки. И нынешние никто уж и не припомнит, когда я всех что ни на есть лошадей объезжал, всех что ни на есть мулов. Задиру, Кубика, Алмаза, Иова, Тигра, Тони, Салли, Точку, Везунчика, Кору, Джона-Зазнайку, Лотти, Хэтти, Птаху, Рыжего, Бесси, Придурка, Лину, Мистера Баскома. Для доктора Моргана я объездил Шлепанца, Комарика, Ролана. Всех их, всех до одного я объездил. Нынешние-то, они ничего и не помнят. Но я, я помню. Все помню. И кто меня моего дела лишил, знаю.

— А что такое прогресс, ты знаешь? — спрашивает Мейпс, а сам снова утирает лицо и шею.

— Какое мне дело до прогресса? Мое дело — лошадей объезжать,— говорит Янки.

— Да тебе сейчас и под страхом смерти лошади не объездить,— говорит Мейпс. И платок обратно в карман сунул. Платок из белого сделался совсем серым, замызганным.

— Ваша правда, может, мне сейчас лошади и не объездить,— говорит Янки.— Но может, потому я его и застрелил, что я из-за него лошадей лишился.

— Возьми его слова на заметку для протокола,— кинул Мейпс через плечо Гриффину.

— Будет сделано,— говорит Гриффин.— Янки. Я... н... к...

— Сильвестр Джей Бэттли,— говорит Янки.— И ты уж будь ласков и Сильвестр и Бэттли напиши без ошибок, если, конечно, сумеешь. Пусть моим родичам там, на севере, лестно будет, когда про меня в газетах пропишут.

— И сколько мы еще, шериф, такое будем терпеть? — спрашивает Гриффин.

— Давайте, скажите ему сколько, шериф,— это Жакоб Мейпсу говорит.— Похоже, до этого недомерка еще не дошло, что к чему.

Мейпс остановил глаза на Жакобе и тут же к Гриффину повернулся.

— Поди свяжись с Расселом,— говорит,— проверь, там уже он или нет. Если там, скажи — пусть там и останется. Мы, как видно, не скоро выберемся отсюда.

Ну, недомерок и двинул к машине — штаны на заду мешком висят, зада-то у него и вовсе нет, на чем сидит только, неизвестно, а туда же, идет гоголем — берегись, мол, сейчас в тюрьму засажу. Да ему Кукиша и того не посадить, реши Кукиш ему отпор дать.

Поговорил по радио и давай обратно во двор — докладывает Мейпсу: Рассел уже там, и Рассел, мол, передает, покуда все в порядке.

— Иди обратно,— Мейпс ему наказывает,— свяжись по радио с Хилли, вели ему патрулировать шоссе у въезда в Маршаллову деревню и никаких подозрительных типов сюда не пускать.

Недомерок вздохнул и пошел обратно, а сам все под нос себе бормочет.

Я на недомерка смотрел и потому не сразу заметил, когда Гейбл заговорил. Гейбл говорил так тихо, что только тот, кто рядом стоял, мог его услыхать. Пона-

чалу я не его, а Гло услыхал. Слышу, она: «Побереги себя, Гейбл,— говорит,— у тебя больное сердце. Побереги себя».

Гейбл — он по другую сторону крыльца, рядом с Гло, стоял. Он не у Маршаллов, у Морганов в деревне жил. У Верзилина протока, в низеньком домишке, который ветлы совсем заслонили. Он там жил бобылем уже лет пятнадцать, а может, и двадцать. Два раза в месяц по воскресеньям в церковь ходил. А больше его никогда и не видать. Так за ветлами своими, в Моргане, и жил. Ковырялся в огороде, цыплят держал и так из-за ветел своих и не выходил. Вот почему кого-кого, а Гейбла мы никак не ожидали увидеть нынче.

— Парню и всего-то шестнадцать годков, и не в своем уме, а его на электрический стул посадили, по одному слову девчонки этой белой, гольтепы этой. А ведь знали ее все как облупленную. Знали, что тут, на реке, у нее никто отказа не знал — хоть черный, хоть белый. А все одно его на стул посадили, поверили ей, что ссильничал он ее. А хоть бы и ссильничал, так ему и всего-то шестнадцать годков, и не в своем уме он к тому ж.

— Побереги себя, Гейбл,— Гло говорит. Руку протянула к нему, но не дотянулась — он далеко стоял.

— Позвонили нам и говорят: можете забирать его в одиннадцать, потому что в десять мы его убьем. Говорят: если хотите его сразу забрать, пусть гробовщик с черного хода стоит. И как только язык повернулся матери такое сказать? И как язык повернулся отцу такое сказать? Приходите, говорят, за ним к одиннадцати, потому что в десять мы его убьем,— и как только язык повернулся такое...

Голос у него пресекся, он замолчал. Я не стал на него глядеть. Вспоминал давние времена. Когда же это было? В тридцать первом или в тридцать втором, пожалуй, что в тридцать втором. Тогда еще Хью Лонг[1] в сенате сидел.

Тут слышу, Гло опять говорит: «Поберег бы ты себя, Гейбл. Поберег бы».

— Рассказывали, они рубильник дер-дерг, а ток не включается. А как отстегнули ремни и его обратно в камеру повели, он и решил, что уже помер и на небо попал. Брат Джек, монах, он там от цветных попечителей, говорит, мальчик наш говорил: «Это я на небо попал, ей-ей? Это небо? Слышь, это небо и есть?» Говорит, мальчик наш говорил: «Здравствуйте, мистер Такой-то. Здравствуйте, мистер Сякой-то. Вы тоже попали на небо?» Говорит, он говорил: «Слава тебе, господи, все позади. И вовсе не страшно было, только щекотно. И не больно ничуточку». И тут брат Джек говорит, они ему и сказали: «Нет, негр, ты еще не помер. Но дай только срок».

А потом, говорит брат Джек, кинули они нашего мальчика обратно в камеру и ну пинать, ну лягать, ну поносить стул этот электрический последними словами, чтоб он заработал. Двое со стулом возятся, а третий вышел и говорит нам с гробовщиком,— хотите, мол, езжайте домой: у нас задержка вышла. Другие двое пинают, лягают, ругают последними словами стул этот, чтоб он заработал, а он мне, отцу, такое говорит, и как только у него язык повернулся...

— Гейбл, сердце побереги,— Гло говорит и сызнова к нему потянулась. Но и тут не дотянулась — он все равно далеко стоял.

— Он слыхал, говорит монах, как они оба наперебой ругали стул этот — крик на весь суд[2] стоял, а что делать со стулом, никто не знал, пришлось им посылать в Батон-Руж, чтобы оттуда приехали стул починить. А починили, сызнова мальчика нашего из камеры выволокли, пристегнули ремнями к стулу и включили ток. А как все кончилось, говорит монах, белые из комнаты той вышли — ну чисто в карты играли. Даже не обсудили ничего. Мол, такие пустяки чего и обсуждать. А что я сделал, когда они сынка моего вот так вот убивали? Что бедному негру оставалось — только ползать перед белыми на коленях? Да где там, разве их разжалобить. А нашлись из них такие, что сказали: мол, пусть твой сын еще спасибо скажет, что его не вздернули, а на стул посадили. Как-никак, говорят, с ним не хуже, чем с белым обошлись. А тебе наш совет, и его, и как да что с ним было, забыть. Но я не забыл. И никогда не забывал. Почитай что полвека прошло, а ни дня не было, ни ночи, чтобы я день тот страшный не вспоминал. Вот почему я убил Бо, мистер шериф,— говорит Гейбл Мейпсу.— Он был точь-в-точь как гольтепа эта, белая девчонка эта. Как те парни, которые моего мальчика на электрический стул посадили и включили ток. Баша правда, Бо тогда еще не родился, но все они одним миром мазаны.

---

[1] Лонг Хью Пирс (1893—1935) — губернатор Луизианы, сенатор.

[2] В Америке суд и тюрьма часто размещаются в одном здании.

Гейбл замолчал, и опять все затихло. Детишки на крыльце и те сидели смирно, не двигались. Тишина стояла мертвая, даже птицы затихли. Мейпс и тот леденец перестал катать. Двигалась одна только тень от дома. Она уже накрыла весь двор.

Тут вернулся помощник и говорит Мейпсу: Хилли, говорит, будет стеречь въезд в деревню. Но Мейпс на него и не поглядел, только опять стал леденец во рту катать. Ждал, кто из нас заговорит.

— Можно я скажу? — Джеймсон Мейпса спрашивает.

Джеймсон, он на отшибе, у дальнего края галерейки стоял. Чтобы показать Мейпсу, что он к нам касательства не имеет. А Мейпс все одно на него зверем смотрел. И глаза его, серые, злые, так Джеймсона и буравили.

— Вот уж не думал, что я здесь еще распоряжаюсь,— говорит Мейпс.

А Джеймсон ему:

— Что ж, вы не шериф, что ли?

— А при чем тут это? — спрашивает Мейпс.

— Бери ружье, Джеймсон, если хочешь говорить,— это с галерейки Клэту голос подал.

— Нет, мистер Клэту,— говорит Джеймсон.— Я ружье брать не стану.

— Тогда помолчи, нынче сперва говорят те, кто при оружии.

— Значит, это тебя она поставила верховодить? — спрашивает Мейпс Клэту.

Клэту в его сторону и не посмотрел. А для здешнего белого хуже нет, когда негр с ним разговаривает и на него не глядит. Клэту на Простую Душу глядел.

— Простая Душа, сдается мне, ты хочешь слово сказать?

На Простой Душе была старая солдатская форма, он в ней с первой мировой пришел. Мятая-перемятая, вся в дырах, но Простая Душа держался так, будто она новехонькая. В фуражке, при медали — все чин чином. В другое время Простую Душу подняли бы на смех: чего, мол, вырядился.

— Я его застрелил,— говорит Простая Душа.

— Это ты бабушке моей расскажи,— говорит Мейпс.

— Из всего нашего округа меня одного взяли в триста шестьдесят девятый,— говорит Простая Душа. А на Мейпса он и глядеть не стал. Стоял себе у плетня, глядел на поля за деревней.— В триста шестьдесят девятом полку одни цветные служили. Тогда мы и помышлять не смели, чтобы со здешними белыми вместе воевать. Нам и обучение пришлось во Франции проходить, и офицерами у нас французы были. Они нас хорошо обучали. И мы ни разу не отступили, хоть в Мондядье, хоть в Шатай-Дерри, хоть в Шампани. Нас награждали, жали руки, целовали — все честь по чести. И я гордый был незнамо как до тех самых пор, покуда домой не вернулся. А первый же белый, который мне на пути повстречался, самый что ни на есть первый, из тех, из здешних, что и по-английски толком не разумеют, мне и скажи: и думать не моги носить ни форму свою солдатскую, ни медаль, хоть ты до ста лет проживи. Тут тебе не Франция, говорит, и нам тут ни к чему, чтобы негры медалями бахвалились, за то полученными, что белых убивали. Это еще когда, в первую мировую было. Но они какими тогда были, такими и остались — точь-в-точь такими. Вон что они с парнем Курта сделали, когда он со второй мировой пришел. Увидели у него фотографию немецкой девчонки, поймали — да вы все помните, как они над ним надругались. Корея — все сызнова повторилось. Тот цветной парень гранату своим телом накрыл, взвод свой спасаючи. А все одно в Арлингтоне, где героев хоронят, его не дали похоронить — и кто тому причина: наши, здешние, что в сенате сидели. Вьетнам — и тут все сызнова повторилось. Здесь все как было, так и осталось. Точно так.

Простая Душа, он когда разговаривает, качается взад-вперед. Сидит он, стоит, а все одно взад-вперед, взад-вперед качается. Случается, он поговорит-поговорит и перестанет, а вот чтоб качаться перестать, такого не случалось.

— И вот надену я, бывало, форму свою солдатскую и смотрю на себя в зеркало, в шифоньерку вделанное. Я знал, что на улице мне нельзя показаться в форме моей, так мне хоть дома хотелось походить в ней. А нынче я себе сказал: надену-ка я свою форму да сяду на галерейке с дробовиком моим испытанным, а если кто надо мной вздумает надсмешки строить или велит мне мою солдатскую форму снять, пристрелю без разговоров. И вот сидел я там, сидел, и хоть бы кто мимо прошел. Посидел я, посидел и дай, думаю, кроликом на ужин разживусь, ну и двинул к болоту. Дошел до Польской дороги, и тут меня словно неведомая сила потянула сюда. Сам не пойму,

что причиной, только ноги меня не слушаются и несут сами собой в Маршаллову деревню.

Тут Простая Душа поглядел на Мейпса, но Мейпс на него не глядел. Он глядел за огород на деревню. Насчет того, что он в солдатской форме на галерейке сидел, это, сдается мне, Простая Душа правду говорил, зато уж все прочее он присочинил, и Мейпс это знал.

А Простая Душа дальше рассказ вел:

— Вот сижу я у Мату на галерейке, а Бо через канаву перескакивает и ружье при нем. Я ему и скажи: «Стой, говорю, парень, стой-ка лучше». Да разве он послушал? Кто я такой, чтобы ему меня слушать? Старый хрыч-негр. Всего навсего старый хрыч-негр. И немцы, они такие же. Они думали, негры не насмелятся в белых стрелять. А наш триста шестьдесят девятый страшную силу их положил — так и полегли в окопах с усмешками со своими дурацкими.

Простая Душа замолчал, но не сразу перестал раскачиваться. Гордый был, что все так хорошо рассказал. Всех нас оглядел — хотел узнать, как нам его рассказ пришелся. Я кивнул ему. И еще кое-кто кивнул. И уж он гордый-прегордый был, что все его слушали.

— Взгляни на нас, Иисусе! — Джеймсон говорит.— Взгляни на нас!

— А что, как он на их стороне? — говорит Мейпс.

— Как вы можете? — говорит Джеймсон Мейпсу.— Как вы можете сейчас кощунствовать? А вам, промежду прочим, пора бы долг свой выполнить.

— Что вы от меня хотите? Хотите, чтобы я Мату арестовал? — спрашивает Джеймсона Мейпс.— Вы что, думаете, мне нужно, чтобы это старичье, которому самое место в доме престарелых, всем скопом припожаловало в Байонну? При том, что тамошнее кодло уже загодя надирается перед завтрашним футболом?

— А вы что, собираетесь сидеть здесь, покуда Фикс с его кодлом сюда не нагрянет? — спрашивает Мейпса Джеймсон.

— Как знать, а вдруг и пронесет, на мое счастье,— говорит Мейпс.

— Ваше счастье, если они не всех до одного тут поубивают,— говорит Джеймсон.

— Заткнись, холуйская твоя душа,— Бьюла Джеймсону говорит.

Бьюла, она от Джеймсона сидела шагах в пятнадцати, не меньше. И Джеймсон — давай к ней. Но он на полпути еще был, а Бьюла уж с крыльца прыг — Джеймсона приготовилась встретить. Кулачищи сжала и ну махать — Джеймсону готовила встречу. Джеймсон враз остановился, только что не попятился.

— А ну подойди, холуйская ты душа,— Бьюла говорит. И знай кулачищами машет.— Я тебя так отделаю, что ты или вовсе ума решишься, или враз поумнеешь — не одно, так другое. А ну подойди, я тебе похлеще Мейпса врежу, только подойди. Одной ногой в могиле, а туда же!

— Ваше преподобие, не обращайте на нее внимания,— Мейпс говорит.

— А что, Чумазый, если мне в его стрельнуть? — спрашивает Кочет.— Или мне не встревать и пусть баба моя его оттреплет?

— Ни тебе, ни твоей бабе нечего руки марать,— говорит Чумазый.— Если он хоть раз еще пикнет, его Кукиш оттреплет. Ну что, Кукиш, возьмешься его оттрепать?

Кукиш покосился на бабку узнать, как ей это глянется, но Гло так на него зыркнула, что он враз присмирел.

А Мейпс к Джеймсону подошел, руку на плечи ему положил:

— Ваше преподобие, шли бы вы домой.

— Мое место здесь,— говорит Джеймсон, а сам все на Бьюлу глядит. И так он тихо это сказал, что его, почитай, никто и не услыхал.— Мое место здесь,— и Мейпсу прямо в глаза поглядел.

— Ну что ж, дело хозяйское,— говорит Мейпс и руку с Джеймсонова плеча скинул.

— У кого еще есть что сказать? — спрашивает Клэту.

Никто не отозвался. Мейпс подождал чуток, потом всех нас, одного за другим, оглядел.

— Это что же значит, вам больше нечего рассказать? — спрашивает.— А я-то думал, вы только во вкус вошли.

— Уж чего-чего, а чего рассказать у нас найдется,— говорит Бьюла. А сама не на него, на Джеймсона глядит.— Хотите, чтоб я рассказывать начала? — и тут уж на Мейпса поглядела.— А не хотите, чтоб я начала, так и любая другая баба может начать.

Рассказать, что здесь с бабами творили, так у вас волосы дыбом встанут. Ну что, мне начинать? Скажите только «да», и я начну. Кивните только — и я начну.

— Нет,— говорит Мейпс.— Хватит с меня. Я сыт по горло вашими небылицами.— И всех нас одного за другим оглядел.— Значит, настало время платить по счетам, так надо понимать? И платить Фиксу придется? Причастен Фикс, не причастен, а платить за все ваши обиды придется ему, так надо понимать?

— А что, за ним мало, что ли, паскудств числится?— Бьюла говорит.

— Не Фикс выступал в сенате, чтобы того парня в Арлингтоне не хоронили,— говорит Мейпс.— И не он электрический стул включал,— повернулся к Дину и Дону Леженам — мулаты эти, они завсегда рядышком стоят.— И ты, Дин, знаешь,— говорит,— женщина, которая племянницу твою отравила, была не кэджeнка, а сицилийка. И Фикс тут ни при чем.

— Он здешний, с реки,— Дин говорит,— и она здешняя, с реки этой. Значит, одного поля ягоды.

— Ох уж мне эта река,— говорит Коринна.

Все повернулись к ней. От кого, от кого, а от нее не ожидали, что она заговорит. С тех самых пор, как Коринна сюда пришла, она и рта не раскрыла, знай, сидела в качалке да во двор глядела. И с места с тех пор почитай что не вставала, разве когда за покрывалом — Бо прикрыть — сходила. Про нее чуть не все и забыли.

А она говорит:

— А все эта река, сколько уж лет мы ходили на реку на эту. И рыбу удили тут, и белье стирали, и крестили нас тут, в этой реке, в реке Сент-Чарльз. Она и питала нас, и тела и души наши очищала. Все она, река Сент-Чарльз, и вот на-поди — нету ее для нас. Нету. Лишили нас реки. И больше нам туда ходу нет.

И замолчала. Даже головы не подняла. Все глядела во двор.

— На мне не меньше, чем на вас, сказывается, что той, прежней реки уже нет,— Мейпс ей говорит. Но она его не слушала. А может, и забыла, что он тут.— Разве прежде здесь такая рыбалка была?— говорит Мейпс.— А охота разве прежде такая была? И в этом вы тоже Фикса вините? Так я вам скажу — не того вините. Он от этих времен не меньше вашего пострадал. Если бы его реки не лишили, с какой бы стати он к протоку переселился?

А Коринна все во двор глядела. И сдается мне, и не слыхала, что ей Мейпс говорил.

Зато Бьюла, та его услыхала:

— Было время,— говорит,— когда он тут на реке жил. И за ним немало паскудств числится. Тех двух ребятишек — они тут дальше по дороге жили,— к примеру, кто, как не он утопил?

— Бьюла, да что ты все дела тридцатипяти, сорока, если не пятидесятилетней давности вспоминаешь,— говорит Мейпс.— И где у тебя доказательства, что Фикс к ним причастен?

— Вот-вот, у белых завсегда так,— Бьюла нам говорит, а сама все на Мейпса глядит.— Черных вешают, топят, стреляют, кишки им выпускают, а он — где, говорит, у тебя доказательства? Двое ребятишек в двух гробиках — это что, не доказательства? Ребятишки те мертвые — вот тебе и все доказательства. И разговоров этих насчет тридцати-сорока-пятидесятилетней давности тоже не нужно. У нас здесь все почитай как было, так и осталось. А демонстрации пошли, и после них тоже хоть один, а не вернется домой. Потому не нужно прикидываться, что, мол, все это было и быльем поросло, а нынче у нас тишь да гладь. Нет, Фиксово место его семя заступило. Пусть он сам нынче стар стал, но и за сыновьями его немало паскудств числится.

— Ты, видно, много больше моего знаешь,— говорит Мейпс.

— Да, шериф, касательно того, какие паскудства надо мной, над бабой черной, творили, я, пожалуй, много больше вашего знаю.

— И ты, видно, на все пойдешь, лишь бы меня заставить тебя в тюрьму посадить?

— Посáдите Мату, сажайте и меня,— говорит Бьюла.

— Раньше или позже, а Мату я обязательно посажу,— говорит Мейпс.— Но и для тебя место найдется.

— Что ж, я готова,— говорит Бьюла.— Схожу только домой и платье хорошее надену.

— Я тебе подходящее платье сам подыщу,— говорит Мейпс.— И швабру с ведром в придачу.

— Нашли чем пугать, мне к ведру со шваброй не привыкать стать,— говорит Бьюла.— И не только к ним, а еще и к мотыгам, лопатам, топорам, мачете, косам, кольям, ну а будет надобность, я и с ружьем управлюсь. И за решеткой я уже сиживала.

— Толкуй-толкуй,— говорит Мейпс,— и дотолкуешься — опять в тюрьму сядешь,— и повернулся к Гло: — А как насчет тебя, Гло? — говорит.— А насчет внучат твоих?

— И я готова,— говорит Гло.— Вот только подыщу, кто бы за детьми присмотрел.

— Не знаю, как насчет Тодди,— говорит Кукиш,— а я готов,— и костяшками хрустнул.— Вот жалость-то, что года мои не вышли, а то и я мог бы его застрелить.

— А разве это не ты его застрелил? — говорит Мейпс.— Да нет, ты оббегал деревню, всех сюда созвал. Верно я говорю?

— Ничего я вам не скажу,— говорит Кукиш,— хоть бейте меня шлангом.

И голову пригнул. Мейпс поглядел-поглядел на него и повернулся к Кэнди. Кэнди рядом с Мату стояла — он примостился на нижней ступеньке крыльца.

— Вот, значит, как вы задумали: или всем скопом отвечать, или никому не отвечать?

— Я его застрелила,— говорит Кэнди.

— И вы допускаете, чтобы они в лицо уличали вас во лжи?

— Они выгораживают меня,— говорит Кэнди.

— Как же, как же,— говорит Мейпс.— Только не удивляйтесь, если день еще к концу не подойдет, а они вас в один с Фиксом черный список занесут.

— А вам только того и хочется? — спрашивает его Кэнди.

— Во всяком случае, мне мало чего так хочется,— говорит Мейпс и повернулся к помощнику: — Поди проверь, где Рассел.

— Опять? — говорит помощник.— Не понимаю, чего бы нам не зашвырнуть этого черного хрыча на заднее сиденье и не свалить отсюда?

Все поглядели на помощника, и злее всех поглядела Кэнди.

— Делай, что тебе велено, проверь, где Рассел,— говорит Мейпс.

Помощник поглядел на Мейпса, покачал головой и пошел к машине.

— Вам бы надо парня-то приструнить,— говорит Мейпсу Бьюла,— если хотите, чтоб он при вас и дальше состоял.

— Это ж надо, чтоб у человека вовсе без задницы такая пасть была,— это Янки от огорода голос подал.— Не взыщите за грубость, женщины.

— Чего там,— говорит Мейпс.— Все мы тут одна дружная семья, верно я говорю? — спрашивает он Кэнди.

Кэнди ничего ему не сказала. Только положила руку на плечо Мату, да так бережно, будто цветок тронула.

Мату обычно чувств своих не выдавал, но когда Кэнди тронула его за плечо, он улыбнулся.

— Тебе не нужно прилечь? — спрашивает его Кэнди.

Мату покачал головой.

Кэнди поглядела на Мейпса.

— Мату последнее время неважно себя чувствует. У него голова кружится.

Мейпс кивнул.

— Это надо же,— говорит,— и со мной точно такая история: стоит мне кого застрелить, сразу голова кружится.— И глянул через плечо на дорогу.— Что там у тебя? — кинул он помощнику.

— Все тихо,— отозвался тот.

— Затишье перед бурей,— это Мейпс к Лу обратился.— Как только всех соберет, он будет здесь.

— Но и мы все тоже здесь будем,— подал голос Клэту.

ТЕОДОР ЛИ САЛЛИВАН, он же САЛЛИ, или ТЕЛИК

Мы с Жилем не успели выйти из 210-й аудитории, и тут нас догоняет Кэл и говорит, что Жиля требует к себе тренер, причем сейчас же.

— Я считал, мы уже все обсудили,— говорит Жиль.

— На этот раз, по-моему, не футбол,— Кэл отвечает.

Жиль спросил, пойду ли я с ним вместе, а так как Кэлу нечего делать, он тоже присоединился к нам. Кэл — это Кэлвин, Перец Гаррисон,— вполне возможно, в этом году лучший полузащитник в стране, его уже включили в американскую сборную. А Жиль — Жильбер, Соль Бутан, бесспорно, лучший защитник Юго-Восточной Ассоциации и многих других ассоциаций также. У нас в университете штата Луизиана — УШЛ — Кэл и Жиль известны как «Соль с Перцем». Жиль — кэджен, когда он появился в университете, рекламщики пытались изобрести ему подходящую кличку на кэджейский лад, но, увидев, как здорово они работают с Кэлом, окончательно и бесповоротно остановились на том, что быть им «Солью с Перцем».

Жиль — футболист до мозга костей и рано или поздно станет профессионалом, но сейчас, пока он еще в УШЛ, самая заветная его мечта — попасть вместе с Кэлом в американскую сборную. Если попадет, это будет впервые в истории — белый и черный играют в паре, и не где-нибудь, а в южном штате, в самых глубинах Юга. В УШЛ это известно, белым и черным во всем Батон-Руже это тоже известно, известно это всей стране. Куда ни сунься, везде разговоры о Соли с Перцем из УШЛ. Оба отлично бегают, оба блокируют классно. На краю поля Жиль работает на Кэла, на середине поля Кэл отвечает ему той же услугой. Нападение не знает, куда смотреть — мяч то у Жиля, то у Кэла, обалдеть можно. Плюс к тому в защите играет еще Сахар Вашингтон, и он тоже парень шустрый.

Я кто такой? Ну прежде всего не Сахар Вашингтон, уж это точно. Тоже защитник, только запасной. Зовут меня Теодор Ли Салливан. Волосы у меня рыжие, лицо красное, глаза зеленые, и почти все знакомые называют меня Салли. А некоторые именуют Телик, особенно черные ребята из нашей команды. Тут виной не столько мои инициалы, сколько мое увлечение. Я на телике чокнутый. Телеидиот.

Пока Жиль ходил к тренеру, мы с Кэлом стояли на улице и разговаривали о завтрашней игре: наш университет против университета штата Миссисипи — Старушки Мисс. Главная игра года. Мы знали, если мы их сделаем, нас уже никто не остановит, и в новогодней игре на Сахарный Кубок приз определенно достанется нам. Болельщики уже заполнили все мотели и отели от Батон-Ружа до Нового Орлеана. Центральная пресса писала об этой игре. Куда ни пойдешь, всюду лишь о ней и толкуют. Те, кто болел за УШЛ — а за УШЛ только сумасшедшие не болеют,— говорили, что Соль с Перцем не знают преград. Те, кто болел против УШЛ, то есть за Старушку Мисс — а ведь из Миссисипи понаехали целые тысячи поболеть за свою команду,— эти говорили, что Старушке Мисс нужно только одно — закрыть кого-нибудь из этих двоих, Соль или Перца, и победа за ними. Разговоры эти велись уже целый месяц, а сейчас осталось немного больше суток — тридцать часов до игры. Если вы разбираетесь в особенностях погоды штата Луизиана, вы, конечно, знаете, что там всегда перед сильной бурей без конца сверкают молнии и грохочет гром. Так вот: редкостная, необычайной силы буря ожидалась на следующий вечер, ровно в восемь часов, а молнии и гром сверкали и грохотали уже целый месяц, и все знали: утихнут они лишь в последний момент.

Жиль пробыл у тренера минут десять, потом вышел и проходит мимо нас так, словно мы тут вовсе не стоим. Я подумал: он забыл, где нас оставил, и окликнул его. Никакого впечатления: идет и не глядит. Мы с Кэлом переглянулись и пошли за ним следом. Он шагает быстро так и все время потирает руки.

— Жиль, погоди,— говорю я.— Эй, Жиль!

Догнали его и пошли с двух сторон.

— Что у тебя случилось? — спрашивает Кэл.

Он остановился. Дышит прерывисто, тяжело, словно только что вырвал мяч у игроков противника. Смотрит в землю и все время потирает руки — так сильно, словно хочет с них кожу содрать.

Кэл кладет ему на плечо руку, я — на другое.

— Что случилось, Жиль? — спрашиваю его.

Он только головой трясет и по-прежнему смотрит в землю.

— Брат... с братом несчастье. Погиб.

— В катастрофе? — спрашивает Кэл.

Жиль по-прежнему трясет головой, и кажется, он сейчас заплачет. Я взял его под руку, Кэл сочувственно похлопал по спине. И вдруг он как рванется к Кэлу. Ни с того

ни с сего уставился такими злыми глазами, словно внезапно возненавидел его. Мы с Кэлом рты разинули от удивления.

— Да ведь это Кэл,— говорю.— Одурел ты, что ли, Жиль?

Он отвернулся от Кэла, глядит на меня. «Почему сегодня?» — спрашивает. И плачет. «Почему сегодня?»

— Ты успокойся, Жиль,— говорю я. Вокруг нас тем временем уже собирается народ, и все спрашивают, что случилось. Кэлу или Жилю стоит только чихнуть, тут же целая толпа сбегается.— Ты успокойся,— говорю я ему.

— Домой надо ехать,— говорит он.— Ты не одолжишь мне машину? Моя еще на ремонте.

— Да я тебя отвезу,— говорю.— Смотаюсь с занятий по сценическому искусству.

— Почему сегодня, Салли? — спрашивает он.— Почему?

Я не знаю, что можно на это ответить, и растерянно смотрю на Кэла. У Кэла обиженный вид. Он понять не может, с чего это вдруг Жиль на него вызверился, и я, кстати, тоже удивляюсь.

— Пошли отсюда,— говорит Жиль.

— Жиль, тут ведь Кэл,— напоминаю я.

— Давай пошли отсюда,— повторяет он и, не оглядываясь, чешет прочь.

Я иду за ним, но, честно говоря, у меня на душе какой-то осадок: мне не очень-то приятно, что он так грубо Кэла завернул.

Мы идем к моей машине; у меня «карманн-гиа» 68-го года, я ее оставил у стадиона с той стороны. Пока мы едем по территории университета, мне приходится делать не больше мили в час, из-за всех этих психопатов, которые сразу же узнают Жиля и желают ему удачи в завтрашней игре. Причем это не только студенты. Среди них порядком наших выпускников — заблаговременно прибыли, ничего не скажешь, матч ведь начнется только через тридцать часов. Кто-то сказал, что Норман, Оклахома, самый психованный город в смысле футбола, но если существует город безумней нашего, хотелось бы мне на него посмотреть, то есть, вернее, не хотелось бы — наверно, это опасно для жизни.

Жиль сидит, понурив голову. На болельщиков ни разу не взглянул. Я веду машину со скоростью километра полтора в час. Примерно дюжина машин с той же скоростью едет сзади меня. Выехали за город, я прибавил скорость, теперь делаем восемь километров в час. Психопатов-болельщиков и тут навалом.

Жиль молчит, как будто в рот воды набрал. Я не знаю, полагается ли что-то говорить в подобном случае, и поэтому тоже молчу. Я все думаю насчет Кэла. От этого эпизода какой-то осадок в душе. Когда они на поле, они так чувствуют друг друга, как руки игроков в бейсбол — та, что подбрасывает мяч, и те, что по нему ударяют. Жиль — джентльмен. Я никогда не видел, чтобы он некорректно вел себя.

Проехали по мосту через Миссисипи и выехали на автомагистраль, по которой и доберемся до дома его родителей, в округе Святого Рафаила. Психопаты остались позади, во всяком случае идущие пешком, и я гоню со скоростью сто километров. А Жиль за все это время не сказал ни слова, только руки тер и смотрел на шоссе. Он молчит, и я молчу — не знаю, что ему сказать. Я вообще не знаю, что полагается говорить, когда у человека умер кто-то близкий. К тому же я никак не мог забыть этот неприятный случай с Кэлом.

— О господи, надеюсь, никто из них не связан с этой историей,— говорит наконец Жиль. На меня он не смотрит — по-прежнему на дорогу.— Всей душой надеюсь, что убил его не кто-нибудь из них.

— О ком ты говоришь?

— О черных из деревни Маршалл. Его убили там, в этой деревне. Господи боже, только б не они!

Так вот почему он на Кэла окрысился. Ему не важно, связан Кэл с убийством или нет, Кэл в его глазах все равно виноват — он же черный. Ну и дела! Отличные дела! Когда вы на футбольном поле, вы все делаете вместе, вы как сиамские близнецы, и вдруг — на тебе, такая штука! Опомнись, Жиль, подумал я. Надеюсь, ты все же не такое дерьмо.

— Ты не знаешь мою семью, Салли. Ты очень мало знаешь обо мне.

Не так уж мало я о тебе знаю, подумал я. Не так уж мало, информации вагон. С этой стороны — что правда, то правда — я не знал тебя, но информации у меня вагон, и о тебе, и о твоем папаше, старом Фиксе. Вполне наслышан, какие расправы устра-

ивали в старые времена Фикс Бутан и его приятели. Я только не знал, что и ты той же самой породы.

Мы могли бы и дальше ехать по магистральному шоссе и свернуть на проселок километрах в трех от его дома, но когда мы добрались до развилки с указателем «река Сент-Чарльз», Жиль попросил меня свернуть к реке. Это хорошая дорога — прямое, без всяких поворотов шоссе; так мы проехали километров шесть с гаком, и по обе стороны от нас тянулись плантации сахарного тростника. Тростник почти весь убран; справа от дороги, на дальнем краю тростникового поля, виднелась темная кайма деревьев — там начинаются болота. Жиль все время смотрел туда, вдаль. Все смотрел, смотрел, пока мы не свернули и не поехали по берегу, вдоль реки Сент-Чарльз. Река серо-голубая, тихая. По другому ее берегу примерно в километре от нас проходила еще одна дорога, и бегущие по ней автомобили казались мне совсем крошечными. Так мы проехали примерно еще с полкилометра, потом Жиль кивком попросил меня свернуть с шоссе. И лишь теперь я понял, почему он сразу же не поехал домой — ему хотелось сперва побывать в этой деревушке, Маршалл.

Только-только мы свернули к деревушке, как я увидел на дороге полицейскую машину. Из машины вышел полицейский в серо-голубой форме и поднял руку, останавливая нас. Потом подошел к моей машине. Жиля узнал тотчас.

— Жиль, привет,— говорит он.

— Привет,— отвечает Жиль.

Хилли взглянул на меня. Примерно нашего возраста парень, немного постарше. Веснушчатый, рыжий. Ни фуражки, ни галстука, наоборот, расстегнуты две пуговицы на рубашке, так что видны рыжеватые волоски на груди. На меня смотрел недолго, снова повернулся к Жилю:

— Мейпс велел мне следить за порядком, но, как я понимаю, с тобой все о'кей.

— Мейпс все еще там? — Жиль спрашивает.

— Еще там.

— Спасибо,— говорит Жиль.

— Буду завтра болеть за тебя,— говорит Хилли. Сказал и сразу язык прикусил — понял, что такие разговоры сейчас не к месту.

— Спасибо,— отвечает Жиль, и мы поехали дальше.

Деревушка Маршалл тянется вдоль узкого проселка, покрытого толстым слоем белой пыли и с обеих сторон заросшего сорняками. Два дощатых домика, в которых, казалось, никто не живет, настоящий заброшенный город из вестерна. Для полноты картины не хватает только перекати-поля, которое бы, подпрыгивая, неслось по дороге. Посреди деревни я увидел трактор и несколько машин. Мы подъехали поближе, и я узнал голубой «порше» Лу Даймса с белой полосой на боку. Лет десять тому назад Лу Даймс был нападающим в стартовом составе баскетбольной команды УШЛ; он и сейчас ходит почти на все игры. Иногда пишет спортивные репортажи для газеты в Батон-Руже.

Жиль движением головы велел мне остановить машину. Мы не простояли там и полминуты, как из сорняков возник некий субъект, тощий и малорослый, с пистолетом в руке. Обвел нас подозрительным взглядом, потом вижу: Жиля узнал и тут же заулыбался. Подошел вплотную к нашей машине и заглянул внутрь.

— Сперва не разобрал, что это ты,— говорит он.— Кошмарный случай. Прими мои сожаления, Жиль.

Он кивнул мне, и я кивнул ему в ответ. Я подумал, что для полицейского он слишком бледен.

— С Мейпсом, что ли, хочешь поговорить? — спрашивает он Жиля. Мы оба вышли из машины. Жиль постоял с минутку, посмотрел на трактор; затем следом за помощником шерифа мы двинулись к дому.

Но тут опять задержка — из-за стариков с дробовиками; старичьем этим кишмя кишит и галерея и двор. Да к тому же еще шериф с охотничьим ружьем. Лу Даймс стоял рядом со своей подружкой Кэнди. Черных женщин мало — три или четыре — они сидели кто на крыльце, кто на полу на галерее. И детишки какие-то грязные там же на ступеньках возле женщин. И все до одного таращились на нас. Такое чувство, будто ты заглянул в «Сумеречную зону». Помните, давно когда-то по телику пьеса шла, называлась «Сумеречная зона». Там такой заштатный городок, едешь-едешь по нему и вдруг — раз! — на такую картину наткнешься, которой ну никак не может там быть...

И здесь точно такое же впечатление, будто смотришь на брейгелевские картины. На настоящего Брейгеля, жуткого-жуткого.

Шериф узнал Жиля и опустил ружье. Все остальные тотчас сделали то же самое. Не успел я глазом моргнуть, все эти древние дробовики опустились на несколько сантиметров.

Жиль перешагнул через заросшую травой канаву, а я шел вплотную за ним. Примятые его ногой травинки не успевали распрямиться, как моя подошва прижимала их к земле. Мое решение было твердо: ходить за ним впритир, пока мы отсюда не уберемся.

— Жиль.

Первым заговорил шериф. Широкоплечий, здоровенный детина, в точности такой, каким, как полагают в Северных штатах и в Голливуде, должен быть шериф маленького южного городка.

Жиль промолчал. Я кивнул Даймсу и Кэнди. Даймс поздоровался со мной, а Кэнди нет. Она стояла у крыльца рядом со стариканом в грязной майке и зеленых портках. Похоже, Кэнди так задумалась, что ей не до нас было. Похоже, наше с Жилем появление не вызвало у нее ни малейшего интереса; похоже, ей вообще не до чего, кроме разве что этого старикана. Я ее видел несколько раз, когда она приезжала с Даймсом посмотреть игру, и всегда у нее такой вид, будто все ей надоело до смерти. И сейчас у нее скучающий вид. Скучающий и усталый.

— Где мой брат, Мейпс? — Жиль наконец заговорил.

Мейпс ответил:

— Его увезли в Байонну.

Жиль продолжал смотреть на Мейпса в упор. По его мнению, шериф ответил ему слишком коротко. Ему хотелось, чтобы шериф добавил что-нибудь еще, не дожидаясь от него новых вопросов. Жиль считал, что в этой ситуации ему нет необходимости задавать вопросы.

— Ты домой едешь? — спрашивает Мейпс. Он старался выразить свое сочувствие. Но это трудно человеку с таким лицом и с такими глазами.

Жиль и на этот раз не ответил ему. Он следил за собой — изо всех сил старался держать себя в руках. Ему очень хотелось, чтобы шериф сказал еще что-нибудь о его брате.

— Я поставил Рассела возле протока,— сообщает Мейпс.— Я велел ему не пропускать сюда твоего папашу. Ему нечего сейчас делать здесь, Жиль. И в Байонну ехать ему нет необходимости, пока я за ним не пошлю.

Шериф сказал это мягко, таким ласковым, сочувственным голосом, каким только способен говорить человек, обладающий его внешностью. Лицо у него большое, красное, с каменным подбородком; глаза такого цвета, как цемент. И даже когда он старается обходиться с человеком ласково, глаза у него жесткие, так и сверлят тебя насквозь.

Жиль так же жестко посмотрел ему в глаза. Он ждал, когда шериф ему расскажет еще что-нибудь о том, что тут произошло.

— Мы с этим к вечеру закончим,— сообщает Мейпс.— Я тебе ручаюсь.

— С чем закончите, Мейпс? — спрашивает Жиль. Он все время следил за собой, изо всех сил следил.— Так с чем вы закончите, Мейпс?

— Тот, кто это сделал... я посажу его в тюрьму, еще до захода солнца, я тебе это гарантирую,— говорит Мейпс.

— А вы что, еще не знаете, кто это сделал? — спрашивает Жиль.

— Думаю, что знаю,— отвечает Мейпс.— Уверен, что знаю.

— Тогда почему вы не арестуете его?

— Они тут все твердят одно и то же. Каждый уверяет, будто стрелял именно он.

— Ну, а вы-то знаете, кто стрелял?

— Да,— отвечает Мейпс.— Я это знаю. Только все это старичье грозит, что они привалят в город, если я его заберу. И Кэнди то же самое говорит. А мне в Байонне вся эта компания сейчас совсем некстати. Там и без них-то перед завтрашней игрой все ходит ходуном. Если вы приехали из Батон-Ружа, вы сами знаете, что это так.

— Что же вы собираетесь предпринять, Мейпс?

— Улажу я это дело по-своему.

— По-своему? — переспрашивает его Жиль.— Сколько времени прошло с тех пор, как убили моего брата, четыре часа?

— Да, около того.

Жиль посмотрел на него, и его взгляд говорил: что же ты отмалчиваешься, Мейпс, тебе следовало бы сказать гораздо больше. Но Мейпс не стал говорить больше, а просто отвернулся. Тогда Жиль обвел взглядом стоящих вокруг стариков. Взгляд его остановился наконец на одном из них — на старикане в грязной майке и зеленых штанах, на том самом, что стоял рядом с Кэнди. Он сначала молча смотрел на этого старика. А старик смотрел на дорогу.

— Это сделал ты, Мату?

— Да,— ответил старик, не глядя на Жиля.

Правая рука Жиля медленно сжалась в кулак. Нет, он не хотел этого старика ударить. Его лицо не выражало ни ненависти, ни злобы... только удивление — он, казалось, своим ушам не поверил, что старик так резко и так прямо ответил на его вопрос. Если б он сознался, понурив голову, смущенно и растерянно выговаривая слова, была бы совсем иная картина. Но так резко, так прямо и при этом даже не взглянул в его сторону: «Да, это я сделал».

— Ты других спроси,— говорит Мейпс.— Спроси Кэнди.

Но Жиль по-прежнему смотрел на старика Мату; и старик не избегал его взгляда: он просто в сторону глядел, задумчиво так глядел в сторону.

Держа в одной руке ружье, Мейпс обхватил Жиля за плечи второй ручищей.

— Поезжай домой, Жиль,— говорит он ласково. Так ласково, как только способен сказать человек с таким лицом и с такими глазами. Но конечно, не так, как надо бы говорить с человеком, у которого только что убили брата.

А Жиль все смотрит на старика Мату. И не поймешь, слышал ли он хоть слово из того, что сказал ему Мейпс.

— Жиль,— говорит Мейпс и слегка его встряхнул.— Жиль.

Жиль повернул к нему голову.

— Что здесь происходит, Мейпс? — вдруг спрашивает он. Он спросил это таким тоном, будто только что вошел во двор и понятия не имеет, в чем дело.— Что здесь происходит?

— Что здесь происходит? — Это уже Мейпс спросил.

Он посмотрел по сторонам; куда ни глянь, всюду эти старики с дробовиками. Может быть, ему все было ясно, а может, и нет. Впрочем, даже если ему и было все ясно, он не знал, как объяснить это Жилю, слов не мог подобрать. «Ступай домой, Жиль»,— сказал он.

Жиль рывком сбросил с плеча его руку. Теперь он повернулся к Кэнди, стоявшей рядом со стариком Мату. Она по-прежнему не проявляла к нам ни малейшего интереса.

— Что здесь происходит, Кэнди? — спрашивает Жиль.

Кэнди медленно подняла голову — наконец она на него посмотрела. У нее был страшно утомленный вид. Но она не стала притворяться, что сочувствует Жилю. Она рассказала, что Бо Бутан и какой-то Чарли подрались на поле. Чарли этот бросился бежать сюда, во двор, а Бо гнался за ним с ружьем. Она, Кэнди то есть, тоже тут находилась, они о чем-то толковали со стариком Мату. Кэнди крикнула, чтобы Бо не заходил во двор.

Она сказала, что несколько раз его предупредила. Но Бо вошел, и тогда, увидев, что он вот-вот выстрелит, Кэнди его опередила. А старики, что здесь стоят, вскоре узнали об этом и испугались, как бы с нею не стряслось какой беды, и явились все как один ее защищать. Обо всем этом она уже подробно рассказала Мейпсу.

— Врешь ты, Кэнди,— говорит ей Жиль.— Бо никогда в жизни не погнался бы за Чарли с ружьем. С палкой, с тростниковой палкой, но не с ружьем. Зачем ты все это говоришь? И главное, зачем ты сюда явилась? И зачем сюда притащились эти старики? Скажи мне, Кэнди: что вы собираетесь делать?

Ответа нет. Кэнди смотрела не на него, а мимо. Она изложила свою версию. О чем же еще говорить?

Тогда Жиль спросил Лу Даймса, стоявшего с ней рядом.

— Что здесь происходит, Лу? — спрашивает Жиль.— Я знаю, вам можно верить. Скажите, что здесь происходит?

Лу покорно стоял рядом со своей подружкой, но было видно: ему очень не по себе. Просто большими буквами написано: ему не хочется сейчас быть здесь, ему все это не нравится. Он покачал головой.

— Я не знаю, Жиль,— ответил он.

— Знаете вы, прекрасно вы все знаете,— говорит Жиль. Тут я подумал: да он заплачет сейчас.— Что здесь происходит, Лу? Скажите мне, что здесь происходит?

— Жиль, я правду вам говорю,— отвечает Лу.— Я знаю не больше, чем вы,— только то, что мы видим. Это правда, поверьте,— и посмотрел на меня.— Да увезите его наконец домой.

— Поехали, Жиль,— говорю я и тяну его за руку. Но это все равно что дерево за собой волочить.

А Жиль снова повернулся к Кэнди.

— Ты всегда не любила Бо,— говорит он.— Ты всех нас не любишь. Ты считаешь нас людьми второго сорта. Но это неправильно, Кэнди. У нас у всех одна плоть и кровь... и кожа. Твоим предкам повезло, моим нет, вот и вся разница.

Она смотрела мимо Жиля, словно его вообще не существовало. И вид у нее утомленный, но ничем больше она не выдавала своих чувств.

— О господи,— говорит Жиль.— О боже мой, боже! Кэнди, если бы ты только знала, какое грустное у тебя лицо и как мне тебя жаль.

Она притворилась, будто ничего не слышит. А может быть, и на самом деле не слышала его.

— Пошли, Жиль,— и я снова потянул его за собой.

— Неужели это никогда не кончится? — спрашивает Жиль и оглядывает всех вокруг.— Неужели это никогда не прекратится? Я делаю все, что в моих силах, чтобы это прекратить. Каждый день, буквально каждый день я делаю все, что от меня зависит. Неужели же это не прекратится никогда?

Но никто в этом дворе не смотрит на Жиля. Глаз не опустили — просто в сторону глядят.

— Пошли,— говорю я ему.— Ну пошли же. Пойдем отсюда.

Он еще раз оглядел их всех; потом быстро повернулся и пошел со двора. Ну, а я, конечно, за ним следом.

ЛУ ДАЙМС

Я заметил, что весь последний час старики один за другим ускользают на зады. Правда, они сделали перерыв, пока здесь были Жиль с приятелем, но едва те уехали, старики снова стали по одному исчезать на зады. Один пропадет минут на пять, потом возвратится, кивнет, и тогда следом за ним скроется на зады другой. Мейпс, казалось, не обращал на них никакого внимания, Кэнди тоже.

Кэнди привалилась к галерее, поближе к крыльцу, где сидел Мату, я пристроился поближе к ней. Не пойти ли нам, спрашиваю, пройтись — надо же нам поговорить. Нет, говорит. А не лучше ли тебе, спрашиваю, отправиться домой. Ни за что, говорит, не уйду отсюда. Да я, говорю, буду держать тебя в курсе всего, что здесь происходит. Говорит, все равно не уйду. Зачем тогда, спрашиваю, я тебе нужен? Нужен, говорит, и все тут. Мейпс по другую сторону крыльца стоял. Он не выказывал никакого интереса к нашему разговору. Видно, как и все они, чего-то ждал. Вот только чего они ждали? Нагрянет или не нагрянет Фикс? Я не разбирался в том, что происходит. Присутствовал, не более того.

Я прошел за дом на зады. И там столкнулся с одним из стариков — он как раз вышел из уборной. Старик был при дробовике, как и все они, но дорогу мне уступил. Поравнявшись, мы кивнули друг другу.

Старикан постарался соблюсти чистоту. Да и все они, видно, старались. На сиденье не видно брызг. Только обглоданные початки, обложка старого каталога, обрывки газет да два-три бумажных пакета. Мне они были ни к чему, и, сплюнув в дыру, я вышел. На полпути к дому мне встретилась Кэнди.

— Ну как, пауков там не обнаружил? — спрашивает.

— Пауков не обнаружил. Только паутину. Шла бы ты домой, Кэнди,— говорю.

— Благодарствую,— говорит и мимо прошла.

— Мне тебя подождать? — спрашиваю.

— Нет,— говорит.— Возвращайся скорее назад, пока он не наделал глупостей.

— Кэнди,— говорю,— от тебя здесь никакой пользы. Шла бы ты домой, а?

Она ничего не ответила. Уже скрылась в уборной. Я вернулся во двор, а через

несколько минут и она вернулась и заступила на свой пост около Мату. Ее место никто не занял — хранили для нее.

Потом мы увидели вдали пыль, и Мейпс знак еще не успел подать Гриффину, а тот уже выскочил со двора, размахивая пистолетом. Мейпс глядел, как Гриффин, вместо того чтобы держать пистолет наизготове, едва не хлопает им себя по ноге, и ясно было, что при первой же возможности Мейпс избавится от Гриффина.

Все смотрели, как над зарослями клубится пыль, но никто не тронулся с места. Считали, наверно, что Фикс не нагрянет засветло, а если и нагрянет — они успеют разбежаться, прежде чем он толком прицелится. Мейпс тоже не сдвинулся с места, стоял себе, свободно привалясь к углу галереи. Ружье, конечно же, было при нем, и я заметил, что он держал палец у скобы.

Гриффин затаился в канаве за густым бурьяном, правую руку с пистолетом опустил, левой раздвигал стебли желтушника, чтоб лучше следить за деревней. Чуть погодя он оглянулся на Мейпса и мотнул головой: мол, все в порядке. Мейпс положил палец на скобу, но по тому, как он глядел на Гриффина, было ясно, что Мейпс избавится от Гриффина, едва выберется отсюда, если не раньше.

Теперь я понял, почему Гриффин мотнул головой: это приехала мисс Мерль. Затормозив чуть дальше бывшей калитки, она еще некоторое время смотрела на нас из машины. Точь-в-точь, как и все до нее, хоть и приехала сюда уже второй раз. А чуть погодя с жалобными причитаниями вылезла из машины, неся корзину, прикрытую посудным полотенцем. Первым делом подошла к Гриффину, что-то сказала ему, и Гриффин сходил к ее машине, достал еще одну корзину, прикрытую полотенцем, и пошел во двор с корзиной в одной руке и с пистолетом в другой, и по тому, как Мейпс глядел на него, видно было, что он прикидывает: а не лучше ли ему и вовсе обойтись без Гриффина. Мисс Мерль не подошла ни к Мейпсу, ни к Кэнди, ни ко мне, а начала раздавать бутерброды с первого же попавшегося ей на пути старика. Наверно, сочла, что раз уж мы все заодно, никому не надо оказывать предпочтения, поэтому, не переставая причитать, она начала раздавать бутерброды с первого же человека, к которому подошла.

— Где же это видано, нет, где же это видано! — оделяла всех бутербродами и причитала.— Надеюсь, вы любите сыр с ветчиной, потому что ничего другого у меня нет. Где же это видано? Нет, где же это видано! Несите сюда быстрее вторую корзину,— бросила она через плечо Гриффину. Гриффин принес полную корзину, она отдала ему пустую, и Гриффин так и остался стоять с пустой корзиной в одной руке и с заряженным пистолетом в другой.

— Почему бы вам не убрать эту штуку? — спрашивает мисс Мерль.— В кого вы собираетесь стрелять, не в борова ли?

— Как можно,— говорит Гриффин.

— Где же это видано!— говорит мисс Мерль, глядя на Гриффина.— Нет, вы мне скажите, где же это видано! — и поглядела на нас.

И снова стала оделять всех бутербродами. Бутерброды были аккуратно завернуты в вощеную бумагу. Поверх ветчины и сыра лежали листики салата и кружочки помидоров.

— И ты тоже хороша,— говорит она Кэнди.— И ты тоже хороша. Нет, где это видано!

Кэнди, не глядя на мисс Мерль, взяла бутерброд. Мисс Мерль возмущенно покачала головой и повернулась к Мейпсу:

— Держите. Берите два. Но пива у меня нет.

Мейпс выплюнул прозрачный обсосок леденца, с контактную линзу толщиной.

— Сойдет и вода,— говорит Мейпс.— Мату, ты не возражаешь?

— Кукиш, ну-ка принеси кувшин с водой из холодильника,— говорит Мату.— И достань пару стаканов из шкафа.

— Видели вы что-нибудь подобное? — спрашивает сама себя мисс Мерль.— Нет, вы что-нибудь подобное видели? Господи, смилуйся над нами? Ну как? — спрашивает она Мейпса.

— Отменные,— говорит Мейпс.— Кто их готовил?

— Джени и...— но тут же осеклась. И стала молча глядеть на Мейпса. Южанки, черные и белые равно, умеют так глядеть. Так, словно думают, что им зазорно ходить с тобой по одной земле.

— Видите, где солнце? — спрашивает она Мейпса.

Тень от дома уже переползла через дорогу и подобралась к трактору с прицепами.

— Через час стемнеет,— говорит Мейпс.

Кукиш вернулся с кувшином и стаканами, налил Мейпсу воды. И остановился перед мисс Мерль, но она его не замечала — ее внимание было приковано к Мейпсу. У нее в голове не укладывалось, как Мейпс может спокойно пить воду, когда такое творится. У нее просто в голове не укладывалось, как могло статься, что они с Мейпсом ходят по одной земле.

— Еще один не дадите? — говорит Кукиш.

Мисс Мерль обернулась к нему:

— Что? Что? — сердито спрашивает она.

— Бутерброд,— говорит он.— Кэнди мне дать ничего не дала, а посылала...— покосился на Мейпса и осекся.

Мисс Мерль и догадываться не стала, что он хотел сказать. Только посмотрела на него так, словно они лишь по ошибке ходят по одной земле. Кукиш стоял с протянутой рукой, ждал. Мордочка, курчавые волосенки были все в пыли, ручонка замурзанная. Мисс Мерль оглядела его с головы до ног. Ей не хотелось поддаваться жалости. Всех не пережалеешь. Где тогда положить предел?

— Держи,— говорит и сунула ему бутерброд,— а теперь ступай от меня.

— Лу тоже не помешал бы еще один,— говорит Мейпс.

— Что-что? — напустилась на него мисс Мерль.

А Мейпс все жевал свой бутерброд. От напряжения левый уголок рта мисс Мерль задергался. Ей было ясно, что бог допустил недосмотр, определив ей с Мейпсом ходить по земле в одно время. Мейпс же ни о чем таком не думал. Он ел свой бутерброд.

— Держите,— говорит мне мисс Мерль.— И разнесите бутерброды.

Я положил один бутерброд на галерею рядом со своим местом, потом обошел всех с корзиной. Почти никто не брал второй бутерброд. Хотя они и не наелись, на всех по два бутерброда не хватило бы, поэтому, пока я не обошел всех, почти никто не взял второй бутерброд. Тогда мисс Мерль отобрала у меня корзину и обнесла тех, у кого был самый голодный вид. А сама все причитала:

— Нет, где же это видано! Господи, да где же это видано! Держи. Держи. Господи ты боже мой, да где же это видано! Держи, Простокваша. Держи, Клэту. Чумазый, это тебе. Господи, да где же это видано!

И снова подошла к крыльцу, где, привалясь к галерее, стоял Мейпс. Его охотничье ружье было прислонено к крыльцу.

— Десерта не будет,— говорит она.— Пирога на всех не хватит...— и осеклась. Почему ей вдруг вздумалось оправдываться? И почему ей вообще вздумалось тратить время на то, чтобы привезти нам бутерброды? — Господи Иисусе, нет, вы видели что-нибудь подобное? — снова спрашивает она сама себя.— Ну, как, теперь ты и твои воители насытились? — неожиданно напустилась она на Кэнди.

Кэнди, уткнув глаза в землю, ела бутерброд. И оставила вопрос мисс Мерль без ответа.

— Долго еще эта игра в загадки будет продолжаться? — снова напустилась на Мейпса мисс Мерль.

— Они все как один утверждают, что они убили Бо,— говорит Мейпс.— Кого же мне арестовать? Ее?

Мисс Мерль то сжимала, то разжимала свой красненький ротик клювиком. Судя по выражению ее глаз, видно было, что она вопрошает господа: как он мог допустить, чтобы мы ходили по одной с ней земле. Господь оставил ее вопрос без ответа, и она накинулась на меня.

— Еще мужчина называется! Что за муж из вас выйдет, если вы не можете с ней справиться...— и снова осеклась. Я не хотел смотреть на нее, но чувствовал, как она сверлит меня взглядом. У нее, видно, руки чесались стукнуть меня, а не меня, так кого-нибудь еще, но воспитание не позволяло. И она накинулась на Мату.

— Вели ей, чтобы убиралась в деревню,— говорит.

— Ей решать,— говорит он, не переставая жевать бутерброд.

— Это с каких же пор? — спрашивает его мисс Мерль.

Мату жевать не перестал. И на мисс Мерль ни разу не поглядел. А она все глядела на него. Но не так, как обычно глядит на черного белая женщина, когда хо-

чет ему что-то приказать или посоветовать. А так, как любая женщина глядела бы на любого мужчину, с которым ее многое объединяет.

А объединяло ее с Мату то, что они вместе взращивали и воспитывали Кэнди. Когда родители Кэнди погибли в автомобильной катастрофе, мисс Мерль и Мату поняли, что те двое в Усадьбе, тетка и дядя Кэнди, не способны дать ей подобающее воспитание и сочли своим долгом выпестовать ее сами. Ее делом было привить Кэнди хорошие манеры, его — научить понимать людей, живущих в ее владениях. И ближе, чем мисс Мерль и Мату, у Кэнди за всю жизнь никого не было.

Но Мату так и не посмотрел на мисс Мерль, и она несколько раз сжала и разжала свой ротик клювиком. А потом отвернулась от него и поглядела на нас.

— Я хочу поскорее уехать отсюда,— говорит.— А где другая корзина? — отыскала Гриффина и выдернула у него корзину.— Делайте, что вам угодно,— говорит.— Только не вздумайте являться в усадьбу, если будете истекать кровью, потому что я никого перевязывать не собираюсь. Джени с этим не справится, потому что полностью невменяема. А Би, потому что мертвецки пьяна.

— Я провожу вас до машины,— говорит Мейпс.

— Это еще зачем? — отрезала мисс Мерль и завела за спину одну корзину.

— Погодите! — говорит Мейпс и миролюбиво поднял два пальца вверх.— Я просто хотел поблагодарить вас за бутерброды.

Мисс Мерль так и застыла с занесенной корзиной. Мейпс не посмел ни крикнуть, ни хмыкнуть. А из остальных и подавно никто не посмел. Мне казалось — стоит мисс Мерль взмахнуть корзиной и все кинутся врассыпную.

Мисс Мерль покачала головой.

— Нет, я не стану никого бить. Я еду домой. Если я здесь останусь, я рехнусь.

Повернулась и пошла со двора. Мейпс нагнал ее, когда она перешагнула канаву. Они постояли у машины, поговорили. Потом она села в машину и проехала дальше в деревню, чтобы там развернуться. Когда она снова миновала нас, я присоединился к Мейпсу. Он стоял, прислонясь к машине, и глядел на двор. Я пристроился рядом с ним. Теперь, когда тень совсем накрыла землю, жара немного спала. Мейпс протянул мне леденец. Я помотал головой. Знал, что у него их осталось от силы один-два и они наверняка ему еще понадобятся.

— Что же теперь будет, Мейпс? — спрашиваю его.

— Не знаю,— говорит.— Жду, что мне сообщит Рассел.

— О чем сообщит?

— Сам не знаю,— говорит он.

— Вы, похоже, не торопитесь.

— Нет,— говорит Мейпс. Поглядел на Мату, примостившегося на крыльце, на небо, откуда уже с час назад ушло солнце.— Так и так,— говорит,— на рыбалку я уже опоздал.

САЛЛИ

От Маршалловой деревни до протока Мишель километров пятнадцать, из них около восьми — по берегу реки Сент-Чарльз, а потом надо свернуть с шоссе на простую гудронированную дорогу и по ней проехать оставшиеся восемь километров. Проток Мишель окажется тогда справа от дороги, и все дома, которые слева, выходят фасадами на проток Мишель. Река и проток петляют, вьются по-змеиному. Проедешь метров двести по дороге, и тут же тебе поворот.

Это кэджейская земля. Здесь живет несколько белых семей, не кэджейских; несколько черных семей; а в основном-то все кэджены и фамилии у здешних жителей по большей части в таком роде: Жарро, Бонавентура, Мутон, Монтмар, Бутан, Бруссар, Тэрен, Эрбер, Будро, Ландро — кэджейские фамилии. Попадаются здесь временами люди по фамилии, скажем, Келли или Смит, но и они называют себя кэджейами — их предки женились когда-то на кэджейских женщинах, да так и пошло. И черные, живущие возле протока, разговаривают на кэджейском французском не хуже, чем по-английски.

Это родные края Жиля. Я приезжал с ним сюда несколько раз, и мне тут очень нравилось. Мы ходили на охоту, на рыбалку или просто в гости. Жиль любит своих земляков, и они все его любят, и белые и черные. Для него нет разницы — белый или черный, он со всеми здоровается за руку, и каждый черный так и сияет от гордос-

ти, когда Жиль пожимает ему руку. Но сегодня я что-то не видел ни одного черного мужчины, женщины или ребенка, после того как мы покинули Маршаллову деревню.

Жиль облокотился на окно машины и глядел на деревья, растущие на берегу протока. Деревья эти — все больше плакучие ивы; их длинные гибкие ветви склонились до самой земли и воды. Изредка попадется кипарис, платан или еще какое дерево, но так все больше ивы да кустарник. Иногда мелькнет между деревьями проток. Вода мелкая, коричневая, грязная, и ничто живое тут не водится. Ни животных, ни птиц, ни растений. Только плавают сухие листья и сучки, свалившиеся с деревьев. Жиль смотрел в окно на проток и упорно молчал. Он не сказал мне ни единого слова, с тех пор как мы покинули деревню.

И вот он перед нами, наконец, дом его родителей, большой белый каркасный дом, галерея огорожена москитной сеткой, и во все двери и окна тоже вставлены сетки. Перед домом машины, и легковые и грузовые, их порядком собралось — пришлось нам чуть ли не сто метров проехать, разыскивая местечко, где бы поставить свою; потом мы вышли из машины и пешком прошли назад. Возле одной из легковых стоял высокий светловолосый малый, явно поджидавший нас. Когда мы поравнялись с ним, он улыбнулся.

— Жиль,— говорит он.

— Расс,— говорит Жиль. И кивает в мою сторону:— Это Салли.

Расс кланяется мне, я — ему. Обмениваемся рукопожатием.

Жиль оглядывает весь этот автопарк, скопившийся перед его домом. Возле одного из грузовиков стоят несколько мужчин.

— Тебя ждут в доме,— говорит ему Расс.

— А ты не зайдешь вместе с нами? — спрашивает Жиль.

— Я тут стою на карауле,— отвечает Расс.— Поручено следить, чтобы твой папаша никуда не двигался из дома.

— Войди туда, пожалуйста, вместе с нами, если ты не против.

— Конечно, как ты скажешь,— отвечает Расс.

Он полез в свою машину и достал оттуда галстук, висевший на зеркальце. Аккуратно завязал узел, покрепче его затянул, так же аккуратно заправил белую рубашку в свои серые брюки и только после этого снова полез в автомобиль и взял с сиденья пиджак. Под пиджаком оказался револьвер 38-го калибра, особого образца, с деревянной рукояткой. Он в раздумье посмотрел на него; потом сунул в ящичек и захлопнул дверцу машины. Провел пятерней по длинным светлым волосам, и мы вошли во двор.

Стоявшие во дворе люди, обращаясь к Жилю, разговаривали негромко, почтительно, я бы сказал. Было видно с первого взгляда — он для всех тут герой, но сегодня его почитатели воздерживались от восторгов. Жиль каждому кивнул, пожал руку одному или двум, но прошел к галерее, не останавливаясь, не вступая ни с кем в разговор. Ни мне, ни Рассу эти люди во дворе не сказали ни словечка. Я шел по-прежнему впритык за Жилем, Расс — за мной, на расстоянии не больше двух шагов. Когда мы поднялись на галерею, стали слышны доносящиеся из дома голоса. Жиль толкнул дверь с сеткой, потом деревянную, и мы оказались в комнате, где находилось чуть ли не сорок человек. Мужчины, женщины, дети, кто говорит на кэджанском французском, кто по-английски.

— Bonjour [1], Медвежонок Жиль,— сказала маленькая девочка, подбегая к Жилю.

Жиль наклонился и поцеловал ее. Пожал кому-то руку; потом спросил об отце. Грузный мужчина в рубашке цвета хаки кивнул на одну из дверей. Жиль толкнул эту дверь, вошел в смежную комнату, Расс и я вошли туда следом за ним. Тут народу было поменьше — человек двенадцать. Преимущественно мужчины, всего две женщины и мальчик лет пяти. Обе женщины сидели на кровати с четырьмя медными столбиками и сеткой от москитов в изголовье. Одна из них плакала, опустив голову, вторая ее обнимала. Фикс Бутан сидел у окна в мягком кресле, а малыш — у него на руках. Фикс — невысокого роста, с большой головой и большими руками, широкоплечий и широкогрудый. Шеи у него фактически нет, и здоровенная его башка расположилась на плечах, как волейбольный мяч на скамейке. Он, наверно, только что пришел из парикмахерской: волосы со лба зачесаны назад, виски подстрижены, пахнут бриллиантином, да и поблескивают. Вероятно, специально подстригся, чтобы выгля-

[1] Здравствуй *(франц.)*.

деть как картинка во время завтрашней игры. Когда мы вошли в комнату, он лишь слегка покосился на Жиля, но я успел заметить, что он плачет.

— Приехал,— сказал он.

— Да, папа,— сказал Жиль и поцеловал его в щеку.

Жиль погладил по головке малыша, сидевшего у Фикса на коленях; потом подошел к женщинам. Одной из них было лет восемнадцать, второй — примерно двадцать пять, а может, и под тридцать, это она плакала. Жиль наклонился к ней, поцеловал ее. Сказал ей что-то, чего я не понял, наверно, по-кэджески, перебросился несколькими словами с младшей, а потом подошел к мужчинам, с двумя-тремя о чем-то коротко поговорил, пожал им руки. Все разговаривали тихо, приглушенными голосами. Потом он вернулся к Фиксу.

— Папа, я знаю, это семейное дело, но Салли привез меня из Батон-Ружа на своей машине; что касается Расса, я попросил его зайти к нам в дом.

Фикс кивнул мне довольно кисло, но я не обиделся — человек такое пережил. Рассу он не сказал ничего и не кивнул даже, а только глянул в его сторону. Повернулся к Жилю:

— Почему так поздно?

— Мы заезжали в деревню, папа.

— Ты его видел?

— Его уже увезли в Байонну.

Женщина, которая плакала на кровати, еще ниже опустила голову. Вторая крепче прижала ее к себе. Фикс посмотрел на них, потом опять на Жиля. Малыш, которого он держал на коленях, прижался головенкой к его груди.

Жиль присел на кровать рядом с той женщиной, что плакала, и молчал, стиснув руки и понурив голову. Фикс и остальные внимательно за ним наблюдали. Так прошло порядком времени; потом Фикс сказал:

— Ну?

— Папа, Мейпс не хочет, чтоб ты туда ездил,— говорит Жиль и смотрит на отца.

Фикс тоже покосился на сына. Мужчины вполголоса переговаривались между собой. Фикс поднял вверх свою большую руку, не очень высоко, но все тут же примолкли.

— Куда он не хочет, чтобы я ездил? — спрашивает Фикс.

— В Маршаллову деревню или в Байонну. Пока он за тобой не пришлет.

— Мейпс с ума сошел,— сказал кто-то из мужчин.

— Тут сойдешь,— заметил другой.

— Мой сын, мертвый, лежит в морге, его застрелили, как собаку, а Мейпс не разрешает мне приехать в Байонну? — спрашивает Фикс.

— Он сошел с ума,— повторил кто-то.

Фикс сверкнул на него глазами, мол, заткнись. У Фикса маленькие, темные кабаньи глазки, и когда ему нужно, чтобы кто-то заткнулся, ему нет необходимости пристально глядеть, сверкнет глазками — и конец делу. Потом он повернулся к Жилю:

— Мейпс еще в деревне?

— Да, папа,— отвечает Жиль.

— Что он там делает? — спрашивает Фикс.

— Разговаривает с людьми,— отвечает Жиль.

— О чем он разговаривает там с людьми? Он что, не знает, кто убил?

— Он считает: убил Мату.

— А зачем Мату понадобилось убивать моего сына?

— Он утверждает, что Бо вошел к нему во двор с ружьем в руках.

— Зачем?

— Гнался за Чарли с ружьем.

— И Мату убил его за это?

— Так считает Мейпс.

— Фикс, вам не кажется, что мы зря тратим время? — говорит здоровенный, нахального вида детина, стоящий в дальнем конце комнаты. На нем гавайка, вся в красных, синих и желтых цветах. Сзади она вылезла из брюк. Рядом с ним другой такой же тип в коричневой рубахе с короткими рукавами. На обоих брюки защитного цвета.

— Льюк Уилл,— говорит Фикс.— Мне известно, ты был другом Бо. Но ты не член нашей семьи, так что помолчи-ка.

— Я был ему не просто друг,— говорит Льюк Уилл.— Я был самый близкий его друг. Я был хороший друг. Вчера вечером мы вместе пили пиво.

— Все равно помолчи,— отвечает Фикс.— Здесь разговариваю я. И мои сыновья. А ты выскажешься, когда я тебе позволю. Это ясно, Льюк Уилл?

— И все же я скажу: мы зря тратим драгоценное время,— стоит на своем Льюк Уилл.

— Выйди-ка ты лучше вон отсюда, Льюк Уилл, если не умеешь молчать,— говорит Фикс.

Льюк Уилл и с места не сдвинулся. Фикс некоторое время смотрит на него; потом переводит взгляд на второго здоровилу с такой же, как у Льюка, хулиганской мордой, предупреждая заодно и его. А потом он повернулся к Жилю; тот по-прежнему сидел на кровати.

— Ну? — говорит ему Фикс.

— Папа, что я могу сказать?

— Я жду,— говорит Фикс.

— Папа,— отвечает Жиль и наклоняется вперед, чтобы вглядеться в его лицо.— Папа,— снова повторяет он. Но больше он не говорит ни слова.

Фикс глядит на Жиля и поглаживает малейького внука по толстенькой ножке. На мальчике синие шорты и белая майка. Он босиком.

— Ну? — опять говорит Фикс и глядит на Жиля.

— Папа,— заговорил наконец Жиль.— Я ездил в Маршаллову деревню.

— Ты уже говорил об этом.

— Я там такое видел, папа... такое, чего ни ты, ни кто другой из тех, кто тут находится, ни разу в жизни не видели. Собрались старики, понимаешь ты, чернокожие старики со всей деревни, и у каждого из них дробовик. Старые люди, такого возраста, как ты, как крестный, как мсье Огюст, и все с дробовиками, папа. Они ждут тебя.

— Нигеры с дробовиками ждут меня? — переспрашивает Фикс. Его темные кабаньи глазки чуть расширились. Он тесней прижал внука к груди.

— Их человек пятнадцать, а может, даже больше,— продолжает Жиль.— И тут же Мейпс с охотничьим ружьем... и все они ожидают тебя.

— Ну, если ждут, тогда займемся Мейпсом и его нигерами,— предлагает кто-то из присутствующих.

— Папа,— рассказывает дальше Жиль, так и не бросив ни единого взгляда ни на кого, кроме отца.— Старики, папа, дряхлые старики. Беззубые. С катарактами. С артритом. Старые люди. Старые чернокожие люди. Когда-то их обидели. А сейчас они ждут — не тебя, папа,— того, что, они полагают, стоит за тобой. Если хочешь, можешь спросить Салли. Они такие усталые, но из последних сил стараются за себя постоять.

— Для чего ты все это рассказываешь мне, Медвежонок Жиль? — спрашивает Фикс.

Жиль просительно посмотрел на меня:

— Салли, бога ради, объясни ему.

— Я сегодня ие веду бесед с твоими друзьями, Медвежонок Жиль, я разговариваю сегодня только с тобой,— говорит Фикс.

— Папа,— говорит Жиль. Он потирает костяшки пальцев — ему очень трудно выразить то, что он хочет сказать. На футбольном поле он работает с мячом, как бог, но ему ужасно трудно рассказать отцу о том, что творится у иего в душе.— Папа,— снова повторяет он и наклоняется вперед, стиснув руки. Фикс молчит и ждет.— Папа,— говорит Жиль.— Всю жизнь я слышу об обидах, которые нанесла людям моя семья. Я и сейчас об этом слышу временами... от черных, от белых. Когда мы выезжаем в другой город, мне об этом говорят игроки из команды противника. И не жмн ты на меня, пожалуйста, а то уже не мне — всем остальным Бутанам придется отвечать. Мне больно слушать, как обвиняют иас. Больно, папа. У меня вот тут болит,— говорит он, ударяя себя в грудь.— Мне больно слушать это потому, что я знаю: это иеправда.

— О чем ты тут лопочешь, Медвежонок Жиль? — говорит Фикс.— Ближе к делу, пожалуйста.

— Папа,— повторяет Жиль и снова начинает тереть костяшки пальцев.— Папа, я хочу остаться в УШЛ и играть в американской сборной. У нас хорошие перспективы —

у Кэла и у меня. Впервые в жизни черный и белый играют в паре в команде южного штата. Без Кэла ничего не выйдет, папа. Я целиком завишу от него. Каждый раз, когда я веду мяч, я завишу от его уменья обмануть противника. Папа, я завишу от него каждую секунду, которую я провожу на поле.

Фикс молчит и смотрит на него. А Жиль все время смотрит в пол и покусывает нижнюю губу. Фикс ждет. Все остальные тоже ждут. Даже в соседней комнате утихли разговоры.

Жиль поднял голову и посмотрел на отца.

— Папа, если я буду замешан в чем-то противозаконном,— говорит он,— в американскую сборную мне не попасть. Пусть даже не я, пусть даже просто наша семья — газеты сразу же подымут вой, и янки меня затравят.— Жиль наклонился к отцу.— Папа, я нескладно излагаю свои мысли. Я чувствую: я что-то не то говорю. Но ты ведь понимаешь, что я хочу сказать? Ты понимаешь это, папа?

— А как быть с твоим братом, Медвежонок Жиль? — спрашивает Фикс. И его маленькие темные кабаньи глазки беспощадно впиваются в сына.— Как быть с Бо?

— Я любил его, папа. Он гораздо старше меня, но мы были очень близки, мы дружили. Он научил меня охотиться, ловить рыбу. Я любил его, папа. Но Бо уже нет. И что бы мы сейчас ни сделали, назад мы его не вернем. Ты понимаешь, папа, что я хочу сказать?

Все так же беспощадно глядят на Жиля маленькие темные кабаньи глазки Фикса.

— Высказался? — спрашивает он.

— Папа, я не буду участвовать в этом,— говорит Жиль и трясет головой.— Можешь избить меня до полусмерти, но участвовать в этом я не буду.

— Я спрашиваю, ты высказался, Медвежонок Жиль? Ты все сказал?

Жиль глубоко втянул в себя воздух, кивнул и опустил глаза.

— Как он тебе нравится, наш великий футболист, игрок Американской сборной, скажи, Альфонс? — спрашивает Фикс.— И ты тоже скажи, Огюст.

Он обращался к двум старикам, сидевшим справа от него, но по-прежнему смотрел на сына. Старики промолчали. Один из них пожал плечами, второй и этого не сделал.

— Ну, а тебе, Клод? — Фикс переводит взгляд на человека, стоящего в ногах кровати.

Клод немного постарше Жиля. Он водит грузовик, работает на нефтяную компанию в Лафейетте. Высокий парень, сантиметров так примерно сто восемьдесят пять, волосы черные как смоль, курчавые. На нем рубашка защитного цвета, темные пятна пота проступают под мышками и на спине. Он чистит ногти ножичком с перламутровой рукояткой. Даже когда отец обращается к нему, он продолжает чистить ногти.

— Как скажешь, папа,— отвечает он, не глядя на Фикса.

Фикс молча кивает.

— Жан?

Жан — тоже брат Жиля. Он не похож ни на Жиля, ни на Клода... и на Фикса, кстати, тоже не похож. Он такой же высокий, как Фикс, только очень бледный. Я думаю, ему лет тридцать пять. На нем летний костюм в черную полоску, белая рубашка, галстук-бабочка. Он беспокойно оглядывается на сидящих рядом; потом пробирается поближе к отцовскому креслу. Фикс глядит на него снизу вверх и поглаживает внука.

— Папа, нам надо поговорить.

— Говори.

— Что мы будем делать, когда приедем в Байонну, папа? И кто поедет в Байонну?

— Ты не хочешь ехать в Байонну? — спрашивает его Фикс.

— Я живу в Байонне, папа,— отвечает Жан.— В Байонне моя мясная лавка. Но кто еще поедет с нами туда? — Он оглядывает всех присутствующих в комнате, потом снова переводит взгляд на отца.— И с какой целью мы туда поедем, папа?

— Я — посмотреть на сына,— отвечает Фикс.— На моего сына, твоего брата.

— А остальные, папа,— спрашивает Жан и кивает на группу мужчин, стоящих поодаль.— Что понадобилось этим людям в Байонне?

— Сегодня зверски убит твой брат,— отвечает Фикс.— У тебя такая короткая память, Жан?

— Нет, папа, память у меня совсем не короткая,— говорит Жан.— Я никогда не забуду сегодняшний день, никогда. Но Жиль прав. Предоставим закону заниматься делами, в которые эти люди хотят нас втравить.

— Эти люди наши друзья. Мои друзья и друзья Бо.

— Если они друзья нашей семьи, пусть проявят к нашей семье уважение. Им незачем ездить в Байонну до тех пор, пока Мейпс не разберется, что к чему.

— Мейпс никогда не разберется, что к чему,— подает из своего угла голос Льюк Уилл.— Бо убили несколько часов назад, застрелили, как паршивую собаку, а Мейпс еще и пальцем не пошевелил.

— Не слушайте Льюка Уилла,— говорит Расс. Он стоял рядом со мной и молчал все это время.— Не слушайте его. Льюк Уилл и его банда просто нарываются на неприятности.

— Это какая же у меня банда, Рассел? — спрашивает Льюк Уилл.

— Сам знаешь какая,— отвечает Расс и глядит не на него, а на Фикса.

— Что, боишься имена назвать? — спрашивает Льюк Уилл. И ухмыляется скверной ухмылкой — знаете, бывает такая кривая ухмылочка, только углом рта.

— Все, кто здесь сейчас находится, в этой комнате, знают, про кого я говорю,— отвечает Расс. И по-прежнему не смотрит на Льюка Уилла.— Не надо слушать Льюка Уилла, Фикс. Он вам не друг.

— Он друг,— говорит Фикс.

— Только слово скажите, Фикс,— говорит Льюк Уилл.

— Это какое же слово, Льюк Уилл? — спрашивает Фикс и оглядывается на него.

— Мы сейчас же поедем в Маршаллову деревню.

— Это уж мое дело решать, Льюк Уилл... мое и моих сыновей. Ты тут ни при чем.

Льюк Уилл кивнул.

— Ладно, Фикс. Я подожду, как вы решите. А потом поеду в Маршалл.

— Не вздумай,— сказал Расс и впервые посмотрел на него.

Льюк Уилл ухмыльнулся. Он огромный, этакий пузатый, дубина деревенская. Волосы у него темные, длинные, и когда он ухмыляется своей кривой ухмылкой, видно, что у него не хватает нескольких зубов. Тот детина, что с ним рядом, на вид ничуть не лучше, но хотя бы не разевает рот.

— В моем доме чтобы ничего такого,— говорит Фикс.— И ты тоже, Рассел, потише тут.

— Мое дело — любой ценой удержать вас на месте, Фикс,— говорит Расс.— Это ко всем относится,— добавил он, окинув взглядом остальных.— Потом снова повернулся к Фиксу: — Я говорю вполне серьезно, Фикс. Я выполняю приказ.

— Рассел,— говорит Фикс, протягивает руку и тычет в его сторону пальцем.— Ты не можешь не выпустить меня отсюда. Удержать меня дома могут только мои сыновья. Запомни это.

— Жан и Жиль правы,— говорит Расс.— А Льюк Уилл неправ. Льюк Уилл вас втягивает в неприятности.

— В своем доме я решаю, кто прав, а кто неправ,— говорит Фикс; он громко это говорит. Левой рукой он обхватил малыша, правой показывает на Расса.— Я решаю здесь. Я, Уильям Фикс Бутан, решаю все дела в этом доме.

Он в упор смотрит на Расса: будет ли тот возражать? Расс тоже смотрит на него в упор, но не говорит ни слова.

Фикс поворачивается к старику, который сидит справа от него. Оба старика сидят в креслах прямые, как столбы, слушают с большим вниманием, но не вступают в разговор.

— Как ты посоветуешь мне поступить, Альфонс? — спрашивает Фикс того, что сидит к нему поближе. Его голос вновь звучит спокойно.

— Ты уж сам решай, Фикс, а я на все согласен,— говорит старик.

— Огюст? — обращается Фикс ко второму.

— Я старый человек, Фикс,— отвечает Огюст.— Я уже не могу разобраться, кто прав, кто виноват.

— Я тоже старый человек,— говорит Фикс.— Двадцать лет назад я не стал бы задавать вопросов. Я давно уже был бы в этой деревне, а не рассиживался тут.

— Двадцать лет назад я поехал бы вместе с тобой в эту деревню, Фикс.

— Они такие же старые, как мы,— говорит Фикс.— Они ждут меня... во всяком случае, так сообщил нам этот игрок американской сборной.

— Старики с ружьями сидят и ждут, когда приедут другие старики с ружьями... Смехота,— говорит Огюст.

— Бо лежит в морге на холодном столе, в байоннском морге, слышишь ты, Огюст? Это тоже, по-твоему, смехота?

— Я крестил его,— говорит Огюст.— Я его крестный. Неужели ты не понимаешь, как больно мне сейчас?

— Тебе не кажется, что мы попусту тратим время, Фикс? — произносит Льюк Уилл из своего угла.

— Жан и Медвежонок Жиль сказали «нет», Льюк Уилл. Даже мой добрый друг Огюст сказал «нет»?

— Огюст — старик, головка у него слаба,— отвечает Льюк Уилл.— Жиль и Жан дрожат за свой авторитет у нигеров. Жиль хочет играть с нигерами в футбол, хочет лапать вонючих чернокожих девок. Выиграть завтра матч у Старушки Мисс — вот чего он хочет. А что касаемо мистера Жана, ему надо продавать нигерам свинячьи шкварки и потроха. Ни один уважающий себя белый их не купит.

— Это так, Медвежонок Жиль? — спрашивает Фикс.— Честь брата ты приносишь в жертву, чтобы поиграть в футбол бок о бок с черномазыми... это так?

— Теперь другие времена, папа,— говорит Жиль.— Времена Льюка Уилла прошли. Прошли навсегда.

— А мои времена? — спрашивает Фикс.— А мои, Медвежонок Жиль?

— Папа, пойми, они прошли, эти времена,— говорит Жиль.— Времена, когда можно было собственноручно вершить суд и расправу... Прошли, их больше нет. Сейчас семидесятые годы, приближаются восьмидесятые. Это уже не двадцатые тебе, не тридцатые и не сороковые. Люди умирали — мы знаем этих людей,— люди умирали за то, чтобы такие вещи не повторялись. И времена эти прошли, надеюсь, навсегда.

— А какие же времена настали, Медвежонок Жиль? — спрашивает Фикс.— Времена, когда открещиваются от семейной чести, чтобы поиграть в футбол? Этим временам ты радуешься, Медвежонок Жиль?

— Я ничего не говорю о семейной чести, отец,— отвечает Жиль.— Я говорю о времени линчевателей. Я говорю о том, как понимает правосудие Льюк Уилл.

— Так я, выходит, линчевателем уже стал, так, что ли, Медвежонок Жиль? — спрашивает его Фикс.

— Это Льюк Уилл хочет сделать из нас линчевателей,— отвечает Жиль.— Он и его банда все еще считают, что в этом мире без них никак не обойтись. Но мир переменился, папа. Льюк Уилл и его банда — вымирающее племя. И они ищут случая вспрыснуть свежую кровь в полумертвые свои тела.

— А что ты скажешь насчет Бо? — спрашивает Жиля Льюк Уилл. Жиль не считает нужным оглянуться, и Льюку приходится обращаться к его спине.— Твой брат Бо,— говорит Льюк Уилл.— Он что, более живой, чем я сейчас?

— Ну, отвечай-ка, Медвежонок Жиль,— говорит Фикс.

— Бо убит, это страшное горе, отец,— отвечает Жиль.— Но я хотел бы, чтоб люди узнали: мы не такие, какими они считают нас. Ведь все ждут, что к вечеру мы нагрянем туда, в эту деревню. Все этого ждут. Ну и пусть ждут, говорю я. Пусть себе ждут, и ждут, и ждут.

— А что скажет нам почтеннейший мистер Свинячий Потрох? — спрашивает Фикс и бросает взгляд на Жана.

— Они ждут нас и готовы на все,— говорит Жан и вытирает носовым платком лицо. Потом он вытирает мокрые ладони и прячет носовой платок в карман.— Я согласен с Жилем.

Фикс смотрит на него, кивает; потом обводит взглядом остальных.

— Ну, а вы все, вы-то как настроены? — спрашивает.— Считаете, что мясник и это украшение американской сборной дело говорят?

— Зря время тратим,— бурчит Льюк Уилл.

Остальные молчат. Переговариваются между собой, но ни слова не разобрать. Расс молчит, и Клод, и я себе молчу. Ни малейшего у меня намерения рот открывать.

— Ну, Медвежонок Жиль? — говорит Фикс.

— Тебя они послушаются, отец,— говорит Жиль.— Растолкуй им: если мы туда поедем, наша семья опозорит себя. Мы опорочим свое доброе имя.

— И особенно твое, разве не так?.. Ваша милость Американская сборная?

— Да, папа. Это меня опозорит.

Фикс перевел взгляд на женщину, которая, опустив голову, сидела на кровати. Она давно уже не плакала, но так и не подняла головы, ни разу ни на кого не взглянула. Потом Фикс посмотрел на малыша, которого держал на коленях, и погладил его по ножке.

— Знаешь ты этого мальчика? — спрашивает он и поворачивается так, чтобы видеть Жиля.— Это наш маленький Бо. Нет у него больше папы.— Фикс глядит на Жиля пристально, он ждет: Жиль как следует должен это прочувствовать, а потом кивает на сидящую на кровати женщину.— А эту леди, что тут сидит, ты знаешь? Это Дусетта. У нее нет больше мужа.

— Мне очень жаль, папа,— говорит Жиль.— Я сделаю все что в моих силах для маленького Бо и для Дусетты.

— Конечно, ты все сделаешь,— говорит Фикс.— Мы все не пожалеем сил и сделаем для них все. Но вот сейчас, прямо сейчас ее муж, его отец, твой брат лежит мертвый на холодном столе в морге, а мы сидим тут и не делаем ни черта, а только языками треплем. Что ты на это скажешь, Медвежонок Жиль?

Жиль опустил голову и не ответил.

— Я сидел здесь и ждал, долго ждал. Я ждал всех своих сыновей, но тебя особенно. Мы тебя послали в УШЛ. В нашей семье еще ни разу никто, кроме тебя, не входил в футбольную команду УШЛ. В нашей семье никто, кроме тебя, не получил высшее образование. Он образованный у нас, вы это знаете, Альфонс, Огюст? Мы ждали его с таким нетерпением, мистера Образованного из Американской сборной. И что он говорит? Он говорит, что никуда не поедет. Он говорит, надо сидеть на месте и плакать вместе с бабами. Потому что он хочет играть в американской сборной. Того, второго, я могу понять. Ему надо продавать свинячьи потроха. Способностями он у нас не отличался. Начальную школу окончил, и хватит с него. Но этот... сколько он учился еще до университета.

— Ничего мы тут не делаем, только время тратим зря,— снова встревает Льюк Уилл.— Мейпсу давно уже надо помочь.

— Без сыновей я не поеду,— отвечает Фикс.— Со мной должны быть все мои сыновья. Раскола в семье не потерплю. Это семья. Семья. Поедут все или никто.

— А черномазые пусть стоят себе с дробовиками, и мы не станем их к порядку призывать? Им нужна война — так будет им война,— говорит на это Льюк Уилл.

Еще каких-то двое его поддержали.

— Мне нет дела до твоей войны, Льюк Уилл,— сказал как отрезал Фикс.— Меня интересует лишь моя семья. Если двое моих сыновей полагают, что брат их не стоит того, что ж, семья сказала свое слово. А меня интересует только моя семья.

Жиль поднял голову и посмотрел на отца. Он плакал.

— Мне очень жаль, папа,— сказал он.

— Жаль, Медвежонок Жиль? Чего? О чем ты сожалеешь?

— Обо всем.

— Это не ответ. Объясни — о чем.

— О том, что случилось, папа. О нашем Бо. Мне жаль всех нас. Мне жаль, что ты считаешь, будто я против тебя. Мне жалко этих стариков в деревне. Да, папа, их мне тоже жаль.

— Ну, вылитый Иисус Христос,— говорит Фикс. И осеняет себя крестным знамением.— Вылитый Иисус Христос, как он есть, посетил нас, грешных, слышите, Альфонс, Огюст? Скорбит душевно обо всем на свете.

Двое стариков, оба тощие, сидят прямые как столбы и ни слова не говорят.

Фикс все смотрит и смотрит на Жиля. Потом его большая голова начинает слегка покачиваться: назад-вперед, назад-вперед, но чуть-чуть, заметить этого почти нельзя. Чем дольше смотрит он на Жиля, тем сильнее покачивается его голова — назад-вперед. Черные кабаньи глазки сузились, почти закрылись. Он все смотрит на Жиля, смотрит на него так, словно ни доверия, ни веры, ни надежды — ничего на свете не осталось. Потом он резко дернул головой.

— Покинь мой дом, Медвежонок Жиль,— говорит он.— Уйди. Ты на кровати своей матери сидишь. Здесь ты родился, здесь родился Бо, здесь все вы родились. Твое прикосновение оскверняет эту кровать. Иди на поле. Гоняй мяч. Пусть это будет тебе вместо семьи. А тебя я больше не хочу видеть в этом доме и на этом кладбище. Уходи. Уходи гонять мяч.

Жиль ушам своим не верит. И все, кто там сидит, тоже не могут поверить своим ушам. Жиль глядит отцу в лицо, что-то хочет сказать, но язык его не слушается. Малейшие темные глазки Фикса на широком загорелом лице говорят яснее ясного, что старик не шутит.

— Фикс.— Худой старик, сидевший к нему ближе всех, наклоняется и трогает его за плечо.— Фикс,— повторяет он.

— Я мертв, Альфонс,— говорит Фикс.— Мой мальчик, тот самый, на которого мы все надеялись, для которого вкалывали, не жалея сил, для которого все приносили в жертву... Я умер, лучше б мне лежать сейчас в земле, рядом с моей Матильдой.

— Нет, Фикс, ты не умер,— говорит старик.

— Это они сказали, что я умер... мясник и украшение американской сборной. Я весь в прошлом, так они говорят. Любить семью, оберегать семейную честь, это тоже прошлое, так они сказали. Что же остается? Вся моя жизнь... ну, в общем, то, ради чего, считал я, стоит жить. Моя семья. Семья. Нет, для меня одно убежище осталось — кладбище в Байонне... Бо и я, мы оба ляжем там рядом с Матильдой.

— Я поеду с тобой в Маршаллову деревню, Фикс,— сказал старик. На лице его почти не замечалось проблесков чувства, и длинный костлявый палец, которым он тронул Фикса за плечо, был словно у покойника.— Я возьму ружье и поеду с тобой, если ты этого хочешь.

— Двое стариков, Альфонс? Огюст верно сказал. Смехота.

— К нам присоединятся остальные, я уверен. Гудо поедет с нами, в нем еще есть огонек. Монтмар, Феликс Ришар... Анатоль вылезет из кресла.

— Это семья, Альфонс,— говорит Фикс.— Единственное, за что я еще могу бороться. Стар я стал, чтобы бороться за то, за се, за справедливость. За справедливость пусть Льюк Уилл сражается. А это семья. Один из членов нашей семьи погиб от рук убийцы, и семья, только семья должна вершить тут суд. Но эти вот не согласны. Говорят, что жизнь ради семьи — это прошлое. Ну, и что мне теперь остается, как не отправиться на кладбище и не улечься там в могилу рядом с Матильдой и Бо? — Старик глядит на Жиля, а тот по-прежнему сидит на кровати.— Сказано тебе: покинь мой дом. И братца прихвати, пусть мистер Свинячий Потрох убирается вместе с тобой. Оба на глаза мне не показывайтесь. Шагай, шагай, можешь фамилию изменить, если это тебе поможет пролезть в сборную. Вон отсюда. Ступай к своему другу Мейпсу и доложи ему, что старый кэджен приедет в Байонну, когда его вызовет суд. Вот и все, говорить мне больше с тобой не о чем.

Жиль встал и повернулся к среднему брату, Клоду. Клод усердно чистил ноготь на большом пальце крохотным ножичком с перламутровой рукояткой.

— Клод? — чуть не плача, говорит ему Жиль.— Клод?

Клод продолжает чистить ноготь и молчит. Даже голову поднять не соизволил. Жиль поворачивается к одному из стариков, к Альфонсу.

— Крестный,— говорит он.— Я ведь всегда был хорошим, верно? Всегда слушался отца и вас, ведь так? Когда я приезжаю к отцу в гости, я всегда навещаю и вас, и всех наших соседей, что живут здесь у протока, верно? И к мессе я хожу исправно, мы ходим всей семьей. И билеты на все интересные игры я достаю для каждого из вас. Разве все это не правда, крестный?

Но старик смотрит на Фикса, а на Жиля не смотрит.

— Мсье Огюст.— Жиль обращается теперь к другому старцу.— Скажите, я ведь в самом деле хороший, верно, мсье Огюст?— Но старик Огюст глядит куда-то мимо.— Дусетта,— говорит Жиль женщине, которая все так же сидит на кровати.— Похоже, ты меня больше не любишь, Дусетта. Ты уже не хочешь, чтобы маленький Бо стал таким, как я, когда вырастет? Что, Дусетта, правду я говорю? — Женщина не поднимает головы и ничего не отвечает. Жиль обводит глазами комнату. С ним встречается взглядом только Льюк Уилл и его приятель с такой же хамской рожей, и взгляд у них отнюдь не дружественный, чего нет, того нет.

Тогда Жиль снова поворачивается к Фиксу. Фикс сидит в кресле, понурив голову, слегка наклонившись вперед; он похож на высеченного из камня медведя.

— Избей меня, если хочешь,— говорит Жиль.— Выпори — и конец делу. Бей, колоти, если хочешь, только не прогоняй. Ты не выгонишь меня из дому, папа?

Фикс сидит, как каменный. Он больше ничего не слышит.

Расс выводит Жиля из комнаты, обняв его за плечи, я следую за ними, так же, как раньше — вприпрыжку. В смежной комнате, конечно, все уже слыхали, как все повернулось, все глядят на Жиля, но теперь уже совсем не так. Ему поспешно уступают дорогу, прямо шарахаются прочь; маленькая девочка, которая к нему подбегала, хочет снова подойти, но какая-то женщина, наверно мать, ее удерживает. Девчушка вырывается, мать ее не пускает и крепко прижимает ее головенку к себе.

Мы выходим на галерею. Я вижу сквозь сетку, как садится солнце за деревьями, которые растут по ту сторону протока. Полупрозрачное багровое облачко наползло на солнце, и небо выглядит как на картине — такое оно красивое и дышит миром и покоем.

— Ты не мог поступить иначе,— говорит Расс.

— Очень даже мог,— Жиль отвечает.

— Думаешь, было бы лучше? — спрашивает Расс.

— Уж хуже-то во всяком случае не бывает.

Мы стоим на галерее, и в скором времени туда выходит Льюк Уилл и хамло номер два, его приятель.

— Если ты вообразил себе, что это конец, ты просто чокнутый,— говорит Льюк Уилл Жилю.

— Да пошел ты к черту, Льюк Уилл,— говорит Расс.— Это дело семейное, чего ты в него суешься?

— Кто-то должен же заняться этим делом,— отвечает Льюк Уилл.

— Тебя вроде бы никто не уполномочил.

— А может, я из принципа, может, я считаю: это мой долг,— говорит Льюк Уилл.

— Веди-ка ты себя потише, Льюк Уилл,— отвечает ему Расс.— Не суйся, будь любезен, ни в Маршаллову деревню, ни в Байонну Предупреждаю.

— Больно сильно напугал ты меня, Рассел,— усмехается Льюк Уилл.— Да чихать мне что на тебя, что на шефа твоего толстопузого.

— Веди себя потише,— повторяет Расс.— Я предупредил тебя.

— Тихо уже не выйдет,— отвечает ему Льюк Уилл.— Нигеры пуляют в белых на глазах у всех, а ты хочешь, чтоб у нас тут была тишь да благодать?

— Сами наведем порядок, без таких, как ты.

— Не скажи — уж если началось такое, с этим надо побыстрей кончать,— говорит Льюк Уилл.— Им дашь разок потачку, они женщин наших насиловать начнут.

— Ну, так и знал,— Расс обращается ко мне.— Когда не действуют их доводы, они тут же женщин приплетут.

— А тебе, наверно, чихать, если чернорожие твою жену изнасилуют или дочку,— продолжает Льюк Уилл.— Может быть, они уже давно с ними живут, а тебе хоть бы хны.

И ухмыляется нагло. Явно провоцирует Расса, чтоб тот ему врезал. Но Расс держится спокойно.

— Обрати внимание, как он на меня давит,— говорит мне Расс.

Но я молчу. Пока эти лбы тут стоят, я не скажу ни слова. И рта не раскрою.

— Прошло время таких, как ты, Льюк Уилл,— говорит Расс.

— Не беспокойся ты про мое время,— отвечает Льюк.— Таких, как ты, давно уже не будет, а я останусь. Отца ты, может, и загонишь в гроб,— добавляет он, повернувшись к Жилю,— а я всегда буду жив-здоров. Пошли, Жук.

И удалились, хлопнув дверью. Здоровенные ребята оба, крепкие деревенские мужики. Бык Коннор — он у нас раньше был шерифом — обычно брал себе таких в помощники. Подошли к белому пикапу — в кузове пирамида для ружей, а в ней два ружья. В грузовике этом имелся также передатчик, Льюк Уилл взял микрофон и начал что-то говорить. Жук сел за руль, и грузовик тронулся с места.

— Что ты теперь будешь делать? — спрашивает Жиля Расс.

— Сам не знаю,— отвечает тот.

— Хочешь знать мое мнение? — Расс говорит.— Возвращайся в Батон-Руж, отдохни хоть немного, а завтра выходи на поле. И играй так, как в жизни не играл.

Жиль смотрит на него растерянно.

— Как, то есть? — спрашивает он.— У меня убили брата. Отец меня возненавидел, и Клод, и Дусетта, даже маленький Бо теперь ненавидит меня, а ты мне говоришь: иди играй в футбол. Ты что, спятил?

— Здесь сегодня тебе делать нечего,— отвечает Расс,— а вот завтра ты смог бы кое-что сделать для себя и для всех нас — так сыграть, чтоб на всю жизнь запомнить. Льюк Уилл и компания не хотят, чтобы ты вышел завтра вместе с Перцем на поле. Они вообще хотят, чтобы вы с Перцем никогда больше друг к другу не подходили.

— А мой убитый брат? — говорит Жиль.— Клод? Отец? Дусетта и маленький Бо? Как они на этот посмотрят?

Расс пожал плечами и тряхнул головой.

— Большинство не поймет. Очень многие тебя просто возненавидят. Но игру эту покажут по телику, ее увидят миллионы, и среди них будет больше таких, кто станет болеть за вас с Перцем, а не против.

— Да плевать мне на публику! — сердится Жиль.— Я о близких своих говорю. Не о публике этой дурацкой. О моей семье.

— А я, между прочим,— отвечает Расс,— тоже думаю о твоей семье. И о маленьком Бо особенно. Ты хочешь что-то сделать для убитого брата? Сделай это для его сына, для его малыша — выйди завтра на футбольное поле. Обыграете вы Старушку Мисс или нет, в любом случае ты победишь Льюка Уилла. Потому что, если ты не будешь играть, он станет победителем завтра, а после этого, вполне возможно, и дальше будет побеждать. Не такое уж завидное будущее для маленького Бо, как ты считаешь?

— А отец? — чуть не плачет Жиль.— Я ведь убил его сейчас. Что мне делать завтра — похоронить его?

Расс кладет на плечо Жиля руку.

— Жиль,— говорит он.— Иногда приходится сделать больно одному, чтобы помочь другому. Одно растение приходится запахать, чтобы на этом месте выросло новое. Завтра у тебя есть возможность помочь маленькому Бо. И стране этой ты можешь помочь завтра. И самому себе.

Жиль отвернулся.

— Ну, хорошо,— говорит Расс.— Речей было достаточно. Мне надо доложить обо всем Мейпсу. Я там, в машине, если ты захочешь со мной поговорить.

Он сошел с галереи, развязывая галстук. На полдороге к машине снял его и пиджак тоже. Повесил то и другое на вешалку над задним сиденьем; а потом перебрался вперед и взял рацию.

— Он верно сказал, Жиль,— говорю я.— Нам надо возвращаться в город.

Жиль не ответил. Стоял и смотрел на дорогу, на темневшие на берегу деревья. Пылающий круг солнца уходил за горизонт, а чуть выше багровело полупрозрачное легкое облако.

— Что ты скажешь, Жиль?

— Отстань,— говорит он в сердцах.— Мне надо немного подумать. Можешь ты, черт побери, понять, что человеку надо подумать?

ЖАК ТИБО, он же КРОХА ДЖЕК

Он приходит в мое заведение каждый день, перед самым заходом солнца и заказывает две порции кукурузного виски со льдом. Иногда разговаривает; чаще хмуро молчит. Остальные клиенты, даже те, кто давно его знает, не вступают первыми с ним в разговор. У него постоянное место — в углу, возле сигаретного автомата. Из этого его угла видна дверь комнаты, которая когда-то называлась негритянской. Он окопался там еще в ту пору, много лет назад — из своего угла он видел, когда кто-нибудь из его негров заходил в эту комнату, и кивал мне: мол, пойди обслужи, вина принеси, пива, ну, в общем, чего спросит. Так вот: комнату эту, негритянскую, закрыли лет пятнадцать, а то и семнадцать назад. Когда колбасня эта началась — десегрегация; нигеры не захотели подвергаться сегрегации и перестали туда ходить. Теперь входят прямо в лавку, берут бутылку и на улицу, там плюх на землю, спиной к стене, и пьют из горлышка, а в комнатушку, специально отведенную для них, не ходят. И уж само собой, не суются туда, где вышивают мои белые клиенты. Впрочем, было

как-то: раза два вперлись в эту комнату двое нахалов, но мои белые клиенты так смотрели на них, а я их так обслуживал, так шваркал их бутылки и стаканы, что они в момент смекнули: в этой комнате они незваные гости. На том и кончилась их-няя десегрегация в комнате для белых, и сейчас они как миленькие покупают в лавке бутылку, а угощаются на улице или в своих машинах или везут бутыль домой и дома пьют. У меня тут, понимаете ли, не «Мариотт» и не «Холидей-Инн»... пока что нет, и надеюсь, и дальше не будет. У меня, к вашему сведению, лавочка на развилке шоссе, между рекой и протоком, тут тебе и бакалея, тут и спиртное, есть тут бар для белых клиентов, есть комнатка для черных, и все дела. Когда лет пятнадцать — семнадцать назад нигеры отказались ходить в свою комнатушку, мне-то что — я стал им отпускать товар прямо в бакалее, через прилавок, и пусть катятся себе на улицу или куда хотят, не мое это дело, лишь бы не терлись в зале для белых клиентов. Обзывайте меня как хотите, только город у нас небольшой, а во всех маленьких городах такой обычай. Это вам не Батон-Руж и не Новый Орлеан, здесь вам не «Мариотт» и не «Холидей-Инн», пока что нет, и сильно сомневаюсь, что когда-нибудь будет. А говорить можете что угодно, мне плевать.

Но он по-прежнему смотрит туда, в сторону негритянской комнаты, каждый день, когда приходит выпить свои две порции кукурузного виски со льдом. Комнатенка эта — я уж говорил — закрыта лет пятнадцать, а то и семнадцать, я из нее сделал кладовую, а он все смотрит, пьет и смотрит. Что бы ни шло по телику: футбол, бейсбол, баскетбол, черномазые и белые снуют по экрану, черномазые и белые педики подбрасывают белых потаскушек вверх... словом, такое творится. А он сидит и смотрит на дверь. Может быть, он слышит, как там ходят призраки. Может быть, он слышит, как они поют. Иногда, если нет посторонних, я и сам прислушиваюсь, но ни разу ничего не слыхал. Бывает, крыса скребется — у меня ведь там полно мешков и пакетов с разным товаром... а так, пожалуй, больше ничего не слышно.

Скажу честно: я ему сочувствую. Он ведь, понимаете ли, ничего этого не хотел. Семейная честь, ответственность за землю — даром ему этого не нужно. А на него свалили все это, подсунули ему. Вот он и пьет, как не в себя, а заправляет всем его племянница. Заправляет и ладно, ему наплевать. Пусть эта земля хоть провалится. Он даже рад будет, если провалится. К чертовой бабушке. Фамилию он носит — она ему с рождения досталась, фамилия, и на земле этой живет — он ведь ее унаследовал, но в гробу он все это видел. Потому он так и надирается. Проснулся — выпил. Поклевал маленько носом, опять проснулся — выпил опять. Снова носом поклевал, проснулся — сюда двинулся. Как часы. И все ему до лампочки. И политика ему до лампочки. И нигеры. Платит за их выпивку, потому что дедушка Нат или Дэн указал в завещании, чтобы он за выпивку платил. Но чихать ему на всех. Я его не сужу. Жизнь у него такая сложная. В смысле, для таких, как он, жизнь всегда была ужасно сложная — именье, семейная честь. Кто это выдержит? Всем ты должен, во всем виноват. Он-то, собственно, при чем? Приехал в Маршаллову деревню, а они себе поумирали и оставили все это на него. Да, вот знаете, мне что в голову сейчас пришло. Может быть, когда он на эту дверь таращится, он их всех последними словами костерит. Не нигеров, которые здесь выпивали и пели песенки, а тех, что эту комнату построили. Да, да, вот сейчас буквально в голову пришло — он клянет их на чем свет, когда пялится на эту дверь. Случается, иногда даже стакан мимо рта пронесет, так он на нее смотрит, на дверь эту.

Когда он вошел, у меня уже сидело двое клиентов, и с одним из них мы толковали насчет убийства. Джек только в дверь, я клиенту подал знак, мол, потише разговаривай. Нам ведь еще не полагалось знать про это. Но в таком городке, как наш, слухи просачиваются быстро. Когда этот нигер Чарли не привез на завод два прицепа с тростником, как положено, к половине второго, Робер Жарро, он у Моргана на заводе десятником работает, подождал до двух пятнадцати и давай звонить да выяснять, в чем там у них дело.

Стойте... вот что... я вам расскажу, как у них эта механика поставлена. Когда убирают тростник, Бо доставляет на завод каждый день по шесть прицепов, шесть дней в неделю. Верней сказать, их доставляет его нигер Чарли. Первая партия — а каждый раз привозят два прицепа — приходит часов в девять. Следующая готова к двенадцати часам, но приходит позже — Бо разрешает Чарли пообедать перед рейсом; когда Чарли поест, он привозит на завод вторую партию в полвторого или в четверть третьего. Доставит эту партию и возвращается за третьей, которую привозит

к четырем, иногда к половине пятого. Ну, так вот, когда Робер увидел, что нет средней партии, той, что с полвторого до двух пятнадцати, он подождал до двух пятнадцати, даже до двух тридцати, а потом уж позвонил Фиксу домой и спросил, в чем дело. Тогда-то ему и сказали, что случилось. Часов около трех Робер зашел в лавку, ну, и, конечно, мне рассказал. Выпил пару кружек пива и вернулся к себе на завод. Он ушел, а я сижу и жду, когда заваруха начнется. С одним клиентом потолковали про это — он мне сказал, откуда он приехал — он, оказывается, с Миссисипи. Он сказал, в их краях хорошо известно, как урегулировать такого рода дельце. А я ему говорю, тут у нас, в округе Святого Рафаила, тоже люди есть, которые сумеют сделать все, что полагается. В баре в это время еще один клиент сидел, лицо землистое, задумчивый такой, сидел себе, помалкивал. Даже отодвинулся от нас — от меня и от того, что с Миссисипи. Мне от его присутствия ни холодно, ни жарко, и этого, что с Миссисипи, он тоже вроде бы не беспокоил, сидим себе и разговариваем, словно его тут нет. А когда я увидел, что входит Джек, я сделал знак клиенту с Миссисипи: мол, потише говори.

— Джек, приветствую,— говорю.

Он кивает. Прошел в свой угол, я принес ему первый стакан. В момент усек: Джек не настроен разговаривать; я и вернулся к своему клиенту с Миссисипи.

— Пора двигаться,— сказал он.— Договорился встретиться, поужинать тут кое с кем из ваших ребят. Есть предложение: мы, может, как болельщики, небольшое пари заключим?

— Не в моих обычаях вводить в расход новых клиентов,— отвечаю я.

Он засмеялся. Хороший мужик.

— Молитесь богу, чтобы не было какой беды с Солью или с Перцем,— говорит он.— Наша Старушка Мисс им даст жизни.

Допил свой стакан и оставил мне на чай пятьдесят центов.

— Спасибо,— говорю.— К сожалению, не могу пожелать вам удачи — сами знаете, за кого я болею.

Он опять засмеялся и вышел. Такой свойский, симпатичный мужик, ей-богу, симпатичный.

Он ушел, и наступила у нас тишина. Джеку нечего сказать, а тому, другому, и совсем уж не о чем разговаривать. Он из этих, образованных — точно говорю,— сидит и все думает, думает. Делает заказ — просто кивает на стакан. Нет того чтобы сказать: «Эй, бармен» — или в этом роде... так, кивнет слегка на свой пустой стакан, и все дела. Я его обслужу, кивнет снова. И ни словечка. Не поймешь, черт бы их драл, где мы: то ли в баре, то ли в морге. Проходит таким образом пятнадцать минут, проходит двадцать, и снова возвращается Робер. Я ему так обрадовался, чуть не предложил угостить за счет заведения пивом.

— Насчет Бо что слышно? — спрашивает.

Ясное дело, Робер знает, что Джек у меня. Во-первых, у дверей его машина, ну, а потом, он вообще знает, что каждый божий день Джек наведывается ко мне в лавку. Но я-то, как предполагается, не знаю ничего, не успел еще узнать, что случилось.

Я и спрашиваю:

— Что такое стряслось с Бо?

— Убили его, вот что с ним стряслось,— отвечает.— А, Джек, привет! — Это он Маршаллу говорит.

Джек Маршалл ему кивает. Молча.

— Бо убили? — спрашиваю.— Как же это? Где? Когда?

Я актер неплохой, если нужно.

— Да на плантации на этой,— отвечает Робер, а сам смотрит на Джека.— Принеси-ка бутылочку пива,— говорит он мне.

— Джек, это правда? — спрашиваю я Маршалла.

Он кивает.

Я приношу Роберу его пиво. И мы глядим друг дружке в глаза, Робер, он тоже актер неплохой, такая вот штука.

— Настоящее убийство? — спрашиваю.

— Там сейчас Мейпс, допрашивает нигеров,— говорит Робер.— Мне Хилли рассказал.

— О-хо-хо, давненько же в наших местах никого не вздергивали,— говорю я.— Но сейчас уж этого не избежать, с Фиксом шутки плохие.

— С такого рода вещами теперь покончено,— внезапно изрекает мой тихонький клиент.

Я чуть не подпрыгнул. Все равно будто покойник вдруг заговорил. Ни словечка не обронил с тех пор, как заказал себе первую выпивку. Мы с Робером оба на него глядим, но ничего не отвечаем. А Джек, тот даже глазом не повел — сидит себе и выпивает.

— И когда это случилось? — спрашиваю я Робера.

— В обед,— отвечает Робер.

— И Фикс до сих пор туда не заявился?

— Пока нет,— отвечает Робер.

— Заявится,— говорю я.— Пари на что угодно — старик Фикс сегодня вечером будет там.

— Такие вещи в наше время невозможны,— снова выступает этот тихонький. Говорит, а на нас не глядит. Глядит на зеркало, которое за стойкой. Потом вдруг поворачивается к Джеку: — Вы согласны со мной, мистер? Такого ведь не бывает сейчас? Такие вещи в наше время невозможны?

Джек сперва и глазом на него не повел. Потом поглядел, помолчал. Он не любит, чтобы с ним заговаривали без приглашения.

— Не думаю, что мы достигли такой степени прогресса,— сказал он, глядя не на посетителя, а на дверь. Призраки, что ли, в той комнатушке пели, и он прислушивался, как они поют.

— А я все-таки надеялся, что мы достигли хоть какой-то степени прогресса,— тихо сказал мой тихонький клиент.

И посмотрел на Джека долгим взглядом. Джек в своем безупречном сером костюме, белой рубашке, при галстуке выглядит интеллигентно. Выглядит как человек, с которым вполне можно завести интеллигентный разговор. Но Джеку все на свете безразлично. Он, когда тому клиенту отвечал, и то на него не смотрел, а потом и подавно. Он в стакан свой глядел.

Робер тянул тем временем свое пиво, сидя неподалеку от Джека Маршалла, но не впритирку, а так, что между ними мог бы поместиться здоровенный толстый человек. Как бы тесно ни было у меня в баре, это расстояние соблюдают все; кроме Феликса Моргана, никто и никогда не садился к Джеку ближе. Хотя приходит он сюда пить и, случается, даже других угощает, он очень здорово умеет дать понять, что он не нам чета. Феликс Морган — тот другое дело. Семье Морганов принадлежит прилегающая к городу плантация и сахарный завод, на котором перерабатывают почти весь сахарный тростник, что растет в нашем округе.

Только принялся я наливать Джеку второй стакан, входят Льюк Уилл, Жук Томпсон, Генри Тобайас, Олси Будро и парнишка этот, Лерой Холл. Раз или два в неделю эта шарага наведывается ко мне. В этот вечер я их вообще-то ожидал, но, с другой стороны, все же не думал, что они так скоро нагрянут: накануне вечером я видел всех втроем — Бо, Льюка Уилла и Жука Томпсона.

— Джентльмены,— говорит Льюк Уилл, а голосина у него хрипатый, басовитый.

Льюк Уилл и Жук Томпсон работают шоферами грузовиков в байоннской компании «Гравий, цемент и песок». Трое остальных, что с ними пришли, тоже работают в этой компании. А попутно выполняют разные дела для поддержания порядка у нас в округе. Ну, к примеру, скажем, школьный автобус для черномазых опрокинуть, или в молельню к нигерам несколько змей подбросить как раз во время службы, или вытолкать нигера в шею из ресторана или мотеля, какие искони числились только для белых. Люди говорят: им за эту их общественную работу платят не меньше, чем они получают на своей песочной фабрике. А вот кто им платит, этого никто не знает, а если знает кто, то не такой он дурак, чтоб ляпать языком.

— Ребята,— говорю,— прекрасный день, не так ли?

Они прутся к стойке. Сгрудились в одном конце, а в другом сидит Джек Маршалл. Робер и тот второй клиент оказались посередке, между этой компанией и Джеком. Джек сидит и смотрит в свой стакан. Если бы он поднял голову, он бы не увидел дверь в бывшую негритянскую комнату — он увидел бы Льюка Уилла. По размерам Льюк Уилл точь-в-точь как эта дверь.

— Принести нам бутылку, Кроха Джек,— говорит Льюк Уилл.— И еще захвати кока-колы.

— Пива, мальчики, не пьем сегодня? — спрашиваю.

— Тебе сказано: неси бутылку,— говорит Льюк Уилл и смотрит туда, где сидит Джек Маршалл.— Добрый вечер, мистер Маршалл,— говорит он.

Джек глянул в его сторону и кивнул.

— Я слышал, у вас неприятности? — спрашивает Льюк Уилл.

— Лично у меня неприятностей нет,— отвечает Джек и смотрит не на него, а просто в его сторону.

— Вам разве не рассказывали насчет Бо? — спрашивает Льюк Уилл.

— Я слышал, что его убили,— отвечает Джек так равнодушно, будто ему рассказали про крысу.

— Это сделал один из ваших нигеров, мистер Маршалл,— говорит Льюк Уилл.

Вот теперь Джек Маршалл посмотрел на него. Не просто в его сторону, а на него.

— У меня нет нигеров,— сказал он.— Никогда их не было. Никогда не хотел их иметь. И никогда иметь не буду. Все нигеры принадлежат ей.

— Где Кэнди?— спрашивает Льюк Уилл.

— В деревне, я полагаю.

— Защищает своих черномазых?

— Не имею ни малейшего понятия, чем она сейчас занята.

— А Мейпс торчит там до сих пор и работает под детектива?

— Да, насколько мне известно,— отвечает Джек.— А теперь, если не возражаете, я допью свое виски.

— Я вас буквально еще на секунду задержу, мистер Маршалл,— говорит Льюк Уилл.

Джек Маршалл уже на него не глядел. Поскольку дверь все равно не видно, рассудил он, то лучше уж смотреть в стакан. Услышав просьбу, он не поднял головы. Мне лично кажется, с такими, как Льюк Уилл, он огродясь так долго не разговаривал. Я хотел было сказать Льюку Уиллу: отваливай, мол, а потом вдруг подумал: «А ну их всех к чертовой бабушке». Джек поднял голову.

— Я считаю, Мейпсу надо помочь,— говорит Льюк Уилл.

Джек взглянул на него с таким безразличием, словно перед ним дерево или столб. На деревянную дверь комнаты для нигеров он глядел с гораздо большим интересом.

— Я надеюсь, вы не против,— говорит Льюк Уилл.

— Вы имеете в виду,— осведомился Джек,— что мне следует отправиться в деревню и помочь ему?

— Не совсем так,— отвечает Льюк Уилл.

— Тогда что же вы имеете в виду? — осведомился Джек.

Льюк Уилл и его парни, все пятеро, смотрели на Джека в упор. Все мы знали, что имеет в виду Льюк. И Джек знал. Льюк ни словечка больше не сказал. Никто не сказал ни словечка. Я продолжал свои дела: поставил на стойку бутылку «Олд Кроу», стаканы, кока-колу и вазочку со льдом. Льюк Уилл и его дружки стали сами себе наливать и полезли в вазу прямо лапами. Я покосился и увидел на дне вазочки песок и грязь. Кое-кто из этих ребят не вымыл рук после работы.

— Закон медлителен по временам,— тихо сказал мой задумчивый клиент.— Но это лучшее, чем мы располагаем. Кажется, слова Черчилля? — Он вынул трубку.— У вас нет возражений, джентльмены?

Никто ему не ответил. Он раскурил свою трубку.

Льюк Уилл приложился к стакану и выдул залпом половину. Потом еще раз приложился, и на донышке остался только лед, а Льюк велел мне повторить.

— Старик участвовать в этом деле не будет,— сказал он.

— Как, то есть? — спрашиваю я.

— А его сынок оттоворил, игрок американской сборной,— отвечает Льюк Уилл.

— Врешь,— говорю я.

Льюк Уилл и его дружки все разом на меня посмотрели.

— Гы чего это сейчас сказал, Кроха Джек? — спрашивает Льюк Уилл.

— Я просто так,— отвечаю.— Господь свидетель, просто так. Ну, сорвалось с языка, сорвалось вдруг с языка нечаянно, когда ты сказал, что Фикс туда не собирается. Ну, бывает же, сорвется что-то с языка.

— А ты поосторожнее со мной, Кроха Джек, у меня фитиль короткий,— говорит Льюк Уилл.

— Все понимаю,— отвечаю я.— Как же мне не понимать? Послушайте, ребята, вы не против, если я вам поставлю бутылочку? Чтобы было ясно, за кого я болею душой. С вас ни пенса за нее не причитается. Угощение за мой счет. Никто не возражает?

Никто не возражал, и мне стало поспокойней. А то в голову уже полезло, например, что под стойкой у меня бейсбольная бита. Дело ясное, куда мне против пятерых, но уж если б до того дошло, я схватился бы и за биту.

— На мой взгляд, все это очень правильно,— сказал тот с трубкой.

Ну, чего ему вздумалось рот разевать, когда я только-только их утихомирил? Он ведь даже их не знает, этих парней. Сам же видел: еще чуть-чуть — и они бы через стойку на меня полезли, и я ведь все-таки их знакомый, а он — никто. Да они его линчуют, как последнего нигера, и все дела.

— Что такое вы сказали, мистер? — спрашивает Льюик Уилл.

— Пусть всем этим занимается закон,— отвечает чудик с трубочкой и даже не глядит на Льюка Уилла.

— Послушайте-ка, мистер, а откуда вы взялись? — спросил Лерой.— Может, вы из этих, из нью-йоркских янки, еврей из... как его там? Общества помощи черномазым? Я случайно не угадал?

Чудик вынимает изо рта свою трубочку и смотрит на Лероя. Лерою лет семнадцать; восемнадцати, думаю, нет. Вообще-то не положено ему спиртное отпускать, но он с такой компанией явился — одурел я, что ли, лезть на рожон.

— Техас,— отвечает ему трубокур.— Лафейетт. Преподаю в университете.

— Про черномазых ты их там учишь, что ли? — Лерой спрашивает.

— Среди прочего,— отвечает этот тип,— я преподаю и негритянскую литературу.

Сдвинул трубку в угол рта и глядит на Лероя в упор. Так глядит, словно хочет понять: что же это перед ним такое?

— Вы на уроки не опаздываете? — спрашивает Лерой.

— В пятницу вечером нет уроков,— говорит учитель.

— Ну хоть один какой-нибудь есть. Поднатужьтесь, поработайте над памятью.

Трубокур задумался на несколько секунд, потом потряс головой.

— Ни единого. Ни одного не могу вспомнить.

— Тогда, может быть, ты просто двинешь к себе в Лафейетт и устроишь там урок сверх расписания?— говорит Лерой и надвигается на него.

— Эй, Лерой, ты что? — говорю я.— Успокой свои нервы.

— Что за вопрос,— отвечает Лерой и смотрит прямо на учителя.— Что за вопрос.

Он допил свой стакан, подошел ко мне и заказал еще один. Я взглянул на этого, с трубочкой. Не люблю я выгонять из своей лавочки белых людей, мне это претит, но до чего же мне хотелось, чтобы этот гип поскорей отдал концы.

— Значит, Фикс свалил это дело на Мейпса, так, что ли, Льюк? — спрашивает Робер.

— Это не он,— отвечает ему Льюк Уилл.— Это его недоносок из американской сборной и свинячий потрох, торгаш из Байонны. Это они, паразиты, заморочили ему башку. Он хотел туда поехать, но без них не хочет. Когда я уезжал, он плакал.

— Господи боже мой,— говорю я.— И куда мы только катимся? Это же уму непостижимо.

Джек закруглился и поставил на стойку стакан.

— Доброй ночи,— сказал он и стал выбираться из своего угла.

— Уходите, Джек?

— Ухожу.

Джеку надо было пройти мимо стойки, за которой сидели Робер и этот чудик, и вдруг чудик этот поворачивается к нему.

— Сэр,— говорит он.— Разве это не ваше именье?

Джек остановился, смотрит на него. Джек не любит разговаривать с незнакомыми, разве только сам с ними заговорит.

— Какое именье? — спрашивает.

— А то самое, где убили Бо.

— Мне принадлежит его третья часть,— говорит Джек.

— А вам не кажется, что вы обязаны что-то предпринять?

— Там находятся представители закона,— отвечает Джек.— Им за это деньги платят.

— Я имел в виду другое,— говорит этот деятель из университета.

— Что именно?

Чудик смотрит на него и молчит. И Джек на него смотрит, с непроницаемым таким лицом.

— Сэр, вы производите впечатление интеллигентного человека,— говорит чудик.

— Конечно,— отвечает Джек.— Что из этого следует?

— По-моему, у вас должно быть чувство ответственности за эту деревню, за людей, которые там живут.

— Живут они совсем неплохо,— отвечает Джек.— Не платят рейты и вообще ничего не платят.

— Ну, а то, что происходит здесь, вас это нисколько не тревожит?

— Не вижу ничего особенного,— отвечает Джек.— По-вашему, тут что-то происходит?

Этот глядит на Джека — совсем оторопел. Он просто Джека не знает.

— Но ведь в конечном счете за все это будут расплачиваться такие люди, как вы и я.

— Разумеется,— отвечает Джек.— Я лично расплачиваюсь уже семьдесят лет. А вы сколько лет расплачиваетесь?

— Нам этот долг не оплатить — ведь мы за все это в ответе,— говорит учитель.

Джек хмыкнул. А лицо все такое же непроницаемое; хоть бы бровью повел, да куда там!

— Если вам у нас так тягостно, возвращайтесь в Техас,— сказал он и вышел из лавки.

Сел в свое авто, дал задний ход и двинулся вдоль реки. Тени деревьев на берегу теперь уже все закрыли. Скоро стемнеет — Льюк Уилл и его дружки накачивались спиртным торопливо, словно кто за ними гонится.

— Культурненько он тебя приложил,— сказал Лерой учителю.

Тот на него даже не глянул. Смотрит в зеркало позади стойки, а на Лероя — ни-ни. Лерой здорово набрался. Мальчишка, морда детская и красная, как свекла. Глаза его, голубенькие, уж совсем поголубели. Губки бантиком, алые, прямо пылают, такие губки бы девчоночке, а не парню.

— Ты нам принесешь еще бутылку, Кроха Джек,— говорит Льюк Уилл.

— Конечно, мальчики, конечно,— отвечаю.— Вы не забывайте: первая — за мой счет.

Я с нажимом сказал «первая», чтоб знали: эта новая уже не за мой счет. Я считаю так: оскорбление, какое я ему нанес, когда обозвал вруном, не тянет на две бутылки.

Выставил я все на стойку, и они с места в карьер навалились. Покосился я еще раз на вазочку. Да-с, уже все донышко покрыто грязью да песком. Кое-кто из этих ребят не подходил к умывальнику по крайней мере месяц.

— Эй, ты там,— кричит учителю Льюк.— Тебе не кажется, что пора бы уж собираться?

— Я как раз об этом думал,— отвечает тот.

— А ты не думай,— говорит Льюк Уилл.— Ты мотай отсюда.

Техасец выколотил из трубки золу на ладонь; потом высыпал в жестяную пепельничку — я всегда ее держу на стойке.

— Вы думаете, ребята, вы правильно поступаете, когда беретесь за такие дела, которыми суд должен заниматься?

— Ты уйдешь или тебя проводить? — спрашивает Льюк Уилл.

— Я ухожу,— отвечает учитель.— Но на прощанье я скажу вам несколько слов. Не делайте того, что вы задумали. Не надо. Ради нашего Юга. Ради Соли и Перца, не надо этого делать.

— Жук и Генри, проводите джентльмена к его машине,— говорит Льюк Уилл.— А если у него нет машины, проследите, чтобы он потопал в свой Лафейетт ножками.

— Льюк, я тебя прошу,— говорю я.— Это же белый человек. Неприятности будут.

— Если белый, пусть ведет себя как белый,— отвечает Льюк Уилл.— Жук, прихвати с собой Генри, валяйте.

Томпсон и Генри Тобайас двинулись к учителю. Тот быстро поднял руки вверх.

— Ухожу,— сказал он.

— И пока ты не придешь в свой Лафейетт, не останавливайся,— сказал Льюк Уилл.— Я твой университет мигом найду. Каждый день мимо вашего озера езжу.

Учитель бросил взгляд на Робера, но Робер сидел, опустив глаза, и рассматривал свою бутылку пива. Тогда учитель взглянул на меня, но было ясней ясного — я тоже не на его стороне. Не то чтоб я желал ему зла, но в нашем городе он чужой человек, а это мои постоянные клиенты... и я, в конце концов, не идиот. Мне вовсе ни к чему зайти в один прекрасный день к себе в лавку и обнаружить, что она кишмя кишит гремучими и мокасиновыми змеями.

Увидев, что никто ему не сочувствует, бедняжка сам себе кивнул и вышел. Видик у него был тот еще: будто он один взвалил весь мир себе на плечи.

— А тебе, Кроха Джек, надо все же соображать, кого ты пускаешь в свое заведение,— назидательно произнес Льюк Уилл.

— Разве книгу угадаешь по обложке? — отвечаю.— Зашел в лавку — человек как человек. Ну, болезненный, немножко нервный с виду, а вообще-то вполне нормальный.

— В дальнейшем будь поосторожней,— говорит Льюк Уилл.

— Само собой,— отвечаю.— Ты же меня знаешь. Я в лепешку расшибиться готов для своих постоянных клиентов.

— Еще глоток — и я кому-нибудь дам прикурить,— говорит Лерой и наливает себе виски.— Просто руки чешутся. Пошли, что ли. Дадим этой сволочи прикурить.

— Спокойно, твое от тебя не уйдет,— отвечает Льюк Уилл.— Ты все успеешь, детка.

— Ребята, я по пятницам закрываю в десять,— говорю я.— Старуха, сами знаете.

— Сегодня у тебя будет открыто ровно столько, сколько нам захочется.

— Конечно, ребята, конечно,— отвечаю. Я себе сразу представил всех этих гремучих и мокасиновых змей, которые ползают по моей лавке.— Я на все готов для постоянных клиентов.— Говорю я, а сам гляжу на Робера. Он как раз пиво допивает. И уже поглядывает через плечо в сторону двери.— Повторить не хочешь? — спрашиваю я его. Мне главное, чтоб он со мной в лавке остался. Господи ты боже, мне ведь позарез надо, чтобы он со мною тут остался.— Эта будет за счет заведения.— говорю я.— За счет заведения, я угощаю.

— Нет, я домой пошел,— качает головой Робер.— Я дома не был целый день. Спокойной ночи.

— За счет заведения,— повторяю я.— Заказывай что хочешь. Две бутылки любой марки.

Он вышел. Было слышно, как он влез в свою машину и уехал. Я не глядел туда, где выпивал Льюк Уилл с дружками. Я стоял и, не отводя глаз, смотрел на другую, опустевшую часть стойки, и мне было страшно и одиноко. Все молчали. Но я шкурой чувствовал: они наслаждаются моим страхом.

— Ты посмотри на него, посмотри,— заговорил Лерой.— Во, трясется-то от страху, как старый нигер. Эй ты, будешь теперь знать, как чувствует себя старый нигер. Ты посмотри на него, ты посмотри.

Я не оборачивался, и тогда он стал пробираться ко мне вдоль стойки. Заглянул мне прямо в лицо и, тыкая в меня пальцем, заржал во всю глотку. Он упился в стельку, забалдел так, что дальше некуда, и его нежное девичье личико с пунцовыми губками бантиком было как у урода — я такого видел один раз на ярмарке.

— Допьем эту бутылку и ходу,— сказал Льюк Уилл.

ЭЛЬБЕРТ ДЖЕКСОН, он же КОЧЕТ

Мисс Мерль уехала и корзины свои увезла, а Лу пошел на дорогу, к Мейпсу. Прислонились к его машине и смотрят на нас — кто чего делает. Я в это время возле самого краешка галерейки пристроился, а мимо меня все ходят за угол дома

в сортир. Как раз Сажа вышел из сортира, и я примечаю: нагибается он и берет патроны из коробки, что под домом стоит. Он две штуки взял: одним зарядил ружье, другой в карман себе положил. Мы все так делали. По нужде-то, конечно, тоже заодно ходили, но не только по нужде. Клэту нам сказал, где она стоит, эта коробка. И каждый раз, как кто из нас идет в сортир, и белые на него в этот момент не глядят, он нырнет под дом да и вытащит из коробки пару патронов. Никто ничего не заметил. Ни Бьюла, моя жена, ни другие бабы, ни даже этот чокнутый Джеймсон. Мы больше всего боялись, чтобы он не проболтался, Джеймсон то есть. За других мы не боялись.

Вскорости после того, как воротился Сажа, в машине радио заговорило. Мейпс открыл дверь и давай в трубку бубнить. Сперва там затрещало, потом мы чей-то голос услыхали, потом снова затрещало, потом что-то сказал Мейпс. Так оно и шло минутки три: шум, голос, снова шум, Мейпс. Потом Мейпс повесил трубку на место и вернулся вместе с Лу во двор. Ухмыляется. Да как-то по-чудному, вроде про себя. Только по глазам видать.

— Добро,— говорит.— Всем собраться здесь.

Стал народ сходиться не спеша. День этот был очень длинный. Все мы уморились за день, но пока не собирались расходиться по домам. Пусть сперва все решится, тогда пойдем.

— Похоже, ребята, поздновато вы расхрабрились,— Мейпс говорит.— Фикс не приедет сюда.

Усмехается. Щеки так и раздулись. Усмехается и оглядывает нас. Но никто не улыбается ему в ответ — потому никто ему не верит. Не хотим мы верить — слишком много ожидали мы в тот день, вот и не хотим, чтобы все так закончилось.

Джонни Пол заговорил первым.

— Вранье,— говорит.

Джонни Пол стоял от Мейпса совсем близко. Только Мейпсу не хотелось пускать в ход кулаки. Арестовать Джонни Пола и излупить его он ведь мог когда угодно.

— Говорю вам, все это вранье,— повторяет Джонни Пол.— Ему надо, чтобы мы разошлись по домам. Фикса вы не знаете, что ли? Как это он может не заявиться сюда?

Тут все мы стали говорить, что знаем Фикса, и что Фикс как пить дать заявится сюда.

— Как же! — говорит Мейпс и снова ухмыляется.

— Это он нарочно — хочет сплавить нас отсюда,— говорит Джонни Пол.— Белые нам вечно голову морочат. Поглядите — вон кровь на траве. Это кровь его сына. И вы думаете, Фикс не заявится сюда, когда на траве его родная кровь!

— Обязательно приедет.— Это Мэт сказал.

— Сдохнуть мне, если не приедет— говорит Джонни Пол.— Вы поглядите только на то место, где его сын на траву упал.

Поглядели все мы на то место. Трава примятая, и кровь еще видна.

— Сказано вам: не приедет,— Мейпс свое твердит.— Так что валите по домам.

— Брешет он.— Джонни Пол снова к нам повернулся. Потом к Мейпсу: — Слышишь ты, шериф, как я перед всеми этими нигерами вруном тебя обозвал? Может, хочешь засадить меня за решетку?

Мейпс качает головой. Потом говорит и при этом тыкает в Джонни Пола пальцем:

— Тебе хочется героем нынче стать, Джонни Пол... с моей помощью. Но я тебе не помощник.

Мы стоим все и на Мейпса таращим глаза. Что нам делать, как нам быть? Верить-то ему не хочется, даже если и не врет. Накрутили мы себя и без боя теперь не уйдем.

— Больно непохоже все это на Фикса,— с галерейки Клэту говорит.— Никакая сила его нынче не удержит.

— Вот тут-то ты и ошибся, Клэту,— говорит Мейпс, подходит к галерейке и глядит снизу вверх на Клэту.— Я ведь тоже сперва так думал. Потому как, видишь ли, и ты, и я, и остальные, что тут собрались,— все мы представляем себе Фикса, каким он был лет тридцать назад. Тридцать лет назад Фикс непременно бы сюда примчался, на ближайшем дереве повесил бы Мату, а остальные храбрецы, что сейчас

гут собрались, по домам своим сидели бы, запрятавшись под кровать. Но за последние десять — пятнадцать лет кое-что случилось. Соль и Перец стали играть вместе. И это дело ваших рук, больше ничьих,— говорит Мейпс и оглядывает всех нас.— Только ваших рук это дело. Вы его сварганили. Не нравилось вам, что в одном районе города Соль играет в УШЛ, а в другом районе Перец добивается победы для «Южанина»... как же можно?.. Им надо вместе играть. Вы ведь богу молились, чтоб они играли вместе. И вот они играют вместе, и глядите теперь, что получается. Соль едет домой, потолковать с папашей. Жиль — тот бе[illegible]ый парень, что заходил во двор,— это его ведь называют Соль. Да вы все знаете его, сто раз видели по телику. Съездил он домой и объявил папаше, что он без Перца шагу не может ступить, так же как Перец без него. Он сказал папаше твердо, что не поедет учинять суд Линча над Мату. Он сказал своему папаше, что, если фамилию «Бутан» хоть один раз упомянут газеты, в американскую сборную ему не попасть. Так-то вот. А кто все это сделал? Вы, и никто другой,— говорит Мейпс и ходит по двору. Ходит, ходит и каждому из нас в лицо засматривает. Постоит, посмотрит на одного, потом дальше двинется и снова встанет и на другого поглядит.— Вы все это сделали — сами себе испортили всю музыку. Вы просили у бога, чтобы не разлучались Соль и Перец, бог и сделал наконец это для вас. И в то же время вы хотели, чтобы бог сохранил вам Фикса в точности таким, каким Фикс был тридцать лет назад, так чтобы в один прекрасный день вы смогли бы при удобном случае всадить в него пулю. Ну, а бог-то, он никак не может сделать и то и другое вместе. Не скажу, чтобы ему был так уж симпатичен Фикс, просто ему больше приглянулась другая идея — Соль с Перцем заодно. Ну? Чего хотите? Чтобы Соль и Перец играли вместе, или вы хотите, чтоб господь сохранил Фикса в точности таким, как тридцать лет назад, и предоставил вам возможность всадить в него пулю? Валяйте, решайте. Лично я не сомневаюсь, что господь сейчас сидит и ждет, чего вы там решите.

Мы все подумали, что Мейпс с ума сошел. Потом глядим: он просто светится — так доволен. Я за всю свою жизнь не видел, чтобы белый так радовался. Такой вид у него, будто он готов расцеловать первого встречного.

— Так и будем молчать? Может, кто-то скажет что-нибудь? — говорит он и оглядывает нас.

А мы не знаем, что ему сказать. Как нам быть теперь, не знаем. И тихо стало. Тишина кругом. Во все уши слушай, все равно ничего не услышишь. Никто не шелохнется. Все как вымерло. Стоим, молчим.

Мейпс повернулся к Мату, тот на краешке ступеньки сидел.

— Готов ты, старик?

— Готов,— говорит Мату.

А Кэнди с самого начала стояла возле Мату и ни на шаг от него. Даже когда Мейпс чуть не вплотную мимо проходил, она и бровью не вела. Кто ее знает, может, она даже не слыхала ни единого слова, что Мейпс говорил. Вела она себя по крайней мере так, будто голоса его не слышит, пока он не заговорил с Мату; а тут уж она сразу вышла на дорожку. Спокойненько так, вышла на дорожку и стоит, сложивши руки.

— Ты что это затеяла? — спрашивает Мейпс.— Концерт окончен, неужели не ясно?

Кэнди ни слова в ответ. Тут женушка моя слезает со ступеньки и становится рядом с Кэнди. Ну, а я рядом с женой. А потом уж и все прочие к нам привалили. Гло с тремя внучатами. Даже Коринна как-то ухитрилась — с галерейки сползла и приковыляла во двор.

Мейпс стоит, глядит на нас во все глаза. Одну руку положил Мату на плечо; в другой держит свое ружье.

— Я сказал вам: представление окончено,— говорит.— Не вынуждайте меня применять силу.

Все как стояли, так стоят.

— Очисти мне дорогу, Гриффин,— Мейпс говорит.— Я не собираюсь каждого тут обходить. Если надо, примени оружие.

Гриффин в сторонке, возле огорода стоял, а пистолет его за пояс был заткнутый. Он его вытащил и двинулся к нам. Тогда Мэт, Персик Белло и один из братьев Леженов подняли свои дробовики. Не так чтоб очень высоко. На уровень пояса.

Гриффин приостановился.

— Стойте,— с галерейки Клэту кричит.— Стойте, погодите. Шериф, можно нам потолковать? Можно мне и остальным мужикам в доме с Мату поговорить?

Мейпс оглянулся на Клэту.

— Поговорить? — спрашивает.— О чем говорить? Все, что я тут от вас слышу,— разговоры в чистом виде, толку нет.

— Ну, дай нам несколько минут,— просит Клэту.— Неужели тебе несколько минуток жаль?

Мейпс опять на нас глядит, на тех, кто поперек дорожки стал. Вслед за теми тремя еще кое-кто поднял дробовики.

— Ладно,— отвечает Мейпс Клэту.— Получай свои минутки. Только не тяни. Я устал.

— Все взойдите в дом,— говорит нам Клэту.— Нет, Кэнди, тебе туда нельзя.— Это он Кэнди говорит.

— Как это нельзя? Какой может быть разговор без меня? — сердится Кэнди и идет со всеми вместе к галерейке.

— В этот раз, Кэнди, придется все же без тебя,— стоит на своем Клэту.— Одни мужчины с ружьями будут держать совет.

— Черта с два,— говорит Кэнди.— Здесь я хозяйка.

— Я это знаю, Кэнди,— говорит Клэту.— Но сейчас ты нам не нужна.

Тут она остановилась: никто отродясь с Кэнди так не говорил — ни белые, ни черные,— уж от черного-то она никак не ожидала таких слов.

— Что ты плетешь? — говорит она.— Да ты знаешь, где находишься? Да ты соображаешь, с кем говоришь? Чтоб духу твоего на моей земле не было.

— Я никуда не уйду, Кэнди,— Клэту говорит.

— Что?!

— Не уйду, покуда дело это не уладится,— отвечает ей Клэту.— Я уже шерифу говорил: я готов за решетку сесть, я готов сегодня даже умереть. Стану ли я слушаться приказов в такой день?

Ох, и рассерчала же она. Прямо трясется вся. Пристально так смотрит, в упор, на Клэту, чтобы он глаза опустил, а Клэту не опускает, наоборот, прямо в глаза ей глядит. Тут она к Мейпсу поворачивается. Чудеса — ведь никогда бы, никогда Кэнди не пришлось у Мейпса помощи просить: Мейпс и так бы мигом согнал с галерейки Клэту, пусть бы даже пулей пришлось его снять. Только на этот раз Мейпс улыбнулся ей — и все дела. Ему, видать, понравился такой поворот: один из нас, из нигеров, против Кэнди пошел. Тогда Кэнди повернулась к Лу. Лу протянул к ней руку и зовет: «Иди сюда». Тут-то она на нас и накинулась.

— Ладно, слушайте себе на здоровье Клэту, если вам охота,— говорит.— Одно только запомните: у Клэту есть свой клочок земли. А у вас ничего нет, живете на моей земле. Сделайте как он вам говорит — и вам негде будет жить, я выгоню вас.

Тут Мейпс как захохочет. Теперь уж громко, не про себя.

— Ну-ка, ну-ка,— говорит он нам.— Ишь как ваша спасительница заговорила! Не перечьте ей, не то останетесь без крыши над головой. Все слышали?

Кэнди прямо зашипела на него:

— Вы нас весь день стараетесь поссорить!

— А вам угодно, чтобы они до конца своих дней оставались вашими рабами? — Мейпс отвечает ей.

— Нет тут никаких рабов,— говорит Кэнди.— Я их просто защищаю, как защищала всегда. И мои родители и деды тоже их защищали. Спросите у них.

— Ваши деды по крайней мере позволяли им друг с другом разговаривать,— говорит Мейпс.— Вот почему они здесь возвели церковь. А теперь вы вздумали и это право у них отобрать.

Кэнди не знает, что ему ответить, Мейпсу. И напустилась на Мату.

— Ты этого хочешь? — спрашивает она его.— Хочешь, чтобы вы там в доме собрались без меня?

Мату качает головой.

— Кэнди, я просто устал,— говорит.— Если они так хотят, пусть будет так, я не против. Я просто хочу, чтоб все это кончилось поскорей.

Кэнди ни словечка не сказала. Ровно кошка, вспрыгнула на галерейку, шмыг мимо Клэту и — руки в боки — стала в дверях.

— Ну, входите, кто теперь сюда войдет? — спрашивает.

— Слушайте, отойдите от двери! — кричит ей Мейпс.— Люди хотят поговорить, они и будут говорить. А вы кончайте это, спускайтесь сюда.

Кэнди ничего не слушает, подбоченилась, стоит и глядит — мол, попробуй подойди.

— Гриффин,— Мейпс помощнику своему говорит.— Поднимись туда и оттащи ее от двери.

Недомерок этот, Гриффин, как был, с пистолетом в руке, сделал два шага к галерейке, потом остановился.

— Ты чего это?— Мейпс спрашивает.

— А он знает, что я ему в зубы дам,— Кэнди с порога кричит.

— Поднимайся на галерею, Гриффин,— говорит Мейпс и надвигается так, наступает на него.

Гриффин же на галерейку не идет, а от Мейпса увильнул. Мейпс-то больно толстый, где уж ему Гриффина ловить. Мы хохочем все. Мейпс осерчал на нас — велел заткнуться. А потом опять к галерейке повернулся.

— Спускайтесь, Кэнди,— говорит.— Уж если я на крыльцо поднимусь, можете не сомневаться: как штык упеку за решетку.

Кэнди стоит и бровью не ведет.

— Спускайся, Кэнди,— говорит ей Лу.— Ну чего ты цирк устроила?

— А у нее цирк с самого утра,— Мейпс говорит.— Вы скажите ей: пусть немного подумает головой.

А Кэнди — руки в боки — стоит себе в дверях. Старуха моя, Бьюла, засмеялась.

— Не уступай им, золотко,— кричит.— Плюй на всех и никому не поддавайся.

— А ты заткнись, зараза старая,— Мейпс Бьюле говорит.— Очень я устал от вас. Устал. Понятно?

— Разрешите я с ней потолкую, шериф,— говорит Мату и поднимается на галерейку.

Кэнди смотрит, как подходит к ней Мату. Сама сперва стоит как стояла — руки в боки; потом выставила вперед кулаки: вроде бы ударить собралась Мату, если он чего-то не так скажет. Но вот Мату к ней совсем близко подошел, и мы все увидели: другое стало у нее лицо, и кулаки разжались.

— Я хочу, чтобы ты пошла домой,— сказал Мату. Не громко. Мягко так, спокойно. Он, бывало, так разговаривал с ней, когда она была еще маленькой.

Кэнди покачала головой.

— Так надо,— говорит Мату.

Она снова головой трясет.

Много лет назад, когда ей было годочков пять или шесть, она каждый день, бывало, приходила к Мату и играла у него во дворе и по огороду за ним всюду шастала. Перед тем как солнышку зайти, он, бывало, ей велит отправляться домой. «Нет»,— говорит она. «Тебе сказано — иди домой». А она снова: «Нет». Он тогда берет ее за ручку или сажает себе на плечо или на закорки и отводит ее в Усадьбу. На другой день, перед тем как солнышку садиться: «Ну, пора тебе отправляться домой». «Нет»,— отвечает она.

Вот и сейчас глядят они друг на друга. Вижу я: Кэнди покусывает губу, вот-вот заплачет. Но не может она этого себе позволить — перед нами слезу пускать.

— Мне придется поехать с ними,— Мату говорит.— Расплатиться я должен.

— Нет,— говорит она.— Нет. Папа и дедушка мне сказали, ты уже расплатился за все. Ты всегда за них расплачивался. Не хватало еще, чтобы ты расплачивался за меня.

Он прикоснулся своей морщинистой, стариковской рукой к ее щеке, и она прижала ее покрепче.

Лу, он тоже следом за Мату взошел на галерейку, но покамест они разговаривали, в сторонке стоял. А как замолкли, подошел малость поближе.

— Пойдем, Кэнди,— Лу говорит.

А она его и не слышит. Мату отвел руку от ее щеки, но она руку его не отпускает — обеими своими держится за нее.

— Без тебя это уже не Маршалл,— говорит.

— Я всегда здесь буду, Кэнди,— отвечает он.

— Несколько квадратных километров пыли,— говорит она.— Сорняки, деревья, пыль... нет тут ничего без тебя.

— Я здесь буду,— говорит он.

— Кэнди,— окликает ее Лу.

— Ты ведь знал самого первого из Маршаллов,— говорит она Мату. Лу она вообще не замечает.— Ты знал дедушку Ната. Самого первого из Маршаллов. Помнишь, как он вернулся с войны... с Гражданской войны?

— Помню полковника.

— Ты всех их знал,— говорит Кэнди.— Ты вместе с моим дедом рос. Ты вырастил моего папу. Ты вырастил меня. Я хочу, чтоб ты помог мне и мое дитя растить, когда придет время.

— Я буду здесь,— говорит он.

— Да нет, не так,— отвечает она.— Не так, чтоб здесь, под теми деревьями, дух твой витал. Я хочу, чтобы ты сына моего за ручку водил. Рассказал ему о дедушке. О поле нашем рассказал. Рассказал ему, какой была наша река, пока не настроили тут пристаней и домишек. Кто ему расскажет про все это — только ты.

— Я расскажу ему,— Мату говорит.

— Нет,— говорит Кэнди.— Что ты можешь из могилы рассказать? Ты умрешь, если тебя посадят в тюрьму. А с тобой вместе и деревня эта умрет. Без тебя ей не быть. Мой папа — я же помню — на каждом слове: все ты, ты, ты.

— Я здесь останусь,— говорит Мату.

— Кэнди,— окликает ее Лу.

— Иди с ним,— Мату говорит.— Тебе уже давно пора идти. А за меня не беспокойся.

Тут Лу еще поближе подошел.

— Ну, пойдем же, Кэнди,— говорит.

А она все не идет, держит за руку Мату.

— Мой отец и остальные все... у всех на каждом слове: все ты, ты, ты,— повторяет она. Лу старается ее оттащить, а она по-прежнему цепляется за Мату.— Все только и говорили: «Мату». Все так говорили: «Мату». Мол, на тебе все держится. Мол, что мы без тебя?

— Пойдем, Кэнди, пойдем,— упрашивает Лу и тянет ее за руку.

— Все говорили: без тебя все пропадет, куда уж нам... да просто ничего... не выйдет без тебя, Мату.

Мату накрыл ее руки большой, серо-черной, как зола, рукой и оторвал от себя наконец. Лу тут же подхватил ее под мышки и снес вниз по ступенькам. Чего она только не вытворяла — и обзывала его, и кулаками дубасила, и лягалась, и Мейпса всякими словами оскорбляла,— Лу ноль внимания. Отнес ее к дороге, затолкал в ее же собственную машину и захлопнул дверцу. Потом встал возле машины, прислонившись спиной к дверце.

— Даю вам пятнадцать минут,— заявляет Мейпс,— а потом я его заберу. Хотите всей оравой ехать с ним — дело ваше. Но предупреждаю: если вы потащитесь за мной в Байонну, я вас привлеку к ответственности за то, что вы мешаете сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей. Все. У вас ровно пятнадцать минут.

Вошли мы в дом. А там уже темно; Клэту дернул за шнурок, и зажегся свет. С первого взгляда видно, что Мату живет здесь один. Обои, которыми его жена Лотти оклеила стены еще в незапамятные времена, изорвались и выцвели. Осиные гнездышки — на обоях, на рамках картин. С потолка паутина висит. В одном углу стоит старый шифоньер; старый умывальник с фаянсовым газиком и кувшином — в другом углу; старая железная кровать у стены стоит, возле окна, а возле очага — кресло качалка и скамья. На доске над очагом керосиновая лампа, на случай если электричество погаснет. Там же, рядышком с лампой — его старая оловянная кружка, какую он завсегда с собой в поле брал. Уж до того она стара, эта старая кружка, что потемнела дочерна. Мату по одну сторону от очага стоит, Клэту — по другую. Билли Вашингтон у дверей, Руф — перед окном. Жарища в комнате невыносимая и духота, потому как заперты и дверь и окно.

— Ну? — говорит Клэту.— Что будем делать-то? Сами видите, кончается у шерифа терпеж.

— Мы разве раздумали делать, чего с самого начала надумали? — говорит Джонни Пол. Джонни Пол и еще несколько мужчин в дальнем конце комнаты столпи-

лись.— Если Мату отправят в каталажку, и мы все туда сядем... так ведь вроде договаривались?

— Вы теперь меня послушайте,— просит Клэту.

— Так, что ли, договаривались или нет? — не унимается Джонни Пол.

Я росточком-то не вышел, вот мне и пришлось протолкаться к очагу поближе. Янки со мною рядышком стоит, по одну сторону, Такер — по другую, а Чумазый впритык сзади, в затылок мне дышит. Клэту стал возле очага и ни на кого не глядит, а глядит поверх наших голов на Джонни Пола, в дальний конец комнаты.

— Дайте мне одну минуточку,— просит Клэту.— Одну только минутку. Слушайте. Все вы знаете, как я его люблю,— говорит он и кивает на Мату.— Все вы знаете, я что угодно для него сделаю. Все вы знаете, как я его уважаю, мало кого я уважаю так. И почему такое, вам известно. Потому, что он не пасует никогда. Перед Фиксом он не пасовал и перед другими, кто хотел его обидеть, отродясь не пасовал. Даже с Маршаллами, из Усадьбы, он держался твердо. Потому-то Джек Маршалл не любит Мату. Он и перед Джеком Маршаллом не пасовал. По этой вот причине я сегодня и пришел сюда — такого человека поддержать. Помереть с ним вместе, рядом с ним, если придется. Потому мы все пришли сюда — из уважения. Сражаться рядом с ним. Сражаться, джентльмены. Но с кем сражаться-то? Нет здесь никого. Не с кем нам сражаться, джентльмены.— Тут Клэту оглядел всех нас. А мы все с ружьями стоим. Все наготове.— Джентльмены,— говорит Клэту,— давайте посчитаем так, что дело наше сделано и по домам разойдемся.

И тут я вдруг чуть в очаг не сверзился. Это Джонни Пол так лихо проталкивался вперед. Он толканул Чумазого, Чумазый повалился на меня, ну а я чуть не влетел в очаг.

— Ты что такую чушь плетешь, Клэту? — спрашивает его Джонни Пол. Джонни Пол и Клэту — они одного примерно роста. Если оба стоят, могут глядеть друг дружке прямо в глаза.— Чего, спрашиваю, мы сюда приперлись, если не собираемся стоять до конца?

Все остальные тут же с Джонни Полом согласились. Все как один сказали: пришли, мол, стоять до конца. Тогда Клэту хватает с полки оловянную кружку и кружкой этой по полке как застучит!

— Дайте мне еще одну минуту, только лишь одну минуту, а потом, если вам так уж хочется, я заткнусь,— говорит.

Ну, мы все примолкли.

— Значит, так: шерифа все вы слышали,— говорит нам Клэту.— Слышали и знаете: он хочет засадить Мату в тюрьму.

— Если так, мы с ним вместе пойдем,— Джонни Пол говорит.

— С какой целью, Джонни Пол? — спрашивает Клэту.— Чего делать будем в городе?

— А то самое, что собирались,— отвечает Джонни Пол.

Клэту вздохнул поглубже и качает головой.

— Джонни Пол, шериф теперь даже не хочет никого из нас арестовать. А знаешь почему? А вот почему — он уверен: ровно через сутки он сумеет доказать, что утром никого из нас и близко не было от этого двора. Он из-за Фикса с нами возится. Сперва боялся: если мы в Байонну с ружьями придем, вдруг туда же Фикс заявится. А теперь он знает: Фикс дома сидит, и теперь он за нас не волнуется. Он всерьез нас никогда не принимал. Он про Фикса думал, не про нас. Про Фикса, слышишь, Джонни Пол?

— Мне плевать, про чего думает Мейпс и про чего вы все думаете. А сам я вот что думаю. Если Мату сегодня заберут, я поеду вместе с ним. У каждого из нас была причина убить Бо.

— Но никто из нас его не убивал,— говорит Клэту.

— А кто докажет, что я его не убил,— отвечает ему Джонни Пол.— У меня ружье точно такое же.

— Но ты ведь знаешь, что не убивал его, Джонни Пол,— говорит Клэту.— Сам, в душе, ты знаешь, что никого не убил.— Он обвел всех нас глазами.— Остальные-то хоть понимают, про что я толкую ему? Жакоб? Мэт? Все поняли, про что я ему толкую?

— Я понимаю, конечно, о чем ты речь ведешь,— откликается от двери Мэт.—

Но мы пришли сюда, Клэту, стоять насмерть. И я не желаю возвращаться домой несолоно хлебавши. В другой раз мы уж не соберемся так.

— Но мы же сделали все, что хотели, Мэт,— говорит Клэту.— Неужели ты не понимаешь — мы уже все сделали. И никто из нас отсюда не уйдет несолоно хлебавши. Мы уже показали себя. Ехать сейчас в Байонну, а зачем? Чего мы там, в Байонне, будем делать? Маршировать вокруг суда и петь... с заряженными ружьями? Ружья делают для того, чтоб из них стреляли, но в кого нам стрелять, когда нету врага?

— Я сказал, что сделаю, и точка,— Джонни Пол говорит.— Если Мату отправляют в Байонну, я отправляюсь туда вместе с ним.

Сказал и возвратился на прежнее место, распихивая тех, кто на дороге стоял.

Тихо стало. Я вдруг вспомнил, как я собирал орехи за околицей и как за мной прислала жена. Я вспомнил, как мне было страшно, когда Бьюла мне сказала, что надо где-то раздобыть ружье, и как мне страшно было, когда я пришел к тете Лине и попросил ее одолжить мне дробовик. А еще я вспомнил, сколько меня били и как на моих глазах измывались над моей женой. А потом я подумал: еще до меня сколько всего натерпелись мои деды, прадеды. Я думал: вот он настал наконец, день, когда мы с ними за все рассчитаемся. И вдруг, на тебе, Клэту говорит: нам всем надо возвращаться домой. Ну, вернемся мы, а дальше что? Я ведь даже ни разу не выстрелил. Пальнул, правда, в дерево разок, чтобы пустая гильза была. Только маловато это. Маловато, если посчитать, сколько я натерпелся за всю свою жизнь. Нет уж, я без боя не уйду, даже если в этом бою меня убьют.

— И доказывать больше нечего,— слышу я, Мату говорит.— Доказали вы все, что хотели, и баста.

Я, пока раздумывал, все вниз смотрел. А сейчас я поднял голову и поглядел на Мату. Он стоял у очага усталый такой, и голос слабый — трудно ему говорить. Поднял я голову, а он глядит мне прямо в глаза и улыбается. Раньше он меня не шибко уважал. «Кочеток ты, рыжий»,— так он мне, бывало, говорил. Люди даже сказывали, они с моей Бьюлой шуры-муры крутили у меня за спиной. Я с ним никогда про то не говорил. Бьюлу тоже никогда не спрашивал — очень уж боялся. Но сейчас его бояться перестал. И он видит: я сейчас ничего не боюсь. Потому он мне и улыбается. И стало у меня на сердце хорошо, тепло.

— Не надеялся я до такого дня дожить,— говорит он.— Нет, никак я не надеялся дождаться этакого дня. Кочет с ружьем, Чумазый с ружьем... Билли, Сажа. Нет, не думал я такого дня дождаться.

И я глядел ему в глаза и прижимал к себе ружье, и гордость так и распирала меня.

— Еще несколько минут назад я не выше вас ценил, чем шериф,— мол, кишка у вас тонка. Выходит, ошибался я. А шериф, он по сю пору ошибается. Откуда ему про вас знать? А вот я узнал. Спасибо вам всем. Уважение мое вам. Каждому, кто здесь стоит. Я горжусь, я еще в жизни не гордился так.

Он замолчал. У него голос сел. Шевельнул губами раз, другой... ни словечка не может сказать. Мы стоим. Мы ждем. Сердце сильно этак, часто бьется у меня в груди. Я крепко сжимаю ружье, я гляжу на Мату. Нет, не он в этом доме самый гордый. Нынче самый гордый я.

— Я ведь просто въедливый, злобный старик,— говорит он.— Не герой. Ей-богу, не герой. Въедливый, злобный старик. Ненавидел я и тех, кто у протока живет, и вас всех, деревенских. Я считал себя всех выше... очень я гордился, что во мне африканская кровь. Африканской кровью, знаете, гордился почему? Потому как в этой стране меня полноправным гражданином не считали. Их возненавидел, тех, кто гражданином меня не считал, вас — за то, что прав своих не добивались. Вот такой я был злобный. Всю жизнь был такой, до сих пор.

Замолчал он тут и снова глядит на меня, долго так глядит и головой кивает.

— А теперь я переменился,— говорит.— Переменился, да. И переменил меня не ихний бог, белого человека бог. Я не верую в него, в этого их бога. Вы меня переменили Кочет, Простокваша, Чумазый, Простая Душа... это вы переменили злобного старика.

Снова замолчал и всех нас, кто в комнате был, оглядел.

— Клэту верно говорит, и я тоже хочу, чтобы вы по домам отправлялись.— Голос у него снова осип, губы шевелятся, а слов не слышно. Пришлось ему пре-

рвать свою речь и прокашляться.— Иди домой, Джонни Пол,— сказал он. Посмотрел на Джонни Пола долгим таким взглядом; потом на другого кого-то глаза перевел. Это так у него выходило: сперва он имя называл, потом внимательно смотрел на этого человека, потом к следующему поворачивался.— Иди домой, Чумазый. Тетя Жюди и дядя Франсуа будут нынче вечером тобой гордиться.— Потом снова поворачивается к кому-то еще, на полных три секунды.— Иди домой, Руф. Иди домой, Янки... Жакоб, Мэт, Простокваша... все идите по домам. А вы, Дин и Дон, к своему протоку отправляйтесь.

Так перебрав всю компанию, он снова повернулся к Клэту — тот всех ближе к нему стоял, по другую сторону очага.

— Барахлом моим распорядись как сумеешь,— говорит Мату.— Если чего здесь у меня нужно людям, пусть забирают. Не нужно — выброси вон. Я устал, наверно все вы устали. Да и шериф долгонько уже ждет.

Мы смотрели на него во все глаза, но никто не двигался с места.

Потом сзади, из кухни раздался голос Чарли:

— Никуда тебе отсюдова, крестный, не надо идти.

Мы все разом обернулись. Не заметили, как он в темноте там стоял. Потом Чарли в комнату вошел. Здоровенный мужик и высокий такой, что пришлось ему в дверях пригнуться, чтобы притолоку головой не зацепить. Он был самый рослый в комнате, такой дюжий, плечистый — мы все головы задрали, глядим на него. Он в рабочей своей одежде был — в джинсовой рубашке и штанах; рубашка из-под них выбилась. Он, видать, очень долго бежал и лежал на земле, отдыхал. От одежи его пахло потом, болотом, травой.

Чарли сел на кровать.

— Делать вам, видно, нечего,— говорит он.— Вон вас сколько набилось сюда. Пусть уж сходит хоть один за полицией.

ЛУ ДАЙМС

Сумерки уже совсем сгустились. Я сидел на водительском месте, она рядом. Я не раз пытался заговорить с ней, она не отвечала. Со двора вышел Мейпс, прошел мимо нас, ничего нам не сказал. Он шел все дальше по деревне, я провожал его взглядом, пока он не пересек рельсы, потом он скрылся из виду.

Я посмотрел на Кэнди — она сидела вполоборота ко мне.

— Ты, возможно, и не подозреваешь,— говорю,— но уже завтра в твоей жизни наступят серьезные перемены. Старик освободился от тебя. Когда он выдернул у тебя руку и ушел в дом, он освободил разом и тебя и себя. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он больше не нуждается в твоей защите, Кэнди. Он стар и, сколько ему там осталось жить, хочет прожить по своему разумению.

Она все молчала, сжав губы, вперив взгляд в темноту.

— Прежде чем я сегодня уеду отсюда, я хочу получить от тебя определенный ответ относительно нашего будущего. Если же ответа не последует, я сюда больше не приеду.

Она посмотрела на меня.

— Ублюдок,— говорит.— А ты ведь ублюдок.

— Тебе видней,— говорю.— Кто ж про себя такое знает. Но уже завтра...

Тут она как влепит мне пощечину. Вот так, ни с того ни с сего. Я заметил, что у нее передернулось лицо, но что она меня ударит, этого я никак не ожидал. Рука моя взлетела, но на полпути остановилась, и вместо того, чтобы влепить ей пощечину в ответ, я потер собственную щеку.

— Благодарствую,— говорю.— И все равно я уеду не раньше, чем Мейпс увезет его в Байонну. Чтобы закончить репортаж, этого с лихвой хватит.

Тут один из стариков вышел из комнаты на галерею и сказал, что хочет поговорить с шерифом. Слышу, тетя Гло ему говорит: он в деревню пошел. Из дверей комнаты на старика падал сноп света. Он протянулся через галерею во двор. Все остальное поглотила тьма.

— У вас есть в запасе пара-тройка минут на случай, если захотите помолиться или чего еще,— слышу, говорит Гриффин.

А старик ему:

— Мы уже готовы.— Это говорил Гейбл. Я узнал его тихий, ровный голос.

— И все равно вам придется подождать,— говорит Гриффин.— Но не беспокойтесь, ждать придется недолго.

Гейбл спустился с крыльца. Ружье с собой прихватил.

— Ты куда собрался? — спрашивает его Гриффин.

Гейбл ему не ответил. Подошел к машине, где сидели мы с Кэнди.

— Видели, куда пошел шериф? — спрашивает.

— Туда,— мотнул я головой в сторону поля.— Погодите, я его вызову.

И мигнул раз-другой фарами. Кэнди тем временем пыталась выведать у Гейбла, что творится в доме. А Гейбл покачал головой и отвечает: мне, мол, поручено только с шерифом говорить. Я опять помигал фарами и тут вижу — Мейпс идет назад. Гейбл подошел к нему, они постояли, поговорили и возвратились вместе.

— Пошли в дом,— говорит мне Мейпс.— Приглашение и на вас распространяется,— говорит он Кэнди.— Похоже, ваши труды пропали понапрасну.

— Что случилось? — спрашиваю, а сам тем временем вылезаю из машины.

— Пусть она вам скажет,— говорит Мейпс и на Кэнди кивает.

— Это я его убила,— говорит Кэнди. Открыла дверцу со своей стороны, вылезла из машины.— Подтвержу на суде под присягой.

— А не Чарли? — спрашивает ее Мейпс.

— Какой Чарли? — говорю.— Большой Чарли?

— Он самый,— говорит Мейпс.— Большой Чарли.

Мы прошли во двор.

— И вы,— говорит Мейпс женщинам с ребятишками,— входите.

Сам первым прошел, за ним Кэнди, за ней я, а за нами и остальные. Комната была душная, захламленная. Все говорило о том, что здесь живет одинокий, неухоженный старик.

Когда мы вошли, Чарли сидел на кровати. И хотя он сидел, кое-кто из обступивших его стариков был чуть ли не одного с ним роста. При виде нас Чарли встал, вправил рубаху в брюки. Ростом он был метра два без малого, весом килограммов сто двадцать с гаком, угольно-черный, с круглой, как пушечное ядро, наголо остриженной головой; даже белки его глаз и те отливали коричневым, а губы походили на ломти сырой печенки. Бицепсы распирали рукава джинсовой рубахи, грудь колесом. Весу в нем примерно столько, сколько в Мейпсе, но тот был куда пузатей. Словом, лучшего экземпляра негра-самца во всем его великолепии днем с огнем не сыскать.

— Я вам не мальчишка, шериф. А мужик,— говорит Чарли.— Мужик.

— Вот и хорошо,— говорит Мейпс.— Я тебе верю. А пока попрошу тех, кто вошли последними, выйти на кухню или на галерею, чтобы нам не тесниться.

Однако, пока Мейпс не стал выкликать их по именам, никто не сдвинулся с места. Потом они все-таки чуть попятились, но тут же снова стали напирать на нас.

— Эй, удалец,— говорит Мейпс Кукишу,— как насчет того, чтобы принести воды из холодильника?

— Ты не начинай, пока я не вернусь, слышь, Чарли? — говорит Кукиш.

— Я мужик, шериф,— говорит Чарли.— И пусть все это знают. Я мужик, мисс Кэнди. Я мужик, мистер Лу. И вы, уж я вас попрошу, пропишите про это в вашей газете.

— Обязательно напишу, Чарли,— говорю и поднял на него глаза. Он меня чуть не на полголовы выше и как минимум на полцентнера тяжелее.

— Я мужик,— говорит.— И пусть все об этом знают. Я уже не Большой Чарли, негритянский мальчишка, а мужик. Слышите? Назад вернулся мужик. А не какой-то там негритянский мальчишка. Негритянский мальчишка убежал и бежал без оглядки. А назад вернулся мужик. Мужик.

Кукиш принес кувшин и стакан. Мейпс выпил два стакана воды и отдал Кукишу стакан.

— Благодарю, удалец,— говорит.

— Теперь дай мне,— велит Кукишу Чарли.

Взял кувшин, поднес ко рту, осушил разом. И отдал пустой кувшин Кукишу.

— Я мужик, шериф,— говорит.— Потому я и вернулся. Я мужик. Крестный! Я мужик, крестный.

Мату — он стоял у очага — кивнул седой головой.

— Хочешь рассказать нам, как было дело, Чарли? — спрашивает Мейпс.

— Я вам все расскажу, шериф,— говорит Чарли. Начал было рассказывать и тут же запнулся: видно, его осенила новая мысль.— Я мужик, шериф,— говорит Мейпсу.— И раз уж я величаю вас шерифом, я так думаю, что и вам не грех величать меня мистером. Мистером Бигсом.

— И правда,— кивает головой Мейпс.— Раз такое дело, как вам будет угодно... мистер Бигс. На всех прочих это тоже распространяется,— говорит он нам. Серьезно говорит, не шутит.— А как насчет Кэнди?

— Я ее называю мисс Кэнди,— говорит Чарли,— так что и она может называть меня мистер Бигс.

Мейпс снова поглядел на Кэнди — она стояла рядом с Мату. Войдя в комнату, она чуть помедлила в нерешительности, но все же отыскала его глазами и протолкалась к нему. Я был слишком далеко от Кэнди и не слышал ее вопроса — если она его задала; и ответа Мату — если он ей ответил — я тоже не слышал. Видел только, что он слегка наклонил голову.

— Ну так как? — спрашивает ее Мейпс.

Кэнди кивнула. По-моему, она не очень понимала, почему Мейпс обратился к ней. Впрочем, ее это мало интересовало. Мату больше не угрожала тюрьма — вот единственное, что ее интересовало. До всего остального ей не было дела.

Мейпс снова повернулся к Чарли.

— Расскажите мне, как было дело, мистер Бигс,— говорит.— Начните с самого начала, с того, что у вас там вышло на поле.

— Что бы у нас там на поле ни вышло, только начало было положено не тогда, а пятьдесят лет назад,— говорит Чарли.— Ну, пятьдесят — не пятьдесят, а лет сорок пять уж точно. Потому что примерно в ту пору я убежал в первый раз. Мне пятьдесят стукнуло, а как сейчас помню, что я убежал, когда мне было годков пять, не больше, потому что, когда мне минуло шесть, крестный поколотил меня, чтоб не смел убегать. Я ведь помню, когда он в первый раз меня за это поколотил. Помнишь, крестный, когда ты в первый раз меня поколотил? Мне тогда еще дали с собой в школу картошку, а Эдди у меня ее отобрал.

Мату глядел на Чарли так, словно не верил своим глазам, что тот вернулся. Он кивнул.

— Всю мою жизнь,— говорит Чарли. И не Мейпсу говорит, не нам, а сам себе.— Всю как есть мою жизнь я только и знал, что убегал. От кого только я не убегал: и от черных, и от белых, и от негров, и от кэджонов — и от тех, и от других. Всю как есть мою жизнь. Все для них делал, и хорошо ли, плохо ли сделаю, они меня поносили — всю как есть мою жизнь. А я терпел. И вот мне уж пятьдесят стукнуло. И вот уж пятьдесят лет меня поносят. Как родился на свет черным, так с тех пор я поношения терпел, а сдачи никогда не давал. Ты ведь, крестный, старался из меня мужика сделать? Верно я говорю?

Мату опять кивнул.

— А все без толку,— говорит Чарли.— Пятьдесят лет кряду старался. Целых полвека — и тут я себе сказал: хватит с меня поношений. А Бо поносил меня. Хоть я и за двоих работал, он меня все равно поносил. Ни одному мужику тяжелее меня груза не поднять. Накорми меня досыта, и дольше меня никто работать не сумеет. Пилить, колоть, тянуть проволоку, канавы копать, столбы ставить — никто лучше меня не может. А он меня все честил. Без всякой причины честил. Нигер ты такой, нигер ты сякой, без причины без всякой честил. Просто чтобы обругать. И покамест я был Большим Чарли, негритянским мальчишкой, я его поношения терпел.

Голос Чарли набирал силу. Чарли расхаживал по комнате, люди расступались перед ним, и куда б он ни пошел: к окну, к двери — он занимал чуть ли не четверть комнаты. Черный как смоль, круглая голова и лицо мокрые от пота. Черное потное лицо его сначала дрогнуло, затем задергалось, он перестал расхаживать, вздел свои ручищи, ну бревна и бревна, над головой — и как грянет, ни дать ни взять расходившийся проповедник:

— Но наступает день! Но наступает день, когда мужику пора стать мужиком. Наступает день! — И этими бревнами — а кулаки на них что твои пушечные ядра — потряс под самым потолком, а мы с замиранием сердца следили: что, если он, не ровен час, крутанется, а то и упадет. Но бог миловал. Тяжело дыша, Чарли неспешно опустил руки, а сам уставился поверх наших голов в стену.— Наступает день,— не нам, самому себе говорит.— Наступает день.

— И что тогда, мистер Бигс? — уважительно помолчав, спрашивает его Мейнс. Чарли поглядел на него, словно очнулся от транса.

— Вы что-то сказали, шериф?

— Что у вас там с Бо вышло на поле? — спрашивает Мейпс.

— Он меня на чем свет ругал,— говорит Чарли.— Я работаю исправно. А он все одно меня ругает. Не за что, говорю ему, вам меня ругать. Я, говорю, работаю исправно. Подумаешь, Бо мне говорит, я тебя мало того что изругаю, я тебя еще и побью. Не бывать, говорю, тому — мне уж пятьдесят стукнуло, на шестой десяток перевалило. Одно еще слово, Бо говорит, и ты на своей шкуре узнаешь, как я обхожусь с неграми по шестому десятку.— Чарли остановился, покачал головой, поглядел на Мейпса.— Не дело, шериф, так с мужиком говорить, особливо когда ему шестой десяток пошел.

Мейпс кивнул, соглашаясь с Чарли. Потом велел нам не напирать на Чарли. Народ самую малость попятился, но тут же снова подался вперед.

— Давайте рассказывайте,— говорит Мейпс.— Дальше-то что было?

— Я, говорю ему, ухожу,— продолжает Чарли.— Спрыгнул с погрузчика. И домой пошел. А он соскочил с трактора и с тростниковой палкой на меня. Тогда и я подобрал палку. Почему, сам не знаю. За всю мою жизнь я на такое не решался. А сегодня решился. Нагнулся и тоже поднял палку. Бо остановился было, потом поглядел на меня и ухмыльнулся. Глядит и знай себе ухмыляется. Понимает, что мне не насмелиться ударить его. Только зря он так думал. Ну и пошел на меня. И как заедет — раз по плечу, другой по боку. Тогда и я палку занес. Заехал ему по голове, он и свалился. Из головы кровь текет — все, убил, думаю, и давай чесу в деревню. Прибег к крестному, рассказываю ему: так, мол, и так. Пока мы с крестным говорили, слышу: к деревне трактор едет, тут я понял, что Бо жив остался. Крестный, говорю, я все одно убегу, потому что, если он меня сейчас поймает, он меня уж точно изобьет до полусмерти. Если ты от Бо Бутана убежишь, говорит крестный, я тебя своими руками изобью. Мне, говорит, восемьдесят третий год пошел, а я мужик — не чета тебе, и если ты от Бо убежишь, я тебя своими руками изобью.

Тут Чарли поглядел на Мату. Мату кивнул. Но, видно, по-прежнему не мог поверить, что это Чарли говорит. Да и остальные, видно, не верили. И это Чарли? И это Чарли дал Бо отпор? Да я и сам не верил. Но ведь что все они здесь сойдутся, я тоже никак не ожидал.

— Остановил трактор, соскочил, в руке у него дробовик,— говорит Чарли Мейпсу.— Он завсегда при себе дробовик держит — не на тракторе, так на пикапе. Крестный мне и говорит: у меня тоже ружье есть, и, по мне, лучше видеть тебя мертвым, чем глядеть, как ты по шестому десятку задаешь чесу. А Бо уже во двор вошел, патрон в дробовик вставляет. Тут крестный протянул руку, достал свой дробовик и сунул мне. Не хотелось мне его брать, но крестный так на меня глянул, что я понял: не возьму, он сам Бо остановит, а после и за меня примется. Взял я дробовик, повернулся и говорю Бо:— Стой, говорю. Не раз, не два говорю. А он все к галерейке идет. Я в жизни ничего такого не только не делал, а и помыслить ни о чем таком не смел. Но наступает день, шериф, наступает день, когда человеку приходится за себя постоять. Сам не понимаю, как я решился. Но дробовик держал твердо. И рука у меня не колыхнулась, не качнулась, не дрогнула, твердо дробовик держала. А Бо все к галерейке идет. И знай себе ухмыляется. «Негр,— говорит,— я ведь с тобой позабавиться хотел. Хотел тебя, как зайца, погонять, а надоест — пристрелить. Но теперь, пожалуй что, и не стану тратить на тебя время». Вскинул ружье, ну тут я и спустил курок.

— А потом что? — уважительно выждав время, спрашивает Мейпс.

Чарли поднял голову, поглядел на Мейпса. Он устал. Коричневатые белки его глаз налились кровью. Он глубоко вздохнул и продолжил свой рассказ:

— Крестный, говорю, я боюсь. Я, говорю, убегу, подамся на Север. Ведь они меня как пить дать на электрический стул посадят. Скажи, говорю, что ты его убил, тебе-то ничего не будет — такого старика на электрический стул не посадят. Тебе, говорю, так и так скоро помирать, и какая тебе разница, где помирать — в тюрьме или в твоей развалюхе. Ты, говорю, мой крестный и кому как не тебе взять мою вину на себя. А тебя, говорю, Кэнди всенепременно вызволит. И пока я его упрашивал, вижу: над деревней пыль летит. Как увидел я, что это Кэнди едет, сунул крестному дробовик и шасть через дом на зады. Слышу, Кэнди крик подняла. А я

уже на задах за кустами залег. Слышу, она крестного спрашивает, чего он натворил, а ответил ей крестный, нет ли, не слыхал. И вот лежу я, прижался к земле и все молюсь, чтоб он меня не выдал. Христом богом тебя прошу, слышу, Кэнди говорит, скажи, что случилось-то. А он ни слова, то есть я ни слова не слыхал, ну, я вскочил — и бежать. Бежал, бежал — долго, нет ли, не знаю сам. Но куда я ни побегу, куда ни поверну, с Маршалловой земли не могу убежать Побегу к Пишо, а добежать не добегу, что-то меня дальше не пускает. Поверну и к Моргановой деревне побегу, а и тут что-то меня дальше не пускает. А обратно к шоссе побегу, так и тут меня что-то дальше не пускает. Ну чисто стена, и хоть мне ее и не видать, а всякий раз стена эта меня дальше не пускает. Грохнулся я на землю и давай кричать. Землю грызу. Пригоршней грязь зачерпнул, в рот затолкал — убить хотел себя так. Потом просто лежал себе и лежал. А как солнце зашло, да нет, пожалуй, чуток пораньше, слышу — зовут меня. Слушал, слушал, а больше того голоса не услышал. Но я знал: это меня обратно зовут.

Чарли тяжело дышал, его наголо стриженная голова была вся в поту. Силы его иссякли. Но чем-то его лицо напомнило мне лица людей, обретших веру. Выражением отрешенности от мира — вот чем. Он вытер пот с лица, с головы, потом поглядел на Мату.

— Ну как, крестный, все путем?

Мату кивнул. Он был горд, Чарли. Но мы, мы были потрясены. Меня не переставало преследовать ощущение, что все это мне примерещилось.

— Я готов, шериф,— говорит Мейпсу Чарли.— Готов за все заплатить. Я свалил с себя тяжкий груз. Теперь я знаю: я мужик.

— Проходите первым, мистер Бигс,— говорит Мейпс и кивает на дверь.

— Как-как вы меня назвали, шериф? — спрашивает Чарли.

— Мистер Бигс,— говорит Мейпс на полном серьезе.

Чарли улыбнулся, да так широко — рот до ушей, зубищи сверкают. Улыбнулся искренне, неподдельно, от души — видно, нелегко ему далось проходить пятьдесят лет в мальчишках.

— Слыхали? — говорит.— Слыхали? Мистер Бигс! Все слыхали? Вот оно как! А теперь расходитесь по домам. Вы свое дело сделали, и неплохо сделали для такого старичья. А теперь расходитесь по домам. Дорогу мужику.

И двинулся из комнаты первым. Мейпс — за ним.

Но не успели они выйти на галерею, как из темноты донесся голос:

— Отдай его нам, Мейпс.

Это был голос Льюка Уилла.

СИДНИ БРУКС, он же ПРОСТАЯ ДУША

Мы хотели проводить его к машине, мы хотели все пожать ему руку, мы хотели поглядеть, как он уедет, а потом хотели мы разойтись по домам.

Но тут новые дела — Льюка Уилла принесло.

Чарли — он самым первым шел. Мейпс — сразу за ним Потом — Мату, потом — Кэнди, Лу, Клэту и я. Когда Льюк Уилл заорал на дороге, из дому успели выйти только Чарли и Мейпс. Мейпс встал в дверях, загородил проход, чтоб остальных не выпустить, и как гаркнет на Чарли: «Падай!»

Чарли говорит:

— Чего это мне вдруг падать? Не стану я падать перед таким дерьмом, как Льюк Уилл. Не боюсь я его.

Отодвигает Мейпса в сторону и обратно входит в дом. Прямиком идет к Мату и протягивает руку.

— Оно снова мне понадобится, крестный.

Мату отдает ему дробовик. сам усмехается. Доволен, что Чарли стал такой, гордится. Чарли ходу к дверям, дробовик наизготовку взял.

— Позволь уж я этим займусь,— говорит Мейпс.

— Нет уж, нынче я воюю,— Чарли говорит.— Линчевать он собрался меня, а не вас.

— Воюют нынче все, каждый из нас воюет,— вступает в разговор Клэту.— А вот с линчем-то как раз ничего у них сегодня не получится.

— Да не вылезайте вы, Христа ради, из дверей,— говорит Мейпс.— От незаряженных ваших дробовиков какая польза, разве только их вместо дубинок в ход пустить?

— Были незаряженные,— Клэту говорит.— Если вы считаете, они и сейчас незаряженные, оглянитесь.

Мейпс — я говорил уже — в дверях стоял, весь проход собой закрыл. Но тут обернулся.

А Клэту уже переломил стволы. И мы за ним.

— Так-то вот,— Клэту говорит.— Здесь у каждого есть заряженное ружье, и в кармане запас имеется. За дом мы ходили не орехи собирать.

— Вы за это еще заплатите,— Мейпс говорит.

— Нет, это он заплатит, который на дороге,— говорит Клэту и кивает в ту сторону.— Он за многое нынче заплатит.

Мейпс взглянул на Клэту; потом на нас, на остальных. Никто перед ним глаз не опустил, так что повернулся он обратно, к дороге лицом, и кричит Льюку Уиллу:

— Убирайся домой, Льюк Уилл!

— Ты мне нигера этого выдай, я сразу поеду домой,— Льюк Уилл с дороги кричит.

— Вот он и ответил вам, шериф,— говорит Чарли.— Может, уйдете теперь?

Мейпс глянул через плечо и стал помощника своего звать. Негромко так, вполголоса зовет, даже губ не разлепил. А помощник этот, недоросток, в комнате все время был, в дальнем конце. Пистолет свой вытащил, смотрит на него, к шерифу же ни шагу не делает. Мейпс опять его позвал.

— Не собираюсь я ради какого-то нигера на белого человека руку подымать,— Гриффин говорит ему.

— Ну, шериф? — Это Чарли сказал.

Мейпс на Чарли не глядит и ничего не отвечает. На дорогу глядит.

— Что случилось с Хилли, Льюк Уилл? — спрашивает Мейпс.

— Ничего с ним не случилось, я пока его спать уложил,— Льюк Уилл кричит.— Так выдашь ты мне этого нигера?

Тут Мейпс двинулся по галерейке.

— Не валяй дурака, Мейпс,— Льюк Уилл ему кричит.— Я тебя вижу, каждый шаг твой вижу. Так что не валяй ты лучше дурака!

Мейпс еще когда шел в дом, ружье свое прислонил к крыльцу, а сейчас идет по галерейке, а сам в ту сторону, на ружье глядит.

Льюк Уилл опять как заорет:

— Не выходи, Мейпс, в одиночку. Я тебя предупредил, теперь концы.

Мейпс хвать свое ружье и спрыгнул с галерейки. Я как раз на пороге стоял, между Чарли и Клэту, так что Мейпса видел хорошо. Видел, как он взвел курок, как левую руку согнул и ружье на нее положил, чтоб ловчей было его подпирать. Не успел он сделать двух шагов, грохнул выстрел, и Мейпс упал. Не убили, просто ранили его — видел я, как он схватился за плечо, как старался встать. Но уж больно грузный он, Мейпс, не получилось это у него.

Сразу после выстрела Чарли и Клэту как кинутся со всех ног из дверей, да и я не очень-то от них отстал. Чарли вправо, к деревне подался, Клэту налево побежал, в огород... да только не остановился там. Пробежал весь огород, дальше полез в сорняки, а я туда же, следом за ним.

А в доме крик. Потом стрельба началась, а уж орут... еще пуще орут. Кто-то ставни отворил — свет из окна на огород упал, мы с Клэту тут же на землю шмяк и поползли сквозь сорняки. Стебли у сорняков невысокие, ломкие, мы ползем, а они громко так, с треском ломаются, и вот уж те, что на дороге, начали по нам стрелять, а мы ползем себе дальше, и все. Доползли до колючей проволоки рядом с развалюхой Руфа, залегли и молчим. Клэту запыхался, я слышу, дышит тяжело, да и я сильно устал. Пока полз по этим сорнякам, лицо поцарапал себе.

В доме же по-прежнему идет пальба. Видно, не все оттуда вышли — в окне нет-нет и промелькнет чья-нибудь тень. И каждый раз, как промелькнет в окошке тень, с дороги тотчас же стреляют в дом.

— Я этого сукиного сына сам хочу пришить,— говорит Клэту.

— Я не меньше твоего хочу,— говорю я.— Когда в Бо стреляли, все мы были далеко, а сейчас у каждого есть шанс.

Подползли мы к самой канаве, чтобы лучше трактор разглядеть. Но темнотища такая стоит, и до того густые эти сорняки, что видно только при стрельбе. Но и тогда только всего и разглядишь, что от выстрела вспышку.

Слышу — трещат сзади нас сорняки, оглянулся: подползают к нам Мэт, Жакоб и братья Лежены.

— Никого не ранило? — спрашивает Клэту.

— Вроде нет,— Мэт отвечает.— Немного поцарапались, а больше ничего.

— Кто это там в доме так палит? — спрашивает Клэту.

Жакоб смеется.

— Билли Вашингтон и Жан Пьер. Вот я и решил — здесь поспокойней будет.

— Никого не покалечили? — спрашивает Клэту.

— Только потолок,— отвечает Жакоб.

— Слава богу,— говорит Клэту.

Полежали, помолчали малость.

— Что делать будем? — спрашивает Мэт. Мы с ним лицом к лицу лежали, и он здорово пыхтел, все никак отдышаться не мог.

— Врассыпную надобно расположиться,— говорит Клэту. Перекатился на бок и оглядел всех нас.— Мэт, вместе с Жакобом забирайтесь к Руфу во двор и располагайтесь под тутовым деревом. Дин и Дон пусть продвигаются дальше по деревне, а потом дорогу перейдут. А там сразу орите что есть мочи и стреляйте. Мэт и Жакоб, стреляйте тотчас же следом за ними, после вас стреляем мы с Простой Душой, ну, а остальные нас поддержат.

Мэт и Жакоб двинулись первыми, потом Дин и Дон Лежены. Затрещали сорняки, это они заползали к Руфу во двор. Братья Лежены подбирались уже к дому Коринны, а мы все еще слышали, как потрескивают сорняки. И каждый раз, как раздавался треск, те, что прятались за трактором, стреляли.

Мы с Клэту лежали смирно, дожидались, когда братья Лежены переползут через дорогу, и я слышал в тишине, как в доме молится Джеймсон, как просит господа бога смилостивиться над нами. Когда Джеймсон переставал призывать господа, тетя Гло начинала призывать своего внучонка Кукиша. То Джеймсон кричит — то Гло; то Гло — то Джеймсон. Потом Чумазый крикнул Кочету: пристрели, мол, его преподобие, а то не заткнется никак. Джеймсон, видно, тоже это услыхал. Замолчал и ни гугу.

Братья Лежены перебрались через дорогу. Потом один из них крикнул совой, и оба выстрелили. Сразу же по ним стали стрелять от трактора. Мэт и Жакоб прокричали совой и выстрелили. Те, что прятались за трактором, стали по ним палить. Клэту посмотрел на меня и кивнул. Мы оба разом стали на колени, крикнули совой, дали по выстрелу и распластались на земле. Кого-то там мы зацепили — я слышал, как он вскрикнул. Переглянулись мы с Клэту, усмехнулись и снова зарядили дробовики.

Со всех сторон теперь палили, вся деревня. Можно было на слух различить тонкий голос Кочета, хрипловатый — Чумазого, голос Янки. Янки не ухал совой, как все. У него был свой особый крик — на родео вроде этого кричат, когда кто-то объезжает норовистую лошадь. «О-го-го-го!»...— и выстрел. Рассредоточились наши старики по всей деревне, и куда ни повернись, всюду совы ухают и стрельба. Я уж и не помню, когда мне было так хорошо. В последний раз, наверно, на войне, когда я был молодым. Господи Иисусе, смилуйся над нами.

— Остались у тебя патроны? — спрашивает Клэту.

— Еще два,— говорю.

— Что ж, стрельни разочек, а последний для себя оставь.

Он стал на колени, оперся на локоть, а другую руку приложил к губам, чтобы было слышней:

— Мэт, Жакоб, Дин, Дон, по трактору стреляйте.

Они крикнули совой и выстрелили. Можно было подумать, это банда индейцев... Господи, спаси нас. Клэту глянул на меня. Мы привстали быстренько, дали по выстрелу и хлопнулись на землю. Клэту повернулся боком, приложил руку ко рту: «Эй, там, в деревне — огонь!» Он не договорил еще, а в деревне уж открыли огонь.

КУКИШ

Уж как стреляли, куда только не стреляли! Шериф упал, и тут же все давай палить. Из передней двери, из окошка, в потолок палили... Уж не знаю куда. Стреляют и орут во все горло. Я говорю себе: эй, парень, сматывайся-ка отсюда. Бабушка схватить меня не может — держит за руки Тодди и Минни,— а мне только кричит, чтобы не смел уходить, но я подумал: нет уж, лучше я, пока можно, смоюсь, прошмыгнул через кухню и залез под дом. Там я сразу пополз вперед. Полз без остановки, пока до крыльца не добрался.

Устроился под крыльцом и вижу: Мейпс, шериф, на дорожке сидит и никак не может встать. Уж так старается подняться: как котел, качается из стороны в сторону, то туда, то сюда. Но без помощи ему не встать, очень он большущий, а я совсем не собираюсь ему помогать.

Старики эти неугомонные орут и стреляют все так же. Слышно хорошо — шумят-то прямо у меня над головой. Еще я слышу: бабушка меня зовет, а преподобный Джеймсон зовет бога, остальные просто стреляют и орут.

А потом я увидел, как за домом пробирается куда-то Лу. Ползет на четвереньках, быстро так ползет. Остановился вдруг и заглянул под дом. Там темно, он не сразу меня увидел.

— Кукиш, это ты там под крыльцом сидишь?

— Да, сэр.

— Тебя бабушка зовет, разве не слышишь?

— Слышу, сэр.

— Иди в дом,— говорит.

Я не ответил. Вовсе я не собирался возвращаться. Бабушка, конечно, потом поколотит, только это ведь не в первый будет раз.

— Ладно, оставайся где сидел,— говорит Лу и ползет на четвереньках дальше. Вижу, в руке у него пистолет. Подполз туда, где Мейпс сидит, раскачивается на дорожке.

— У вас все в порядке? — спрашивает Лу.

— Конечно,— отвечает Мейпс.— Я просто так присел, полюбоваться видом.

— Ваш помощник подал в отставку,— говорит Лу и показывает Мейпсу пистолет.

— Оставьте у себя,— говорит Мейпс.— Еще кто-нибудь ранен?

— По-моему, нет.

Мейпс снова попробовал встать, но очень уж он большой.

— Вам нужна помощь? — спрашивает Лу.

— Больше, чем вам по силам,— говорит Мейпс.— Будете сегодня заменять меня. Правую руку поднимите. Поклянитесь...

— Черта с два,— говорит Лу.

— Все равно я передал вам полномочия,— Мейпс говорит.— И сегодня меня больше не беспокойте.

— Интересно, что я должен делать?

— Сами разберетесь,— отвечает Мейпс.— А меня больше не гревожьте.

ХОРАС ТОМПСОН, он же ЖУК

Лероя ранило. Не сильно, царапина просто, но он развел скулеж, как собака с распоротым брюхом. Льюк велел ему заткнуться, все мы велели ему заткнуться, а он скулит, скулит, как издыхающий пес.

— Умираю,— говорит.— Умираю. А вам наплевать.

— Если не заткнешься, в самом деле помрешь,— говорит ему Генри.— Вояка из тебя вышел тот еще.

— А чего вы не сказали, что у этих у всех ружья? — скулит он.

— Не сказали и все, говнюк,— говорит ему Генри.

Этот снова за свое:

— Умираю.

— Пусть он заткнется,— шепчет Льюк.— Заткнется пусть.

— Заткнись,— прошипел Генри. Потом слышу, по роже ему съездил.— Заткнись, падла.

Ну уж тут он и вовсе сопли распустил.

— Я хочу сдаться,— скулит,— я хочу сдаться.

— Попробуй отойди отсюда хоть на шаг, я тебе в спину выстрелю, перешибу хребет,— говорит Генри.— Влез в дело по уши, сопляк, теперь сиди не рыпайся.

— Мейпс! — кричит Лерой.— Мейпс!

— Заткнись,— говорит Генри и с размаху бьет его по зубам.

— Не надо! — всхлипывает Лерой. И снова: — Мейпс!

— Что? — отвечает Мейпс со двора. Нам его не видно, только слышно. Судя по голосу, он ослаб. Льюк, когда стрелял, не хотел убивать его насмерть, только остановить.— Чего тебе надо? — спрашивает Мейпс.

— Это Лерой говорит. Лерой Холл, Мейпс, я ведь почти ребенок.

— Это печально,— отвечает Мейпс.

— Я совсем еще ребенок, Мейпс, и белый вдобавок,— кричит Лерой.

— И это печально,— отвечает Мейпс.

— Доволен, засранец? — спрашивает Генри.

А тот совсем уж чокнулся от страха. Прямо корчит его всего. Кашляет, слюной брызжет. Если черномазые не знали до сих пор, где мы прячемся, теперь наверняка узнали.

Льюк высунулся из-за заднего колеса и осторожно вылез на дорогу. Поглядел направо, поглядел налево и снова за трактор заполз.

— Кого-нибудь увидел? — спрашиваю.

— Как можно ночью увидеть нигера? — спрашивает он меня. Потом кричит: — Эй, Мейпс!

— Что тебе нужно, Льюк Уилл? — отзывается Мейпс.

— Тут у нас парнишку ранило, довольно сильно. Я хочу его переправить к вам.

— Тащи его сюда,— говорит Мейпс.

— Нас пристрелят эти нигеры.

— А ты отстреливайся,— отвечает Мейпс.— Стреляй в них, как в меня стрелял.

— Вас подстрелил какой-то черномазый. Мы в вас не стреляли.

— Вы стреляли, у меня свидетели есть,— отвечает Мейпс. Передохнул минутку, потом продолжает: — И вы заплатите за это. Все как один.— Опять передохнул.— Если выберетесь живыми.

— Он хочет, чтобы эти черномазые поубивали нас,— снова заскулил Лерой.— Он хочет, чтобы эти черномазые нас поубивали.

— Тебе сказано: заткнись,— говорит Льюк Уилл, а потом как даст ему ногой. И еще раз, и еще.— Тебе сказано: заткнись, заткнись, заткнись,— повторяет он и с размаху бьет ногой Лероя.

Генри, Олси и я схватили Льюка и попридержали, пока Лерой не отполз на безопасную дистанцию.

— Не психуй, Льюк,— говорю я ему. Я держал его за плечи.— Не психуй, Льюк. Спокойно.

Он ничего не отвечает, только дышит тяжело. Уморился, когда бил Лероя. Но силенка кой-какая осталась — размахнулся да как врежет мне кулаком. В другой раз мы бы подрались, но сейчас я понимал, отчего он сам не свой. Он привел нас сюда, а здесь вдруг вон как обернулось, и он не знал теперь, как эту кашу расхлебать.

Лерой съежился в канаве, в землю вжался. Внимания на него никто не обращал. Льюк снова вперед вышел, встал перед колесами.

— Мейпс,— кричит он.— У меня патроны кончились. Неужели вы позволите этим черномазым перестрелять нас, как собак?

Мейпс ему не ответил. Ответил — со стороны деревни — Чарли. Слышать-то мы его хорошо слышали, да только разве черную гориллу в темноте углядишь.

— У меня есть лишние патроны,— кричит Чарли Льюку.— Сколько тебе надо, Льюк Уилл? Пришли кого-нибудь из своих парней ко мне за патронами.

— Интересно, чего эти черномазые нахлебались, что стали вдруг такие храбрые? — я Льюку говорю.

Льюк немного отошел от колес и стал вглядываться в темноту, в деревню; потом опять прижался к колесам.

— Они по всей деревне, Льюк,— говорю я.— Не выбраться нам отсюда.

— Ты что, тоже на попятный? — спрашивает он.

— Нет,— отвечаю я.

Я его знаю как облупленного. Он такой иногда злобной сволочью бывает. Самого близкого друга не пощадит. Он сперва поглядел на меня, внимательно так поглядел, потом на Генри и на Олси, даже нагнулся — они лежали под первым прицепом.

— Ну что, мальчики, хорошенького понемножку? — спрашивает.— Как вы считаете, пора кончать?

Мы все считали, что пора кончать, но никто не смел сказать это прямо.

— Надеюсь, вы догадываетесь, как к вам отнесется Клайд,— говорит Льюк и снова вперед вышел.— Знаете что, Мейпс? — кричит он в сторону дома.— Отзывайте своих нигеров, мы сдаемся вам.

Мейпс не ответил.

— Мейпс, вы меня слышите? — снова крикнул Льюк Уилл.

— Я тебя слышу,— отозвался Мейпс. Голос у него совсем стал слабый.— Разговаривай с Даймсом. Он сегодня за меня.

— Эй, Даймс! — крикнул Льюк.

— Я вас слышу, Льюк Уилл,— отозвался Даймс. А через секунду мы услышали, как он зовет: — Эй, Чарли... Мистер Бигс.

— Да чего уж, можете называть меня Чарли,— подал голос тот.— Мы все повязаны, какие уж тут «мистеры» и «мисс». Только переговоров никаких не будет. Меня за одного посадят на электрический стул, пусть уж сразу за двоих сажают. И никаких тебе переговоров.

— Этот черномазый, похоже, решился на все,— говорю я Льюку.

Сзади нас, в канаве, хлюпает Лерой. Генри и Олси высунули головы из-под прицепа и ждут, что Льюк надумает. Он тоже поглядел на них, а потом на меня — таким я его никогда не видел. Льюк — он больше, он сильнее всех, он никогда ни перед кем не пасует. Но сейчас он волновался... очень.

— Если вы отсюда выберетесь, а я нет, позаботься о Верне с детишками,— говорит он мне.

— Чего? — спрашиваю. Никак не ожидал такое от него услышать.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спрашивает.

— Два,— отвечаю.— Может, смоемся? Кроха Джек поклянется, что мы просидели у него всю ночь.

— А как с этим быть? — Льюк кивнул на Лероя.

— Чтоб он сдох,— говорю.— Кто его просил под пулю лезть?

Я не оглядывался, но слышал, как он хнычет.

— Дай мне свои патроны,— сказал Льюк.

— Тогда у меня не останется.

— А ты возьми у него. Ему-то они без толку.

Я отдал ему свои два патрона, и он зарядил ружье.

— Льюк,— сказал я.— Все еще, может быть, хорошо кончится. Не делай глупостей, ладно?

— Если я отсюда не выберусь,— сказал он,— не забудь о Верне и детишках, Жук.

— Мейпс не позволит этим черномазым перестрелять нас, как собак.

Он усмехнулся. Долго на меня глядел и покачал головой.

— Мейпс теперь уже тут не главный,— сказал он.— Главный — Чарли. Теперь придется нам иметь дело с Чарли. Жук, ты готов иметь дело с Чарли?

Ни с каким Чарли иметь дело я не был готов, и Льюк знал это. Он прислонился к колесу и стал глядеть на деревню, где нас ожидал Чарли.

АНТУАН КРИСТОФ, он же ЧУМАЗЫЙ

Чарли был всех ближе к трактору, я — чуть подальше, Янки, Такер и Сажа — с правой стороны. Где-то сзади, кажется, был Простокваша. Я прополз немного вверх и пристроился рядом с Чарли. Он лежал там, как большой медведь.

— Раскури мне чинарик, Чумазый,— говорит.

В кармане у меня лежало два бычка, я вытащил один и раскурил. Потом протянул его Чарли, он два-три раза затянулся и отдал его мне назад.

— Чарли,— кричит Лу,— он во дворе остался.

— Что вам нужно? — спрашивает Чарли.

— Пропусти их, Чарли, пусть сдадутся.

— Нет, сэр,— отвечает он.

— Теперь это посчитают убийством, Чарли,— говорит Лу.

— Убийство и раньше было,— Чарли говорит.

— Нет, Чарли,— кричит Лу.— Когда ты стрелял в Бо, то была самозащита. Кэнди может присягнуть.

— Чарли! — снова кричит Лу.

— Не пойду я никуда,— говорит ему Чарли.

— Здесь твой крестный, Чарли,— кричит Лу.— Он хочет к тебе выйти и с тобой поговорить.

— Не надо крестному никуда выходить,— отвечает Чарли.— Крестный велел мне никого не бояться. И я не побоюсь Льюка Уилла.

После этого настала тишина. Тьма кромешная и тишина. Чарли лежит у края канавы, как большой старый медведь. И я тут же, возле него.

— Боишься, Чумазый? — спрашивает.

— Рядом с тобой, Чарли, не боюсь.

— Ты никогда больше не бойся, Чумазый,— говорит мне Чарли.— Жизнь такая сладкая, когда поймешь, что ты уже больше не трус.

— Чарли,— говорю я.

— Чего тебе, Чумазый? — спрашивает он, а голову не поворачивает.

— Что ты там видел, Чарли?

Не отвечает. Лежит молча, медведь медведем, и двустволка в руке.

— Чарли, что ты видел там, в болотах? — снова спрашиваю я.

— Ты сам тоже это видел, Чумазый,— отвечает он, не глядя на меня.

— Ничегошеньки я не видел, Чарли. Скажи мне, что ты видел?

— Вы все, все до единого видели это,— говорит он.

— Да нет, не видел я ничего,— говорю.— Я цельный день вот только здесь, в деревне. Вместе со всеми. И не видел я ничего.

Тут он повернул ко мне голову.

— А у тебя все в порядке, Чумазый,— говорит он.— Есть оно теперь у тебя, друг.

— Что есть, Чарли?

Он улыбнулся.

— Раскури-ка мне еще один чинарик.

Я вынул из кармана второй бычок. Пока я его раскуривал, услышал: Лу опять кричит во дворе:

— Я сейчас выхожу на дорогу, Чарли!

— Не получите вы мое ружье! — отвечает Чарли.— Заберите лучше ружье Льюка Уилла.

— Льюк Уилл, я сейчас выхожу! — Лу кричит.

— Не отдам я вам ружье! — кричит Льюк Уилл.

А потом все замолчали, тихо стало. Чарли курит свой окурок, торопливо втягивает дым, словно очень спешит поскорей докурить. А потом гляжу — встает. Я шепчу ему: ложись, куда ты, но он не слушает меня и встает во весь рост. Лу как бешеный орет: лежи на месте, только Чарли не слушает никого. Встал и прямо к трактору. И прошел он никак не больше двух, трех, ну, может, четырех шагов, как услышал я первый выстрел. Вижу: зашатался он, но не упал; вижу: он стреляет, но не целится. А потом я вижу, выбежал Лу, руками машет и кричит: прекратите, прекратите, прекратите, прекратите. Туда бросается, сюда и все твердит: прекратите, прекратите, прекратите. А Чарли все идет к этому трактору, но уже не стреляет, а просто медленно так падает на ходу, падает, падает... и рухнул. И уж тут ничего больше не было, одна стрельба. Я стрелял: похоже, все на свете стреляли. И так, наверно, с минуту. Потом тихо сделалось, так тихо, как никогда не бывает.

Собрались мы все потом на дороге. Возле трактора я увидел Лу; он стоял над кем-то, кто лежал, привалившись к колесу. Я услышал, кто-то сказал: порешили мы гада.

А мы все возле Чарли собрались. Мату стал рядом с ним на колени и приподнял ему голову, чтоб не лежала в пыли. Прикончили они его, это точно. Угодила пуля прямо в живот. Он лежал, похожий на большого старого медведя, и смотрел

на нас с земли. Что-то пытался сказать, да не смог. Все смотрел, смотрел на нас, но немного погодя стало ясно: он нас больше не видит. Я наклонился и дотронулся до него в надежде — может, хоть частица малая ко мне перейдет того самого, что он нашел, когда бродил по болотам. После меня остальные мужчины до него дотронулись. Потом женщины, даже Кэнди. Потом Гло велела своим внучатам тоже дотронуться до него.

ЛУ ДАЙМС

Всех троих похоронили два дня спустя. Бо и Льюка Уилла — в Байонне, Чарли — в Маршалловой деревне. Суд состоялся на следующей неделе и длился три дня. Черных защищал адвокат Кэнди Клинтон. Дружков Льюка Уилла защищал куклукс-клан. Жалче вояк мир не видывал — с той и с другой стороны равно. Ни один не уцелел: кто не поцарапался, тот ушибся, а не ушибся, так порезался. Колючая проволока, консервные банки, разбитые бутылки — обо что только они не изувечились. Одни вывихнули ноги, когда перепрыгивали через канавы, другие вывихнули руки, когда падали на землю. Третьи, те просто налетели друг на друга. Кто мало что охромел, так еще и руку сломал, у кого была забинтована голова, а не голова, так что-нибудь другое. Пулей из всех них ранило лишь одного Лероя.

Все они намылись, надели все свое самое лучшее. И целых три дня тем, кто сидел в первых рядах, шибало в нос исключительно хвойным мылом и нафталином.

Все дни зал суда был переполнен, черных и белых набиралось примерно поровну, и чуть не половину зала занимали корреспонденты. Они съехались со всего Юга. Даже самые крупные газеты и журналы — и те были представлены. Фикс и его дружки явились в полном составе, не исключая и Жиля, который сидел вместе с семьей (кстати, УШЛ побил Миссисипский университет со счетом 21 : 13. Жиль и Кэл, каждый, сделали за игру по сотне метров с мячом). Куклукскла новцы и нацисты явились для оказания моральной поддержки друзьям Льюка Уилла. Явились и представители Национальной ассоциации содействия равноправию цветного населения, и черные активисты, не преминула явиться и полиция штата — она присматривала за происходящим и обыскивала чуть не каждого, кто входил в зал. Председательствовал судья Форд Рейнольдс. Судье Рейнольдсу семьдесят, у него белоснежная шевелюра и багровое лицо выпивохи,— словом, у него вид если не образцового деда, то такого, о котором мечтает каждый внук. Благодушный богач, с большим чувством юмора, он очень гордится своей наружностью. Судья сразу же предварил нас, что ему не только никогда не случалось председательствовать на подобном процессе, но за все его тридцать пять лет на судейском поприще не случалось и слышать ни о чем подобном. И предупредил, что никакого беспорядка не потерпит. Предупредил также, что не советует надеяться на мягкосердечие седовласого старика судьи: он может быть строгим не хуже любого другого, а при случае и построже.

— Вот так вот,— говорит.— Приведите к присяге первого свидетеля. Начали.

Как я уже говорил, процесс тянулся три дня, и по большей части в суде царил порядок. Однако порой, когда кое-кто из черных стариков — с рукой в повязке или с забинтованной головой — описывал события, он, работая на публику, несколько увлекался. Вдобавок своих земляков он именовал не иначе как кличками — Простокваша, Чумазый, Простая Душа, Сажа, Кочет. Зал разражался хохотом, особенно веселились корреспонденты — случай, конечно, из ряда вон выходящий, но всерьез они его не принимали. Зал не разделял их веселья, однако лишь до тех пор, пока Мейпса не вызвали для дачи свидетельских показаний во второй раз и не предложили описать, где именно он находился во время перестрелки. Прежде Мейпс, особо не уточняя, объяснил, что был во дворе. Но теперь окружному прокурору потребовалось узнать, где именно во дворе. Мейпс отказался отвечать. За отказ от дачи показаний, предупредил судья Рейнольдс, его могут обвинить в преступной халатности: ведь в перестрелке погибли двое. Мейпс ответил, но так тихо, что его услышал лишь прокурор. Говорите громче, потребовал прокурор, чтобы вас слышал весь зал. Злые серые глаза Мейпса так полоснули прокурора, что казалось, Мейпс сейчас сорвется со свидетельского места и врежет прокурору, но вместо этого шериф только сказал: «Всю перестрелку я просидел на заду посреди дорожки. Льюк Уилл подстрелил меня, и я сидел на заду посреди дорожки. Ну как, теперь хорошо слышно?» Встал и вернул-

ся в зал. Вот тут-то зал и грохнул, даже судья Рейнольдс не удержался от смеха. Люди, проходившие по улице, должно быть, подумали, что тут показывают чаплинскую комедию. Случилось это утром третьего дня и до самого вечера, пока процесс не закончился, публика каталась от смеха. У Мейпса — рука его была в повязке — весь день горели щеки и, наверно, будут гореть еще долго-долго.

Присяжные после трехчасового совещания вынесли приговор. Судья прочел его, на минуту задумался, а потом велел всем обвиняемым — и черным и белым — встать. Так как двое виновных в убийстве, сказал он, погибли и при этом, надо добавить, что убили Бо и ранили Мейпса они же, он не станет выносить приговор, а будет молиться об упокоении их душ. Что же касается остальных, сказал судья, он приговаривает всех их условно сроком на пять лет или до конца жизни, в зависимости от того, что наступит раньше. А это означает, сказал судья, что он лишает их права пользоваться огнестрельным оружием любого вида: как-то — ружьями, дробовиками, пистолетами, а также запрещает подходить ближе чем на три метра к тем, кто носит оружие (что для жителя Луизианы так же немыслимо, как никогда не упоминать о масленице или Хью Лонге). Если он узнает, сказал судья, что кто-либо из обвиняемых взялся за оружие или подошел к вооруженному человеку ближе чем на три метра, он, судья, посадит нарушителя в тюрьму на остаток жизни, сколько бы тому ни суждено было прожить. Вопросы есть? — спрашивает судья. Вопросов не последовало, и судья бухнул молотком и объявил заседание закрытым.

Мы с Кэнди вышли из зала суда, остановились на крыльце и стали смотреть, как расходится народ. Кэнди предложила Мату подвезти его. Но он отказался. Клэту, говорит, ждет их в грузовике, и он вернется вместе со всеми. Видавший виды грузовичок Клэту стоял перед зданием суда, мы посмотрели, как старики забираются в кузов. Кэнди помахала им рукой. Я почувствовал, как другой рукой она нашла мою руку и ее пальцы стиснули мои.

■

БЕСПАЛОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА

Советский переводчик с английского и французского языков. В ее переводе вышли романы А. Моруа «Три Дюма» (совместно с С. Шлапоберской), И. Во «Пригоршня праха», П. Абрахамса «Горняк» (совместно с М. Лорие) и др., рассказы и повести Кэтрин Энн Портер, Р. Эллисона, В. Вулф, Энгуса Уилсона, Шона О'Фаолейна и др.

КОРОТКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Советский переводчик с английского. В ее переводе издавались романы Дж. Конрада «Ностромо», Дж. Гарднера «Никелевая гора», Дж. Элиот «Миддлмарч» (совместно с И. Гуровой), Тони Моррисон «Песнь Соломона», Агаты Кристи «Загадка Эндхауса», рассказы Дж. Стейнбека, О. Генри, Р. Киплинга и др.

АЙРИС МЕРДОК

Сон Бруно

РОМАН

Перевод с английского ОЛЬГИ ТАТАРИНОВОЙ и ИГОРЯ ШВАРЦА

Глава XVIII

— Денби!

Вкладывая в конверт письмо Лизе, которое он только что закончил, Денби чертыхнулся и придавил конверт электробритвой. В комнате не было стола, и он писал письмо, стоя перед комодом.

— Денби!

— Иду, Бруно, иду!

Перескакивая через ступеньки, Денби взбежал по лестнице.

— Да не кричи ты так, Бруно.

— Денби! Пропала марка.

— Говорил я тебе: не разбрасывай их.

— Но она пропала из кармашка, она была в прошлый раз, я точно знаю, я не вынимал ее.

— Вынимал, наверное. Лежи, Бруно, не вставай с постели. Сейчас разыщем тебе эту чертову марку.

— Это Треугольный Мыс, она стоит двести фунтов.

— Не вставай! И не волнуйся. Я поищу, Аделаида поищет. Наверное, на полу где-нибудь.

— Не может быть...

— Аделаида! АДЕЛАИДА!

Было уже поздно, Бруно в это время обычно укладывался спать. Дождь хлестал по стеклам. Свет от лампы падал на измятое выцветшее покрывало, на котором стоял поднос с недоеденным ужином Бруно, валялись разбросанные, как всегда, марки, «Популяция пауков восточной Англии» и «Ивнинг стандард». Денби весь вечер не находил себе места. Сегодня у Бруно была Лиза, и он не застал ее.

С кровати упал на пол стакан и разбился. Пришла усталая, раздраженная Аделаида и принялась собирать осколки.

— Аделаида, у Бруно потерялась марка, такая треугольная. Она, должно быть, где-то здесь, на полу. Посмотри-ка там, а я — здесь.

— Ее не может быть на полу, я точно знаю, она была в кармашке...

— Помолчи, Бруно. Аделаида, посмотри под ковром. А я поищу в книгах. Не порежь коленку осколком. Привет, Найджел, у Бруно потерялась марка, треугольная. Помоги нам разыскать ее. Она, должно быть, на полу.

Окончание. Начало см. в № 6,7.

Стоя в дверях, Найджел с сонным видом наблюдал, как Денби и Аделаида медленно ползли по полу навстречу друг другу.

— Под кроватью я сам посмотрю. Здесь дырка в ковре, может, она туда провалилась.

— Бесполезно искать ее, Денби. Я же знаю, ее нет в комнате...

— Ну а где же она может быть?

— Не знаю, но только я знаю...

— Перестань болтать чепуху. Ну, ты и помощник, Найджел. Бруно — в постель. Да, на полу ее как будто не видно. Я еще посмотрю в шкатулке и на полках. Можешь идти, Аделаида, только прибери эти чертовы осколки да не оставляй их в корзине для бумаг. И поднос захвати. Не хлопай так зверски дверью!

Слышно было, как Аделаида с шумом спустилась по лестнице. Найджел наблюдал за Денби, который обыскал комод, отодвинул его от стены, вытащил книги из книжного шкафа.

— Может, она в какой-нибудь книге. Тогда черта с два ее разыщешь. Ну и бог с ней! Бруно, отнесись ты к этому философски.

— Это лучшая марка в коллекции. Она стоит двести фунтов.

— Ну и на что они тебе? Господи, Бруно, да не принимай ты все так близко к сердцу, у меня сегодня и без того гнусный день. Только твоей марки еще не хватало. Найджел, ты или помогай, или уматывай. Бруно, извини, ну не смотри ты так.

— Я знаю, вы только и ждете моей смерти, только и ждете.

— Бруно, перестань! Я еще проверю на лестничной площадке, на ступеньках поищу, внизу. Может быть, она потерялась, когда я уносил к себе шкатулку. Успокойся. Ты даже не открыл «Ивнинг стандард».

— Мне эта марка нужна.

— Не капризничай. Я поищу ее. Почитай ради Христа газету. Темза выходит из берегов. Нам грозит наводнение. Сразу забудешь про марку.

Денби вышел, Найджел — вслед за ним. Закрыв дверь, Денби принялся обследовать линолеум на лестничной площадке. Найджел тронул его за плечо.

— Найджел, проваливай. Спишь на ходу.

— Можно вас на секундочку?

— Нельзя.

— Насчет марки.

Денби выпрямился. Найджел пошел к себе в комнату, Денби — за ним.

Комната Найджела была унылой и неприбранной. Мебель сдвинута к стенам, туалетный столик выставлен за дверь, на лестничную площадку. Верхний свет падал прямо на потертый коричневый ковер посреди комнаты; дощатый пол, крашенный давным-давно дешевой краской, облупился. Какие-то разноцветные индийские деревянные зверушки стояли на комоде, и среди них — две банки из-под варенья с нарциссами и анемонами; увядшие нарциссы словно сделаны из пожелтевшей папиросной бумаги. Найджел стоял посреди ковра, заведя одну ногу за другую, опустив голову, его длинные волосы мягкой дугой сходились у подбородка. Он сделал Денби знак, чтобы тот закрыл за собой дверь.

— Ты что здесь, танцуешь, что ли? — спросил Денби.

— Я знаю, где марка.

— Ну! И где же она?

— А что мне будет, если я скажу?

— Ничего.

— Нет, с вас причитается.

— Не болтай. Где марка?

— Ее взяла Аделаида.

— Аделаида?

— Да.

— Не может быть,— сказал Денби.— Ты выдумываешь, дряни какой-то перебрал.

— Нет, правда. Она ее не себе взяла, а для Уилла. Это он ее подучил.

— Для Уилла Боуза? Чего ради?..

— Он хотел купить фотоаппарат.

— Господи! Но зачем Аделаиде идти на такое ради Уилла?

— Спросите у нее.

— Найджел, это правда?

— Да-да. Вот вам крест.

Денби выскочил из комнаты и бросился вниз по лестнице.

— Аделаида!

Аделаида была в своей комнате, она сидела на кровати, неподвижно глядя перед собой. Видно было, что она недавно плакала.

— Аделаида, Найджел говорит, ты взяла марку, но это нелепый...

— Это правда.

Денби сел на кровать рядом с нею.

— Он говорит, ты взяла ее для Уилла.

— Да.

— Но почему?

Аделаида медленно покачала головой, по щекам у нее покатились слезы. Она продолжала глядеть прямо перед собой и молчала.

— Ну ладно,— сказал Денби,— какие бы там ни были у тебя причины, неплохо бы вернуть ее назад, а если твой негодяй братец успел ее загнать, неплохо бы вернуть деньги. Или я заявлю в полицию. Я напишу Уиллу письмо, и ты передашь его сейчас же. Бруно нужна эта марка. Я скажу ему, что она нашлась. И как ты могла поступить так со стариком?

Аделаида начала всхлипывать.

— Ох, перестань, Аделаида. С меня на сегодня хватит. Извини, если я был с тобой резок, но это уже чересчур.

Аделаида зарыдала. Она сидела оцепенев, все так же глядя прямо перед собой на дверь, и давилась клокочущими в горле рыданиями. На губах у нее выступила пена, слюна текла по подбородку.

Денби повернул ее лицом к себе и похлопал по щеке.

Аделаида умолкла и вдруг с такой силой вцепилась Денби в плечи, что тот едва не слетел с кровати. Аделаида пинала его, щипала, кусала. Она придавила его всем своим телом, Денби потерял равновесие и не мог защищаться. В следующий миг он почувствовал, что она впилась зубами ему в шею. Они грузно упали на пол.

Денби встал на ноги. Аделаида, опираясь на локоть, приподнялась с пола, лицо ее было искажено, волосы разметались, она смотрела на него заплаканными глазами.

— Аделаида... пожалуйста... что с тобой, ты с ума сошла!

— Ты меня презираешь! — закричала она.— Я для тебя служанка. Ты обращаешься со мной как с рабой. Ты не подумал жениться на мне! О нет! Я для тебя подстилка, гожусь только для постели. Конечно, это легко, дешево, удобно. Обо мне ты и не думаешь вовсе. Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу!

Денби весь дрожал.

— Аделаида, не говори так, ну, пожалуйста. Забудь про эту марку. Завтра что-нибудь придумаем. Ложись-ка лучше в постель. Давай я согрею тебе воды, дам аспирин или еще какое-нибудь лекарство.

— Я тебя ненавижу!

Денби постоял на пороге. Потом закрыл дверь. Поднялся в прихожую и вышел из дому, во мрак, под мелкий, колючий дождик.

Аделаида поднялась с кровати. Она чувствовала себя измученной, разбитой, лицо у нее опухло от слез. Я убью себя, думала Аделаида. Она посмотрела в зеркало и, увидев, как ужасно выглядит, заплакала снова. Она прислонилась к стене, ее душили рыдания.

Было уже около трех часов ночи, а Денби все не возвращался. А может быть, он приходил и ушел снова. Аделаида прорыдала в подушку два или три часа, не помня себя, не замечая ничего вокруг. Кажется, ее звал Бруно. Теперь же слышен был только дождь.

У нее не укладывалось в голове, как это все случилось. Она же понимала, что было безумием украсть марку, еще и до того, как отдала ее Уиллу. По дороге в Кемден-Таун с маркой в сумочке она еще не решила, отдать ли ее Уиллу или положить назад, в шкатулку. Когда тетя ушла спать, они с Уиллом начали ссориться, как обычно. Аделаида отпустила несколько саркастических замечаний насчет заигрываний Уилла с миссис Гринслив. Ее все еще мучило воспоминание об этой сцене. Особенно возмущала ее легкость, с какой миссис Гринслив завела разговор с Уиллом. Самой Аделаиде разговаривать с ним было трудно, даже флирт их был неуклюжий, бессловесный, рискованный. А миссис Гринслив, казалось, ничего не стоило с ним болтать. Аделаида сказала Уиллу, что он вел себя, как развязный лакей, и скалился, как глупый мальчишка. Уилл страшно разозлился. Аделаида заявила, что если он позвонит миссис Гринслив, то ее, Аделаиду, он больше не увидит. Уилл ответил, что эта угроза его абсолютно не тревожит и он сейчас же позвонит миссис Гринслив. В конце концов, разразившись горькими, беспомощными слезами, Аделаида в отчаянии швырнула марку на стол. Уилл пришел в восторг, сделался ласковым, внимательным и пообещал больше не иметь дела с миссис Гринслив.

Вспоминать об этом было стыдно, мерзко. Она плакала все дни напролет. И вот разразился скандал, и она потеряла Денби на веки вечные. Хоть он и был добр с ней, теперь он станет смотреть на нее как на чокнутую, всегда будет настороже, ожидая от нее подобных диких выходок. Она и сама себя испугалась. И все-таки она знала, что она не сумасшедшая, просто у нее уже не было сил терпеть.

Аделаида выглянула из комнаты. Дверь напротив, к Денби, была открыта, и там было темно. Аделаида вошла и включила свет: кровать убрана, на нее не ложились, занавески незадернуты, поблескивали черные, залитые дождем оконные стекла, в комнате — никого. Аделаида снова заплакала. Она подошла к окну и задернула занавески. Сняла с кровати уэльское покрывало, откинула одеяло, роняя на него слезы. Оглядела комнату.

И тут она заметила лежащее на комоде письмо. Сначала Аделаида подумала, что, пока она рыдала у себя в комнате, Денби вернулся и оставил ей записку. Она подошла и отодвинула в сторону электробритву. Письмо было адресовано мисс Уоткин и незапечатано.

Аделаида прислушалась. Ни единого звука, только дождь. После минутного колебания она вынула письмо.

Дорогая Лиза!

Извините, что я плохо вел себя на Бромптонском кладбище и, наверное, напугал Вас. Я не умею писать писем, но мне необходимо написать Вам. Я хочу объяснить Вам, как это серьезно. Не потому, что питаю какие-нибудь надежды — откуда им взяться? Но только мне нелегко. Вам, может быть, это и непонятно. Мы виделись всего несколько раз. Но боже, Лиза, поверьте, это серьезно, и очень. Я люблю Вас и хочу видеть Вас, хочу узнать Вас, и, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Я буду вести себя очень хорошо и делать все, что Вам захочется. Только не говорите заведомо, что в этом нет смысла. Как это можно

сказать заранее? Я понимаю, что я по сравнению с Вами ничто, но я Вас очень люблю, и поверьте мне, такими вещами не шутят. Я знал такую любовь когда-то. Это совсем другое, нежели обычные пустячные увлечения, сводящиеся к постели. Я чувствую, что Вы — моя судьба. Вы должны выслушать меня, Лиза. То, из-за чего Вы могли плохо подумать обо мне, как о человеке легкомысленном (например, когда увидели меня впервые), не имеет значения. Да, я легкомысленный человек, но не по отношению к Вам, и если Вы в конце концов обратите на меня внимание, то, быть может, простите меня: ведь благодаря Вам я уже стал другим. Не думайте, что это пьяный бред или пустая болтовня. Я пишу то, что подсказывает мне сердце, а это бывает только в определенном случае. Пожалуйста, поверьте и, осмелюсь просить, отнеситесь с уважением к тому, что я Вас люблю, и давайте встретимся, Лиза. Это необходимо. Этого не избежать. Я буду писать Вам снова и снова и просить о встрече. Пожалуйста, думайте обо мне серьезно. Я люблю Вас, Лиза, а всего остального просто не существует.

Ваш раб Денби

Аделаида вложила письмо обратно в конверт и придавила его электробритвой. Выключила свет, вернулась к себе в комнату, закрыла дверь. Она лежала неподвижно, без слез, пока за окном не забрезжил рассвет.

Глава XIX

Майлз в темноте тихо открыл дверь в комнату Лизы. Это было в субботу, примерно в два часа ночи. В предшествующие два дня он ходил на службу, работал, ел, как всегда разговаривал с Дианой и Лизой. Просматривая утренние газеты, отпускал обычные свои едкие замечания, вовремя выходил из дому, чтобы успеть на службу, вовремя возвращался. Он вел привычный, давно заведенный образ жизни, но в душе у него все волновалось и кипело. Он не выпускал Лизу из поля зрения. В пространстве, разделяющем их, витало что-то новое, необыкновенное, значительное. Случайное сближение рук за завтраком, переданная книга, движение, каким она брала чашку, встреча на лестнице — все причиняло боль. Уютного жилья, которое он называл своим домом, как не бывало. Вместо этого были лишь ее взгляды, жесты, приходы и уходы, и все это терзало его, точно орудия пытки.

Майлз не мог оторвать от Лизы глаз. Он смотрел и смотрел на нее, и ему казалось, что и она отвечает тем же. Магнетическая сила, устоять перед которой он не мог, приковывала к ней его взгляд, который действовал на нее гипнотизирующе. Он никак не мог удержаться от этих взглядов, исполненных значения. Он призвал на помощь все свое здравомыслие, чтобы обуздать себя и не нарушить покой в доме. Он не делал никаких попыток остаться с нею наедине, и поскольку они обычно уходили по утрам на работу и возвращались вечером в разное время, а Диана всегда была дома, и двери комнат не закрывались, чтобы в любую минуту можно было окликнуть друг друга, он и не оставался с нею наедине.

Но существуют импульсы, которые способны передаваться и, безусловно, передаются без слов. В пятницу вечером Майлз уже знал — Лиза все поняла; поняла она также и то, что Майлз знает, что она все поняла. У него не было ни малейшего представления о том, как она к этому относится, ибо он был слишком поглощен собственными ощущениями. Он не был готов к тому, чтобы признать трагичность происходящего. Чувство любви или, как казалось сейчас Майлзу, открытие в себе этого чувства, само по себе преисполняет

и болью и радостью. Тут возрастают все жизненные силы, обостряется сознание своего «я». Захлестнутый темной волной радости, он не мог думать о будущем и строить какие бы то ни было планы. Он рассуждал так: она не захотела рассказывать Диане о Денби. Но скорее всего, и даже вне всякого сомнения, она сделала это из осторожности, из соображений такта — едва ли она могла предвидеть, как повлияет на ее зятя сцена на кладбище.

В пятницу вечером, когда сестры, которые ложились спать раньше Майлза, собирались расстаться на ночь, произошел какой-то перелом. Лиза и Диана разговаривали внизу у лестницы, Майлз стоял в гостиной у окна, которое он только что закрыл. Лиза вернулась в гостиную за книгой, и на какое-то время они остались вдвоем, невидимые Диане. Майлз смотрел на Лизу, Лиза, беря книгу, замешкалась и подняла на него глаза. Майлз умоляюще поднял руки — жест, которым сдаются на милость победителя и значение которого невозможно было истолковать превратно. Лиза окинула его непроницаемым взглядом и вернулась в прихожую, чтобы ответить на вопрос Дианы.

Майлз, как обычно, поднялся к себе в кабинет. Шло время. Мука была все нестерпимее. Наконец, тихо ступая, он подошел к двери Лизиной комнаты.

Спальня Дианы и Майлза выходила на ту же лестничную площадку, что и кабинет. Комната Лизы находилась ниже, на другой площадке. Майлз не боялся, что разбудит Диану, которая засыпала быстро и спала крепко.

Не постучавшись, Майлз тихонько повернул ручку двери и переступил порог погруженной во тьму комнаты.

Во мраке и тишине замкнутого пространства ему показалось на какое-то мгновение, что он задыхается, и Майлз схватился за горло. Сердце яростно билось, ноги подкашивались, его тошнило. Опустив ручку двери, он застыл в темноте, стараясь отдышаться. Сначала он ничего не мог разобрать, но потом услышал тихое дыхание спящей Лизы. Он медленно двинулся вперед, вытянув руки, осторожно ступая, чтобы ничего не задеть. Он видел уже белеющую постель, смутно различал Лизину голову с темными, разметавшимися по подушке волосами. Она спала на спине, одна рука лежала на одеяле. Майлз протянул руку к кровати. Он так дрожал, что задел ногтем простыню; раздался легкий царапающий звук. С глубоким вздохом он опустился на колени перед кроватью. На фоне окна был виден Лизин профиль. Майлз коснулся ее волос.

— Майлз! — Лиза быстро приподнялась в постели.

Майлз стал искать в темноте ее руки, она стремительно обняла его за шею, прижала к груди его голову.

Майлз не мог потом вспомнить, сколько времени они просидели так, не двигаясь. Вероятно, очень долго. Это было мгновение блаженной смерти. Но еще это было и мгновение полной несомненности ее любви.

— О господи,— сказала она.

— Я люблю тебя, Лиза.

— Я знаю. Я тоже тебя люблю.

— Лиза, дорогая...

— Прости меня, Майлз.

— Не нужно. Все так чудесно.

— Я никогда не ждала... Но почему вдруг сейчас, Майлз, что произошло?

— Не знаю. Наверное, я любил тебя давно, только не понимал этого. Ты ведь всегда была мне нужна.

— Может быть. Но ведь все было по-другому.

— Да, я знаю. Это вдруг нахлынуло на меня. И, о господи, Лиза, до чего же это нестерпимо. Я этого не выдержу, я умру.

— Потому что ты увидел меня с Денби?

— Я дурак, дурак, Лиза. Ты столько лет была рядом. Я принимал это как должное. Не мог понять, что мне нужно...

— Так уж ли и нужно?

— Да, я думаю, да. Не то чтобы я решил, будто этот кретин... но только я вдруг понял, что ты ведь свободна.

— Я не свободна, Майлз. Я никогда не была свободна. С тех пор, как узнала тебя.

— Лиза, ты хочешь сказать...

— Да. Я полюбила тебя с первой встречи, со дня вашей свадьбы.

—Любимая...

— Прости меня. Какое облегчение все тебе рассказать. И в то же время — ведь это смертный приговор. Я сама во всем виновата, Майлз. Я не должна была приезжать к вам. Я и вообразить не смела, чтобы ты мог проявить ко мне хоть малейший интерес, идущий дальше наших философских разговоров. Я только потому приехала, что любовь моя была безнадежной и я никак не собиралась ее обнаружить.

— Лиза, прости меня.

— Оставь, пожалуйста.

— Все эти потерянные годы. Дорогая моя...

— Ты не должен так думать...

— Можно, я включу свет?

— Нет, ради бога, не надо. Диана спит?

— Да.

— Майлз, но все так чудесно, пусть даже это смерть. Никогда, в самых дерзких мечтах, я и вообразить себе не смела, что из-за меня ты будешь так взволнован.

— О Лиза, я даже выразить не в силах... Подумать только, ведь ты страдала... А я мог никогда и не узнать об этом.

— Теперь ты знаешь, и мне придется уехать.

— Нет-нет-нет. Ты никуда не уедешь. Я не отпущу тебя. Ты хочешь меня убить?

— Майлз, это же безнадежно, неужели ты не понимаешь? Боже мой, вдруг обрести тебя, держать в своих объятиях и в то же время знать, что это смерть...

— Лиза, не надо, не плачь, моя любимая. Мы должны что-то придумать, просто обязаны. Мы найдем выход. Это только в первый миг...

— На самом деле это последний миг, Майлз. Надо смотреть правде в глаза, мой дорогой. Мы не должны обманывать самих себя. В особенности ты... Это ведь у тебя все так необыкновенно, внезапно, как мимолетная буря. А реальность — это Диана, все эти годы совместной жизни...

— Лиза, Лиза...

— Нужно смотреть правде в глаза, Майлз. Не беспокойся обо мне. Я тебе бесконечно благодарна, это останется со мной на всю жизнь как величайшая драгоценность, и я всегда-всегда буду теперь несусветной богачкой. Я счастлива, Майлз, и я благодарна тебе, что ты пришел. Наверное, если бы ты не пришел вот так, прямо среди ночи, я бы никогда тебе не призналась. Я счастлива, что теперь ты все знаешь, хотя это и очень больно. Но ничего, ничего тут не поделаешь, ничего не придумаешь, ничего не изменишь.

— Я не понимаю тебя, Лиза. Я и слышать ни о чем таком не хочу. Нас одарила сама судьба. Вот о чем мы должны думать.

— Ни одной минуты нельзя об этом думать. Это нас погубит.

— О господи!

— И ты это понимаешь, Майлз.

— Лиза, я слишком мало знаю о тебе.

— И слава богу.

— Ты говоришь — это внезапная, мимолетная буря. На самом деле не такая уж она внезапная. Все внезапное зреет исподволь. Ты знаешь, я давно уже заметил, что мы похожи, даже внешне.

— Да. Я тоже заметила, что мы похожи. Это потому, что я много думала о тебе.

— Нет, это потому, что ты создана для меня. Ты — моя единственная.

— Нет-нет, Майлз. Ты чересчур взволнован, и сейчас слишком поздний час. Ты сам не знаешь, что говоришь. Это богохульство.

— Парвати?

— И Диана.

— Диана — совсем другое. Ты же знаешь, с Дианой ничего подобного у меня не было. Да и никогда ничего подобного не было.

— Это сейчас тебе кажется, но...

— Мне бы хотелось рассказать тебе о Парвати. Тебе я смог бы это рассказать. О ней я ни с кем никогда не говорил.

— Я много думала о Парвати. Мне хотелось увидеть ее фотографию, но я стеснялась попросить ее у тебя.

— Она была беременна, когда погибла.

— О Майлз...

— Я никому не говорил об этом, даже Диане.

— Это еще не зажило в тебе?

— Порой мне кажется, что это был сон и что он еще длится. Давно следовало все забыть и убедить себя, что ничего не вернешь, но я не могу. Словно кошмарное наваждение преследует тебя постоянно. Я написал поэму о Парвати.

— И тебе стало легче?

— Да. Мне было необходимо... отпраздновать... ее смерть. Не знаю, понимаешь ли ты меня.

— По-моему, да.

— Иногда мне кажется, Лиза, что я так никогда и не пережил по-настоящему ее смерть. Я ее опоэтизировал, возвел в нечто нереальное, в нечто прекрасное. Я обязан был выстрадать все до конца, а не уходить в стихи.

— Мы бы все поступали так, если б могли.

— Кто знает. Но осталась какая-то непреодоленность, какая-то фальшь. Мне кажется, я из-за этого не способен писать. Будто на мне проклятие. И в то же время мне кажется, что по-настоящему пережить ее смерть для меня слишком невыносимо, даже теперь.

— Возможно, тебе это еще предстоит — когда придет время.

— Ты могла бы помочь мне. Я бы мог пережить все заново, с тобой.

— Нет-нет, я не подхожу... Мне нельзя этого касаться... По совсем другим причинам.

— Лиза, ты единственная, кого я способен сравнить с Парвати... Это всему придало бы смысл.

— Нет. Тут я тебе не помощник.

— Лиза, ты не можешь бросить меня теперь, когда ты обрела меня, это непостижимо. Мы же умные люди. Все в наших силах. Ты мне обещаешь, что не уедешь?

— Нет, я не могу обещать этого, Майлз.

— Ну пообещай хотя бы, что ты не уедешь завтра же!

— Завтра я не уеду, обещаю.

— Слава богу. Завтра мы как следует все обсудим. Мы должны стать хозяевами положения, Лиза. Нам нельзя отступаться.

— Ну, иди, Майлз, пожалуйста. Диана проснется.

— Хорошо. Дай мне поцеловать тебя. Господи, я же ни разу в жизни не поцеловал тебя!

В темноте они неуверенно, неловко нашли губы друг друга.

— Ну, иди же, иди.

— Милая, не измени, не предай.

— Ну, пожалуйста, уходи.

— Пообещай, что будешь стараться все преодолеть. Мы вместе будем стараться. Мы победим.

— Иди, Майлз.

— До завтра, Лиза. Скажи: «До завтра».

— До завтра.

Майлз, спотыкаясь, вышел. Его переполняла радость. Он опустился на колени прямо на ступеньках между площадками и закрыл глаза, голова у него кружилась, он задыхался от счастья.

Через несколько минут он встал, на цыпочках поднялся по лестнице и открыл дверь спальни.

Шторы были раздвинуты, комнату слабо освещал уличный фонарь. Диана лежала на спине, вытянув руки по бокам поверх одеяла. Входя, Майлз увидел, как поблескивают ее открытые глаза. Он подошел к кровати, посмотрел на Диану. Дотронулся рукой до ее щеки. Она была мокрой от слез.

— Привет.

— Привет.

— Никогда уже не будет как раньше, Майлз. Никогда, никогда, никогда.

Майлз разделся и лег. Он лежал на спине рядом с женой так же неподвижно, как и она, вытянув по бокам руки. Никогда, никогда, никогда. Темная волна радости вновь захлестнула его и разлилась сладкой болью по всему телу.

Глава XX

Бруно держал Лизу за руку. В комнате был полумрак — шторы не пропускали сияющего за окном солнца.

— Видите ли, мне бы хотелось понять, что же я за человек.

— А может, этого вообще нельзя понять, Бруно.

— Я хочу разобраться в своих чувствах, собрать их в фокус.

— Вряд ли можно ясно судить о прошлом. В каждом человеке столько всего намешано.

— Да, во мне, старике, ох, как много всего намешано, дорогая, столько грязи, неразберихи.

— Да это у всех так. А если и пытаются отчетливо что-то вспомнить, то за этим всегда стоит определенная цель: месть, или самоутешение, или еще что-нибудь такое.

— Все проходит.

— Пусть проходит.

— Но что же было на самом деле? Как поступила Джейни с Морин?

— Вам не дано этого знать. Возможно, вы были только эпизодом в жизни Морин.

— Да, наверное.

— Вы, кажется, разочарованы! Зачастую человек — лишь слепое орудие в руках других.

— Но в жизни Джейни я ведь не был эпизодом. Я разбил ей жизнь.

— В мире все происходит как происходит. Только подумайте, насколько все случайно.

— Вы считаете, я могу себя простить?

— Да ведь и вопрос так не стоит. Все произошло как произошло. Мысль о греховности человека просто удобна.

— Я был ее злым демоном.

— Человек не может быть демоном. Он гораздо сложнее.

— Я должен был прийти к ней, когда она умирала.

— Есть вещи, которых уже не изменишь. Постарайтесь забыть об этом.

— Но я не могу об этом забыть. Это во мне. Здесь. Это я сам.

— Вы слишком погружены в себя.

— Но а как же еще я мог бы жить, дитя мое?

— Живите окружающим. Отвлекитесь от себя. Не будьте рабом своих переживаний. Обратите свои мысли на что-нибудь другое, на что-нибудь хорошее.

— Рабом своих переживаний. Да, я так измучен тем, что все кручусь и кручусь вокруг одного и того же.

— Размышляя о прошлом, мы обычно пытаемся представить себе, как все могло бы сложиться к лучшему, и досадуем, что не сложилось. И вот эту-то досаду мы чаще всего и принимаем за раскаяние.

— И знаете, что мучит меня даже больше, нежели то, что я не пошел к Джейни?

— Что?

— Насмешки соседей.

— То есть?

— Когда Джейни вошла к Морин и захлопнула за собой дверь, помните, я вам рассказывал... а, нет, я не стал вам рассказывать, очень уж это было унизительно. Так вот, когда Джейни заставила меня повести ее к Морин, она вошла в квартиру Морин и заперла передо мною дверь. Я слышал, как Морин заплакала, и стал стучаться, тогда и выглянули соседи. Они смеялись надо мной.

— Бедный Бруно.

— Самое несущественное вдруг становится самым важным.

— Демон не проявил бы такой чувствительности. Вот видите, разве можно тут что-нибудь прояснить?

— Если бы существовал бог, это следовало бы предоставить ему.

— Да, конечно, если бы существовал бог, это следовало бы предоставить ему.

— Вы верите в бога?

— Нет. Послушайте, Бруно. Майлз придет навестить вас. Будьте с ним поспокойней, он вам ничего плохого не сделает.

— Наверное, я хотел совершить вместе с ним некий ритуал, нечто вроде заклинания духов. Забавно, я ведь уже забыл, совершенно забыл, как он взбесил меня!

Они рассмеялись.

— Будьте с ним помягче.

— Вы любите Майлза?

— Да.

— Ему повезло. А та женщина, что приходила с вами, это ваша сестра?

— Да.

— Она живет с вами?

— Да.

— Майлз не возражает?

— Нет.

Лиза провела своей прохладной рукой без обручального кольца по мягкому, влажному, изрытому глубокими морщинами лбу Бруно и по лысому, блестящему, костистому черепу, дотронулась до полукружья тоненьких шелковистых волос у самой шеи.

— Я не пугаю вас, моя милая?

— Ну что вы.

— Знаете, я даже в зеркало не решаюсь посмотреть. И запах от меня, наверное, отвратительный.

— Нет.

— Вы слышали, даже глубокие старики продолжают испытывать влечение.

— Да, я знаю.

— Мне так приятно прикоснуться к вашей руке.

— Я рада это слышать. Я вам сейчас кое-что скажу, вы даже не поверите.

— Что?

— Вы еще очень привлекательны.

Слезы хлынули по неровным, бугристым щекам Бруно, омочили седую разросшуюся бороду, которая уже более походила на мех, чем на щетину. Пока росла щетина, она больно кололась внутри глубоких морщин и вмятин на уродливом лице. Однако Бруно больше не настаивал на том, чтобы Найджел брил его. Это уже не имело для него значения.

— Мне пора, Бруно.

— Вы разминетесь с Денби. Он должен быть через полчаса.

— Что поделаешь. Ничего, что я пришла без предупреждения?

— Нет, это такой приятный сюрприз. Прекрасное видение.

— Да, привидение.

— Небесное видение.

После того как Лиза ушла, Бруно откинулся на подушки и потрогал бороду. Когда-то он носил усы, это было очень давно, он тогда ухаживал за Джейни. Бороды он не носил никогда. Она колется и щекочет. Но в конце концов, она тоже имеет свои преимущества. Борода удлиняла его круглую, как луна, голову и придавала ему более человеческий вид. Конечно, Лиза ему солгала, но это так приятно. Ее неожиданный приход доставил столько радости, теперь у него столько новых и приятных тем для размышлений. Замечательно, что его еще радуют сюрпризы и будоражат новые мысли. Может быть, доктор и прав, решил Бруно, может быть, я еще и протяну немного. Он взял книгу о пауках.

— Я убью Найджела!

— Его нет дома.

— И скажи этому свинье Денби, пусть теперь обходится без меня. Я еще доберусь до него, вот только разделаюсь с Найджелом.

— Не ори, Уилл.

— Написать мне такое унизительное письмо! «Будьте так добры вернуть марку, и если небольшая ссуда могла бы решить ваши проблемы, я был бы рад вам ее предоставить!»

— Ты мне так и не отдал марку.

— На тебе твою паршивую марку. Лучше б ты с ней не связывалась.

— Это же была твоя идея.

— Ну хватит!

— Осторожнее, фотоаппарат разобьешь об стол.

— Пошел он, этот аппарат. Все из-за него.

— Ты тут, конечно, ни при чем.

— Заткнись, Ади, а то я тебе сейчас врежу.

— Уилл, перестань орать, уходи, ради бога. Ты же знаешь, мне ни к чему, чтобы ты здесь торчал.

— Если так будет продолжаться, ты меня вообще больше не увидишь.

— Господи, ты сведешь меня в могилу.

— Туда тебе и дорога. Ну что ж, привет!

Уилл снял через голову ремешок от футляра и в бешенстве швырнул фотоаппарат на каменный пол. Затем выскочил из кухни, взбежал по ступенькам и с грохотом захлопнул за собой дверь. Аделаида разрыдалась.

Потом она вытерла стакан, стоявший в сушке, и направилась к буфету. Утром она купила в «Шарике» полбутылки джина. Джин немного ее подкрепил.

С Денби она не виделась. Дверь своей комнаты, так же как и дверь кухни, она самым решительным образом держала на запоре. Она слышала его шаги за дверьми. Денби дважды стучался и звал ее, но она не откликнулась. В ней все росла отчаянная потребность поговорить с ним, но вынести снова его испуганный, сочувственный взгляд она была не в силах. Увидеться с Денби она смогла бы, если б у нее было что ему противопоставить, если бы у нее имелся план, существовала бы позиция, но у нее не было ни плана, ни позиции, одни только слезы и безысходное горе. Она обрадовалась Уиллу, но, конечно, в итоге они опять поругались.

Наплакавшись и выпив джина, Аделаида подняла с пола фотоаппарат. Наклонясь, она ощутила, какое у нее негнущееся, тяжелое, постаревшее тело. Интересно, разбился фотоаппарат или нет? Должно быть, разбился. Тем не менее, когда она его потрясла, в нем ничего не гремело, может быть он еще был цел. Аделаида повесила фотоаппарат на шею и снова заплакала.

Через некоторое время она услышала, как кто-то спускается по ступенькам. Еще раньше, днем, она слышала, что кто-то, поднявшись по лестнице, вошел к Бруно, и решила, что это Найджел, хотя потом благоразумно сказала Уиллу, что Найджела нет дома. Аделаида вышла и остановилась возле лестницы. Может, предупредить Найджела?

В прихожую спустилась Лиза Уоткин и вышла на улицу. Поколебавшись какой-то миг, Аделаида устремилась следом за нею.

Она нагнала Лизу, когда та уже поворачивала на Ашбернхем-роуд.

— Мисс Уоткин...

— А, здравствуйте.

— Можно вас на минутку?

— Да, конечно. Надеюсь, вы не сердитесь, что я прямо поднялась к Бруно? Я не стала звонить у дверей, потому что боялась разбудить его, если он спит.

— Я не об этом. Я хочу вам кое-что сказать.

— Да, пожалуйста. Насчет Бруно?

— Нет, насчет Денби.

— Насчет Денби?

— Да. Видите ли, я все о вас с ним знаю.

Лиза слегка ускорила шаг, лицо у нее приняло холодное, напряженно-недоумевающее выражение, которое привело Аделаиду в ярость.

— Понятия не имею, что можно знать обо мне и Денби.

— Да уж будто бы. Вам прекрасно известно, что он готов сделать вам предложение. Он написал вам письмо.

— Вот как?

— Или вы отрицаете это?

— Не смейте говорить со мной в таком грубом обвинительном тоне.

— Ну, это уж вам придется стерпеть.

— Я терпеть ничего подобного не намерена. Вы явно заблуждаетесь. Я не собираюсь с вами об этом говорить.

— Просто нос дерете, а самой небось до смерти хочется узнать, что я скажу.

— Если у вас есть что сказать, говорите.

— Ну вот видите! Так вот, прежде чем начать крутить с Денби, не вредно вам кое-что узнать о нем.

— Вы обратились не по адресу, полагая, будто я собираюсь «крутить» с Денби. Я с ним едва знакома.

— Хватит врать-то. Как бы то ни было, держитесь от него подальше. Денби мой любовник. Я с ним живу. Уже несколько лет.

— Не могу понять, с чего вам вздумалось оповестить меня об этом. Меня это совершенно не касается и нисколько не интересует.

Я вижу, вы расстроены, и очень сожалею, что говорила с вами резко. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы можете понадобиться Бруно.

— Я вам не прислуга, мадам. Вы что, не верите? Спросите у Денби, спросите-спросите.

— Я не собираюсь видеться с Денби. Вам не из-за чего огорчаться. У меня нет ни малейшего намерения вмешиваться в ваши дела. И будьте добры не беспокоить меня больше всей этой чепухой. До свидания.

Они вышли на Кингз-роуд. Лиза быстрым шагом направилась к уличному перекрестку и перешла дорогу, оставив Аделаиду на тротуаре. Аделаида постояла минуту-другую и побрела обратно. Потом остановилась, сняла фотоаппарат, который болтался у нее на шее, и в бешенстве швырнула его оземь. На этот раз он разлетелся вдребезги, и осколки угодили в сточную канаву. Там они и остались.

Глава XXI

Было воскресенье, Майлз брел под дождем по наводненной людьми Фулем-роуд. Уклоняясь от встречных, он шел сквозь толпу, рассеянно глядя перед собой. Голова его была непокрыта, мокрые волосы слиплись, капли дождя сбегали по лицу, словно слезы. Поравнявшись с неприметным входом в церковь Сервитов, он машинально вошел в нее. Нужно было где-то посидеть и подумать.

Майлз побывал у Бруно. На этот раз все кончилось благополучно. Майлз повинился и почти не покривил при этом душой. Бруно рассказал какую-то путаную историю о том, как потерялась марка и как Денби нашел ее под половиком на лестнице. О женщинах речи не заходило. Они говорили с Бруно о чем придется, перескакивая с одного на другое, что Бруно, кажется, находил вполне естественным. Поговорили об их бывшем доме на Фосетт-стрит, Майлз сказал, что он сдается сейчас внаем. Поговорили о типографии, о работе Майлза, о состоянии экономики. Вспомнили о собаке по кличке Самбо, которая жила у них, когда Майлз был маленьким. Майлз спросил, не хочет ли Бруно завести кошку, а то у одних знакомых как раз прелестные котята, но Бруно отказался, потому что к кошке очень привязываешься, а она или сбежит, или ее задавят. Они обсудили различие между собакой и кошкой. Потолковали о пауках. Этакий легкий, непринужденный разговор. Бруно судил обо всем здраво, держался естественно и выглядел не столь устрашающе. Они не касались тяжелых событий прошлого, а предавались лишь самым невинным воспоминаниям, от которых веяло легкой печалью. Майлз и думать забыл о Самбо. Он ушел от Бруно взволнованным, с каким-то странным чувством острой жалости к себе.

Майлз отвлекся от мыслей о Бруно. Он прошел через коридор, вступил в залитое холодным светом помещение церкви и услышал меланхоличный, заунывный псалом, но, постояв немного у входа, сообразил, что это не служба как таковая. Должно быть, где-то в дальнем конце церкви репетировал невидимый хор. Церковь была почти пуста, лишь кое-где за темно-красными гранитными колоннами молящиеся стояли на коленях перед святынями в темных сводчатых нишах. Однообразное пение смолкло, сменившись глубокой тишиной. Майлз хорошо знал эту церковь. Он и раньше заходил сюда подумать. Он снял мокрый плащ и повесил его на спинку передней скамьи... Сел, отер платком лицо и волосы.

Как же быть с Лизой? В субботу она уклонилась от встречи с ним, уехав на работу рано утром и вернувшись поздно вечером. Сегодня утром ему удалось застать ее в саду, и она сказала только:

— Я должна уехать. Не нужно ничего начинать, не нужно.

Но это ведь невозможно, все уже и так началось. В субботу вечером, когда Лиза демонстративно обосновалась с Дианой в гостиной,

Майлз ушел к себе в кабинет. О чем они там говорили? А может быть, и не говорили вовсе. Перед тем как отправиться спать, он тронул ручку Лизиной двери. Дверь была заперта.

После того краткого разговора с Дианой, когда он явился в спальню под утро, Майлз больше ни словом не обмолвился о случившемся. Конечно же, Диана поняла, что произошло между ним и Лизой. Все это было в высшей степени очевидно: взгляды, вздохи, многозначительные прикосновения. Диана сказала:

— Я всегда знала, что в один прекрасный день это случится.

Майлз ей не поверил. Он не верил, что Диане когда-нибудь могло прийти в голову такое.

— Она гораздо больше подходит тебе, чем я. Вам нужно уйти вместе,— добавила Диана.

— Чепуха,— ответил Майлз.— Я женат на тебе. Не болтай.

Они лежали друг подле друга неподвижно, без сна, пока не рассвело.

Сначала Майлз размышлял так: поскольку абсолютно невозможно представить себе, что с кем-нибудь из сестер придется расстаться, то об этом и думать нечего. Вопрос сводился к тому, как все устроить, как обставить. А вовсе не к тому, можно ли и нужно что-то устраивать. К счастью, скрывать было уже нечего. В субботу днем он пребывал в уверенности, что все очень просто, что он выбрал единственно верный путь, и его переполняла сумасшедшая радость. Он был даже доволен, что ему пришлось пойти на работу; исполняя привычные служебные обязанности, он размышлял о Лизе мечтательно, отвлеченно, не строя никаких планов.

Однако субботний вечер, особенно когда сестры остались вдвоем в гостиной каждая со своей книжкой, дал ему почувствовать, что для них все не так просто. Он постоял в дверях, глядя на их опущенные головы — темную и светлую, но ни одна из сестер не подняла на него глаз. Обе женщины самым демонстративным образом склонились над своими книгами. Прошагав в своем кабинете с километр на пространстве длиной в три шага, Майлз подумал было: а что, если спуститься потихоньку и послушать, не говорят ли они обо мне? Но мысль эта показалась ему отвратительной, точно дурной сон.

И понемногу он стал осознавать всю безысходность положения. Он понял, что до сих пор все казалось ему просто только потому, что он подходил к решению вопроса со своими мерками, словно дело заключалось в нем одном. Ему надлежало уяснить себе, с какой из женщин он намерен остаться, а какую бросить, и действовать соответственно; и хотя у самого у него не было намерений на сей счет, его, вне всякого сомнения, ставили перед необходимостью на что-то решиться. Будь он хозяином положения — ему припомнились эти слова из разговора с Лизой и снова вдруг показалось, что все хорошо,— будь он хозяином положения, он бы ничего не менял, он удержал бы в объятиях любви и Лизу и Диану. Это было бы триумфом любви.

Только теперь он вдруг понял, что переживали обе женщины, и заскрежетал зубами от боли и ужаса. Диана любила его глубоко, безраздельно, она была его женой, многие годы делила с ним супружеское ложе. Они столько говорили о Лизе, точно были ее родителями. Участливо, снисходительно толковали о неудачливой монашке, о птице с перебитым крылом. Они беспокоились о ней и рассуждали об интимной стороне ее жизни, задавались вопросом, уж не лесбиянка ли она, размышляли, как позаботиться о ней и как ей помочь. Могла ли вынести Диана внезапное чудовищное изменение домашнего статута Лизы? Ведь они были так привязаны друг к другу. Чем же все это кончится? И Лиза, с ее твердыми понятиями о долге, с ее бескомпромиссностью, разве может она разбить жизнь сестре? В своих зыбких представлениях о возможности их всеобщего счастья Майлз попросту

не учитывал законных прав Дианы и принципов Лизы. Какие блаженные были дни, подумалось ему, когда мы просто жили под одной крышей, ни о чем таком не ведая. Но Лиза все это время страдала.

Полная неразрешимость. Он не мог оставить Диану. Он не имел ни малейшего желания ее оставить. Он любил ее, она была нужна ему, она спасла его от одиночества, она была ему предана и верна, его связывали с ней прочные узы долга и по-настоящему глубокой супружеской любви. Сестры были совершенно разные. Он любил их обеих, но любил по-разному. Почему не существует установления на такой вот по сути дела обыкновенный случай? Однако и тогда и сейчас для него было несомненно то, что он сказал Лизе: «Ты — моя единственная». Этот не было кощунством по отношению к Парвати. Ей было двадцать три, а Майлзу теперь — пятьдесят пять. Парвати бы поняла его, Лиза действительно близка ему, близка по духу, с Дианой у него такой близости не было. Конечно, с болью подумал он, встреться он с Лизой раньше, чем с Дианой, он бы женился на Лизе.

Предположим, он снимет Лизе квартиру в другом районе Лондона. Он смог бы одну часть недели проводить у нее, другую — у Дианы. Сначала это выглядело бы странно, но потом они бы привыкли и это стало бы казаться естественным. Но как только Майлз начал представлять себе все в деталях, он понял, что это низкая мысль. Он не мог просить Диану, которая жила заботами о нем, ждать его, по нескольку дней терпеть его отсутствие, хотя она уже знала бы то, о чем предпочла бы не знать,— что он у Лизы. К тому же он понял, что и Лизе предлагать не все, а только половину — чудовищно. Ведь еще в самом начале он решил, что сердце его принадлежит ей безраздельно. В его воображении подспудно начали вырисовываться катастрофические последствия, к которым все это могло привести. Майлз не выдержал и подумал в отчаянии: а что, если я просто возьму и убегу вместе с Лизой?

— Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,— снова запел хор, утомляя бога своей молитвой, резкой, назойливой, пронзительной, точно птичий грай. Или скорее это пение напоминало какую-то работу, тяжкий, изнурительный, скрупулезный труд. Счастлив, кто верит, что стоит помолиться — и тебе помогут, или если не помогут, то хотя бы ты будешь услышан. Если бы и в самом деле существовал всеведущий разум, с которым он мог бы поделиться своими проблемами, пусть бы даже этот разум молчал; одно сознание того, что верное решение существует, могло бы успокоить его. И он догадался, что решения, видимо, нет, и все его попытки найти выход напрасны, как напрасны попытки править лошадьми в упряжке с опрокинутой телегой. Майлз неожиданно увидел привычный мир, повергнутый в хаос, стоит только упразднить в нем привычные обязательства. А может быть, все привычные обязательства — фикция и вся наша суетная жизнь зиждется на условностях?

Майлз наклонился, закрыл руками глаза. Ему вспомнилось — или скорее явилось, точно галлюцинация,— как он получил известие о смерти Парвати. Кто-то из знакомых принес ему газету, в которой были опубликованы имена погибших. Майлз тотчас же выпроводил этого человека. Остался один в прихожей, с газетой в руках. Он поверил сообщению сразу. Надеяться на ошибку было бы слишком мучительно. И, как теперь казалось Майлзу, его ум с первой же минуты начал изобретать уловки, дабы увильнуть от ясного понимания того, что произошло. Его извиняло одно: это была защитная реакция, чтобы не лишиться рассудка. Он поступил, как поступают в подобных случаях и другие, но только более утонченно: не прошло и трех дней, как он сел за поэму. Он работал над ней больше года. Он изливал свою боль.

Странно, что через всю жизнь, которая по большей части казалась теперь такой тусклой, он пронес глубокую веру в свое поэтическое призвание. Перед самой смертью Парвати он опубликовал книжку своих юношеских стихов. Время от времени он печатал стихи в журналах. Потом выпустил еще один небольшой сборник. Его стихи вошли в антологии. Но он всегда чувствовал, что все это только прелюдия. Он никогда не переставал верить в то, что его Дуино[1], приход великого бога, еще впереди, даже вопреки тому, что это казалось все несбыточнее. С годами ум его притупился, он стал склонен к сибаритству, потерял целеустремленность. По возвращении с работы его ждал дома обед, херес, расставленные повсюду цветы. Даже появление Лизы не пробудило его. И только позже, когда он начал вести «Книгу замет», смутная вера в свои поэтические силы переросла в отчаянную надежду. Но не обманывался ли он опять? Не был ли он обязан проснувшейся в нем жизнью, обостренным постижением бытия появлению в доме Лизы, подспудной своей дремлющей любви к ней? Может быть, Лиза, а вовсе не поэзия — главное его предназначение?

> Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe **eleison**[2].

Не ошибаюсь ли я в себе, думал Майлз. Любовь — l'amour fou[3] — в высшей степени духовное состояние. Платон считал, что любовь приобщает нас к духовной жизни; только влюбленные способны испытывать всю силу и власть любви как таковой — о ней не ведают те, кто влачит обычное, серое существование. Но любовь также вызывает к жизни и вдохновляет жадное, страстное «я». Любовь способна вынести страдание, любые лишения, разлуку, боль, от всего этого она только усилится; но чего она не может вынести, так это смерти, полной утраты. Смерти ей не вынести никогда, она всегда отшвырнет ее прочь, преобразит, завуалирует. Майлз напрягся: ключ к решению, должно быть, следует искать где-то здесь, сказал он себе, но где? Как все это связать воедино? Я уже не понимаю, о чем я. Это какая-то бессмыслица, бред.

Он опустился на колени, как будто кто-то надавил на его плечо. В последние годы, случалось, он становился на колени в церкви, всегда отдавая себе отчет в том, что это потребность — скорее чисто эмоциональная и, следовательно, куда больше связанная с чувственностью, нежели с благочестием. Но сейчас он не осознавал своих действий. Эрос и Танатос столь же несовместимы, сколь и нераздельны. Употребив свой талант, который он почитал священным, на то, чтобы преобразить смерть Парвати, пережить ее, он поступил как свойственно человеку, и это простительно; но все же ему казалось, будто неотвратимое преступление направило всю его жизнь по ложному пути. Конечно, он действительно любил Парвати, это была всепоглощающая любовь и в то же время первая страсть молодости. Но такая любовь не готова устоять перед смертью, она потерпела полное поражение. Только почему это волнует его до сих пор, кажется столь живым и близким, столь важным? Неужели ему предстоит пережить все еще раз? Бред, думал Майлз, сущий бред.

Он сознавал, сознавал с отчаянием и страхом, что настоящее искусство невозможно без мужества, смирения и целомудрия, и порой, в самые отчаянные минуты своих долгих бдений, он со всей безжалостностью понимал, что постоянные неудачи — закономерное следствие его лени, посредственности, врожденной любви к удобствам. Он ясно видел перед собой моральный барьер, который нужно было преодолеть и который преодолеть он был не в силах. Оставалась ли у него еще хоть

---

[1] Название замка на Адриатическом море, где австрийский поэт Райнер Мария Рильке (1875—1926) написал свой знаменитый цикл стихов «Дуинезские элегии».

[2] Христос, помилуй *(греч., церк.)*.

[3] Безумная любовь *(франц.)*.

какая-то возможность выкроить лучшую половину души и избавиться от худшей? Майлз знал — этого очень трудно достичь, почти невозможно. Человеческая душа — топь, болото, джунгли. Только из запредельных далей, как мечта, как неотвязное видение, мог явиться человеку образ истинной любви, любви, что приемлет смерть, любви, что живет после смерти.

Лиза, Лиза. Я не могу отступиться от тебя и не отступлюсь. Но как, как жить со всем этим, станет ли видение истинной любви его союзником, поможет ли решить его сложные, мучительные проблемы? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Помоги мне, помоги, молился Майлз, в отчаянии прижимая руки к глазам. В этот момент он не чувствовал, что молитва его остается неуслышанной, но в глубине души с безнадежным отчаянием понимал, что божеством, которому он молился, был его собственный поэтический бог, и помочь ему сейчас этот бог бессилен.

Глава XXII

Денби шел по Кемсфорд-Гарденс. Было воскресенье, около десяти часов вечера. Лил дождь, врываясь в свет уличных фонарей плотными, блестящими и шипящими, как множество граммофонных игл, струями. Денби шел, ничего не замечая вокруг; плащ на нем был расстегнут, дождь струился по волосам, стекал за воротник. День он провел в каком-то исступлении, ничего не мог есть, ему хотелось заболеть, но заболеть он был не способен. Денби был вне себя оттого, что не застал Лизу, он чуть не застонал, когда Бруно безмятежно сообщил ему, что она приходила. Денби отправил ей еще два письма. С Аделаидой он не виделся, мысль о ней вызывала у него страх и чувство вины. Он испытал облегчение, когда она не открыла дверь на его стук. Он написал ей записку, в которой выразил надежду, что ей уже лучше, а потом нашел на лестнице эту записку, разорванную на мелкие кусочки. В субботу и воскресенье, поскольку Лиза предупредила Бруно, что не придет, Денби с утра до вечера бесцельно слонялся по городу, то и дело заглядывая в питейные заведения. И теперь он был уже пьян в стельку.

Сидя в «Шести колоколах» на Кингз-роуд, он попытался написать письмо Диане. Вот что у него получилось:

> Дорогая Диана!
> Ты решишь, что я спятил, но я влюбился в твою сестру. Я не могу тебе всего объяснить. Но поверь, что это по-настоящему. Пожалуйста, прости меня, я только развлекался с тобой. Я вел себя несерьезно и жалею об этом. А то, что к Лизе, очень серьезно. Прости меня и забудь.
>
> *Денби.*

Он некоторое время смотрел на письмо, возя по нему стаканом. Потом порвал его. Он не мог написать такое Диане. Слишком уж это отдает дешевкой. Какая глупость — просить забыть его! Потом он подумал еще об одном важном обстоятельстве: а вдруг письмо попадет к Майлзу? Майлз и так о нем невысокого мнения, и без этого дополнительного свидетельства его любви к развлечениям, тем более что на сей раз речь шла о собственной жене Майлза. Лучше уж Майлзу ничего не знать. Майлз, вне всякого сомнения, относится к Лизе как брат. Он и теперь будет против Денби, и по тем же самым причинам. И он опять-таки совершенно прав, думал Денби, он совершенно прав; но я люблю Лизу, а это меняет дело.

А почему, собственно, меняет? Любовь не сделает Денби более подходящей парой для Лизы, он не обратится в трезвенника, не станет респектабельнее. Разве кому-нибудь объяснишь, что эта любовь из-

лечила его от легкомыслия? Если б только Лиза не застала их с Дианой! Письмо Диане потому и отдавало дешевкой, что и на деле все происшедшее между ними было дешевкой. Снедаемый самоуничижением, Денби таскался по улицам под проливным дождем, ожидая, когда откроются вечерние бары. Немыслимая дерзость с его стороны влюбиться в эту женщину. В нем нет ничего, что могло бы ее заинтересовать. Хотя Денби давно уже начал терять свою несколько вызывающую, чисто внешнюю привлекательность, в глубине души он по-прежнему был убежден в своей неотразимости. Благодаря любви к нему бедняжки Аделаиды, он воображал, что помани он пальцем — и любая женщина будет его. Он оплыл, постарел, волосы его поседели, лицо задубело от постоянных возлияний. Он был смешон, жалок, дурно одет, так что рассчитывать на успех ему совершенно не приходилось, и, продолжая домогаться Лизы, он только длил бессмысленную пытку.

Но любовь всегда глуха к подобным доводам, и самоуничижение странным образом уживалось в нем с удивительной самонадеянностью. Через час-два после открытия вечерних баров ему уже казалось, что впереди у него что-то чудесное и неожиданное. Это чувство, подкрепленное еще несколькими стаканчиками виски, и привело его теперь на Кемсфорд-Гарденс.

Денби стоял под дождем, слегка покачиваясь, снова и снова пытаясь определить, тот ли это дом. Света в окнах не было. Вряд ли все уже легли спать. У него было смутное представление о том, который теперь час, но, судя по тому, что бары были еще открыты, не такой уж поздний. Он взошел по ступенькам и взялся за ручку двери. Но тут же испугался и от волнения даже слегка протрезвел. Что же он такое делает, черт возьми? Денби спустился на ступеньку ниже и осторожно заглянул в щелку для почты. В прихожей виднелась полоска света, выбивающаяся из-под закрытой двери. Денби выпрямился, погладил крашеную дверь. Протянул руку к звонку, но нажать на кнопку не решился.

Наверное, не стоит показываться ей на глаза, подумал он. Я слишком пьян. Она только рассердится, если я предстану перед ней в таком виде. И потом, там Майлз и Диана. Что-то подсказывало Денби: пусть Лиза еще немножко подумает. Нужно подождать, пока она ответит на его письма. И опять что-то подсказало ему: сейчас я могу еще надеяться, давать волю воображению. А если я увижусь с ней, она может отнять у меня всякую надежду. Он отошел от двери. Но сознание того, что она рядом, точно магнитом притягивало его к этому дому, удерживало словно невидимая цепь. На глаза ей показываться не стоило. Но и уйти было невозможно. Он постоял немного в нерешительности. Только взглянуть бы на нее незаметно, только взглянуть.

Участки на Кемсфорд-Гарденс спускались террасами, проходов между ними не было. Денби свернул на Олд-Бромптон-роуд. Оттуда, наверное, можно подойти к дому сзади. Он миновал гаражи и увидел тот же ряд домов с обратной стороны, их окна неровно светились в мерцающем дождливом сумраке. Огороженные каменными заборами сады примыкали к садам по Эрдли-Креснт; ни проходов, ни калиток видно не было. Денби прикинул высоту ближайшего забора. Недолго думая, взобрался на него. Сейчас ему было все нипочем, он мог бы запросто вскарабкаться и на собор святого Павла. Он соскользнул вниз, весь перепачкавшись. Тяжело ступая, пересек темный сад и взобрался на следующий забор. С минутку он посидел на нем верхом. Так что же он хотел сделать? Ах, да. Только нужно снова установить, где их дом. Он уже сбился со счета. Кто-то открыл окно у него за спиной, и он свалился в густые колючие кусты другого сада. Выбираясь, он услышал треск, порвались брюки. Здоровенная колючка вонзилась ему в ногу. Кое-как продравшись сквозь кусты, Денби огляделся. Там, где свет от незашторенного окна падал на поникшую от

дождя траву, виднелся забор, за ним мог быть еще забор, а потом — еще и еще.

Денби был с головы до ног в кирпичной пыли, осколки кирпича набились ему в башмаки, карманы. Он споткнулся о какой-то предмет, опрокинул его и только тут разобрал, что разбил хитро ухмыляющегося гномика в красном колпаке. В саду у Майлза ничего подобного быть не могло. Куда же он попал? На следующий забор он вскарабкался уже слегка отдуваясь и спустился с него по толстому стволу глицинии, который громко под ним затрещал. Он вдруг почувствовал усталость и слабость, ему уже не хотелось штурмовать собор святого Павла. Саднило колено, которое он, должно быть, где-то ушиб. Денби стоял посреди лужайки, тяжело дыша и пытаясь вытащить из ноги колючку. Но вот в скудном свете, падавшем из окон ближнего дома, он различил тисовую арку, неровные очертания невысокого кустарника и блестящую от дождя асфальтовую площадку. Колючку наконец удалось вытащить.

Освещенное изнутри двустворчатое окно было плотно зашторено. Денби, боясь, что слишком расшумелся, стал потихоньку продвигаться вперед; он перешел с травы на асфальт. Подошвы его башмаков прилипали к мокрому асфальту, отчего шаги сопровождались легким причмокиванием. Но этот негромкий звук заглушался шумом дождя. Шторы наглухо закрывали окна по бокам, но посредине между ними оставался узенький просвет. Денби нетерпеливо притронулся к стеклу и вздрогнул, ощутив его непрочность: для пущей устойчивости он широко расставил ноги и наклонился, изо всех сил стараясь хоть что-нибудь увидеть в щелку между шторами. Он осторожно подался еще чуть-чуть вперед, и ему удалось заглянуть в комнату. Перед ним предстала мирная картина. Майлз, Лиза и Диана сидели, склонясь каждый над своей книгой. Майлз и Диана устроились в креслах по обе стороны камина, в котором едва горел огонь. Чуть поодаль на тахте сидела Лиза лицом к окну. Денби затаил дыхание и крепко прижал руку к груди, как бы пытаясь успокоить сильно бьющееся сердце.

Майлз, сидевший вполоборота к Денби, поднял голову от книги. Он взглянул сначала на склоненную голову Дианы, потом на склоненную голову Лизы. Диана подняла голову, и Майлз тут же уткнулся в книгу. Диана посмотрела сначала на склоненную голову Майлза, потом на склоненную голову Лизы. Лиза подняла голову, и Диана тут же уткнулась в книгу. Лиза посмотрела сначала на склоненную голову Дианы, потом на склоненную голову Майлза. Как только Майлз снова поднял голову, Лиза тут же уткнулась в книгу. Все молчали. Денби не сводил глаз с Лизы. Она сидела, подобрав под себя ноги, ее густые каштановые волосы падали на книгу. На ней было темно-синее прямое платье с отложным воротником, из-под которого выглядывал зеленый шарфик. Денби пришло в голову, что он впервые видит Лизу без плаща. Впервые видит ее в платье. Впервые видит очертания ее фигуры, ноги в нейлоновых чулках, изгиб ее коленей. На ногах у нее были мягкие домашние тапочки в сине-зеленую клетку. Денби вбирал в себя взглядом линии ее тела, округлость груди под темно-синим платьем, покатую выпуклость бедра, стройность лодыжки, и ему захотелось опуститься перед ней на колени и тихонько погладить ногу в клетчатой тапочке. Он закрыл на мгновение глаза. Открыв их снова, он увидел, что Диана испуганно смотрит в щелку между шторами.

Денби выпрямился и поспешно отошел от окна, топча мягкую землю и влажные побеги. С асфальта он побыстрее перебрался на лужайку и большими неслышными шагами устремился прочь из сада. Перед ним выросла тисовая изгородь, и он, продравшись сквозь нее, очутился в узеньком промежутке между тисами и забором. Здесь он с шумом наступил на кучу сырых веток — должно быть, остатки от костра. Освещенные окна укоризненно глядели теперь на него со всех

сторон. В неясном свете он различал забор, очертания крыш с трубами и деревьев, едва заметные полосы дождя на фоне красноватого зарева в ночном лондонском небе. Он принялся карабкаться на забор. Ему показалось, что забор стал выше. Денби попытался подтянуться на руках, но они были как ватные, и он рухнул все в тот же ворох обгоревших веток.

Перед ним возник чей-то силуэт.

— Денби, это ты?

— Диана!

— Тсс. Тебя никто, кроме меня, не видел.

— Диана, прости, ради бога...

— Говори тихо, не кричи. Как ты сюда попал?

— Через забор.

— Ну что ж, придется и обратно через забор.

— Да, конечно, Диана. Я так и хотел, а тут ты подошла.

— Ты что, совсем с ума сошел? Разве можно являться так поздно?

— Диана, я хотел написать тебе...

— Хорошо, хоть Майлз тебя не видел. Потише ты, ради бога. Ты что, на забор не можешь залезть?

— Да, трудновато что-то. Понимаешь, Диана, я хотел написать...

— Не надо ничего писать, идиот ты этакий. Ты же всегда можешь увидеться со мной днем. Позвони, и мы обо всем договоримся.

— Диана, я хочу объяснить...

— А я-то понять не могла, что с тобой. Думала, ты простудился или еще что-нибудь стряслось. А ты тут как тут!

— Диана, я должен...

— Ты пьян?

— Да.

— Ну так убирайся. Денби, дорогой, я вовсе не сержусь на тебя. Я все понимаю. У тебя сделалось вдруг тяжело на душе. Тебе нужно было повидать меня во что бы то ни стало. Я понимаю. А теперь, ради бога, уходи!

— Диана, я...

— Давай не будем шуметь. Сейчас же уходи.

— Хорошо. Только я что-то ослаб. Не могу влезть на этот проклятый забор.

— Нужно подставить что-нибудь. Здесь где-то был ящик. Подожди минутку.

— А как я выберусь из следующего сада?

— Не знаю, черт побери. Ты выберись, главное, из этого.

— Ты не будешь возражать, если я захвачу с собой ящик?

— Ох, Денби. Вот...

— Тсс, Диана, по-моему, сюда кто-то идет.

— Нет там никого. Никто не видел, как я вышла. Помоги мне достать ящик.

Денби наклонился. Он увидел совсем близко мокрый рукав бело-розового плаща. Ящик, оказалось, был наполовину засыпан землей. Они начали вытаскивать его, он скрипел, из него с шумом посыпались камни.

— Тсс!

Денби подтащил ящик к стене. Влез на него.

— Ах, Денби, все это сущее безумие.

— Боюсь, это еще большее безумие, чем ты думаешь, дорогая.

— Осторожней, не сломай ногу.

— Ты вся промокла, Диана. Ступай домой. Я теперь выберусь сам.

— Дай руку.

Денби протянул ей в темноте руку, и Диана горячо сжала ее обеими руками. Он ответил на ее пожатие и побыстрее вырвал руку.

Вдруг в тисовой арке вспыхнул свет и выхватил из темноты Денби, который как раз заносил ногу на забор.

— Что здесь происходит? — раздался голос Майлза.

Диана быстро отошла в сторону. Денби снял ногу с забора, но остался стоять на ящике. Яркий свет фонарика ослепил его, и он прикрыл глаза.

— Что это за комедия? — спросил Майлз.— За каким дьяволом ты залез в мой сад?

Денби не спеша спустился с ящика.

— Не слепи меня, пожалуйста.

Майлз опустил фонарик, его луч высветил нити дождевых струй, кружок потоптанной травы, разбросанную землю, остатки костра. И Денби увидел Майлза, который стоял перед ним с большим черным зонтом в руке.

— Прошу прощения,— сказал Денби.

— Ты не ответил на мой вопрос. Что ты тут делаешь?

— Я только хотел посмотреть...

— То есть подсмотреть?..

— Нет. Понимаешь, я не решился позвонить в дверь, поэтому полез через забор и...

— Хам паршивый, лазает через забор, ломает розы!

— И тут меня увидела Диана и...

— Где тебя увидела Диана? Что ты порешь?

— Он заглянул в окно, в просвет между шторами,— сказала Диана из темноты ровным, спокойным голосом.

Майлз направил на нее фонарик, посмотрел на ее забрызганные грязью ноги в домашних тапочках.

— Так какого черта ты мне ничего не сказала?

— Я не знала точно, кто это.

— И выскочила сюда одна, чтобы скрутить бандита?

— Ну, я, конечно, знала, что это Денби, но...

— Кажется, тут все с ума посходили.

— С вашего позволения,— сказал Денби,— я, пожалуй, пойду.

Он снова влез на ящик.

— Нет уж. Теперь я скажу тебе несколько слов.

— У меня нет настроения разговаривать,— сказал Денби.

Он занес ногу на забор.

— Да ты пьян!

— Ну да. И мне пора идти.

— Я знаю, зачем ты сюда приходил.

— Майлз...— произнесла Диана.

Денби опустил ногу на ящик.

— Майлз,— сказала Диана,— я потом тебе все объясню...

Денби тяжело слез с ящика:

— Не стоит, Диана, ничего не объясняй. Скоро все само выяснится.

— Да, Диана, ты лучше иди,— сказал Майлз.— Ступай, пожалуйста, домой. И ничего не говори Лизе. Я сам разберусь с этим полоумным.

Диана слегка махнула рукой, как бы прощаясь, и бело-розовый плащ растаял во тьме.

Яркий кружок от электрического фонарика переместился на землю между Майлзом и Денби.

— Мне нужно сказать тебе кое-что, и я надеюсь, у тебя достанет порядочности сделать из этого должные выводы.

— Что? — спросил Денби.

— Ты ведь хотел увидеть ее?

Денби попытался собраться с мыслями. Кого Майлз имеет в виду?

— Да. То есть нет.

— Ты напился до безобразия. Ничего удивительного, что тебе стыдно было позвонить в дверь.

— Я никого не хотел тревожить,— сказал Денби.— Никого.

— Не беспокойся, встревожить ты никого и не сможешь. Хотя, должен признаться, что-что, а надоедать ты горазд.

— А почему это ты говоришь, что я никого не смогу встревожить?

— Потому что ты сейчас уйдешь и больше здесь не появишься.

— Может быть, мы не вполне понимаем друг друга? — спросил Денби.— Я хотел видеть Лизу.

— Знаю. Так вот, оставь ее в покое. И перестань донимать ее своими нелепыми письмами.

— Господи! Она тебе что, показывала их?

— Нет. Но она говорила, что ты написал ей уже несколько писем.

— Ну и что? Разве преступление кого-то любить? И почему ты говоришь со мной таким тоном? Это не твое дело. Ты ей не отец. И даже не брат. Она взрослая женщина. Она свободна.

— Она не свободна. В том-то все и дело.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Она связана. Ее сердце занято. Она любит другого.

Денби прислонился к забору. Дождь хлестал его по лицу, стекал за воротник холодными струйками, которые постепенно согревались на спине.

— Ты уверен?

— Да, я уверен. Жестоко говорить тебе такое, но ты должен это знать. Так что придется тебе оставить ее в покое.

Денби глубоко вздохнул. Он глядел на освещенный лиловый кружок мокрой золы, оставшейся от костра.

— Послушай, Майлз, я тебя понял. Но я ее люблю. Я не могу только потому, что ты мне сказал...

— Он ее любит!

— Да. Лиза что, помолвлена?

— Это тебя вообще не касается. Даже если бы она и не была связана, тобою она все равно не заинтересуется. Ты только раздражаешь ее. Надеюсь, теперь ты отстанешь?

— По-моему, ты не имеешь права мне приказывать, ты...

— Я знаю, как она относится к подобным вещам. Я просто сообщаю тебе об этом. Наверное, у тебя всю жизнь одна забота — пить да за женщинами волочиться. Но с Лизой ничего не получится. Советую тебе найти другое увлечение.

— Но у меня это серьезно, черт побери.

— Нет, ты несносен. Послушай, уходи. Убирайся из моего сада. Так же, как и пришел.

Кружок света на земле сместился, потом метнулся вверх, и Денби снова прикрыл глаза. Майлз опустил фонарик и выключил его, остался виден только его зонт.

— Послушай, ну пожалуйста...

— Нам не о чем больше говорить. Я уйду, только когда ты перелезешь через забор.

— Черт возьми, я не просил тебя докладывать мне, что думает Лиза. Я буду делать то, что нахожу нужным.

— Если ты еще хоть раз увидишься с ней, это будет свинство с твоей стороны.

— Она не нуждается в твоей опеке! Ты-то тут при чем, господи помилуй?

— Майлз, что там такое?

В тисовой арке мелькнул силуэт, приблизился к Майлзу и снова растворился в темноте. Дождь припустил с новой силой. Денби раскинул руки, прижался ладонями к шершавой поверхности забора.

— Лиза!

— С кем это ты разговариваешь?

— С Денби.

— А-а. Значит, я не ослышалась.

— Я велел ему уходить. Возвращайся-ка домой, Лиза.

— Подожди, Майлз.

Потоки дождя наполняли сад протяжными вздохами.

— Майлз, мне хотелось бы кое-что сказать Денби. Не оставишь ли ты нас на минутку?

— Лиза, не городи ерунды. Он пьян.

— Пожалуйста, Майлз!

— Этот дурак, того и гляди, что-нибудь вытворит.

— Нет-нет,— сказала Лиза.

— Ну тогда идите в дом. Что за бессмыслица мокнуть тут и разговаривать в потемках?

— Ничего. Иди, Майлз. Мы недолго. Ну пожалуйста.

— Ты вся промокнешь. Мне очень не хочется оставлять тебя.

— Всего на минутку, Майлз, ступай.

— Ну хорошо. Я отойду к веранде. Позовешь меня, если я понадоблюсь. Держи-ка зонт и фонарик.

— Не нужен мне ни зонт, ни фонарик. Только уйди на одну минутку.

Майлз медленно пошел прочь, опустив под тисовой аркой зонт, слышно было, как удаляются его шаги.

Денби отлип от стены, подался вперед и то ли свалился в грязь, то ли упал перед Лизой на колени прямо в мокрую золу, перемешанную с землей.

— Лиза...

— Встаньте, пожалуйста. Зачем вы сюда пришли?

— Я хотел увидеть вас. Я смотрел в окно. О господи!

— Вы очень пьяны?

— Нет.

— Тогда поднимитесь.

— Лиза, я хочу сказать вам, что это серьезно. Это такая мука, это настоящее.

— Мне очень жаль...

— Лиза, Майлз говорит, вы кого-то любите, говорит, вы помолвлены.

— О боже!

— Это правда?

— Да, правда,— помолчав, сказала она.

Денби медленно поднялся на ноги. Это было нелегко. Очень болело ушибленное колено.

— Я все равно буду надеяться,— глухо произнес он.

— Не нужно. Я только хотела поблагодарить вас за письма. Я вам очень благодарна. И, видит бог, я не хочу вас обидеть. Но пожалуйста, постарайтесь не думать обо мне. Мне нечем вам ответить, все это ни к чему. Пожалуйста, поверьте. Я не хочу, чтобы вы тратили время на что-то бесплодное. Это совершенно ни к чему.

— Не нужно больше ничего говорить! — вскричал Денби.— Не надо! Простите меня!

— Пойдемте через дом. Нет никакой необходимости...

Но Денби был уже на заборе. Как он выбрался из остальных садов, он не мог потом вспомнить. Может быть, перелетел через них. Кто-то кричал ему вслед. Но это была не Лиза. С последнего забора он прыгнул в проход между гаражами, оступился и упал. Стукнулся о дверь гаража и тяжело покатился по земле. Отполз, поднялся на ноги и вышел на освещенный мокрый тротуар.

Ошалелый, с тяжелой головой, едва держась на ногах, Денби постоял немного под дождем в темноте между двумя фонарными столбами, посмотрел назад, на Кемсфорд-Гарденс.

Потом медленно побрел к Олд-Бромптон-роуд. Остановился еще раз. Снова оглянулся. Всмотрелся попристальней. Какая-то темная фигура, вынырнувшая следом за ним из проулка, тихо скользила в

противоположном направлении, в сторону Уорик-роуд. Денби напряженно вглядывался в нее сквозь потоки дождя. Было что-то знакомое в этой стройной фигуре, в скользящей походке.

Денби быстро пошел назад. Человек ускорил шаги. Денби побежал. Тот — тоже. Денби побежал быстрее, нагнал его у самой Уорвик-роуд, под фонарем, и крепко схватил за ворот.

— Найджел!

Найджел вырывался, извиваясь и изворачиваясь, но Денби крепко держал его.

— Найджел, ах ты свинья, ты шпионишь! Ты был там, в саду?

— Вы меня задушите, отпустите!

— Ты был там, в саду?

— Да-да, только отпустите меня...

— Ты все слышал!

— Вы меня убьете!

— Шпион проклятый!

— Не надо, не надо, не надо...

Денби тряс и тряс обмякшее, не сопротивлявшееся больше тело и наконец отпихнул его от себя. Найджел пошатнулся и, поскользнувшись на мокром тротуаре, упал, сильно ударившись головой о фонарный столб. Он лежал неподвижно. Денби пошел было прочь, но потом остановился, подождал, пока Найджел очнулся и начал подниматься на ноги. Тогда Денби повернулся и, выйдя на середину шоссе, нетвердо побрел навстречу ветру и дождю.

Глава XXIII

Найджел стоял на коленях у постели брата. Уилл крепко спал. По стеклу чердачного окна бесшумно стекал дождь. Жидкий свет от уличных фонарей падал на латунную спинку старой кровати и большую круглую голову Уилла, утопавшую в подушке, на раскрасневшееся и чуть припухшее во сне лицо с подрагивающими усами.

Одеяло сбилось, из-под него высовывалась толстая ножища в пятнистой красно-белой пижамной штанине, правая рука свешивалась с кровати. Найджел, вооруженный веревкой с незатянутыми петлями на концах и гладко обструганной полуметровой палкой, тщательно исследовал положение руки и ноги Уилла.

Он решил начать с ноги. Тихонько положив на пол палку, он поднес веревочную петлю к заскорузлой благоухающей ступне братниной ноги, которая словно нагло ему ухмылялась. Петля была заботливо выложена изнутри перфорированной резиной. Найджел начал с величайшей осторожностью надевать петлю на торчащую нахальную ногу, стараясь не коснуться ступни. Резина слегка задела пятку, и Найджел быстро взглянул на Уилла. Тот лишь едва заметно улыбнулся и продолжал спать, только стал слегка посапывать. Потом Уилл пошевелился, двинул ногой, и как раз в этот момент Найджел, держа одной рукой петлю за верхний край, другой сильно придавил матрас и легко надел петлю на лодыжку Уилла. Затем осторожно натянул петлю поверх штанины и снова взглянул в лицо Уиллу, но тот продолжал улыбаться и храпел как ни в чем не бывало, слегка вздрагивая во сне.

Бесшумно встав с колен, Найджел поднял с пола другой конец веревки с такой же петлей, осмотрел спинку в изножье кровати, продел веревку между прутьями, обмотал ее для верности еще раз вокруг двух последних прутьев и вокруг ножки кровати. Потом, высоко держа свернутую веревку, он крадучись подошел к изголовью, так же пропустил свободный конец с петлей через прутья спинки и зацепил ближайшую ножку кровати. С запястьем Уилла больших осложнений не возникло, поскольку рука свешивалась с кровати. Не выпуская из левой руки среднюю часть веревки, правой Найд-

жел накинул петлю на запястье Уилла и затянул ее немного, так, чтобы она легонько обхватила обшлаг рукава.

Орудие пытки было почти готово. Найджел перекинул среднюю часть веревки через плечо, снова подошел к изножью кровати и осторожно затянул петлю чуть повыше лодыжки брата. Он расправил веревку в головах и в изножье, сместив ее книзу, к самому матрацу, и отошел подальше от кровати. Подобрав с пола палку, он начал аккуратно, неспешно наматывать на нее оставшуюся веревку.

Уилл проснулся, резко дернулся и вскрикнул. Найджел еще отступил от кровати, натянул веревку и стал быстрее вращать палку. Петли затянулись, резиновые кандалы сжали руку и ногу Уилла, он оказался накрепко приторочен к кровати. И громко закричал.

— Тсс, Уилл, ты разбудишь тетю.

— Опять ты за свое, черт тебя побери.

— На этот раз я куда лучше все устроил,— сказал Найджел.— Отсюда ты уже не выберешься.

— Сволочь!

— Резина — самая подходящая штука для этого дела. И как я раньше не додумался?

— Ослабь Христа ради веревку, ты сломаешь мне руку.

— Ну уж. Подожди, пожалуйста, минутку, я только пододвину стул.

Найджел, зажав в одной руке палку с веревкой, другой дотянулся до стула, стоящего у стены. Он наклонился и засунул палку под сиденье, прочно закрепив ее между деревянными планками. Потом уселся на стул сам.

— Найджел, ослабь веревку, кретин недоношенный, эта проклятая железяка пропорет мне вены.

— Все это мы уже слышали, я бы не вертелся на твоем месте, от этого только хуже.

Уилл, растянутый между спинками кровати, извивался, изо всех сил пытаясь ухватиться левой рукой за прутья спинки, чтобы освободить привязанную правую. Пальцы его бессильно соскользнули с туго натянутого резинового наручника.

— У меня кровь остановится от этой штуки. Ты что, прикончить меня собрался?

— Не совсем. Не сопротивляйся, Уилл, так будет лучше.

— Отпусти веревку, ты разорвешь меня на части.

— Скажи «пожалуйста».

— Пожалуйста, мразь ты этакая.

Найджел немножко придвинулся к нему вместе со стулом.

— Еще чуть-чуть.

— Лежи спокойно, расслабься и слушай.

— Как я могу слушать, терпя такую адскую боль?

— Да не терпишь ты никакой адской боли. Это все пустяки. Слушай.

— Пошел ты к дьяволу.

— Тем, что с тобой так обходятся, ты обязан только своему бешеному характеру. Ты бы давно это сообразил, если б умел думать. Что поделаешь — тем, кто похладнокровнее и поумнее, приходится сажать бешеных в клетку или растягивать их на дыбе. Только так можно заставить их выслушать, чего от них хотят.

— Я не собираюсь тебя выслушивать, даже если буду криком кричать. Ослабь веревку, ты сломаешь мне ногу.

— Ничего подобного. Ты уже кое-что выслушал, Уилл. Бешеным в конце концов приходится кое-что выслушивать, потому что это им во благо. Помнишь, когда нам было по десять лет, я подвесил тебя за руки на лесах, на стройке, потому что ты не хотел сделать то, о чем я тебя просил.

— А я помню, как я тебя разукрасил, когда ты меня развязал!

— Ну и пусть, зато ты сделал то, о чем я тебя просил.

— Вот и дурак. Ты всегда был нелюдь какая-то.

— Ну вот ты и забыл про свою адскую боль!

— Ничего я не забыл. Ты меня прикончишь когда-нибудь очередным своим изобретением. Кажется, у меня кровь течет по руке. Посмотри-ка.

— Меня этим не купишь, Уилл. Если ты не против, я включу свет. Интересно взглянуть на тебя.

Найджел слегка откинулся вместе со стулом и щелкнул выключателем. Голая лампочка над кроватью осветила Уилла, который извивался, привязанный за ногу и за руку. Пижама на нем расстегнулась, видна была напрягшаяся блестящая грудь с черными завитками волос, сгущающимися посредине. Уилл рванулся снова, схватил свободной рукой привязанное запястье. Потом затих и повернул к Найджелу покрасневшее лицо; он тяжело дышал, глаза его выкатились, и, скрежеща зубами, он произнес:

— Ты снова натянул веревку, будь ты проклят.

— Да, немножко. Вот так.

— Если ты еще раз выкинешь такую штуку, я тебя убью.

— Ну-ну. Согласен — на этот раз я немного переборщил, но ты сам виноват. Лежал бы себе спокойно, выслушал бы меня, и все было бы хорошо.

— Я запихну тебя в мусорный ящик.

— Не глупи. Ты всегда, с самого детства, размахиваешь кулаками. Только моя смекалка и помогает мне как-то сквитаться с тобой. Я хотел сказать тебе что-то очень важное, причем важное именно для тебя, а поскольку я знал, что ты кинешься на меня как бешеный, если не принять мер предосторожности, мне пришлось тебя еще разок привязать.

— Тебе доставляют удовольствие эти садистские штучки.

— Пусть так, Уилл. Это проявление братской любви.

— Бог ты мой!

— Кровные узы не так легко сбросить со счетов, Уилл, особенно если речь идет о близнецах. Ты — часть меня самого, грубая, животная, чуждая мне и, конечно же, мéньшая, однако мы неразрывно связаны друг с другом, и это мало назвать любовью.

— Ты всегда меня терпеть не мог, Найджел.

— Ты просто дурак, ты ничего не понимаешь.

— Ты меня продал с этой чертовой маркой.

— В порядке наказания, дорогой. Должен же я пресекать твои бесчинства.

— Ты всегда не давал мне проходу.

— В порядке самозащиты. А еще отчасти потому, что я тебе необходим. Как ангел — дьяволу, как плетка — лежебоке, как петля — самоубийце. Любое соприкосновение грубой материи с духом сопряжено со страданием.

Найджел немного отодвинул стул, и Уилл вскрикнул:

— Кончай, Найджел, я сейчас сознание потеряю.

— Пустяки. Ну вот, так-то оно лучше. А теперь перестань крутиться и слушай внимательно.

— Кто это тебя отдубасил? С удовольствием пожал бы ему руку.

Подбитый глаз Найджела заплыл громадным лиловым отеком.

— Денби.

— Денби? За что это он тебя? Впрочем, мне какое дело. Я тебе еще один фингал поставлю, только дай мне вырваться.

— Ладно. Слушай, Уилл. Ты меня будешь слушать или ты хочешь, чтобы я натянул веревку?

— Валяй-валяй, педераст несчастный, я тебя слушаю. Только ослабь веревку.

— ПОЖАЛУЙСТА.

— Пожалуйста.

— Ну вот и хорошо. Теперь слушай. Речь идет об Аделаиде.

— Об Аделаиде? Что с ней?

— Ты ведь любишь Аделаиду?

— А если бы и так, не твое собачье дело. Знаю я, ты за ней ухлестывал. Пытался ее охмурить, когда вернулся в Лондон.

— Ничего подобного.

— Держись от нее подальше, а то я тебя точно прикончу. Это моя девушка, она будет принадлежать мне. Она будет моей, даже если мне придется ее убить. К тому же она меня любит.

— Так ты воображаешь. А если у нее кто-то есть?

— Как это — кто-то есть? Никого у Ади нет, она никого не видит, нигде не бывает.

— А ей и не нужно бывать. Все происходит дома.

— Что ты хочешь сказать? Господи, неужели ты...

— Нет, не я. Денби.

— Что Денби? Не мучь ты меня!

— Денби — любовник Аделаиды. Аделаида — любовница Денби. Уже несколько лет. По-моему, тебе пора узнать об этом.

Уилл лежал неподвижно, тяжело дыша. Потом еле слышно произнес:

— Развяжи меня, Найджел. Клянусь, я тебя не трону.

Найджел встал и вытащил палку из-под стула. Раскрутил веревку, и она ослабла. Уилл неловко повернулся и стал приподниматься. Застонав, он начал стаскивать резиновый наручник. Найджел помог ему, потом высвободил лодыжку. Постанывая, Уилл массировал то затекшую руку, то ногу.

— Не верю я тебе, Найджел,— сказал он.

— Это правда.

— Докажи.

— Спроси у Аделаиды. Между прочим, взгляни-ка. Тебе ведь знаком почерк Денби?

Найджел протянул Уиллу склеенные скотчем обрывки записки. «Аделаида, моя сладкая,— говорилось в ней,— я к тебе не приду, буду спать у себя, потому что вернусь поздно. Спокойной ночи, малышка. Твой Д.».

Уилл внимательно изучил послание. Потом издал протяжный душераздирающий вопль и повалился лицом в подушку.

— Тсс, не шуми...

Уилл сел, лицо у него было перекошено, челюсть дрожала, от гнева и боли он скрипел зубами.

— Я убью его. И ее тоже.

— Не бесись, Уилл...

— Убью. Говоришь, несколько лет. Несколько лет! И все это время она водила меня за нос, клялась, что у нее никого нет, позволяла мне делать ей подарки, целовать руки.

— Да, я знаю, но послушай, что я еще...

— Говорила, что она не создана для замужества! Конечно, она не создана, она просто дрянь, шлюха! И я бросил свою жизнь к ее ногам! Я ее растерзаю. И его убью. Сейчас же пойду и накрою их в постели. «Моя сладкая!» О боже, я этого не переживу. Где мои брюки?

— Прекрати, Уилл, прекрати сейчас же и выслушай меня. Все равно я спрятал твою одежду, тебе ее не отыскать. Слушай...

— Пойду голый. Прочь с дороги, Найджел! Ты видишь, ты меня довел.

— Дверь заперта. Сядь, да сядь же.

Уилл перестал греметь дверной ручкой. Он вдруг выпрямился, застыл, закатил глаза и со стоном рухнул на кровать, закрыв лицо руками.

— О Аделаида, Аделаида! Я любил тебя, я так тебя любил!

Найджел придвинул стул ближе. Он гладил черные растрепанные волосы, плечи, сотрясавшиеся от бесслезных рыданий.

— Перестань, Уилл. Что сейчас сделаешь, ночь на дворе. Нужно все обдумать. Ты знаешь правду, а значит, они в твоей власти. Обдумай это. И не мсти Аделаиде. Бог ей судья, с нее хватит шипов в собственном сердце. А что касается Денби, мы подумаем, как его наказать. Я помогу тебе. Мы вместе его накажем.

Уилл перестал рыдать и сидел, крутя и потирая запястье, с пустым, помутившимся от горя взглядом; из полуоткрытого рта текла слюна.

— Подумать только, что она...

— Да, и она тоже. Я не повредил тебе руку?

— И это после того, как мы выросли вместе, после всего, всего... Это все равно что родная мать предала бы тебя...

— Мать всегда предает.

— Я ей полностью доверял. Никак не думал, что у нее была другая жизнь. Говоришь, несколько лет. С этим жирным боровом! Я его прирежу. В детстве она меня любила. Она была такая хорошенькая, такая невинная. Мы были счастливы.

— Да, все трое.

— Да, все трое. Мы всегда ходили, взявшись за руки. Помнишь?

— Да, а она посерединке.

— И играли в перетягивание каната у фонарных столбов. И ты всегда побеждал.

— А ты помнишь, как мы рассказали ей, откуда берутся дети?

— И она не хотела нам верить!

— Господи, будто вчера все это было!

— И стройка, и пустырь, на котором мы собирали одуванчики.

— И как мы лазали на леса...

— И воровали кирпичи...

— И играли в англичан и французов...

— И в три шага...

— Аделаида — это наше детство, когда все у нас было прекрасно....

— До нашего побега...

— До театра.

— До всех этих гадостей — ну, ты понимаешь меня.

— Да. А она — словно из другой жизни, из другого мира. У меня было чувство, будто она хранит в себе те наши годы, детство, хранит его для меня...

— Во всей свежести, во всей чистоте...

— Ты что, смеешься надо мной, Найджел?

— Нет-нет. Ну ты же обещал...

— Аделаида приходила к тебе, ну, туда, где ты жил, когда вернулся в Лондон?

— Нет.

— Что-то у нее с тобой было. По-моему, ты за ней приударял.

— Да нет же.

— Хорошо, зачем тогда ты мне все это рассказал? Какой тебе от этого прок? Ты любишь ее, ты хочешь вбить клин между нами, вот!

— Нет!

— Значит, у тебя у самого ничего с ней не вышло, и ты хочешь, чтобы у меня тоже...

— Нет, клянусь тебе.

— Хорошо, тогда зачем тебе все это? Просто придурь? Или тебе хочется мне напакостить? Или напакостить Денби?

— Просто придурь.

— Ты ненавидишь Денби. У тебя на него зуб. Да? А за что это он тебе врезал, между прочим?

— Нет, Уилл, это совершенно тут ни при чем.

Усилившийся дождь стучал по чердачной крыше, сбегал сплошным потоком по темному оконному стеклу. Близнецы сидели под яркой голой лампочкой лицом к лицу и пристально смотрели друг другу в глаза.

Глава XXIV

Бутылка виски была почти пуста.

Денби сидел на кровати, закрыв лицо руками. На полу, прислонившись спиной к комоду, сидела Аделаида. Лицо ее опухло от слез. Глаз почти не было видно. Она ловила воздух широко открытым ртом, время от времени ее плечи вздрагивали, крупные слезинки выкатывались из заплывших глаз. Она была в одной кофте и нижней юбке.

Было девять часов вечера, за окном с незадернутыми до конца занавесками давно стемнело. Безудержно, яростно лил дождь. Струи его, подхваченные сильными порывами ветра, неслись почти горизонтально, с шумом хлестали в окошко, будто в него швыряли пригоршнями мелких камешков.

— Денби! — донеслось издалека.

Денби застонал и еще крепче прижал ладони к лицу.

— Денби!

Денби поднялся, не взглянув на Аделаиду, переступил через ее ноги и пошел наверх. Он чувствовал себя совершенно разбитым. У него все болело.

— Денби!

Денби толкнул дверь в комнату Бруно, зажмурился от яркого света, приложил руку козырьком ко лбу и пригляделся. Лампа освещала неопрятную постель со сбившимися простынями, которую за весь день никто не поправил.

— Денби, что случилось?

— Ничего не случилось. Ты зачем меня звал?

— Почему ты так смотришь на меня?

— Как?

— Как-то странно.

— Я пьян. Тебе чего?

— Где Найджел?

— Не знаю.

— Его не было целый день. И прошлую ночь тоже.

— Ну и что. Спи, Бруно.

— Спать еще рано. Я еще не пил чаю. Зову-зову, а никто не идет.

— Сейчас я приготовлю чай.

— Денби, не уходи, пожалуйста, закрой-ка дверь. Ты ведь простишь Найджела, правда? Ты не рассердишься на него?

— По-моему, Найджел смылся.

— Найджел? Не может такого быть. Он никогда, никогда меня не бросит! — воскликнул Бруно дрожащим голосом. Он весь утонул в сбившейся постели, виднелась только его огромная голова да клешнеобразная рука, лежавшая на одеяле. Денби, стоявший в изножье кровати, хмуро смотрел на него поверх каркаса для ног. Мысли его, казалось, были далеко.

— Пойду приготовлю чай. Принести тебе чего-нибудь поесть?

— Не уходи, Денби. Дождь хлещет как из ведра, ветер сумасшедший. Мне показалось, будто кто-то кричал внизу.

— Наверное, так оно и было.

— Что же там случилось?

— Аделаида смеялась. Хочешь бутерброд или еще чего-нибудь? Я принесу тебе «Ивнинг стандард».

— Как зовут эту женщину?

— Какую женщину?

— Ну ту, что приходит сюда. Она...

— Лиза.

— И она сегодня не пришла.

— О, забудь ее, Бруно!

— Почему забудь?

— Все это больше не имеет смысла.

— Почему не имеет смысла? Тебе что-нибудь доктор сказал, ты звонил ему?

— Да нет, никому я не звонил.

— Наверное, он сказал, что дела мои плохи, и ты уволил Найджела и велел этой женщине больше не приходить?

— Прекрати, Бруно, ничего такого доктор не говорил.

— Конечно, все это не имеет смысла, если я уже умираю...

— Бруно, замолчи. Не болтай чепухи. Пойду приготовлю тебе чай.

— Не надо мне никакого чая.

— Ну, тогда спи. Я выключу свет.

— Не могу я спать при таком шуме, вон как стекла тарахтят. Там что, град?

— Нет, дождь. Просто шум, будто от града.

— Денби, не уходи. Посиди немножко со стариком. Я весь день был один. Ты только сунул мне поднос с обедом.

— Извини меня.

— Пожалуйста, посиди со мной, Денби, ну пожалуйста.

— Не могу, я пьяный.

— Ну пожалуйста...

— Свет тебе оставить или выключить?

Денби с трудом различал голову на подушке, прикрытый простыней обросший подбородок, едва угадывающиеся под одеялом очертания исхудавшего тела, изможденную темную руку, которая слабо, умоляюще шевельнулась.

— Денби, поправь мне, пожалуйста, постель. Взбей подушки.

Денби на негнущихся ногах подошел к Бруно, кое-как взбил подушки и вернулся к двери.

— Свет тебе выключить или оставить?

— Денби, мне страшно, не уходи.

Из глаз у Бруно побежали слезы, заливая покрасневшие морщинки и припухлости под глазами.

— Хватит, Бруно, спи.

Денби выключил свет и закрыл за собой дверь. Постоял немного на верхней ступеньке лестницы, прислушиваясь, но из комнаты старика не доносилось ни звука.

Денби спустился к себе в комнату. Аделаида сидела все на том же месте.

Денби взял бутылку и вылил в стакан остатки виски. Тяжело опустился на кровать.

— Шла бы ты лучше спать, Аделаида.

Дождь словно пулеметными очередями бил в окно. Ветер ревел, завывал, опять ревел.

— Я тебя люблю, люблю, люблю.

— Аделаида, перестань, будь умницей.

— Ты разве подумал на мне жениться, хоть раз в жизни тебе пришла в голову такая мысль?

— Не знаю. Перестань, прекрати, хватит с меня.

— Ты знал, что я нужна тебе лишь на время. Ты просто раз-

влекался со мной, пока не подвернулось что-то получше, женщина твоего сословия, к ней-то ты относишься серьезно.

— Да при чем тут сословие?

— При чем? Почему же тогда ты обращаешься со мной как со швалью? Захотел — пришел, захотел — ушел?

— Ты была очень даже не против, когда я пришел.

— Свинство с твоей стороны так говорить.

— Ладно. Согласен. И давай закончим на этом.

— Ты никогда не считался со мной.

— Считался, Аделаида. Но я же не знал, что будет потом, я не думал об этом.

— Ты не думал! Конечно, ты не думал! Ты только брал что хотел.

— Ну если тебе от этого легче, хорошо, я знаю, я мерзавец.

— Что же, желаю тебе с ней счастья после того, как ты погубил меня, разбил мне жизнь.

— Я ведь сказал тебе, я ее вообще не интересую, она любит другого, я ей не нужен, она послала меня к черту.

— Не верю ни одному твоему слову. Ты все придумал, чтобы отделаться от меня. Ты меня завтра же уволишь.

— Не говори глупостей, Аделаида. Не начинай все сначала.

— Я не говорю глупостей. Я ведь служанка, я твоя служанка. Или ты забыл? Ты мне платишь жалованье.

— Это я уже слышал.

— И я рада была тебе служить, да, рада.

— Иди спать, бога ради.

— Подумать только, я тебя боготворила! Просто представить себе невозможно.

— Тем хуже для тебя!

— Ты пользовался моей любовью, я приносила тебе радость, а теперь ты говоришь — тем хуже для меня!

— Извини, я не хотел...

— Во всяком случае, я ей сказала, я ей все сказала.

— Что ты ей сказала?

— Сказала этой заносчивой суке о нас с тобой. Она ведь этого не знала, не так ли? Я сказала ей, что мы с тобой любовники, сказала, что мы уже несколько лет вместе. И чтобы она отстала от тебя подобру-поздорову.

— Господи боже мой! — Денби встал. Он стоял сгорбившись, глядя на пустую бутылку.— Когда это было?

— На прошлой неделе.

— И что она ответила?

— Притворилась, будто ей плевать.

— Как жаль, Аделаида, что ты это сделала.

— Очень рада, если тебе жаль.

— Дело не в том, что она могла плохо подумать обо мне... Она решила... Хотя какое это имеет теперь значение.

— Ты ведь помалкивал обо мне, правда? Думал, всегда можно эту мошку вытряхнуть, вымести...

— Да это не важно, не важно. Это не имеет значения. Ровно никакого.

— А я тебя так любила...

— Да не плачь ты опять. Я не в состоянии этого вынести.

— Я тебя любила... Я была счастлива... Да, счастлива.— Аделаида зарыдала.

— Иди спать, или я сам уйду...

— Я убью себя. Я не могу больше жить. Я убью себя...

Денби направился к двери.

Неожиданно среди шума дождя раздался новый резкий звук. В окно настойчиво, решительно стучали. Денби застыл на месте. Але-

лаида перестала плакать. Под завывание ветра стук повторился снова — громкий, настойчивый, грозный. Аделаида с Денби переглянулись, посмотрели на окно. Между незадернутыми занавесками ничего не было видно, только слепо поблескивали стекла. Денби подошел к окну, отдернул занавеску и, наклонившись, вгляделся во тьму. К стеклу была прижата чья-то ладонь. Аделаида вскрикнула. Теперь Денби различал уже и грузную фигуру, стоящую прямо перед ним в темноте. В следующее мгновение послышался звон стекла, и едва Денби успел отскочить, в комнату посыпался град осколков.

Денби быстро повернулся, перешагнул через ноги Аделаиды и, перепрыгивая через две ступеньки, взбежал по лестнице. Рывком открыл дверь на улицу. Сквозь неровную завесу дождя он увидел, как кто-то торопливо повернул за угол и скрылся. Денби с минуту постоял перед стеной воды, ветер обдавал его брызгами, сердце сильно стучало. И, только закрывая дверь, он заметил, что наступил на конверт. Он подобрал его и медленно спустился по лестнице.

Аделаида уже поднялась с пола. Она стояла, стараясь закрыть горло воротником кофты. Холодный ветер дул в комнату сквозь разбитое окно.

— Кто это?

— Не знаю. Кто бы это ни был, вероятно, письмо бросил он. Адресовано мне.

Денби вскрыл конверт и прочитал:

Я знаю, что ты живешь с Аделаидой. Она была моей, но я избавился от этой швали. Можешь оставить ее себе. Только скажи ей, суке паршивой, пусть не попадается мне на глаза, если не хочет, чтобы я спустил с нее шкуру. Для тебя же у меня есть наказание. Я тебя вызываю на дуэль. Оружие — пистолеты. Место выбирай сам. Если откажешься драться, я заклеймлю тебя как труса и пропечатаю в газетах о твоей преступной связи с прислугой, я буду преследовать тебя везде — дома, на службе, всеми способами, какие только смогу придумать, я превращу твою жизнь в ад. Если же ты примешь вызов, я приложу все усилия, чтобы убить тебя или изувечить.

Уилл Боуз

Денби прочитал это странное письмо, высоко подняв брови. Затем протянул его Аделаиде.

Аделаида пробежала его глазами. Письмо выпало у нее из рук. Она прикусила пальцы, чтобы сдержать крик. Потом пробормотала:

— Я потеряла его, потеряла, это был единственный человек, который любил меня по-настоящему!

Глава XXV

На пороге гостиной в своем коричневом плаще с поднятым воротником стояла Лиза. На полу в прихожей был виден большой клетчатый чемодан. Солнце, выглянувшее после дождя, заливало комнату ярким светом. У окна стоял Майлз.

— Закрой дверь, Лиза.

Вопрошающе глядя на Майлза, Лиза показала рукой назад, на прихожую.

— Диана наверху,— сказал Майлз.— Не думает же она, что ты уедешь, не попрощавшись со мной.

— Я не хочу усугублять...

— Ее боль? Тут уже ничего не изменишь. А как быть с нашей болью?

— Давай не говорить об этом,— сказала Лиза. Она закрыла дверь.

— Как же не говорить? Ведь мы сказали уже самое главное.

— Возможно. И хорошо, что мы на этом остановились.

— Ты решила покончить со мной одним махом.

— Это единственный выход.

— Может быть, даже и правильный. Хотя не уверен. Но уж, конечно, не единственный. Это насилие над природой.

— То, что правильно,— чаще всего и есть насилие над природой.

— Господи, Лиза, у меня кровь стынет от того, что ты говоришь.

— Я знаю. Я люблю тебя, Майлз,— произнесла она сухо.

— И я люблю тебя. Очень люблю. Я буду любить тебя всю жизнь. Я всегда буду думать о тебе.

— Не всегда, Майлз.

— Если, по-твоему, все кончено, ты ошибаешься. Нельзя столь хладнокровно распорядиться чувством.

— Совсем не хладнокровно, Майлз. Пойду позову Диану.

— Нет-нет, подожди.

Майлз подошел и стал в дверях. Лиза отступила в комнату.

— Сними плащ, Лиза.

— Нет.

— Еще не поздно придумать что-нибудь. Никогда не поздно, тем более сейчас.

— Не затевай этого разговора,— сказала Лиза,— не надо. Чем больше мы скажем друг другу, тем больше будем мучиться. И я и ты — мы оба прекрасно знаем, что другого выхода нет.

— Но мы ничего не обсудили.

— Ты же прекрасно понимаешь: мы ни к чему не придем.

— Мы ведем себя как безумцы, Лиза.

— Пойми, Майлз, это безнадежно, пойми. Пока ты не полюбил меня... хорошо, пока ты не понял, что любишь меня, я могла еще жить здесь. Я страдала, но мне было хорошо. Выносимо. Но теперь жизнь стала мучением и для меня, и для Дианы. Ты ведь знаешь, с Дианой ты не расстанешься. Ты любишь ее. А жить на два дома немыслимо. Я этого не выдержу, даже если выдержишь ты и выдержит Диана. Пойми ты, пойми, так уж оно все устроено. Ничего не поделаешь.

— Может, есть еще что-нибудь, что-нибудь такое, до чего мы не додумались?

— Нет.

— Я бы расстался с Дианой. Мы ведь и не говорили...

— Нет, не расстался бы, Майлз. Это как раз то, чего нам не следует обсуждать. Мы должны оставаться людьми. От любви не умирают. Сейчас в нас все до безумия обострено. Но пройдет полгода, и нам станет легче, хотя, когда ты влюблен, это трудно себе представить.

— Мне не станет легче через полгода, Лиза. Кажется, ты не понимаешь всей серьезности случившегося. Я ждал такую, как ты, всю жизнь.

— Я понимаю, Майлз. Ведь я люблю тебя. Я тоже ждала, я жила любовью эти годы. Я не думала, что все так кончится. А если бы даже и думала, я бы все равно любила и ждала. Нельзя идти к цели напролом, губя всех — Диану, тебя, меня. Разве, бросив ее, могли бы мы жить вместе? Мог бы ты писать стихи, а я — делать все то, что я делаю для людей?

— Ты говоришь — мы все преувеличиваем. А не преувеличиваем ли мы страданий Дианы? Может, ей как раз будет хорошо, лучше, чем...

— Она твоя жена, она отдала тебе жизнь. Этого ни преувеличить, ни преуменьшить нельзя.

— Господи, я понимаю, что нельзя...

— Сейчас ты думаешь обо мне. А если б ты ушел со мной, ты бы думал о Диане.

— Лиза, сейчас происходит то, чего я не в состоянии выдержать. Я никогда не верил в твой отъезд. Вот почему я спокойно выслушивал твои доводы. Но и теперь, когда происходит самое невыносимое и мы расстаемся, я знаю только одно — ты неправа. Должен же быть какой-то выход. Я только чувствую, что тебе нельзя уезжать, нельзя уходить из моей жизни.

— И все-таки тебе придется смириться с моим отъездом, Майлз. Вот, смотри — у меня билет на самолет. Лондон — Калькутта.

Лиза открыла сумочку, достала красный авиабилет и показала его Майлзу, держа в поднятых руках.

— Когда ты летишь?

— Этого тебе лучше не знать, Майлз. Я тебя безнадежно люблю. Даже сильнее, чем раньше. И мне очень трудно расстаться с тобой. Сейчас, когда я вижу, что ты начинаешь верить в то, что я уезжаю, я тебя особенно люблю. Мы должны сохранить любовь, не опорочить ее, даже если мы ее и *убиваем*. Понимаешь?

— Любовь и смерть. Мне это представляется не столь романтичным, Лиза.

— Ничего романтичного тут нет. Это действительно смерть. *Мы забудем друг друга.*

— Нет-нет. Ты слишком многим жертвуешь — ради меня с Дианой...

— Я жертвую не ради тебя с Дианой. Я приношу жертву своей любви. Эта любовь столь велика, что я не могу поступить по-другому.

— Не можешь пойти ни на какой компромисс?

— Ни на какой. Только если бы я встретила тебя первой, раньше Дианы, но это уже непоправимо.

— Господи, господи, раньше, первой... Что же тут непоправимого, это вполне поправимо...

— Я сюда больше не вернусь.

— Мы с тобой еще встретимся.

— Не встретимся.

— Значит, ты едешь на родину Парвати...

— Я всегда хотела туда.

— Так это там ты будешь работать?

— Да. Я обо всем договорилась в Комитете защиты детей. Я еду в их Калькуттское отделение, а потом уже в какое-то конкретное место. Придется изучать хинди. Я буду очень занята.

— А я не буду занят. Я остаюсь здесь один со своим горем. Я буду тосковать по тебе.

— Ты будешь писать стихи. Поверь, Майлз, пойми меня и смирись.

— Я не могу писать. Твой отъезд тем более не вдохновит меня, а убьет.

— А твои боги, Майлз? Они тебя вознаградят.

— Они не вознаграждают за отказ от любви.

— Кто знает?

— Ты будешь мне писать?

— Нет.

Майлз протянул руку, погладил рукав ее плаща, сжал теплое запястье. Затем медленно притянул ее к себе. Она вяло повиновалась, только склонила голову ему на плечо. Проговорила, уткнувшись в пиджак:

— Я сделала ошибку, приехав сюда, Майлз, нельзя было мне у вас жить. Есть тайны, которые сами себя выдают.

— Я люблю тебя. Это была и моя тайна.

— Я заразила тебя любовью.

— Это не проказа, Лиза, хотя так же неизлечимо. Пожалей меня...— Он стал осыпать поцелуями ее лицо.

Лиза мягко отстранилась.

— Мы зря затеяли с тобой этот разговор, Майлз. Ты ведь постараешься утешить Диану, правда? Вот что требуется от тебя сейчас, этим ты и займешься. Ты должен поддержать Диану. Ее боль — совсем другая, чем наша. Уж я-то знаю.

— У тебя такой тон, будто ты приговариваешь нас к смерти.

— А теперь мне нужно идти. Я позову Диану.

— Нет, нет-нет, подожди, пожалуйста... Лиза, нам нужно многое сказать друг другу... Мы ни о чем не договорились... Я не знаю, где ты, что ты... Встретимся через несколько дней, за это время мы все обдумаем. Я не могу вот так отпустить тебя.

Лиза открыла дверь и позвала:

— Диана!

Диана медленно спустилась по лестнице. Она была тщательно даже нарядно одета: голубой твидовый костюм, в ушах — серьги. Видно было, что она недавно плакала.

— Я уезжаю, Ди. Не сердись на меня. И не забудь навестить Бруно.

— Бруно тоже нужна ты, а не я,— натянуто произнесла Диана, глядя на сестру.

— И ты станешь нужна. Возьми его за руку и погладь, только с любовью...

— Хорошо-хорошо.

— Ди, ты не проводишь меня до метро? Нет, Майлз, ты оставайся дома. Диана меня проводит... Надень плащ, Ди, на улице дождик.

Лиза пошла к двери, и Диана медленно последовала за нею, не взглянув на Майлза. Он стоял на пороге гостиной и смотрел, как они уходят. В открытую дверь видна была улица, сияющая в голубой дымке дождя.

— До свидания, Майлз.

Дверь закрылась. Они ушли. Майлз вернулся в гостиную, опустился в кресло. Это не конец, сказал он себе. Теперь мне нужно просто все обдумать. Проснувшаяся в нем надежда заглушила боль. Он взглянул в окно на мокрый сад, на светло моросящий дождик. Она не сказала, где она будет жить, но он найдет ее. Возможно, это известно Диане. Да и в любом случае можно даже полететь в Калькутту. Она же не умерла, она не ушла навеки. Нет-нет, думал он, я не смирюсь, это ведь все равно что смертный приговор.

Глава XXVI

Бруно спал. Огромная голова, которая из-за косматой бороды казалась еще крупнее, неудобно свесилась набок, рот был открыт, нижняя губа влажно блестела среди тусклых седых волос. Он глубоко, прерывисто дышал. Темные пятнистые руки с опухшими суставами подрагивали, пальцы нервно теребили светло-желтое покрывало. Может, ему снится что-нибудь, подумала Диана.

Бруно спросил про Лизу. Диана сказала, что она уехала. Он спросил, когда она вернется и уехал ли Майлз тоже. Кажется, он считал, что Лиза — жена Майлза. Диана ответила ему неопределенно. Он расстроился, сделался рассеян и, словно не замечая ее присутствия, произнес: «Бедный, бедный Бруно». В конце концов ей удалось вовлечь его в разговор, они поговорили о домах, в которых ему довелось жить раньше, о преимуществах различных районов Лондона. О том, как меняется Лондон, так же ли он красив, как Рим или Париж. Бруно немного оживился. Диана не могла заставить себя погладить его, как велела Лиза, но, сделав над собой усилие, взяла его за руку, и Бруно не отнял руки, время от времени он даже безотчетно сжимал ей пальцы. Он не вызывал у нее прежнего отвращения, но трудно было вынести запах в комнате и мучительно ощущать этот внутренний распад, обреченность. Было что-то странное и горестное

в худеньком, изможденном теле, которое едва угадывалось под одеялом, словно оно ссохлось до предела и все жизненные соки отдало голове. Разговаривали они после обеда. Диана побаивалась встречи с Денби, к которой была сейчас не готова; и только собралась сказать, что ей пора, как Бруно неожиданно, продолжая держать ее за руку, уснул.

Диана растерялась и подумала: а вдруг он умирает? Она осторожно высвободила руку. Бруно дышал спокойно и ровно. Едва она отодвинула стул и встала, как сразу же ощутила, что Бруно отвлек ее от горя, нахлынувшего теперь снова при воспоминании о Майлзе и Лизе. Она стояла и смотрела на Бруно, пока все не расплылось у нее перед глазами. Она повернулась, пошла к двери и по дороге увидела, отчетливо и ясно, как деталь на картинах фламандцев, большой стеклянный пузырек с таблетками снотворного, стоящий на мраморной столешнице книжного шкафа. Она знала, что это такое, так как Бруно упомянул об этих таблетках, отвечая на ее вопрос, хорошо ли он спит. Диана застыла, глядя на пузырек.

С Майлзом она не обсуждала происшедшее. Он сделал несколько вялых попыток завести с ней разговор, но, казалось, испытал облегчение, когда она просто отвернулась от него, как побитая кошка, и ничего не ответила. Дня два после ухода Лизы они жили с Майлзом как два маньяка, с головой ушедших в бурлящую бездну своих дум. Вместе с тем внешне в их поведении не было ничего необычного. Диана ходила за покупками, Майлз — на службу. Они спали в одной постели, точнее всю ночь молча и неподвижно лежали бок о бок. Диана беззвучно плакала, слезы падали на подушку, она не отирала их. Днем они были подчеркнуто вежливы друг с другом, внимательны и предупредительны, соблюдали все приличия. Единственное, что изменилось в распорядке дня,— это еда. Словно по молчаливому уговору, они избегали совместных трапез. Диана время от времени приносила в столовую тарелки с бутербродами, и они порознь съедали их в течение дня, смущенные тем, что вообще в состоянии есть.

С Лизой Диана тоже ничего не обсуждала. Она не выказала сестре ни малейшего недовольства; и Лиза не пыталась объясниться с нею, хотя дважды взяла руку Дианы, сжала ее и приложила к своей щеке; Диана же молча, с недоумением посмотрела на нее. Она предполагала теперь, что Лиза решила уехать в Индию сразу же после ночного визита Майлза и ничего не сообщала об этом, пока не договорилась о работе. Она объявила, что уезжает, в самый день своего ухода из дому, утром, и Диана видела, что Майлз был ошеломлен не меньше, чем она. По дороге к станции метро Лиза говорила торопливо, холодно и деловито, а Диана молчала. Лиза внушала Диане, что Майлза нужно удерживать от всяких попыток разыскать ее, пока она не уедет в Индию, и что, конечно же, ничего у него не выйдет, даже если он и будет пытаться найти ее. Куда она направлялась, Лиза не сказала. Уже у самого метро она снова заговорила о Бруно. Они обнялись, постояли, закрыв глаза и крепко прижавшись друг к другу. И Лиза ушла.

Диана бродила по улицам весь этот день, и следующий тоже, сидела на скамейках в парках и в церковных двориках. Она бесконечно обдумывала все с самого начала, пытаясь найти что-нибудь утешительное для себя, но не находила. Первое время у нее не было никаких сомнений, что Майлз и Лиза уйдут вместе. Теперь у нее не было никаких сомнений, что ради нее они окончательно и бесповоротно решили убить свою любовь. Она не могла понять, что хуже. Предполагая, что они уйдут вместе, она оставила в стороне вопрос об их порядочности, а исходила только из того, какой великой и страстной была их любовь. Диана сразу же оценила силу этого чувства, поняв, что произошло нечто невероятное и что жизнь ее пол-

ностью перевернулась. Увидев однажды за обедом, как они смотрят через стол друг на друга, она тут же поняла, насколько всепоглощающее, огромное, зрелое чувство владеет ими. Диана никогда не ожидала ничего подобного. Ей и в голову не могло прийти, что сестра, которую они жалели вместе с Майлзом, способна пленить его.

В смятенном, испуганном воображении Дианы возникали картины ее будущей жизни, и все они были одинаково безотрадны. Как только страх, что Майлз от нее уйдет, уменьшился, ей стало казаться, что гораздо хуже и труднее принять жертву от них. Лучше уж самой принести себя в жертву. Тогда по крайней мере была бы оправдана и стала бы выносимей та жгучая ревность, смешанная с обидой, которую она все равно продолжала чувствовать и которая не уменьшилась ни на йоту, а только увеличилась теперь, когда она видела, как Майлз с обезумевшим взглядом мечется в четырех стенах на Кемсфорд-Гарденс, словно зверь в клетке. Для нее тоже и дом, и сад сделались неузнаваемы, представлялись теперь местом безысходного одиночества, тюрьмой. Майлз не мог ожидать от нее благодарности, даже если считал, что ведет себя с ней безупречно. Именно это его отношение к ней, возможно, и мучило ее больше всего. Решение Лизы и Майлза вроде бы обязывало Диану к благодарности, но оно и безмерно унижало ее. Интересно, что они говорили о ней? Она старалась не следить за ними. Может быть, они проводили целые дни вместе, пока она сидела и ждала их приговора. «Ты не можешь бросить бедняжку Диану».— «Бедняжка Диана, это разобьет ей сердце».— «В конце концов, она твоя жена. У нее нет никого, кроме тебя».— «Она не такая сильная и независимая, как ты, Лиза». Странно, они поменялись с Лизой ролями. Теперь Диана — птица с перебитым крылом, и ей никогда уже не взлететь.

Если бы они ушли, думала Диана, мне бы легче было это вынести. Конечно, мне было бы очень тяжело. Она пыталась представить себе опустевший дом, лишившийся вдруг привычного тепла и уюта. Они сжились за это время, словно зверята в берложке. И душа ее тонула в омуте горя, куда безвозвратно кануло ее семейное благополучие. «Никогда уже не будет как раньше, никогда». А вот если бы они ушли, думала она, у меня достало бы сил, самолюбия и гордости, чтобы пережить это. Я бы постаралась доказать им и всему миру, что очень даже распрекрасно могу это пережить. Мне было бы не так горько. Я нуждалась бы в поддержке, конечно, и нашла бы ее в ком-нибудь или в чем-нибудь. А теперь мне, победившей, удержавшей свои позиции, абсолютно не на кого опереться, я раздавлена. Тут я проиграла по всем статьям. Она отняла у меня Майлза, разрушила мою семью, у меня нет никаких надежд на новую жизнь, я осталась среди руин прошлого. Майлз с Лизой поступили правильно, и именно поэтому мое положение столь плачевно. Моя боль, моя беда навеки замурованы у меня в душе. Мне неоткуда взять сил, нечему пустить во мне ростки; я не могу продолжать жить в этой ненавистной роли жены, которой они решили принести в жертву свою великую любовь. Они унизили меня, уничтожили. Рано или поздно Майлз заговорит. Он будет говорить мягко, вкрадчиво, пытаясь внушить, что все-таки любит меня. Но я же видела, что такое их любовь. У нас с Майлзом никогда не было ничего подобного.

Они отказались от мысли уйти вдвоем. Ну а если бы она сама ушла, предоставив их друг другу? Она понимала в глубине души, что это было бы избавлением от неуемной боли. Она могла бы уехать куда-нибудь за границу, не оставив адреса. Но они вряд ли поверили бы, что она уехала навсегда. Они стали бы преданно, вместе разыскивать ее. Ведь у нее не было ни профессии, ни средств к существованию. Она подумала даже, не уйти ли ей к Денби, но тут же осознала, что это безумная мысль. Если бы она ушла к Денби, почувствовали бы Майлз и Лиза свою вину или это было бы для

них освобождением? Диана во все это время тягостных своих раздумий не забывала, что у нее в запасе есть еще Денби. В душе у нее по-прежнему жило чувство симпатии, благодарности к нему, она продолжала воспринимать его как отдохновение от Майлза. Здесь по крайней мере была почва для новой любви. Ей показалось очень странным, что Майлз не обмолвился ни словом по поводу пьяного визита Денби. Вне всякого сомнения, собственные страдания затмили для него истинный смысл поведения Денби. И все же был ли резон уходить к Денби? Не исключено, что он просто не знал бы, что с нею делать. Все это закончилось бы неразберихой и выявило бы окончательно ее безнадежную, рабскую привязанность к Майлзу. Неужели нет никакого выхода?

Диана отвела взгляд от таблеток и посмотрела на Бруно. Он лежал в том же положении, в каком разговаривал с нею, слегка приподнявшись, голова повернута набок. Нелегко было понять, даже глядя прямо ему в лицо, открыты у него глаза или нет. А вдруг он потихоньку следит за ней? Диана вернулась, подошла к кровати. Затаив дыхание, наклонилась над ним. Его глаза, почти неразличимые на опухшем лице, были плотно закрыты. Он тихо дышал, красная нижняя губа выпячивалась и спадала в такт дыханию.

Диана стояла посреди комнаты и смотрела в окно, на серые набухшие облака, которые, клубясь, проносились мимо труб электростанции. Мучительный страх охватил ее. У нее достаточно сил, чтобы вычеркнуть из жизни все эти постылые годы. Она любила Майлза и продолжает его любить до умопомрачения. Но не обернется ли теперь будущее серой вереницей лет на пепелище любви? Он никогда не простит ей своей жертвы. И она никогда не простит его. Они будут наблюдать воочию, как растет между ними стена отчуждения. Но если она уйдет со сцены, исчезнет, исчезнет совсем, она сохранит любовь: любовь Майлза, свою, Лизину. Не это ли самый простой выход, выход для них для всех, единственный выход?

У Дианы перехватило дыхание, она в нерешительности постояла и вышла вон из комнаты, по пути прихватив таблетки. Отворила дверь.

Прямо перед нею на лестничной площадке стоял долговязый черноволосый молодой человек.

— Ой,— сказала Диана. Что-то зловещее, жуткое было в этой неподвижной, внезапно представшей перед нею фигуре.

— Прошу прощения, если я испугал вас,— мягко сказал молодой человек,— я только хотел узнать, есть ли кто-нибудь у Бруно.

Диана закрыла дверь и спрятала пузырек с таблетками в сумочку.

— Мы с ним разговаривали, но он уснул.

— Меня зовут Найджел. Я сиделка. Сиделка Найджел. Почему-то не существует этого слова в применении к мужчине, а ведь есть же слова — писатель и писательница. Наверное, потому что женщин-писательниц гораздо больше, чем сиделок-мужчин. Вы не находите?

— К сожалению, мне нужно идти,— сказала Диана. Она стала спускаться по лестнице.

Однако Найджел быстро обогнал ее и встал лицом к ней перед дверью на улицу.

— Подождите, не уходите.

— Я спешу,— сказала Диана.

— Одну минутку.

Она остановилась в нерешительности и взглянула на него. У Найджела было очень бледное, словно бы сонное лицо, он стоял, лениво прислонившись к двери и раскинув руки. Диана была смущена и испугана.

— Позвольте мне пройти, пожалуйста.

— Нет, миссис Гринслив.

— Вы меня знаете...

— Я прекрасно вас знаю. Зайдемте-ка сюда, мне нужно вам кое-что сказать. Пожалуйста.

Он взялся за ремешок ее сумочки и мягко увлек ее в комнату напротив. Комната имела нежилой вид, в ней пахло пылью и сыростью, шторы были наполовину задернуты.

— Это гостиная. Но сюда никто никогда не заходит, как видите. Присядьте, пожалуйста.

Он слегка подтолкнул Диану, она опустилась на коричневый плюшевый диван, подняв облако пыли, и чихнула. Найджел раздвинул шторы, и в комнату хлынул холодный свет пасмурного дня.

— Что вы хотите от меня?

— Вам необходимо кое о чем узнать.

— О чем же именно?

— Денби любит вашу сестру.

Диана изумленно взглянула на Найджела, который стоял у окна, покачиваясь из стороны в сторону.

— По-моему, вы ошибаетесь,— сказала Диана.— Денби почти ее не знает.

— Он знает ее достаточно, чтобы потерять от нее голову.

— Должно быть, вы перепутали меня с сестрой. Не потому, что Денби... Впрочем, это вас не касается.

— Ничего я не перепутал. Вы ему нравились. Но потом он встретил и полюбил Лизу.

— Вы ошибаетесь,— сказала Диана поднимаясь.

— Взгляните-ка.— Найджел протянул ей кусочки бумаги, склеенные скотчем. Это было одно из незаконченных писем Денби к Лизе.

Диана пробежала письмо глазами, и оно выпало у нее из рук. Она снова опустилась на диван, глядя прямо перед собою. Конечно же, это знамение свыше. Теперь она знала, знала со всей очевидностью, что любовь Денби могла бы спасти ее от самоубийства. Но вот — Лиза отняла у нее и Денби. Диана сжала сумочку, нащупала лежащий там пузырек с таблетками. Пойду домой, подумала она, нет, пойду в гостиницу и сейчас же это сделаю. Все кончено. И с Денби тоже... Лиза завоевала весь мир. Слеза поползла у нее по щеке. О Найджеле она забыла.

Он сидел рядом с нею.

— Я решил, что вам следует об этом знать, если это что-то меняет.

— Ничего это не меняет,— сказала Диана, отирая слезу. Она снова попыталась встать.

— Подождите. Мне нужно вам еще кое-что сказать.

— О чем?

— О Майлзе с Лизой. Вам не стоит отчаиваться.

— Откуда вы все знаете?

— Потому что я бог. Может быть, в наше время он вот так и приходит в мир, немножко сумасшедший, незаметный человек, все его отталкивают, сбивают с ног, топчут. Или пусть я псевдобог, или даже один из бесчисленных псевдобогов. Это не важно. Псевдобог все равно истинный бог. Любая религия возвышает душу.

— Отпустите меня,— сказала Диана.

Найджел положил руки ей на плечи.

— Не нужно на них обижаться. Не нужно сердиться. Здесь не место обиде, не место злобе. Это испытание, испытание. Чтобы обрести новые небеса, новую землю. Это под силу лишь вам. Вы сможете, сможете все преодолеть.

— Отпустите меня. Это не ваше дело.

— Мое. Я люблю вас.

— Не говорите глупостей, я вас первый раз вижу.

— Не первый. Это я красил ограду. Это я запачкал волосы краской...

— Но там был... совсем другой...— Диана поднесла руку к лицу. Ей показалось, что она сходит с ума.

— Кроме того, я люблю всех.

— Тогда это не любовь. Уберите руки, пожалуйста.

— Не любовь? Я же вам сказал, что я бог.

— По-моему, вы сумасшедший. Или наркоман.

— Какая разница. Можно мне называть вас Дианой? Знаете, вы очень красивая.

Руки Найджела скользнули по ее плечам и сомкнулись на спине. Она стала сопротивляться, но он оказался на удивление сильным.

— Хотите, чтобы я подняла крик?

— Вы не поднимете крик. К тому же, кто придет вам на помощь? Бруно? Я просто хочу удержать вас своей любовью, пока не скажу вам все.

Диана, которая не могла пошевелить руками, попыталась оттолкнуть его коленом. Снова взметнулось облако пыли. Диана опять чихнула, а Найджел еще крепче стиснул ее в объятиях. Горестные, беспомощные слезы хлынули у нее из глаз. Она перестала сопротивляться.

— Ну-ну, не нужно бить бедняжку Найджела, он вас любит. Вы должны простить Майлза и Лизу.

Диана дала волю слезам. Она не могла их вытереть, потому что Найджел не отпускал ее. Наконец она сказала:

— Как?

— Дайте им переступить через вас. Может быть, они идут верным путем, пусть даже гордыня правит их норовистыми конями. Их гордости тоже нужно сделать уступку. Поймите и простите.

— Но у меня тоже есть гордость,— сказала Диана.

— Отбросьте ее. Избавьтесь от этого тяжкого груза.

— Но мне совсем не легче оттого, что они пошли правильным путем,— сказала Диана.— Они принесли мне большую жертву. Я бы должна быть им благодарна. Но я не могу. Они безумно любят друг друга.

— Каждый еще больше любит себя. Любовь к себе, к своей жизни толкнула их на этот путь. Они ничем не пожертвовали. Они выбрали то, что лучше для них.

— Я не могу обсуждать этого с вами,— сказала Диана. Она уже больше не пыталась вырваться.

— Но вы уже обсуждаете это со мной, милая. И самое удивительное, что все будут живы-здоровы. Майлзу будет хорошо, вы будете добры к нему, будете ходить за ним, как за ребенком.

— Им нужно было уйти вместе. Он станет презирать меня. Между нами больше не может быть любви. Представить себе страшно, что он думает теперь о ней и обо мне.

— Едва ли люди думают друг о друге. Они созерцают в уме плод своего воображения, имеющий сходство с тем, о ком они якобы думают, и обряжают его себе на потребу. Майлз не может думать о вас. Майлз думает о Майлзе. И это вы тоже должны понять и простить. Он еще будет доволен собой, и вы увидите улыбку у него на губах.

— А я как же?

— Вот оно! Все пекутся о себе! Смягчитесь. Отдайте им всю себя. Отбросьте гнев и ненависть. Любите. Отдайте себя всю. Любите Майлза, Денби, Лизу, любите Бруно, Найджела.

Диана склонила голову Найджелу на плечо. Слезы у нее на щеках высохли и больше не капали на пиджак Найджела.

— Я не знаю, как это сделать.

— А вы попробуйте, стоит ведь только захотеть.

— С ума сойти, еще и Денби с Лизой. Словно сон, наваждение, ничего нельзя понять.

— Это и есть сон, Диана. Понять можно лишь малую толику, вот и не сходятся концы с концами. Когда мы страдаем, мы думаем, что за всем кроется сложный промысл. Но это лишь порождение нашего больного воображения.

— Да, мне казалось, за всем этим кроется какой-то промысл,— произнесла Диана. Она выпрямилась и пригладила волосы. Найджел разжал руки.

— Ну вот видите, боль уже и проходит.

Она откинулась на спинку дивана, взглянула на Найджела и только теперь заметила синяк у него на лице вокруг заплывшего глаза.

— Где это вас угораздило?

— Столкнулся с реальным миром. А он ранит.

— Бедный Найджел...

— И отдайте-ка мне таблетки. Они вам не понадобятся.

Рука Найджела скользнула в сумочку Дианы, где лежал пузырек со снотворным. Он извлек его оттуда и положил к себе в карман.

Диана потерла заплаканное лицо, разглаживая кожу.

— Да, наверное, не понадобятся. Хотя я и не знаю почему. Ведь это все бессмыслица, о чем вы мне говорили.

— Конечно, конечно, я и есть бессмысленный жрец бессмысленного бога. Но если псевдоврач — не врач вовсе, то псевдобог — тот же бог, Диана. Разрешите мне проводить вас домой.

Глава XXVII

Денби включил свет. Большое холодное помещение в нижнем этаже типографии с рядом темных окон во всю стену, пропахшее краской, бумагой и многолетними залежами обрезков, казалось неприбранным, запущенным и в то же время притаившимся, настороженным, как бы застигнутым врасплох. Оно производило странное впечатление без однообразного стука машин, без людской суеты. Было около пяти часов утра.

Денби прошел от двери в глубь мастерской. Остановился у старинного пресса, который позавчера доставили из художественного училища. Литая сталь потускнела, была тронута ржавчиной. Тут требовалась окраска, смазка, любовь. Но даже в таком унизительном нерабочем состоянии пресс все же воплощал в себе силу и красоту. «Коуп, Лондон, 1827». Денби погладил большой железный цветок, который служил противовесом, нажал на рычаг, и пресс легко, плавно, величественно опустился. Денби отошел от него.

Дверь в дальнем конце мастерской выходила на каменную лестницу. По ней можно было пройти к небольшому причалу, ныне бездействующему, и оттуда, по железным ступенькам, спуститься прямо к воде, а во время отлива — на илистый берег Темзы. Денби отпер дверь и выглянул наружу. Начинало светать, небо над головой было блекло-серым, хотя все вокруг еще утопало в густой тьме. Он всмотрелся вдаль, пытаясь различить силуэты труб электростанции, но их не было видно. Внимание его привлекли освещенные окна на противоположном берегу реки, и на секунду он вспомнил о Бруно, хоть и знал, что со стороны типографии Стэдиум-стрит не видна. Денби вроде как различал уже воду в реке. А может, это ему казалось. Может, он слышал ее плеск, а может, у него просто шумело в ушах. Он вдыхал свежий приятный запах воды и ила. До отлива еще оставалось время.

Отойдя от двери, Денби посмотрел на часы. Он снял плащ, поежился, надел его снова. От холода ныло ушибленное плечо. Он прошел через мастерскую в свой кабинетик — клетушку, огороженную

покосившимися деревянными переборками, и включил там свет. В кабинетике, где сидели обычно Денби и Гэскин, было неприбрано, на столе лежала груда писем, некоторые из них были нераспечатаны. В последнее время Денби работать не мог, а доверить полностью все дела было некому. Стены в клетушке пестрели старыми торговыми рекламами и театральными афишами шестидесятилетней давности. Денби открыл шкафчик и налил себе виски. Ему было как-то не по себе.

Денби согласился на абсурдную дуэль с Уиллом Боузом, исходя из каких-то вполне определенных соображений, но теперь он уже не понимал, зачем ему это понадобилось. Конечно, у близнецов театральные пистолеты с холостыми патронами, и они инсценируют этот фарс, чтобы напугать его и унизить. Тем не менее предстоящая дуэль казалась ему дикой, опасной затеей, исход которой предсказать было невозможно; участвуя в ней, он вынужден экспромтом играть какую-то неясную ему роль, и неизвестно, удастся ли ему действовать твердо и с достоинством. Словом, он ощущал, что отдал себя в руки врагов.

Однако поначалу именно этого ему и хотелось — отдать себя в их руки, сделаться жертвой злого случая. Из головы не выходило слово «наказание», употребленное Уиллом в письме, и чудилось, что близнецы, которые, как считал теперь Денби, действовали заодно, были орудием судьбы, именно его судьбы, ополчившейся против него. Денби смутно сознавал, что дуэль — это конец, разумеется, не в буквальном смысле слова, но вся эта инсценированная маленькая трагедия так или иначе могла знаменовать завершение целого этапа его жизни.

Он знал, что Лиза уехала. Он заходил на Кемсфорд-Гарденс и видел ее пустую комнату. Диана сказала, что она уехала за границу навсегда. Денби не расспрашивал о подробностях. Конечно же, она уехала не одна. Они тихо постояли с Дианой в пустой комнате. Только потом он сообразил, что Диана, видимо, все знает о его любви к Лизе. Должно быть, Майлз рассказал. Денби каждый день ходил в типографию. Заботился о Бруно, прибегал в обед, чтобы покормить его. Найджела дня три не было дома. Потом он явился и снова стал исполнять свои обязанности. Только теперь он был врагом, сардонически усмехающимся демоном возмездия. Денби неловко, извиняющимся тоном разговаривал с ним, всякий раз поеживаясь от его улыбки. Аделаида уложила свои вещи и то и дело распаковывала чемоданы, когда ей что-нибудь требовалось. Она объявила, что уходит, но не уходила. Целыми днями пропадала где-то. Кухня была завалена грязной посудой, продукты портились. Денби мыл горячей водой только одну тарелку, которой пользовался Бруно. Сам же обедал в кафе.

Денби было очень жалко Аделаиду. То, что казалось таким естественным, простым и приятным, пока все шло хорошо, теперь стало представляться чуть ли не преступлением. Правда, он никак не мог понять, в чем оно состояло. Ведь вовсе не из-за того он не женился на Аделаиде, что она ему неровня, как она ему говорила. Он вообще не задумывался об их неравенстве. Просто такой обыденной, заурядной любви было недостаточно, чтобы жениться. Он бы и на Линде не женился. Может быть, преступление его в том, что он позволял любить себя больше, чем любил сам? А может, в том, что он проглядел, как его второсортная любовишка наложила на кого-то обязательства, связала по рукам и ногам? Но ведь, строго говоря, он по-своему любил Аделаиду. Это чувство существовало в действительности, оно неотъемлемо принадлежало дому на Стэдиум-стрит, вроде неприязательного духа, обитающего в комнатах, в кухне. Однако в конце концов оно оказалось жалконьким, слабым и мгновенно улетучилось, стоило только снова испытать настоящую любовь,

которая, как казалось теперь Денби, вернулась в его жизнь и которую он, к стыду своему, забыл.

Так какая же любовь все-таки была реальной? Порой он говорил себе, что Лиза, должно быть, сон, видение, и он все больше и больше будет убеждаться в этом, пока в конце концов ему не начнет казаться, что он и не встречал ее никогда, что ее вообще не было. Он вдруг потерял голову из-за женщины просто потому, что она была похожа на Гвен, серьезной, глубокой женщины с густыми темными волосами и хорошо очерченным, выразительным ртом женщины, которую он и видел-то всего несколько раз. Он потерял голову, потому что благодаря Лизе неожиданно вспомнил далекие времена жизни с Гвен и себя самого в ту пору. Лиза была ангелом воспоминаний, она возвращала утраченное.

И все же он знал, что она не просто видение. Она не воскресшая Гвен. Она совсем другая. И он не тот Денби, которого столь необъяснимо любила Гвен. Он обрюзг, проспиртовался, постарел. Но в то же время он, видимо, стал мудрее, он чувствовал это всем своим изболевшимся сердцем. За эти годы в нем исподволь накопилось что-то хорошее. Именно это неприметное, крохотное «хорошее» кричало и плакало в нем, когда ему смутно, но тем не менее лучезарно рисовалась совсем иная жизнь, какой она могла быть рядом с Лизой. И несмотря на то, что жил он как придется, и очень скверно поступил с Аделаидой, и любил разыгрывать из себя дурака, все же он нашел что-то в мире, какую-то крупицу смысла, ожившую и засиявшую от одного взгляда Лизы. Денби смутно осознавал свою двойственность и то, сколь велика в его жизни была одна часть — заурядная, и сколь мала другая — драгоценная. Но все эти мысли были совсем не столь отчетливы, и он проводил большую часть времени в горестном оцепенении, размышляя о Лизе и ее избраннике, разжигая до исступления свою страсть и ревность и даже не пытаясь взять себя в руки.

В том отчаянном состоянии духа, в каком он пребывал, Денби находил даже какое-то облегчение в мыслях о предстоящей «дуэли». Она представлялась ему чем-то безумным, разрушительным и в то же время соответствующим его настроению и даже необходимым. Его обездоленная душа жаждала испытания. Пусть его арестуют, посадят в тюрьму, судят, подвергнут наказанию — Денби был бы только рад. По ночам ему снилось, как в огромном пустом зале суда звучит женский голос, перечисляя все его проступки с самого раннего детства. Ему было бы легче, знай он, что положение его безвыходно. Здравый смысл подсказывал Денби, что вряд ли все закончится для него благополучно, но даже это ему хотелось знать наверняка — неопределенность терзала его. А пока тянулась все та же мучительная цепь случайных, нелепых событий. Если бы он встретил Лизу раньше, если бы у нее не было того, другого, ее возлюбленного, если бы она не видела, как он целовался с Дианой, если бы он сам был другим, лучше — а этого, по его мнению, он вполне мог достичь! Он принимал, даже приветствовал мысль о дуэли, она отвлекала его от тяжелых дум, казалась закономерной, даже необходимой.

Но сейчас, дрожа от холода в тесной каморке, освещенной электрической лампочкой, в окружении знакомых предметов, ставших вдруг мрачными и чужими, Денби увидел эту идиотскую затею в другом, более зловещем свете. С того момента, как раздался стук в окно и он получил заносчивое послание Уилла, Денби был сосредоточен только на себе. Он размышлял: принимать или не принимать ему этот вызов? Об Уилле Боузе Денби не думал иначе как о слепой силе, направленной против него самой судьбой. Теперь же, налив еще стаканчик, он наконец призадумался об Уилле. Он мало что о нем знал. Ему было известно только одно — что Уилл его ненавидит.

Но во что может вылиться эта ненависть? Уилл любил Аделаиду с детства. Она представлялась ему чистой прелестной девушкой, его суженой. Вот и все, что уловил Денби из слезных причитаний Аделаиды, когда получил вызов. Какие же чувства мог питать Уилл к человеку, который походя, развлечения ради, совратил девушку его мечты? Чего, по его мнению, заслуживал такой человек? Теперь Денби стало окончательно ясно, что Уилл намерен его унизить. Может, в этот ранний час, в этом безлюдном месте, которое предложил сам Денби, произойдет нечто совсем иное, чем он ожидал? Может, Уилл с Найджелом приведут кого-то с собой, свяжут Денби и надругаются над ним? Он слышал, что такое бывает.

Денби поставил стакан на стол и вышел в мастерскую. Окна уже побледнели. Он выключил свет, увидел берег реки и переливающуюся блестящими желтовато-серыми чешуйками воду. Противоположный берег скрывался в тумане, колеблющемся и дрожащем, излучающем рассеянное янтарное сияние, в котором слабо, но поутреннему необыкновенно четко вырисовывался захламленный берег под окнами типографии. Денби била дрожь.

Услышав за спиной какой-то звук, он быстро обернулся. Он оставил наружную дверь незапертой, как договорились. В дальнем конце мастерской стояли двое, один — высокий, тощий, другой — пониже и поплотнее.

— А, доброе утро,— сказал Денби.

Ему не хотелось снова включать свет. Посетителей он узнал и так. У него сильно забилось сердце.

Уилл с большим ящиком под мышкой остался стоять у двери. Найджел скользящей походкой, как бы на цыпочках, направился к Денби. Когда он подошел к окну, Денби ясно увидел его лицо.

— Вы один?

— Да. Я решил обойтись без секунданта.

— Это немножко не по правилам,— сказал Найджел.

Он остановился, внимательно глядя на Денби. Его осунувшееся лицо светилось счастливым возбуждением, под глазом все еще красовался лиловый синяк.

— По-моему, эта дуэль — нелепая затея,— громко произнес Денби.— Я думаю, нам надо помириться и разойтись по домам. Сам не знаю, почему я здесь.

Уилл прошел в глубь мастерской. Остановившись в нескольких шагах от Денби, он положил свой ящик на офсетный станок и взглянул на Денби с уничтожающей холодной ненавистью.

— Ну что ж,— сказал Денби.— Как хотите. Развлекайтесь. Только побыстрее. Мне нужно домой.

Он, конечно, ломает комедию, но уж больно всерьез, подумал Денби. Теперь мне уже не уйти. Сделай я только шаг к двери, он сразу кинется на меня. Во всяком случае, хорошо, что их всего двое.

— Что ж, пойдемте,— сказал Найджел.— Кажется, начался отлив. Удачное вы выбрали место.

Денби отворил дверь. Повеяло сырым, свежим воздухом, в котором улавливался запах моря. Денби глубоко вдохнул его и, нетвердо ступая, придерживаясь рукой за парапет, сошел по ступенькам. Он пересек причал и стал медленно спускаться по железной лесенке на берег. Встав на податливый, смешанный с песком ил, он увидел на верхней ступеньке огромные башмаки Уилла с резиновыми подошвами. Завеса тумана переместилась теперь к центру реки, а здесь, над берегом, он чуть рассеялся, отступил, нависнув над ними сияющим сводом, бледно высвечивающим полоску суши шириной метров в шесть между кромкой воды и парапетом причала. В тишине, тоже, казалось, исходившей от тумана, все словно парило в воздухе, и Денби пугал звук собственных шагов по вязкому песку. Он остановился, пристально глядя на кромку воды. Отлив еще не кончился, вода в реке

продолжала убывать. Лоснящаяся полоска песка отливала желтизной. Дальше за нею простирался каменистый неровный берег с разбросанными повсюду полиэтиленовыми мешочками, старыми автопокрышками, разноцветными бутылками и гладкими, отмытыми за время долгого пребывания в реке древесными обломками. В ясном свете занимающегося дня весь этот беспорядок вокруг казался намеренно созданным, словно декорация.

Уилл стоял у лестницы и возился с замком ящика, который поставил на ступеньку. Найджел легкой, скользящей походкой приблизился к Денби. Денби ясно увидел его лицо, на нем блуждала какая-то затаенная улыбка, будто на старинной иконе.

— Какой вы предпочитаете порядок дуэли? У вас есть особые пожелания?

— Мне все равно,— сказал Денби.

— Есть несколько вариантов...

— Решайте сами. Только побыстрее.

— Уилл предлагает такие условия: отмерить двадцать шагов и обозначить это расстояние двумя чертами. Потом отойти от каждой черты еще на двадцать шагов. По моему сигналу вы оба сходитесь и стреляете, не доходя до черты или стоя перед нею. Команды стрелять не будет — когда хотите, тогда и стреляйте.

— Найджел, нельзя ли прекратить эту комедию? — тихо спросил Денби.— Может быть, мы с Уиллом просто поговорим? Я ведь понимаю, каково ему...

— Хотите принести ему извинения?

— Да нет! Ну просто поговорить, как цивилизованные люди...

— Это исключено. Вы не понимаете. Уилл не может разговаривать с вами, не может.— Найджел коснулся руки Денби. Зубы у Найджела стучали.

— Просто какое-то сумасшествие...

— Стойте здесь. Я переговорю с Уиллом.

Найджел отошел, увязая в скрипучем песке, и Денби услышал приглушенные голоса. У него кружилась голова, он себя чувствовал как после хорошей выпивки. Вся эта ясная, четкая картина словно плыла у него перед глазами. А Найджел уже стоял рядом и что-то вкладывал Денби в руку.

— Возьмите. Вы умеете обращаться с пистолетом?

Денби поднял руку, в которой оказался изящный дуэльный пистолет с тонким длинным стволом. Гладкая, согревшаяся у него в ладони рукоятка была из дорогого красного дерева с богатым древесным узором. Ствол и утолщение рукоятки были инкрустированы серебряным цветочным орнаментом. Денби с восхищением разглядывал эту странную увесистую игрушку.

— Прицеливайтесь по стволу. На вытянутой руке. У него небольшая отдача.

— Вот уж развлечение для вас с братцем,— сказал Денби.

— Пистолет заряжен. Если не хотите попасть в Уилла, стреляйте в сторону. Помните: за черту не заходить.

— Прямо как в кино.

Денби, который хорошо умел обращаться с револьвером, а порой забавы ради и из пистолета стрелял, проверил оружие. Пистолет был заряжен. Конечно, холостыми патронами... но заряжен. Похоже, братья решили довести спектакль до конца.

— После того как я брошу платок, можете стрелять.

— Не хватает только врача,— сказал Денби.

Найджел поднял на него воспаленные, сияющие глаза, ухмыльнулся и заскользил прочь.

Становилось все светлее. Уилл отступил за железную лесенку. Денби видел, как Найджел измерил шагами расстояние, провел деревяшкой сначала одну черту, потом другую. Подул утренний вете-

рок, туман немного рассеялся, однако противоположный берег все еще оставался невидим. Денби поднял воротник плаща. А если все это взаправду, подумал он, и меня сейчас убьют? Лиза, где ты теперь?

— Идите, пожалуйста, туда, назад,— сказал Найджел.

Он указал Денби за черту, которая была проведена на берегу среди камней. Вдалеке виднелась неподвижная фигура Уилла, прямая, напрягшаяся, маленькая, точно грозно нацеленная пуля. Денби различал какое-то лиловое пятно — должно быть, воротник рубашки или шарф Уилла.

— Между вами шестьдесят шагов,— сказал Найджел.— Вы не должны заходить за вторую черту, стрелять можете в любой момент.— Пальцы Найджела теребили рукав плаща Денби.

— Извини, что я стукнул тебя об столб,— сказал Денби.— Я не хотел.

Воздух насыщен был легкой дождевой пылью. Черные волосы Найджела покрылись налетом блестящих капелек.

— Пустяки,— сказал Найджел.— Желаю удачи. Если выстрелите первым, сразу повернитесь боком, так меньше риска. Еще не рассвело как следует, Уилл наверняка промахнется.

Найджел отошел. Все это инсценировано, чтобы напугать меня, подумал Денби. Они хотят, чтобы я дрогнул, потерял самообладание, стал умолять их не стрелять, убежал. Смешно. Однако Денби била дрожь.

Найджел стал посередине, на одинаковом расстоянии от Уилла и Денби. Помахал над головой белым платком. На берегу ясно виднелись две черты, между которыми было двадцать шагов. Где-то на реке загудел теплоход. Платок упал на землю.

Уилл медленно пошел вперед, уверенным движением поднимая пистолет на вытянутой руке и наводя его на Денби. Денби пристально смотрел на него. Затем, словно под действием магнитного поля, тоже двинулся вперед. У него гулко, тяжело и неровно стучало сердце. Денби прижал к груди левую руку. Это спектакль, говорил он себе, всего лишь спектакль. Но законы сцены уже завладели им, заставили стать актером, и он, нащупывая курок, начал поднимать пистолет. Все это глупо, нелепо, просто жалкое кривляние. Нужно кончать со всем этим, подумал Денби. Он непроизвольно отвел пистолет от медленно приближающейся, но все еще далекой фигуры Уилла, опустил ствол, направил его в сторону реки и нажал на курок.

Пистолет дернулся, раздался оглушительный выстрел, одновременно с ним — дребезжащий звон на высокой ноте: разлетелась на осколки зеленая бутылка, лежащая на берегу у самой воды.

Денби застыл, глядя на разбитую бутылку,— звук выстрела еще отдавался у него в ушах. Значит, пистолет был заряжен по-настоящему.

Денби выронил пистолет, из которого вился белый дым, и он с глухим стуком упал на поблескивающий грязно-серый ил. Денби нагнулся, чтобы поднять пистолет, и увидел прямо перед собой в ореоле золотистого сияния медленно приближающегося Уилла. Денби попытался собраться с мыслями. Нужно срочно что-то сделать, подумал он, я должен остановить его, все это нелепая ошибка. Он хотел сдвинуться с места, но тело будто налилось свинцом. Он стоял как вкопанный, завороженно следя за все укрупняющейся фигурой с наведенным на него пистолетом. Да, Уилл был в лиловой рубашке. В лиловой рубашке.

А если этот человек убьет меня?— пронеслось в голове у Денби. Он хочет меня убить, он желает моей смерти. Мне следовало понимать, что это никакая не игра. Но он же должен был видеть, что я не стал причинять ему зла, что я не стрелял в него, нужно объяснить, что все это ошибка, я не могу умереть по ошибке. Кто это поймет?

Денби поднял руку. Он попытался сдвинуться с места, но ноги его будто вросли в вязкий ил. Он так и стоял с поднятой рукой, словно подавая сигнал, словно защищая себя знамением. Начал усиливаться дождик.

Уилл подошел к черте и остановился, тщательно прицеливаясь. Между ним и Денби было метров тридцать.

Его нужно остановить, думал Денби, я должен крикнуть ему. Но он оцепенел от страха и ожидания пули. Душа его словно воспарила в иные сферы. Он видел себя бездыханным на берегу Темзы с пулей Уилла в сердце. Я умираю из-за женщины, которую не любил, думал он, я умираю потому, что не сумел любить, я умираю у порога любви. Я был недостоин любви. Денби пытался заставить себя сделать хоть шаг или хотя бы повернуться боком, как советовал Найджел. Но не мог отвести взгляда от Уилла, который продолжал целиться в него.

— Нет! Нет! Нет! — что-то темное замелькало в поле зрения, что-то подвижное, подпрыгивающее, это был Найджел, который кричал и размахивал руками. Пританцовывая, он прыгал прямо перед Денби, камешки так и летели у него из-под ног.

— Убирайся, черт тебя побери!

Услыхав крик Уилла, Денби рванулся вперед и схватил Найджела за талию. Из-за его плеча Денби видел нацеленный пистолет. Он сделал Найджелу подножку и повалил его на землю. Уилл снова что-то прокричал и выстрелил.

Денби услышал свист пули, пролетевшей мимо головы, тело его обмякло, и он тяжело опустился на камни. Найджел лежал, вытянувшись во весь рост, и смотрел на Денби. Потом глаза его закрылись, и на лице появилось выражение блаженства. Эхо выстрела замерло вдали, наступила странная глубокая тишина.

Денби хотел протянуть руку, чтобы потрясти Найджела за плечо, но у него не хватило сил, и он наклонился над Найджелом, глядя на его обескровленное блаженное лицо. Послышался скрип шагов.

— В кого я попал? — спросил Уилл, который подошел к ним с опущенным дымящимся пистолетом в руке.

Лицо его было бледно, губы дрожали.

— К счастью для вас, ни в кого,— сказал Денби и стал подниматься.

— Найджел, Найджел,— Уилл опустился на колени рядом с братом.

Найджел открыл глаза.

— Привет, Уилл. Кажется, я побывал на небесах.

— Тебя не задело, кретин несчастный?

— Нет. Но вон там, по-моему, полиция.

У соседнего причала, принадлежавшего какой-то другой фабрике, появился человек в форме. Вдалеке кто-то закричал. Денби повернулся и пошел в противоположном направлении по скользкому берегу. Потом он решил, что идти глупо, и бросился бежать. Туман рассеивался; сквозь блестящую завесу дождя Денби видел караван барж, очертания моста и рябую от капель воду.

Дальше вода омывала основание каменного забора, ограждавшего церковный дворик. Берег кончился, и Денби шагал уже по воде. Сзади слышались крики. Денби зашел глубже, изо всех сих раздвигая воду, и, неожиданно испытав блаженное чувство избавления, отдал себя на волю Темзы, оторвался от земли и поплыл на середину реки, к баржам. Он проплыл под кормой последней баржи и скрылся за ней.

Тишина и покой снизошли на него. Денби плыл медленно, брассом, почти не возмущая глади воды. Было совсем не холодно. Его мягко уносило медленное течение. Он ощущал странную, блажен-

ную просветленность, как будто все его грехи, даже давно забытые, были ему вдруг прощены. Туман рассеялся, и дождик стал утихать. За спиной у Денби показалось бледное солнце, и он увидел, как в небе над Лондоном нарождается радуга, мостом перекидываясь через Темзу с севера на юг. Денби плыл ей навстречу. Он был уже под Баттерсийским мостом.

Глава XXVIII

Дождь, дождь, дождь. Аделаида сидела у себя в комнате при зажженном свете. Ей было страшно. На улице давно уже стемнело, и трудно было понять, вечер сейчас или ночь. Темно стало после полудня, когда пошел дождь. Часы остановились, видимо теперь уже ночь.

Опять предупредили о наводнении. Но о нем предупреждали уже много раз, а никакого наводнения не было. Темнота и непрерывный яростный стук дождя в окна угнетали ее. Каким-то жутким сделался этот дом. Словно в нем поселился злой дух. Даже заглянуть на кухню было выше ее сил. Она боялась Найджела, боялась Денби, боялась Бруно. Она опасалась, что Бруно умрет, когда в доме, кроме нее, никого не будет. Все появлялись и исчезали самым неожиданным образом. Вдруг однажды они уйдут и больше не вернутся. Аделаида и сама хотела уйти, она уже несколько дней назад собрала вещи, но уйти не хватало духу, да и некуда было.

Мне незачем оставаться здесь, размышляла Аделаида, нужно переехать в гостиницу. Однако ей не хотелось особенно тратиться. Она никогда не останавливалась в гостиницах и понятия не имела, какая из них могла быть ей по карману. Нужно искать другую работу, думала она. Но эта мысль наводила на нее ужас. Аделаида чувствовала, что не в состоянии вынести никакой работы, никаких новых людей. Не в состоянии вообще больше жить. Теперь она понимала, что всегда любила одного Уилла. Его вспыльчивость, которая так ее раздражала, теперь казалась ей соответствующей ее собственному характеру и даже притягательной. Она подчинилась ему, покорилась, но слишком поздно. Годы, которые она провела с Денби, стали казаться ей призрачным сном. Она должна была распознать своего господина еще в детстве и повиноваться ему во всем. Перед беспощадной реальностью любви Уилла очарование Денби развеялось как дым. Аделаида забыла о своей любви к нему, ей казалось, что ее обожание Денби объяснялось какими-то совершенно посторонними причинами, которых теперь она понять не могла. Она уже не питала к нему враждебности, хотя ей все еще очень не хотелось видеть его. Чувство, будто он был к ней несправедлив, исчезло. Теперь, когда Денби сделался ей так же безразличен, как и она ему, Аделаида горевала совсем по другому поводу. Она злилась на себя, на свое легкомыслие, на свою близорукость. Все эти годы суженый был у ее ног, и вот она его безвозвратно потеряла.

Аделаида сидела на кровати и плакала. Сотни раз рисовалась ей сцена примирения — она бросается перед Уиллом на колени, он обрушивает на нее свой гнев и наконец прощает ее. Но она понимала, что попытка увидеться с ним ни к чему не приведет, слишком хорошо она знала его. Он способен обойтись с ней круто, даже избить ее, от него не приходилось ожидать благородных проявлений гнева. Могло произойти что-то безобразное, унизительное, непоправимое. Она думала было попросить посодействовать ей Найджела, даже тетю. Однако она знала, что Уилл не выносит Найджела, а к тете она не отваживалась идти из страха встретить там Уилла. Наконец, Аделаида написала Уиллу письмо: «Прости меня, пожалуйста. Теперь я поняла, что люблю тебя». Но оно казалось фальшивым, неубедительным, не имеющим ничего общего с тем, что творилось у нее в душе. Письмо она отправила, просто на всякий случай, подобно не-

верующему, который ставит в церкви свечку. Он никогда не простит ее, он возненавидел ее навечно.

— Аделаида!

Она и раньше слышала, что Бруно звал ее, но не обращала на это внимания. Она вяло поднялась и пошла наверх.

— Аделаида!

— Иду-иду, не кричите.

У Бруно в комнате было холодно. Горел и верхний свет, и настольная лампа. Дождь вовсю барабанил в поблескивающее черное, незашторенное окно. Постель Бруно была в беспорядке, подушка свалилась на пол. Сам он бочком лежал на кровати, неуклюже свесив голову, словно у него надломилась шея. Тяжеленная книга о пауках лежала на полу у кровати.

— Чего вам?

— Куда все подевались?

— Не знаю.

— Где Денби, Найджел?

— Не знаю.

— Какой страшный дождь.

— Может, хотите чаю?

— Нет. Я отвратительно себя чувствую. Поправь мне, пожалуйста, подушки, Аделаида! Все меня бросили. Я тут давно мог умереть, никто бы и не заметил.

Стараясь не дышать, чтобы не ощущать запаха, Аделаида, придерживая Бруно за костлявое плечо, положила ему под голову свалившуюся подушку, поправила постель, покрывало. С усилием выпростав руки, Бруно опустил рукава красно-белой полосатой пижамы.

— Подай мне, пожалуйста, книгу. И задерни шторы.

Аделаида задернула шторы и швырнула на кровать книгу.

— Еще чего-нибудь?

— Аделаида, включи электрокамин. Холодно, будто зима на улице.

— Не нужно постель разорять, тогда и холодно не будет.

— У меня все болит, Аделаида, сил моих больше нет. По радио сказали, что вода в Темзе поднимается.

— Они это все время говорят.

— С северо-запада дует штормовой ветер, в Теддингтоне прорвало плотину.

— Не берите в голову.

— Аделаида, дай мне «Ивнинг стандард», пожалуйста.

— Сегодня газет не приносили.

— Аделаида, будь добра, сделай мне грелку. Я замерз. Извини, что я тебя беспокою.

Аделаида пошла в ванную, набрала в грелку горячей воды из-под крана, торопливо отерла ее полотенцем, вернулась к Бруно и, снова стараясь не вдыхать воздух, сунула грелку в изножье кровати, под каркас.

— Достаете?

— Да. Только очень горячо.

— Сейчас я ее обмотаю чем-нибудь.

— Нет-нет, не беспокойся.

— Дать вам еще одеяло?

— Нет, это будет слишком тяжело. Аделаида, ты бы посмотрела: может, там действительно наводнение?

— Да что вы в самом-то деле! Нас бы предупредили в случае чего. Просто большой прилив. Они всегда из мухи слона делают.

— Аделаида, пожалуйста, выйди посмотри. Господи, хоть бы Денби пришел.

— Ничего себе — выйди посмотри! Там же дождь и темень. Я только промокну до нитки.

— Ну позвони куда-нибудь, позвони в полицию. Аделаида, ну пожалуйста...

— Да чего вы волнуетесь? Ну ладно, пойду позвоню.

Закрыв дверь в комнату Бруно, Аделаида спустилась по лестнице. В прихожей было темнее обычного. Она на ощупь отыскала телефонный справочник и пошла в гостиную — посмотреть при свете номер полиции. Гостиная имела заброшенный, нежилой вид. В большие черные эркерные окна барабанил дождь. Под одним из них натекло на ковер воды. Аделаида подошла к телефону, сняла трубку. Стала набирать номер. И вдруг сообразила, что гудка не было. Телефон не работал. Она положила трубку, снова сняла ее. Телефон молчал.

Аделаида больше не пыталась звонить. Она постояла в темной прихожей, прикусив пальцы. Потом подошла к двери на улицу, открыла ее, но тут же захлопнула, оглушенная неистовым ревом дождя. Он лил так, что не видно было уличных фонарей, все тонуло во мраке. Неужели никто не поможет, думала она, неужели никто не придет? Соседи были в основном люди пожилые, и она их почти не знала. Хоть бы Денби пришел. Одиночество, шум дождя, перепуганный Бруно — она не могла больше этого вынести. Дойду до Арсенала на Чейни-Уок, подумала Аделаида, наверное, там ярко горят фонари, как ни в чем не бывало гуляют люди, они посмеются над моими страхами.

— Нет наводнения! — крикнула она Бруно.— Полиция говорит, наводнения нет. Пойду погляжу, что там на улице. Я скоро вернусь.

Она надела плащ, повязала голову шарфом, отперла дверь. Выйдя на улицу, в темноту, она едва сумела закрыть за собой дверь — так неистовствовал ветер и хлестал дождь. Справившись с дверью, Аделаида спустилась по ступенькам и пошла по улице. Сточные канавы были переполнены, по тротуару бежала вода. Мостовая превратилась в сплошной поток. Вода хлюпала у Аделаиды в туфлях. Промокнув до нитки, она остановилась. Она стояла в темноте под беспросветным ливнем. Безумие идти куда-то в такой дождь. Но, вспомнив о фонарях и смеющихся людях на Чейни-Уок, она поспешила дальше.

Задыхаясь от усталости и страха, Аделаида добралась до Креморн-роуд. Одежда липла к телу, сковывала движения. Аделаида шла по щиколотку в воде. Дождь шпарил вовсю. Откуда-то из-за плотной завесы ливня доносился непонятный, жуткий рев. На углу она постояла, глядя в сторону Чейни-Уок, но из-за дождя ничего не увидела. Ей крикнули что-то с порога и, спасаясь от дождя, захлопнули дверь. Ступая по воде, Аделаида чувствовала, что поток все прибывает. Какой-то человек вынырнул из мрака, он бежал, точнее пытался бежать.

— Не ходите туда! — крикнул он.

— Что случилось? — громко спросила Аделаида. Шум воды почти заглушал ее голос.

— Река вышла из берегов. Не ходите туда. Назад! Полиция...— прыжками преодолевая поток воды, человек исчез из виду.

Аделаида закричала от страха и побежала назад. Но это был не бег, это была переправа вброд. С каждым шагом она все с большим трудом вытаскивала ноги из воды. У нее соскочила туфля, тогда она сбросила и другую. Задыхаясь, она ухватилась за ограду. Высоко поднимая ноги, в ужасе причитая, она пробиралась вдоль ограды. Откуда-то с верхнего этажа слышались истерические вопли. Аделаида добралась до своего дома, поднялась по ступенькам, поспешно вставила ключ в замок, и тут произошло непонятное. Раньше хоть что-то было видно в мерцании дождя, в отсветах струящейся воды,

в проблесках света. Теперь же ее окружал мрак, словно ей завязали глаза. Наконец она отперла дверь и, споткнувшись о порог, вошла в дом. И сразу поняла, что произошло. В доме погас свет. Должно быть, затопило электростанцию.

Все еще плача от страха, она всем своим телом навалилась на дверь, чтобы закрыть ее. Наверху пронзительно кричал Бруно. В доме был тяжелый, давящий мрак. Она ощупью пробралась к лестнице.

— Аделаида, Аделаида, быстрее, свет...

Вытянув руки, она отыскала дверь Бруно.

— Аделаида, что случилось? Там наводнение?

Она подошла к Бруно и в темноте взяла его за руку. Рука была тонкая, как хворостинка.

— Ничего особенного. Просто сильный дождь. Должно быть, электростанцию залило.

Только бы не напугать старика, думала она. Если он начнет паниковать, я этого не вынесу.

— Ты не звонила в полицию, я слышал...

— Звонила. Ничего страшного.

— Неправда. Это не просто шум дождя. Наверное, Темза вышла из берегов. Нас затопит. Пойди посмотри да принеси свечей, мне жутко в темноте.

Аделаида снова ощупью пробралась к двери, спустилась по лестнице, обеими руками держась за перила. Это всего лишь вода, внушала она себе, даже если она хлынет в дом, мы спасемся наверху. Если бы только не этот ужасный шум. Если б только пришел Денби. Но кто придет в такой ливень! Где-то в ящике стола в прихожей должен быть фонарик, вспомнила она. Аделаида с трудом ориентировалась. Она нашла стол, отыскала фонарик. Включила его, посветила на лестницу, ведущую в пристройку. Оттуда слышался непонятный новый звук, там что-то булькало и шипело. Слабенький луч растворился в темноте. Аделаида спустилась на несколько ступенек и увидела в кружке света струящуюся воду. Аделаида испуганно смотрела на нее как зачарованная. И вдруг подумала: вещи, мои вещи!

Она ступила в воду, которая была ей уже по щиколотку, и, шлепая по ней, пробралась к себе в комнату. Два чемодана стояли на полу, в воде, один лежал на кровати. Она схватила сумочку, подняла с пола чемоданы и потащила их вверх по ступенькам, локтем прижав к себе фонарик. Она с трудом выволокла их на площадку первого этажа. Наверху кричал Бруно. Не обращая на него внимания, она побежала вниз, за третьим чемоданом. Так, что же еще ? Пальто. Она сняла его с вешалки и попыталась натянуть на себя поверх мокрого плаща. Ничего не вышло. Руки сделались как ватные, она дрожала от холода и плакала. Аделаида связала в узел халат и пальто, вытащила их вместе с чемоданом на площадку и снова бросилась вниз. Где-то на кухне были свечи, но где? Она стояла на ступеньках, освещая струящуюся у ног воду. Аделаида не могла определить, поднимается вода или нет. Бульканье, шипенье раздавались теперь совсем рядом, и она поняла, что вода с улицы, сбегая в осевший задний дворик, скапливается там и просачивается в дом под дверью черного хода.

Нужно спасать вещи, подумала Аделаида. Она ступила в воду и, с усилием передвигая ноги, прошла в комнату Денби. Посветила в окно, пытаясь рассмотреть дворик, но ничего не увидела. Она подняла оконную раму. В комнату ворвался беспорядочный рев, шипение воды. Везде была темень. Аделаида опустила руку с фонариком за окно, вниз. И ее точно ужалило. Она поняла, что коснулась воды. Уровень воды во дворе был гораздо выше, чем в доме. Двор превратился в озеро. Аделаида из всех сил дернула раму, чтобы закрыть окно, но раму заело, и Аделаида не могла справиться с ней. Вода снаружи уже достигала подоконника. Заливаясь слезами, Аделаида продолжа-

ла тянуть раму вниз, потом повернула фонарик, осветив комнату. На туалетном столике лежала щетка для волос, ее мирный вид совершенно не вязался с тем, что творилось вокруг. Аделаида взяла щетку и стала снова дергать раму, при этом лучик фонарика, который она держала в левой руке, метался во все стороны. Раздался звон стекла, и на нее посыпались осколки.

Аделаида отшатнулась от окна и, почувствовав острую боль в ноге, быстро села на кровать Денби. Свет фонарика выхватил из темноты какой-то предмет, который покачивался на воде рядом с ножкой кровати. Это была черная деревянная шкатулка с марками.

— Аделаида, Аделаида! — сквозь рев воды донесся голос Бруно.

Аделаида попыталась одной рукой поднять ящик, потом взяла его обеими руками, поставила на кровать и забралась туда с ногами. У нее было ощущение, что в ступне застрял осколок. Она внимательно осмотрела ногу, светя на нее фонариком, осторожно провела по ступне рукой. Мокрый чулок был в крови. Аделаида смотрела на ногу и стонала. Рука, которой она ощупывала ступню, одеревенела от холода.

— Аделаида, забери марки!— снова раздался голос Бруно.

Аделаида посветила на шкатулку. Шкатулка была опрокинута, ящики выдвинулись. В целлофановых кармашках виднелись знакомые разноцветные картинки. Что-то упало Аделаиде на глаза. Это был мокрый шарф, который она забыла снять. Аделаида торопливо поправила его. Она сидела в темноте среди шума булькающей воды и дождя, дрожа от холода, чувствуя пульсирующую боль в ступне, и стонала. Она не сводила глаз с марок. Может, взять несколько штук для Уилла, вдруг подумала она. Может, он простит меня тогда? Скажу: потерялись во время наводнения. Вполне правдоподобно. Если б меня здесь не было, они бы вообще погибли. Это потоп, конец света, уже не имеет значения, кто как поступает. Она положила фонарь на кровать и протянула к маркам мокрую, негнущуюся от холода руку. Где же здесь Треугольный Мыс? Вот бы знать, какие марки самые ценные. Надо отнести их наверх, подумала она. Пойти наверх, в тепло, обсохнуть, решить, что делать. Она спустилась с кровати и снова почувствовала острую боль в ступне. Стоя на одной ноге и плача, она попыталась поднять ящик, но он оказался слишком тяжелым.

— *Аделаида, марки, марки!* — крик Бруно сделался явственней.

Аделаида, став коленом на кровать, попыталась вытащить ящички из шкатулки, но они не вытаскивались. Они только выдвигались до конца, и все. Непослушными пальцами она потянула за кармашки. Они тоже были закреплены.

Вдруг раздался новый гулкий всплеск разливающейся воды, и Аделаиде будто кто-то сжал ногу. Она выпустила из рук ящик и ухватилась за спинку кровати. Должно быть, скопившаяся во дворике вода хлынула в комнату через открытое окно. Аделаида вскрикнула и бросилась к двери. В прибывающей воде уже невозможно было сделать ни шагу. Она дотянулась до двери, с трудом выбралась из комнаты и всем телом подалась к лестнице, хватаясь за перила. Ей удалось стать ногой на нижнюю ступеньку. Фонарик, который она сжимала в вытянутой руке, вдруг осветил безжизненно-белую ногу наверху, прямо перед нею.

— Марки, Аделаида, забери марки!

Поднявшись еще на одну ступеньку, она направила фонарик наверх. И пронзительно закричала. На верхней ступеньке лестницы, ведущей в кухню, прислонившись к балясине перил, стоял Бруно. На нем была только пижамная куртка, его тощие ноги подгибались, как лапки насекомого. Распухшая голова, казавшаяся огромной в луче фонарика, покачивалась, точно деревянная карнавальная маска. Бруно клонился вперед, уцепившись тонкими руками за перила. Еще мгнове-

ние — и он со всего маху упал на Аделаиду, уткнувшись головой ей в плечо. Она выронила фонарь и под тяжестью тела Бруно рухнула вместе с ним навзничь прямо в темный поток.

Глава XXIX

— Смотри-ка,— сказал Майлз,— слышно, как ласточки щелкают клювом, когда хватают жучков. Прислушайся!

— Рано они прилетели в этом году,— сказала Диана.— Оставались бы с нами, зачем куда-то улетать?

— Я их понимаю, они стремятся на волю, под крышу спокойного деревенского дома.

Был тихий вечер, один из тех весенних вечеров, когда вспоминается осень, когда листва словно источает тишину, переливаясь в лучах предзакатного солнца. Диана и Майлз гуляли по Бромптонскому кладбищу. Они зашли уже далеко, и шум машин с Олд-Бромптон-роуд и Фулем-роуд едва доносился сюда, точно отдаленное жужжание насекомых. Майлз и Диана присели на скамейку. Он обнял ее за плечи.

— Тихо, как в деревне. И зачем ласточкам улетать?

— Тебе не холодно, дорогая?

— Нет, Майлз. Солнышко уже теплое. Зелено прямо как на лугу.

— О зелени за зиму совсем забываешь.

— За зиму о многом забываешь. Каждая весна — это сюрприз.

— Да, каждая весна — это сюрприз.

— И чудо, что трава вырастает снова. Видишь, солнышко ее ласкает.

— Ты была сегодня у Бруно, как он там?

— Все так же. Не узнает меня. По-моему, он уже и Денби не узнает. Иногда говорит вроде что-то разумное, а ничего не понятно. Только кажется, что он еще на этом свете.

— Пока человек на этом свете, до тех пор он и жив, Диана. И как только он уцелел, когда упал с лестницы.

— Доктор говорит его дни сочтены. Он уже не жилец. Да ты и сам видел.

— Да, жалко смотреть.

— Не то слово. Просто не жилец.

— Он так и не спросил про марки?

— Нет, слава богу.

— Я даже рад, что они пропали.

Коллекция погибла во время наводнения. Должно быть, шкатулку вынесло в окно. Когда вода спала, ее нашли на дворе, в ней уцелело лишь несколько ящиков. Оставшиеся в них марки были безнадежно испорчены.

Майлз слегка сжал плечо Дианы. Слишком неожиданным было все, что произошло в последнее время. Жизнь сложна, она еще способна удивлять его. Майлз чувствовал, будто мир как бы вывернулся наизнанку. Все оставалось прежним, но вызывало у него совсем иные чувства, было окрашено совсем в иные тона. Жизнь предстала перед ним в новом свете, или, может быть, он впервые по-настоящему разглядел ее.

Несколько бесконечно долгих дней после ухода Лизы он изнемогал от мучительной физической боли. Он позволил Лизе уйти, просто взять и уйти, и еще воображал при этом, что страдает. Вплоть до следующего дня он не чувствовал, что разлучился с нею, будто требовалось время, чтобы он всеми фибрами души ощутил свою утрату. Вот тогда и пришла самая настоящая боль. Майлз не мог ни есть, ни спать. Он не появлялся на службе, хотя каждое утро уходил из дому. Целыми днями он бродил по улицам. Однажды на Уорик-роуд он увидел Диану и по ее отрешенному виду понял, что и с ней происходит то же самое. Диана его не заметила. По вечерам Майлз сидел в гостиной

и делал вид, будто читает. К восьми часам Диана уже укладывалась в постель. Заставить себя делить с ней ложе Майлз не мог, он опускался на коврик перед камином и оцепенело, не смыкая глаз лежал так всю ночь. Ему стало казаться, что скоро он просто умрет от недосыпания.

Вначале он думал, что найдет Лизу, что должен найти ее. И как это он потерял ее из виду? Нужно было решиться жить на два дома. Можно было настоять на своем. Он спросил у Дианы, где Лиза, но Диана явно этого не знала. В Комитете защиты детей этого тоже не знали. Ему сказали там, что писать ей следует на адрес их Калькуттского отделения. Он представлял себе, как находит ее, встречает на улице или, быть может, застигает в аэропорту. Представлял себе, как однажды вечером на Кемсфорд-Гарденс он слышит тихий поворот ключа в замке. «Майлз, я вернулась, я не могла иначе. Я никогда больше не покину тебя». Он представлял себе их встречу в Индии, вокруг удивленные смуглые лица, а Лиза смеется и рыдает в его объятиях. Однако он не пошел ни в бюро путешествий, ни в аэропорт. Он даже не написал ей. В глубине души он понимал, что Лиза ушла навсегда, что он потерял ее, и он корчился от физической боли именно потому, что понимал это.

С Дианой они почти не разговаривали. Диана все больше и больше времени стала проводить в постели и, видимо, много плакала. Раздругой при встрече на лестнице она было попыталась робко улыбнуться ему, но Майлз не мог ответить ей улыбкой, а однажды, когда она умоляюще тронула его за руку, он отпрянул, словно от удара током. Зарыдав, Диана ушла на кухню. Майлз понимал, что бессонница сводит его с ума, но ничего не мог поделать. Он терпеливо, покорно ждал, когда ему, обессилевшему, исстрадавшемуся, будет милосердно ниспослано безумие. Примерно на пятый день, к вечеру, его охватило оцепенение, он впал в прострацию. Он видел окружающие предметы с неестественной четкостью, но словно бы издалека, как бывает во сне.

Потом он вдруг очнулся от забытья, совсем не похожего на сон; была ночь, и в окно гостиной, где он лежал на полу, светила луна. Майлзу казалось, что он умер. Ему казалось, что он видит себя, распростертого там, на полу, а душа его, покинув тело, витает над ним, точно страж. Он лежал в лунном свете, силясь вспомнить, кто он и что с ним случилось. Потом вспомнил. Вчера в авиакатастрофе погибла Парвати. Совсем недавно он попрощался с нею в аэропорту. Она застенчиво помахала ему худенькой рукой и отбросила назад тяжелую косу. На ней было красное с золотом сари, которое он особенно любил. Помахав ему, она улыбнулась и пошла к самолету. И вот она умерла, разбилась, и прах ее развеян в горах, она исчезла с лица земли, их больше не существует — Парвати и его ребенка. Он лег ничком на ковер, отвернувшись от луны. Он лежал с открытыми глазами и все вдумывался и вдумывался в факт ее смерти. Парвати навсегда исчезла с лица земли. Ее больше нет.

Утром Диана нашла его там, в гостиной, он лежал все в той же позе, он был будто парализован и не мог двигаться. Диана вызвала врача, и Майлз кое-как доковылял до постели. Через некоторое время он пришел в себя, стал жаловаться как обыкновенный больной, безропотно позволял кормить себя супом и согревать постель грелкой. Он сделался унизительно зависим от Дианы, ни минуты не мог вынести ее отсутствия, хотя почти с ней не разговаривал. Потом заговорил. Он проговорил с ней целый день, даже целых два дня о Парвати, рассказал о ребенке, рассказал обо всем, что только мог припомнить. Он подробно описал Диане, как впервые встретился с Парвати. Она ехала на велосипеде, и он подумал: вот если бы ее чудесное сари запуталось в спицах, я бы подошел и заговорил с нею. Сари запуталось, и Майлз подбежал, помог освободить его и предложил Парвати пойти выпить с ним чаю. Она отказалась. Через два дня он встретил ее на

митинге, и на этот раз она приняла его приглашение. Он рассказал Диане обо всем, даже о том, как в аэропорту Парвати помахала ему, как она отбросила назад косу. Он рассказал ей, как стоял в прихожей с газетой, в которой сообщалось о ее гибели. Диана слушала, и по лицу у нее текли слезы.

Потом они говорили о Лизе. Диана рассказывала об их детстве и о том, какой была тогда Лиза. Она разыскала старые фотографии и показала их Майлзу. Они вспоминали о том, как они встретились и как поженились. «Я уговорила тебя, Майлз. Это совсем не то, что у тебя было с Парвати и с Лизой».— «Ты уговорила меня вернуться к жизни. Может быть, одна только ты и могла это сделать». Они беседовали о любви в жизни Майлза — действительно ли он давно полюбил Лизу и женился ли бы он на ней, если бы встретил ее раньше, чем Диану. Они тихо разговаривали, как разговаривают старики о давно минувшем, далеком. Тогда-то Майлз и заметил, что все переменилось, что мир стал выглядеть иначе, будто вывернулся наизнанку.

Боль не уменьшилась. Может быть, она только чуточку притупилась, когда он вернулся к обычному образу жизни, снова начал есть и ходить на службу. Словно боль осталась там, на прежнем месте, а он разросся вокруг нее, стал сильнее и легче теперь ее переносил. Она больше не гнула и не сокрушала его. Он бережно, нежно нес ее в себе, точно драгоценность. В метро он очень прямо сидел на своем месте, неподвижно сидел за служебным столом, баюкая боль, стараясь, чтобы ей было удобнее и легче у него внутри. Он много думал о Парвати, о Лизе. Их тени всюду следовали за ним. Безутешно, не ища облегчения, переживал он невозместимую утрату; баюкая великую свою боль, он всматривался в то, что случилось, и мир представал перед ним в новом свете.

Диана твердила, что он должен оставить ее и уйти к Лизе. Он слушал ее, но ничего не отвечал, только улыбался и отрицательно качал головой. Ее слова теперь уже не имели никакого отношения к действительности, к его нынешней жизни. Он понимал, что Лиза — недостижима и должна остаться недостижимой. В этом и состояла ее роль, ее предназначение. Он никогда не перестанет любить ее. Однако он догадывался, что не встретится с нею больше. Она была помазанница судьбы, отлученная от него, недосягаемая. И он будет поклоняться ее холодной добродетели, поскольку никогда больше ее не увидит. Майлз вспомнил, с какой возвышенной категоричностью она сказала ему во время их последнего разговора: «Не нужно говорить об этом».—«Ты мне напишешь?»—«Нет» Она была уже совершенно другой в его представлении, не той молчаливой больной девушкой, которую он знал столько лет и жизнь которой была полна лишений. Этот образ уступил место другому: она была для него теперь холодным, высоко парящим ангелом, суровым и сильным, поразившим его навеки. Ангелом смерти, может быть, смерти Парвати.

Майлз, конечно, знал, что будет дальше. Он улыбался своей потаенной улыбкой, улыбался наедине с собой, улыбался Диане, глядя сквозь нее, когда она убеждала его, что еще не поздно уйти к Лизе. Он теперь не спешил, ибо был во власти иных сил. Теплые солнечные вечера он проводил в летнем домике, хотя Диана и беспокоилась, что там еще слишком сыро. Когда было холодно или дождливо, он сидел у окна в своем кабинете, глядя на серые облака, стремительно проносившиеся над крышей выставочного зала Эрлз-Корт. Когда темнело, он не зажигал света и смотрел на багровое зарево в лондонском небе. Мысли его делались смутными, расплывчатыми, на душе теплело. Смещалась, клубилась вокруг них тьма, и они начинали дробиться. Распадаться на образы.

Майлз начал писать. Он писал легко. Огромными кусками, сложными, уже совершенными. Образы витали вокруг, ослепляли его своим многообразием. Бывает некая красота законченности в любви. Бы-

вает некая красота законченности в искусстве. Только крайне редко. Майлз чувствовал наконец, что у него в стихах впервые в жизни звучит его собственный голос, и ничей другой. И он понял, что наступил момент, когда он смиренно может назвать себя поэтом. Он ждал этого многие годы, преданно ждал. Теперь же ему казалось, что он просто не умел ждать и что все его попытки предуготовить себя к великому служению, к которому он приступил только сейчас, были ненужными. Он пыжился, надрывался, бессмысленно скребся у поверхности жизни, а кто-то огромный, усмехаясь, наблюдал за ним. Что помогло ему, что перенесло его через труднопреодолимый моральный барьер в истинную жизнь — об этом Майлз тоже знал, но теперь, приступив к делу всей своей жизни, он уже больше не сосредоточивался на этом. И в глубине души у него жила спокойная уверенность в том, что, когда страсти перестанут владеть им — а это рано или поздно случится,— с ним останется его мастерство.

Диана и Майлз поднялись со скамейки и пошли назад, обняв друг друга за талию. Они шли медленно, как старики. Вечернее солнце заливало молодую травку, в теплом воздухе терпко пахло сырой землей. Липовую аллею осеняла дымка молодой листвы.

— По-моему, в летнем домике нужен электрокамин,— сказала Диана.— Самый простой выход из положения.

— Наступают теплые дни.

— Все равно там сыро. А если мы утеплим домик, ты сможешь работать в нем и зимой.

— Хорошо бы. Особенно когда идет снег.

— Да, особенно когда идет снег. Нужно будет все щели законопатить. Как называется эта штука, ну, из которой делают прокладки на двери и окна?

— Что-то не помню.

— Завтра же спрошу в скобяной лавке.

Глава XXX

Аделаида роняла слезы прямо в выдвижной ящик платяного шкафа, и на груде ее розового и голубого нижнего белья расплывались мокрые пятна. Аделаида выпрямилась, и слезы капнули на рукав ее красивого нового костюма из черного шелковистого вельвета с дымчатым отливом. Чтобы на нем не осталось пятен, она стерла слезы рукой. Потом внимательно оглядела себя в зеркале на туалетном столике. В номере не было большого зеркала. Белая блузка с кружевными оборочками, тоже новая, оказалась ей не впору. Аделаида купила ее в спешке. Кружева ни за что не хотели элегантно выглядывать из-за отворотов жакета, а сбивались под ними комом; когда же она пыталась вытащить их наружу, блузка выскакивала из юбки. Но теперь слишком поздно, с этим ничего не поделаешь, да и голубые бусы из венецианского стекла совсем не подходили к блузке. Они были слишком длинные. Она сняла бусы и бросила их в чемодан. Потом наклонила зеркало, отошла от него и осторожно взобралась на стул. Таким образом она могла рассмотреть все остальное — черную вельветовую юбку, нейлоновые чулки, черные лакированные туфли с металлическими пряжками. Ну и вид у меня, подумала она, прямо-таки похоронный.

Аделаида осторожно слезла со стула. Она всегда боялась высоты, и на стуле у нее кружилась голова. Она достала маленькую бархатную шляпку и принялась ее чистить, немного наклонившись и держа ее подальше от себя, чтобы слезы капали на пол. Просто уму непостижимо, подумала Аделаида, все плачу и плачу. Откуда только слезы берутся? В ее воображении возник огромный резервуар слез, пролитых за всю ее жизнь, и, представив себе, сколько их, без сомнения,

предстоит еще пролить, она зарыдала с новой силой. Я столько реву в последнее время, думала она, того и гляди глаза испорчу, так и останусь уродиной. Нужно перестать плакать, но как? Она разглядывала в зеркале свое лицо. Мокрые глаза опухли, покраснели, веки покрылись морщинками. Да и все лицо сделалось красным, опухшим, воспаленная кожа лоснилась от слез. Господи, ну и вид у меня, подумала Аделаида. Где уж тут красоту наводить?

Она стала причесываться, бросая в мусорную корзинку скатанные комочки волос. Волосы лезли больше обычного. И цвет был не тот. Пришлось пойти к незнакомой парикмахерше, и та выкрасила ей волосы в гораздо более светлый каштановый цвет. Интересно, очень ли это заметно? Аделаида никак не могла привыкнуть к короткой стрижке и всякий раз, посмотрев утром на себя в зеркало, расстраивалась. Срезанные волосы она оставила себе. Парикмахерша хотела купить их у нее, но Аделаида отказалась, хотя от этого странного безжизненного пучка веяло жутью. Аделаида поправила новую прическу. Она надеялась, что короткая стрижка будет ее молодить. Но теперь уже считала, что короткие волосы придают ей неряшливый, неопрятный вид. Аделаида все не могла решить: то ли убирать их за уши, то ли, наоборот, закрывать ими уши. И так и так было плохо. Наверное, зря она остриглась.

Аделаида взглянула на часы. Она еще не кончила укладывать вещи. Большой чемодан можно оставить внизу, у портье. Она стала запихивать белье в сумку. Заглянула во все ящики, осмотрела гардероб. Обыскала незастланную постель и нашла два мокрых носовых платка. Надо купить еще платков. Она прожила в гостинице совсем недолго, но простыни уже были серые, грязные. Ну вот, все готово, оставалось привести в порядок лицо. Пудриться и красить ресницы она решила в последнюю очередь, в надежде, что перестанет наконец плакать. Теперь надежда была только на то, что, накрасившись, она уже побоится лить слезы, чтобы не размазать тушь на глазах. Склонившись над раковиной, Аделаида ополоснула лицо холодной водой. Потом вытерла его и принялась наносить крем. Прикосновение пальцев к горящим щекам было приятно. На секунду она закрыла глаза. Теперь надо попудриться. Затем она поднесла к опухшим губам светло-розовую перламутровую помаду, и тут по ее тщательно напудренным щекам побежали слезы, оставляя две глубокие бороздки.

— Вот проклятье,— пробормотала Аделаида.

Рука ее дрогнула, губная помада измазала подбородок. Хоть опять мой лицо и начинай все сначала. Ну нет уж, хватит с меня, решила она. Да не все ли равно, как я теперь выгляжу, не все ли равно, повторила она про себя и почувствовала, что в этом есть доля истины, потому что жизнь ее теперь совершенно изменится. Осознав всю важность этого открытия, она уронила еще две большие слезы. Попыталась вытереть платком помаду на подбородке. Помада до конца не стерлась, но бледное розовое пятнышко было совсем не заметно на ее пылающем лице. Аделаида слегка похлопала себя по щекам и надела шляпку. Зазвонил телефон. Ей сказали, что пришло такси.

Аделаида снесла поклажу вниз по узкой лестнице мимо пыльных цветов в латунных вазонах, оставила большой чемодан у портье. Села в такси. Боже, подумала она, сейчас снова заплачу. И заплакала. Пока такси медленно тащилось в плотном потоке транспорта по северной части Лондона, Аделаида безудержно рыдала, и на нее с любопытством смотрели из ближних машин. Наконец они приехали. Аделаида приложила к лицу мокрый, пропитанный слезами платок и попыталась снова напудриться, но пуховка и та промокла. Она достала деньги из новой черной лакированной сумочки и расплатилась с шофером. Затем прошла по многолюдному тротуару мимо газетного киоска, мимо корзин с овощами, которые только что привезли в зеленную лавку. Сочный ярко-красный помидор, покатившись по тротуару, лопнул

прямо у ее ног. Она обошла его и, войдя в темный неприметный подъезд, поднялась по лестнице на второй этаж. Постучалась и вошла.

Братья и тетя уже ждали ее. На тете было черное до пят платье с отороченным мехом воротником, шляпа из павлиньих перьев, множество колец, наверное дешевых, и большая красно-зеленая брошь. Братья были в темных костюмах, в петлице у Найджела красовалась белая роза, а у Уилла — красная. Регистратор вышел вперед, чтобы приветствовать Аделаиду.

— Здравствуйте,— сказала она, глядя мимо него на братьев.

Найджел подошел к ней и неловко поцеловал в щеку. Он улыбался, Уилл был мрачнее тучи. Усы у него были подстрижены щеточкой, как у Гитлера. Он подошел к Аделаиде и тоже поцеловал ее в щеку.

— Господи,— сказал он,— у тебя лицо горит.

— Moya meelaya devochka[1],— сказала тетя.

— Помолчите, тетя,— сказал Уилл.

Аделаида почувствовала, что вот-вот упадет в обморок, и опустилась на стул.

— Ну,— робко произнес регистратор,— смею напомнить, зачем мы здесь собрались. Позвольте узнать, который из джентльменов жених? А то еще выдадим леди не за того.

— Я жених,— сказал Уилл.— Ади, перестань плакать, не разводи сырость. Как тебе не стыдно? Можно подумать, тебя казнить собираются.

— Наверное, в день свадьбы у всех такое чувство,— со смехом сказал регистратор.

Найджел улыбнулся.

— Svadba, soodba, slooshba[2],— сказала тетя.

— Ба-ба, забодай тебя коза, тетя,— сказал Уилл.— Ади, возьми себя в руки. Ты что, хочешь все испортить?

— Не-е-ет,— со слезами промямлила Аделаида.

— Ja toscha[3],— сказала тетя и шмыгнула носом.

— Тетя, и без тебя тошно. Ади, веди себя прилично, не зли меня. Садись сюда, рядом, перестань реветь, а то ты у меня заплачешь по-настоящему.

Аделаида подошла к нему. Шляпка у нее сбилась набок из-за того, что она все время прикладывала к глазам платок, губная помада снова размазалась. Губы у нее дрожали, она со свистом втягивала в себя воздух. Тетя тоже залилась слезами. Найджел улыбался.

— Ну, вы оба, конечно, прекрасно знаете,— сказал регистратор,— что эта простая маленькая церемония имеет силу закона и связывает вас теми же узами, как если бы вы венчались в церкви.

Аделаида издала стон и приложила мокрый платок к губам. Найджел, продолжая улыбаться, смахнул слезу.

— Назовите мне, пожалуйста, ваши имена, то есть свое полное имя и имя отца. Вы, Аделаида-Анна де Креси...

По лицу Найджела струились слезы. Он по-прежнему улыбался.

— И вы, Уиллфред Реджинальд Боуз...

— Черт!— сказал Уилл. Лицо его сделалось красным, глаза наполнились слезами.— Черт! Извини, Ади.

— И... ваш отец... имя вашего отца... О боже мой...— Перо в руках у регистратора задрожало, и он полез в карман за носовым платком.

Предчувствия Аделаиды относительно того, что ее супружеская жизнь будет не из легких, полностью оправдались. Характер Уилла нисколько не улучшился с годами, да и хроническое расстройство пи-

[1] Моя милая девочка.
[2] Свадьба, судьба, служба.
[3] Я теща.

щеварения, которое он нажил, ведя беспорядочную жизнь актера, мало способствовало тому, чтобы у него прошли припадки раздражительности. Поначалу Аделаида покорно терпела их. Потом и сама научилась кричать на мужа. Однако после каждого скандала она чувствовала себя обессиленной и ей было стыдно. А Уилл тут же забывал о ссоре. Но если Аделаида и знала заранее со всей определенностью о своих будущих бедах, то, по правде сказать, она не сумела предвидеть все то хорошее, что ожидало ее впереди. Она вышла замуж за Уилла с отчаяния, от безвыходности, ибо чувствовала, что он предназначен ей судьбой. Она и не помышляла о счастье. Но было и счастье. Она даже представить себе не могла, сколько радости принесет ей близость с Уиллом и как важно окажется это для нее. Так же как, подписываясь впервые своим новым именем — Аделаида Боуз — и глотая слезы, не мечтала она о том счастливом будущем, когда, несмотря на вздорный характер, Уилл прославится как один из самых замечательных актеров Англии, и их долговязые близнецы (не зеркальные) — Бенедикт и Меркуцио — поступят в Оксфорд, а сама она, совершенно не похожая на ту, прежнюю Аделаиду, станет леди Боуз.

Вскоре после женитьбы молодой семье неожиданно повезло и в финансовом отношении: к их удивлению, когда скончалась тетя, выяснилось, что ее драгоценности, которые она им завещала, стоят десять тысяч фунтов. К тому же тетины мемуары, переведенные на английский язык, имели колоссальный успех и послужили для историков источником сведений о последних днях жизни царского двора. Аделаида и Уилл все поговаривали о том, что неплохо бы выучить русский язык и прочитать тетины мемуары в оригинале, но так и не собрались. Однако Бенедикт посвятил себя изучению языка и истории России, а Меркуцио избрал своей специальностью математику.

Глава XXXI

Было десять часов вечера. Денби сидел на кровати. Стены у него в комнате все еще были сырые. Постель он решил просушить грелкой. В хорошую погоду он выносил матрас на солнце. Уже несколько недель они жили без электричества, потому что в доме нужно было менять проводку. К счастью, при соблюдении всех формальностей правительство брало на себя расходы, связанные с этими работами. К счастью, и погода выдалась на редкость теплая.

Комната Денби не очень пострадала от наводнения. Разве что ил трудно было соскрести с пола. Удивительно, сколько вода принесла с собой ила. Правда, ковер и раньше был грязного цвета, а вот по стенам метра на полтора от пола разбежались потеки. Бессмысленно начинать ремонт, пока не высохли стены. Слава богу, и ремонт оплачивало правительство. Денби, ночевавший на втором этаже, спустился вниз посмотреть, нельзя ли к вечеру перебраться назад, к себе в комнату. Ему не нравилось спать наверху, хотя, конечно, там он был ближе к Бруно, когда тот звал его по ночам. Но Бруно теперь вообще редко звал его. Он как будто стал лучше спать, да и днем почти все время дремал.

Денби не ходил в типографию, проводил целые дни дома. Кто-то же должен быть с Бруно. Найджел исчез куда-то, оставив свои вещи, и Денби понимал, что при нынешних обстоятельствах нанимать кого-то другого нет смысла. Доктор удивлялся, что Бруно еще жив. Вечерами почти каждый день приходила Диана и, пока она сидела с Бруно, Денби выходил подышать воздухом и заглядывал в бар. Мимоходом он слышал, как Диана о чем-то разговаривает с Бруно, но о чем, никогда не спрашивал. Сам Денби говорил с ним немного, только о самом насущном — о еде, о погоде, о его комнате. Старик вполне здраво рассуждал, но в глубине его сознания будто что-то сдвинулось, и Денби часто ловил на себе его недоуменный взгляд — Бруно словно

бы не понимал, кто такой Денби, но не решался спросить. И на Диану Бруно часто смотрел с недоумением, хотя Денби повторял при каждом удобном случае: «Это Диана, ты же знаешь — жена Майлза». Но кто он сам такой, Денби не объяснял. Ему не хотелось напоминать Бруно о Гвен.

Между Дианой и Денби установились теплые отношения с оттенком грусти, словно у супругов, которые давно развелись. Они пожимали друг другу руки и подставляли щеку для поцелуя. Уход за Бруно связал их торжественно-печальными узами. «Ну как он сегодня?» — «Ничего. Поел супу». Денби знал — Диана боится, что Бруно может умереть, когда она с ним в доме одна. Она и не заикнулась ни о чем подобном, но Денби понимал, что она имеет в виду, тревожно спрашивая: «Ты ненадолго?» Что-то странное, чудовищное было в этом их ежеминутном ожидании смерти. Каждое утро Денби просыпался с мыслью — не умер ли Бруно ночью, но, увидев, как по-прежнему слегка приподнимается и опадает одеяло, испытывал облегчение и боль. Его любовь к Бруно в последнее время стала абстрактной, почти безличной, и теперь он с особенной ясностью ощущал, какая пропасть между тем, есть человек или его нет. Бруно несомненно пока присутствовал в доме, и это согревало Денби. Но жила лишь телесная оболочка Бруно. И Денби безрадостно предвкушал, как, вернувшись домой, где уже нет Бруно, он снимает пальто и достает бутылку виски. Но до этого предстояло еще пережить нечто невообразимо страшное. После падения с лестницы Бруно и внешне изменился. Он перестал надевать вставные челюсти, и щеки у него ввалились. Голова как бы усохла, поскольку спала одутловатость, из-за которой его лицо выглядело странно опухшим. Остатки шелковистых седых волос выпали, вытерлись о подушки, и череп совершенно оголился. Только глаза оставались прежними — слезящиеся, полные тревожного замешательства и тайного раздумья узкие щелки. Враждебным, пугающим взором следил он с недоумением за людьми, которые ухаживали за ним. Только при виде Дианы Бруно порой щурился, выражая удовольствие, и морщины у него на лице растягивались в улыбке.

Два или три раза заглядывал Майлз, его беседы с Бруно скорее походили на монолог. Проходя однажды мимо двери, Денби слышал, как Майлз говорил что-то о крикете, а Бруно молчал. От Майлза веяло полной безмятежностью. Он был почти весел. Денби невыносимо раздражало то, как он бодро входил к Бруно, заинтересованно выспрашивал, что говорит доктор. Он вел себя как человек, который исполняет свой долг и очень собой доволен. Казалось, он оставался совершенно безучастен к их боли и к таинству, которое им предстояло пережить. Он уходил, отрешенно улыбаясь, бормоча что-то себе под нос. Майлз теперь вызывал у Денби отвращение. То странное чувство — едва ли не любовь,— которое Денби когда-то питал к нему, исчезло безвозвратно. Денби больше не находил в нем даже сходства с Гвен. Майлз представлялся ему огромной улыбающейся крысой. Денби ощущал, что неприязнь Майлза к нему тоже усилилась, и спрашивал себя, уж не рассказала ли ему обо всем Диана. Скорее всего нет.

Известие о замужестве Аделаиды расстроило Денби и в то же время принесло ему облегчение. Теперь, когда он был избавлен от ее слез, Аделаида вспоминалась ему во всем своем очаровании. Она была хорошей подружкой эти годы, и он испытывал к ней смешанную со стыдом благодарность, которую ему хотелось как-то выразить. Он собрался уже было сделать ей свадебный подарок — пятьдесят фунтов и даже чек выписал, но потом засомневался, удобно ли посылать деньги. Все сложилось из рук вон плохо, и он не знал, как быть. В конце концов он не отправил чека. Уилл разорвал бы его на клочки и отослал обратно.

Денби подошел к окну задернуть занавески. Была темная безлун-

ная ночь, накрапывал дождик. Он сходил проверить, не захлопнулась ли дверь пристройки, которую он оставлял открытой на случай, если позовет Бруно. Когда Денби заглядывал к нему недавно, старик крепко спал. О боже, пошли ему умереть во сне, с болью в сердце подумал Денби, пошли ему умереть во сне. Но только не сегодня. Бедный Бруно. Денби откинул одеяло и простыню, проверил, высох ли матрас. Кажется, высох. На Стэдиум-стрит Денби никогда не чувствовал себя как дома, однако любил свою комнатку с окошком, выходившим в унылый дворик. Дворик занесло илом, в ясную погоду он высыхал, покрывался трещинами, а в дождь земля превращалась в вязкое, клейкое месиво. Надо бы очистить дворик, но как, Денби плохо себе представлял.

Он присел на кровать и посмотрел в зеркало на туалетном столике. Дородный мужчина с сильной проседью, с хорошо сохранившимися зубами. Денби вздохнул. Если б он не встретил Лизу, если б не открылось для него что-то совершенно другое, настоящая жизнь, что ли. Он был вполне счастлив в постели с Аделаидой, вполне счастлив, флиртуя с Дианой. Конечно, это объяснялось его ограниченностью, поверхностностью. Благодаря Лизе среди ночи воссияло солнце, мир стал красочным, призрак обрел плоть. Он просто забыл, что так бывает. Может, и снова забудет. Может, пройдя через все испытания, он успокоится у каких-нибудь мирных берегов, где солнце не столь беспощадно. Может, он будет безмятежно жить, как удалившийся на покой старичок, найдет тихое, уютное пристанище, где не будет ангелов. И женщин. Мог ли бы он полюбить другую? После встречи с Лизой ни о ком другом он и думать не хотел.

Где же она теперь, размышлял он, в каком невообразимом чертоге счастья со своим избранником? В его представлении она обитала совсем в ином мире, дышала иным воздухом Она представлялась ему посланницей далекой галактики, возвратившейся теперь в светящейся капсуле назад, в другое, неведомое пространственно-временное измерение. Этот расплывчатый образ умерял его ревность и страсть. Что недосягаемо, того и желать не приходится. А Лиза была видение, призрак, она была недосягаема. Но как бы Денби ни обманывал себя, он знал, что видел живую женщину и — о боже! — прикасался к ней, и она могла бы его полюбить.

Денби чувствовал, что еще немного — и он заплачет. Он давным-давно забыл, что такое слезы. Но в последнее время, по утрам и особенно ближе к ночи, Денби стал плакать. Это приносило ему облегчение, успокаивало, снимало внутреннее напряжение, в котором он постоянно находился. Только нужно было постараться, чтобы Бруно не заметил, что у него глаза на мокром месте. Денби встал, подошел к двери, прислушался. Наверху было тихо. Денби решил проверить для порядка, заперта ли парадная дверь, и на цыпочках поднялся по ступенькам. Слава богу, что Бруно хорошо спит по ночам.

На половике лежало письмо, которое пришло с вечерней почтой. Денби увидел незнакомый почерк и сразу подумал, что письмо от Лизы. Торопливо, дрожащими руками он вскрыл конверт. Письмо было очень длинным, оказалось, что оно от Найджела. Денби запер входную дверь, накинул цепочку и медленно пошел к себе. Некоторое время он сидел неподвижно, уставясь в пустоту, сжимая в руке письмо Найджела. Если б только не эти тщетные надежды, обманчивые мечты, неосуществимые желания. Денби закрыл глаза, и слеза покатилась у него по щеке. Потом принялся читать письмо.

Дражайший Денби!

Надеюсь, Вы простите меня за то, что я нарушил свой долг — ушел, не предупредив, не согласовав этого с Вами, не испросив позволения. Жаль, что мне пришлось покинуть Бруно, я хотел быть рядом с ним до самого конца. Надеюсь, он не встревожен,

и я бы просил Вас передать ему мой сердечный поклон, если бы полагал, что он еще помнит о моем существовании, но я уверен, что он уже забыл обо мне, к счастью. Поскольку меня в некотором смысле никогда не было, обо мне и помнить невозможно — я не отбрасываю тени. Я пишу Вам, ибо беседа с Вами — для меня истинная радость (почему — Вы узнаете из письма), к тому же мне необходимо объяснить свой уход. Это и еще кое-что.

Любовь — странная вещь. Без сомнения, она правит миром, она, и только она. Любовь — самое главное в жизни. Все другое — тлен, переливание из пустого в порожнее, томление духа. Но тем не менее она и великий смутьян, это уж точно. Она побуждает мечтать о несбыточном, поклоняться идеалу. Странно, любить дозволено кого угодно и как угодно. Природа этого не запрещает. Кошке не возбраняется смотреть на короля, негодяй может любить благородного человека, благородный человек — негодяя, хороший — хорошего, мерзавец — мерзавца. Ал-ле оп: вспыхивает свет, и мы то ли наяву, то ли во сне. Увы, дражайший Денби, любовь часто бывает одинокой, замкнутой, безысходной и тайно разъедает душу. Условности тут ни при чем. Любовь не знает условностей. Случается все что угодно, и в некотором смысле слова, в самом, самом широком смысле, нет ничего невозможного. Ах, я и об этом думал, мой дорогой, но не от этого я страдал больше всего. Вы могли полюбить меня. Увы, теоретически это было вполне вероятно. И я ушел не потому, что воображаемое несбыточно, а потому, что знал, сколь разрушительна моя великая любовь. Если бы я был святым, а я вполне мог бы им быть, я любил бы Вас, и поведал бы Вам об этом, и остался бы рядом с Вами, не причинив Вам никакого вреда, и Вы бы привыкли ко мне как к воздуху, который вдыхаете, и даже не замечали бы, как я Вас люблю. Но поскольку я все-таки не святой, стихийная небесная сила, вырвавшись однажды из своих темных недр, повлекла бы нас — куда? Не знаю, но только вниз. Вам пришлось бы играть ненавистную роль. А мне...

Кто другая моя великая любовь, Вы легко догадаетесь сами. Я и представить себе не мог, что Вы оба у меня на глазах будете наводить друг на друга заряженные пистолеты. Но когда это произошло, Вы были точно глина в моих руках. Оказалось, очень легко было заставить Вас делать то, чего хотел я! Но мне не дóлжно думать о моей богоподобной власти, этот путь пролегает через самые немыслимые мучения, которые я уже изведал до конца. Ведь наша дуэль была великим испытанием, не так ли? Со своим непредсказуемым исходом она обернулась горней мукой, русской рулеткой души. Простите меня.

Я решил, что мне в моем положении остается лишь уехать из Англии. Один друг помог мне получить работу в Индии в Комитете защиты детей, и я улетаю в Калькутту. Я не оставляю обратного адреса и не подписываюсь. Я Ваш добрый дух и останусь таковым, независимо от того, будете Вы помнить обо мне или нет. Припадаю к Вашим ногам.

Денби смотрел на письмо. Оно причинило ему сильную, неизведанную боль. Если бы он знал раньше, что Найджел любит его. Но что бы он сделал тогда? Стал бы играть «ненавистную роль»? Да, действительно любовь — смутьян. Каждый человек жаждет любви, но сколь редко она взаимна. Найджел любит его, он любит Лизу, Лиза любит... Безумие, тоска. Господи, я так одинок, подумал Денби. Он безошибочно распознал голос любви, пусть не тот, что был ему нужен, но донесшийся из того же таинственного реального мира. Глаза его снова наполнились слезами. Он чертыхнулся, смахнул слезы, снял пиджак, развязал галстук. Лучше всего лечь в постель и постараться

уснуть, а не травить себе душу. Во время душевных передряг он всегда крепко спал, как и после выпивки. Денби постоял немного, прислушиваясь к усиливающемуся дождю, к ветру, от которого дребезжали оконные стекла. Расстегнул рубашку.

Неожиданно он услышал рядом с собой отрывистый размеренный стук. Денби застыл как вкопанный, запахнул рубашку. Раздалось еще несколько громких ударов. Кто-то настойчиво стучал в окно. Уилл! Да, это Уилл. Сейчас он убьет меня. Денби не двигался. Снова стук в окно, упорный, требовательный, яростный. Он сейчас разобьет стекло, подумал Денби. Что же делать? Вызвать полицию? Притвориться, будто меня нет? Может, он видит меня через щелку в занавесках? Господи, зачем все это? Денби чувствовал себя старым и уставшим. Ему хотелось спать. Он вовсе не желал драться с каким-то бесноватым молодым человеком. Все это нелепо.

— Кто там? — спросил Денби.

Ему не ответили, только продолжали яростно стучать в окно. Денби постоял в нерешительности. Потом тихо прошел из комнаты в кухню. Достал большой нож для разделки мяса. Положил его на место. Вернулся в комнату, подошел к окну.

— Кто там?

Снова стук, еще и еще. Денби отдернул занавески. Дождь, непроглядная тьма, ничего не разглядеть. Денби рывком поднял раму и отошел от окна. Через подоконник тотчас перекинулась длинная нога в грязном башмаке. Нога была женская.

— Ну что же вы, помогите мне,— сказала Лиза.

Денби закрыл окно и задернул занавески. Лиза сидела на кровати. Плащ она сбросила и теперь снимала полуботинки. Голова ее была непокрыта, волосы слиплись и мокрыми колечками падали на шею.

— Извините,— сказала она,— что я забралась к вам в окно; я бы никогда не решилась на это, если бы знала, сколько натащу грязи. Не хотелось звонить в дверь из-за Бруно. Будьте добры, принесите полотенце.

Денби сходил на кухню и вернулся с полотенцем. Лиза принялась вытирать голову. Денби стоял у окна, прислонившись к комоду, и смотрел на нее, открыв рот. Внутри у него все горело, будто его проткнули раскаленным прутом.

— Извините, что я пришла без предупреждения,— сказала Лиза. Ее густые волосы, вытертые полотенцем, рассыпались мелкими кудряшками, она пыталась их пригладить.— Вы не одолжите мне расческу?

Еле двигаясь от боли, неловко наклонившись, Денби подал ей расческу. Он стиснул зубы, чтобы они не стучали.

Лиза расчесывала волосы. Это оказалось делом нелегким.

— Ну и ночь,— сказала она.

— Господи! — произнес Денби.— О господи!

— Сядьте, Денби. Сядьте вон там, у окна. Ну, как Бруно?

Денби одеревенело опустился на стул. От боли он охнул. Закрыв лицо руками, охнул снова. Запинаясь, тихо спросил:

— Зачем вы пришли?

— Я спрашиваю, как Бруно?

— Ничего. То есть как ничего? Умирает. Но тихо, хорошо. Зачем вы пришли?

— Сейчас объясню,— сказала Лиза.— Прежде всего я должна извиниться перед вами. Может быть, лучше было вам написать. Я долгое время жила в сомнениях, а когда наконец все определилось, мне захотелось сразу же повидать вас и объясниться,— спокойно сказала Лиза, глядя на Денби и продолжая расчесывать волосы.

— Вы сами не понимаете, что наделали,— сказал Денби.

— Пока, может быть, и не понимаю. Но время покажет.

— Зачем вы пришли? Мне от этого только во сто крат тяжелее. Объяснять мне нечего. Я ведь не жаловался. Даже не пытался увидеться с вами. Помочь мне вы все равно не в силах. Я уже притерпелся к своему горю. Господи, лучше бы вы не приходили!

— Боюсь, вам все-таки придется выслушать мои объяснения,— сказала Лиза.— Мне это просто необходимо.

— Что тут объяснять?— удивился Денби.— Просто я люблю вас как последний идиот. Любить всем дозволено. Негодяй может любить благородного человека. Кошке не возбраняется смотреть на короля, на королеву, на принцессу, на ангела. Я стиснул зубы и терплю. И я не нуждаюсь ни в вашем сочувствии, ни в ваших чертовых объяснениях!

Лиза смотрела на него с легким недоумением, недовольно надув губы и насупясь. Лицо ее раскраснелось от того, что она крепко терла его полотенцем. Потемневшие от влаги волосы, зачесанные назад, кольцами спадали ей на шею. Она подобрала под себя ногу в мокром чулке и, положив под спину подушки, откинулась на них. Удобно устроившись, она сказала:

— Теперь выслушайте меня.

— Прямо хочется попросить вас уйти,— сказал Денби. Он чувствовал непонятную злость.

— По-моему, на это вы не способны...

Она права, подумал он. О господи боже мой, за какие грехи?

— Я хочу рассказать вам кое-что и кое о чем у вас спросить,— сказала Лиза.— Начну с вопроса. Когда вы приходили в ту ночь на Кемсфорд-Гарденс, Майлз сказал вам, что я кого-то люблю. Вы знаете, кто этот человек?

— Нет.

— Это Майлз.

Денби опустил глаза. Он медленно наклонился и, опершись локтями о колени, закрыл лицо руками. Только бы не заплакать, думал он. Если я заплачу, то не смогу остановиться. Майлз. Майлз! Денби молчал.

— Простите меня,— произнесла Лиза.— Я знаю, что причиняю вам боль, но сказать это было необходимо. Я любила и люблю Майлза. Я полюбила его с первого взгляда, в день свадьбы Дианы. Я любила его все эти годы и думала, что он никогда об этом не узнает.

Денби молчал, прижав пальцы к глазам.

— Только недавно он узнал об этом, вернее, я ему сказала. Я не должна была выдавать своей тайны, но так получилось... Трудно было поступить иначе, психологически трудно. Потому что он сказал мне, что любит меня.

Денби продолжал молчать.

— Я не знаю, давно ли он меня полюбил,— продолжала Лиза так же спокойно, отчетливо, ровным голосом,— ему кажется, что давно. Но подозреваю, что на самом деле это случилось совсем недавно.

Денби поднял голову. На глазах у него были слезы, и он уже не пытался их скрыть.

— Боже милостивый, ну что вы мучаете меня своей проклятой любовью!

— Нужно, чтобы все было ясно. Я люблю Майлза, и он любит меня.

— Пожалуйста, уходите отсюда!— сказал Денби.

— Но,— продолжала Лиза, не обращая на него внимания,— дело в том, что Майлз — муж Дианы.

— Просто кошмар какой-то,— сказал Денби.— Зачем вы все это мне говорите? Ох, Лиза, Лиза, то ли вы не понимаете, в каком я состоянии, то ли вы просто глупая и жестокая женщина. Лучше бы мне с вами никогда больше не встречаться. Я быстрее избавился бы от сво-

ей боли. А вы приходите сюда и говорите — Майлз, Майлз, Майлз, Майлз. Сумасшедшей нужно быть, чтобы так измываться над человеком.

— Простите меня,— сказала Лиза,— но потом вы сами поймете, что это было необходимо.

— Необходимо? Для чего? Если хотите видеть, какую власть имеете над человеком, тогда конечно. Если хотите видеть человека, доведенного до...

— Да перестаньте, слушайте.

— Я уж тут было успокоился, смотрю за Бруно. Ну не успокоился, во всяком случае, спустился с небес на землю. А то я уже вообразил вас чем-то неземным. И вот вы явились и все испортили. Вы даже не представляете себе, что вы наделали...

— Естественно, вы начали приходить в себя...

— Ничего я не начал! Мне никогда не прийти в себя! Будьте вы прокляты, будьте прокляты!

— Не кричите. Вы меня будете слушать? Мне нужно, чтобы вы мне помогли.

— Помог заполучить Майлза? Ах, вот оно что! Господи, Лиза, не хотите ли вы сказать... Нет, не может быть...— Денби поднял голову, взглянул на нее, его лицо исказилось от боли.

— Что-что?

— Впервые вы увидели меня, когда я, покарай меня бог, обнимал Диану. И как я мог надеяться, что вы поверите в мою любовь, в то, что я полюбил вас глубоко, серьезно? Поймите, с Дианой было совсем другое. Вы думаете, я просто волокита какой-нибудь. Думаете, раз я был увлечен Дианой... Хотите, чтобы я взял ее на себя, устранил с вашего пути, а вы с Майлзом... Вы сущий дьявол! — Денби вскочил и угрожающе поднял руки — жест его был полон отчаяния.

— Сядьте и перестаньте на меня кричать.

— Дьяволом, дьяволом нужно быть. Вы меня с ума сводите. Хотите, чтобы я убил вас?

— До чего же вы глупый. Не смейте меня трогать!

— Трогать! Да я готов задушить вас!— Денби застонал, отвернулся и, прислонившись к комоду, закрыл лицо руками.— Лиза, Лиза...

— Я хочу, чтобы вы меня выслушали, и я хочу, чтобы вы подумали. Если бы вы рассуждали здраво, вы бы никогда не договорились до такого. Я вовсе не хочу, чтобы вы отобрали у Майлза Диану. Вам это все равно не удастся.

Денби снова застонал.

— Мы с Майлзом понимали с самого начала, что не можем быть вместе. Мы ведь не такие люди, чтобы...

— Вы прежде всего влюбленные люди,— сказал Денби.

— Романтическая любовь — это еще не все.

— У влюбленных своя логика.

— Они все преувеличивают. Кроме того, они одумываются. Даже вы начали одумываться!

— Я не начал. Так же как и вы. Вы ведь сами говорите, что любите Майлза много лет.

— Разлука лечит от любви.

— Вы с Майлзом найдете выход. Вы же оба чертовски умные.

— Послушайте. Наша любовь безнадежна. Майлз не может бросить Диану. Она его жена, она отдала ему жизнь. А после того как я призналась ему, что люблю его, и узнала, что он тоже меня любит, мне нельзя было оставаться у них в доме.

— Но в Лондоне, слава богу, домов хватает.

— Это не выход для нас с Майлзом.

— Откуда вы знаете? Вы были близки? — Денби продолжал стоять спиной к Лизе, пристально глядя на щетку для волос.

— Нет, конечно нет.

— Не понимаю, почему «конечно». Вы ведь не святые.

— Нет, мы разумные эгоисты. Мы не хотим идти путем безумств и разрушений.

— Хорошо, но все же я не понимаю, какие соображения разумного эгоизма привели вас ко мне с этой вашей невыносимой любовью!

— Как я уже говорила, мы решили, что должны расстаться, и я подумала, что будет легче для нас обоих, если я уеду сразу же и найду себе работу где-нибудь в Индии, в Калькутте, через Комитет защиты детей.

— Так почему же вы не в Калькутте, почему вы на Стэдиум-стрит, у меня в комнате, сидите на моей постели без башмаков?

Она молчала. Денби наконец поднял глаза и встретил ее напряженный взгляд.

— Я не хочу ехать в Индию. Это было слишком трудное, слишком жестокое решение,— помолчав, сказала Лиза.

— А, значит, вы решили вернуться к Майлзу, а по дороге заглянули ко мне, чтобы все это рассказать!

— Нет, я не собираюсь возвращаться к Майлзу.

— А что же вы тогда собираетесь?..

— Отчасти это зависит от вас,— ответила Лиза.

Денби медленно опустился на стул. Он пристально, свирепо посмотрел на нее:

— Лиза, при чем же тут я?

Она окинула его почти враждебным взглядом:

— Я хотела, чтобы все было кристально ясно, а это, оказывается, не так-то просто.

— Что верно, то верно!

— Я не хотела вводить вас в заблуждение.

— Вы меня убиваете, а не вводите в заблуждение.

— Я должна была внести полную ясность...

— Вы внесли полную ясность! Но что вам нужно от меня, Лиза? Может быть, вы хотите вызвать у Майлза ревность?

— Странно,— сказала она,— но, по-моему, именно когда Майлз увидел нас на кладбище вдвоем, его вдруг осенило, что он любит меня,— до него дошло, что у меня может кто-то появиться.

— Избавьте меня от ваших трогательных воспоминаний. Значит, вы хотите заставить Майлза ревновать?

— Нет. Ни в коем случае. Я вообще не собираюсь больше видеться с Майлзом.

— Не может такого быть,— сказал Денби.— Вы любите его. Он любит вас. Вы мне это уже десять раз повторили. Не может быть, чтобы вы не стремились к нему.

— Может.

— И что же вы хотите от меня?

В первый раз за все это время Лиза смутилась. Она вздохнула, опустила глаза, пригладила еще не высохшие до конца волосы.

— Ну, я решила не ехать в Индию...

— Ну и что дальше?

— Понимаете, я провела все эти годы... в их доме... любя Майлза и зная, что он там, наверху, у Дианы... каждую ночь...

— Короче.

— Я бы могла и дальше с ними жить, до бесконечности, я и думала, что все так и будет продолжаться до бесконечности. Но вот вдруг... он меня полюбил... а я ему сказала...

— Хватит об этом, не могу я больше этого вынести.

— Когда я решила уехать, я воображала, будто я такая же, как и раньше. И вот та прежняя «я» и решила уехать в Индию...

— Ну-ну, дальше.

— На самом деле я была уже не прежняя.

— Ну и что?

— Я хотела бы, чтобы вы поняли,— сказала Лиза, снова глядя ему прямо в глаза,— я именно верю, что вы меня любите, что это, как вы мне писали, серьезно, и очень, что это настоящее.

Денби смотрел на нее во все глаза. Он чувствовал, что сейчас потеряет сознание и свалится со стула.

— Господи. Вы ждете от меня утешения,— хрипло проговорил он.

Лиза смотрела на него все так же настороженно.

— Ну, может быть, и да... жду. Я же сказала, это очень трудно выразить словами. Все это... что я пережила... с Майлзом... изменило меня. Возможно, к худшему. Время покажет. Я поняла, что просто не смогу... уехать и быть одна. Теперь мне уже не хочется уезжать.

— Лиза, Лиза,— Денби прикрыл глаза рукой.— Все это очень скверно. Вы меня в могилу сведете.

— Может быть. А может быть, и нет.

Денби подался вперед, пристально глядя на нее.

— Теперь выслушайте меня,— сказал он.— Вы себя просто обманываете. Вы говорите, что не смогли бы уехать и быть одна. Согласен, но какой смысл приходить ко мне, если вы меня не любите, а любите другого? Вы что же, думаете, это единственное спасение от одиночества? Вы не любите меня. И уж конечно, меня не знаете. Возможно, сейчас вы и благодарны мне за мою любовь. Я могу вас развеселить, развлечь на несколько дней, может быть, недель. Но потом вы вернетесь к Майлзу. А я убью себя. Или Майлза. Или вас.

— Нет,— отчетливо произнесла Лиза, почти вплотную приблизившись к нему и впившись в него глазами.— Я думала обо всем этом. Вы должны мне верить. Я не собираюсь возвращаться к Майлзу. Это исключается. Вы должны понять.

— Не понимаю. Когда любят — не существует никаких преград. Вы сумасшедшая. Я вижу, вам и невдомек, к чему может привести ваша игра. Это игра с огнем, Лиза, вы меня погубите!

— Я хочу порвать с Майлзом,— сказала Лиза,— и я это сделаю. И я знаю как. Это принесет страдания и мне, и другим, да и вам тоже. Для Майлза я словно бы ушла в монастырь или умерла. И он спокоен теперь: я ведь для него недостижимый ангел. Но когда окажется, что в конце концов я только женщина, он сразу потеряет покой.

— И тогда он придет и заберет вас.

— Нет. Тогда он перестанет меня любить.

— Значит, все это, чтобы исцелить Майлза!

— Да будет вам! Послушайте, Денби, неужели вы не понимаете, что вы вовсе не оставили меня равнодушной, что в тот день на кладбище и в ту ночь в саду вы разбудили во мне женщину? Я вам благодарна за вашу любовь, но это еще не все. Это очень много, но далеко не все. Я любила Майлза, но ведь и вы были у меня перед глазами. Я бы не пришла к кому попало за поддержкой и утешением. Я думала о вас все это время. Мне незачем ехать в Индию. Что же странного в том, что мне захотелось дать кому-то счастье и быть счастливой самой? Я все вспоминала, как вы тогда ночью упали в золу на колени и как мне захотелось вас погладить. За все эти годы на Кемсфорд-Гарденс у меня притупился инстинкт самосохранения. Я жила точно в темной келье. А теперь я вырвалась из нее. Это очень болезненно, и боль еще будет длиться, конечно, но ее можно вынести, если знаешь, что выздоравливаешь. Я не сумасшедшая, Денби. Никогда в жизни я не была более трезвой, холодно-трезвой, эгоистично-трезвой. Я женщина. И я нуждаюсь в тепле, в любви, в привязанности, в радости, в счастье, во всем том, чего у меня никогда не было. Я не хочу жить на дыбе.

— Но вы меня совсем не знаете...

— О, я прекрасно чувствую вашу душу. Это вы меня не знаете. Вы вообразили, что я добрая. Но все эти наполовину вычеркнутые из

жизни годы ничего не доказывают. Вы приняли меня за... кого-то другого.

— Нет,— сказал Денби,— нет. Я понимаю вас, вас я понимаю.

— Тогда давайте верить друг другу.

— Подождите-ка,— сказал Денби,— а то я сейчас заплачу. Что же вы предлагаете?

— Ничего особенного. Давайте лучше познакомимся друг с другом. Пригласите, например, меня пообедать.

— Пригласить... вас... пообедать! Должно быть, я схожу с ума,— сказал Денби. Он то ли зарыдал, то ли засмеялся.— Зачем, Лиза? Это каприз. Вы бросите меня, и я умру от горя.

— Ну, если вы предпочитаете не рисковать...— Лиза вытянула длинную ногу и потерла лодыжку. Потом сунула ноги в полуботинки и взялась за плащ.

Денби опустился на пол и положил голову ей на колени. Она устало улыбнулась грустной победной улыбкой и погладила его седые волосы.

Глава XXXII

Бруно проснулся. Слава богу, не ночь. Теперь возвращение к реальности приносило с собой боль, она медленно, постепенно обволакивала его, словно он погружался в теплую воду. Он страдал не физически, хотя тело у него тоже болело. Порой у него начинались какие-то спазмы, будто что-то сжималось и рвалось внутри. Но это бывало нечасто и быстро проходило. Мучил нестерпимый зуд, не отпускавший его теперь ни на минуту, и даже во сне, который словно окутывал его сознание трепещущей сумрачной дымкой, он ощущал его своими одеревенелыми конечностями. Но гораздо больше мучила его душевная боль, которую он чувствовал всем своим существом, словно обреченные плоть и душа, распадаясь, образовывали невидимую эктоплазму, неизвестно где помещающуюся, которая беспомощно пульсировала, пока угасало сознание. Возвращаться из сна к этому эктоплазменному бытию было мучительно. Я все еще здесь, думал он.

И дни он стал проводить по-другому: суп, ночной горшок, суп, горшок. День, ночь, дождь за окном и, что хуже всего, солнце, которое освещало скомканные грязные простыни, потеки на обоях, погнутую латунную ручку на двери, много лет нечищенную. Бруно понимал, что рассудок у него уже ослаб. Возможно, это от обезболивающего, которое прописал доктор. Это были новые таблетки, другого цвета. Он ощущал у себя в голове огромный черный ящик, занимавший почти все пространство, а для мозгов оставалась лишь узенькая щелка. Имена людей, названия предметов ускользали от него, парили где-то рядом, то справа, то слева, наподобие птиц, которые улетали, стоило ему повернуть голову. Он и на самом деле поворачивал ее, с усилием, недоуменно, ища ясного смысла всего, что его окружало. Он знал, что смысл этот существует, потому что различал его отсвет, но только отсвет.

Люди приходили и уходили. Денби и Гвен часто сидели с ним, разговаривали друг с другом, иногда обращаясь к нему. Бруно это нравилось. Его навестил какой-то темноволосый молодой человек, только это было давно, Бруно хотел что-то спросить о нем, но не мог вспомнить его имени. Бруно слышал собственный голос: «Молодой человек, молодой человек...» Но кажется, никто не понял, что он хотел сказать. Приходил Майлз. Бруно знал Майлза, знал его имя и произносил его. Но не разговаривал с ним. Это было как в кино. Майлз двигался, что-то говорил, делал, а Бруно смотрел. Всякий раз, когда Майлз склонялся над ним и рассказывал о чем-то с необычным для него жаром, Бруно кивал и пытался улыбнуться. Улыбаться было трудно из-за болезненной эктоплазмы, но, сделав огромное усилие, он улыбался, хотя не был уверен, получается ли это у него. Еще одна

светловолосая женщина с очень приятным лучистым лицом много времени проводила у его постели. Бруно не знал, кто она.

Время шло, и Бруно наблюдал за его ходом, его лицо морщилось в проницательной усмешке. Раньше он не замечал времени. К нему приходили, что-то приносили ему — суп, горшок, «Ивнинг стандард», оба тома «Пауков-охотников». Он рассматривал фотографии в газете и в книгах, но даже в очках не различал расплывающиеся буквы. Ночью, проснувшись, он стонал, подгоняя стоном время, капля за каплей роняя стоны в кулечек времени, который потом исчезал. Иногда он стонал оттого, что ему казалось, будто настал его последний час. Иногда приходили Денби и Гвен, разговаривали с ним, поправляли постель, взбивали подушки. Когда они уходили, Бруно снова принимался стонать.

Таково было его настоящее. И отдельно, где-то в другом измерении, но совсем рядом простиралось прошлое — отчетливое, яркое. Он видел живые картинки. Не то чтобы это были воспоминания. Однажды он увидел могилу Самбо в парке у дома в Туикенеме. К ней медленно приближался Майлз. Они нашли небольшой плоский камень и установили его на могиле собаки. Хотели выгравировать на камне кличку, но так и не собрались. Часто он видел мать, расчесывающую длинные волосы при свете лампы; иногда скрытая за ажурным плетением золотых листьев, освещенных солнцем, она звала его: «Топтыжка, где ты, дорогой?» Однажды он увидел Морин в короткой юбчонке, спящую в гнезде из перьев. Это были не воспоминания. *Я вам станцую за десять пенсов, ах, знали бы вы, чего это стоит.* Он видел Гвен в гимнастическом костюме, с косичками, с латинским букварем Кеннеди в руках. Обычно он помогал Гвен готовить уроки. Он видел подетски крупные буквы на листке бумаги и рядом — свой аккуратный мелкий почерк. Amo, amas, amat[1]. Латынь — начало начал. Но где же конец всему, думал Бруно, где?

Вот я умираю, размышлял он, но что же такое смерть? Только боль и страх? Конечно, он боялся, боялся чего-то. Предстоят ли ему невообразимые мучения, когда придет смерть, будет ли он чувствовать, что умирает, долго ли это продлится? Однако больше всего он страшился того, что происходило с ним сейчас, своей жалкой, немощной жизни, которая сопротивлялась смерти. Стоны по ночам — это было совсем другое, это было не так мучительно. Он понимал, что его могут ожидать еще бóльшие страдания, пока организм борется за остатки жизни, и нужно отключить сознание, отвернуться, не вступать в единоборство с силой, одолеть которую невозможно. Присущая ему привычка смотреть правде в глаза должна сослужить здесь свою службу, привитый с детства навык владеть собой, управлять и телом и духом — вот на что уповал он теперь. Еще были слезы. Они не тревожили Бруно. Это были созерцательные слезы. Он плакал, созерцая медленный ход времени, цветные картинки. Это не были слезы ужаса. Ужас притаился где-то в углу. Бруно обречен участвовать в этой игре — игре, называемой борьбой за выживание,— до самого конца. Вот единственное, что теперь ему осталось.

Нет, осталось что-то еще, думал Бруно, или это все одно и то же? Что же я должен еще сделать? Если бы существовал бог, он бы сделал это за меня. Порой ему грезился бог. Бог висел над ним в виде прекрасного паука eresus niger, слегка покачиваясь на чудесной, почти невидимой золотой нити. Другую нить бог спускал к нему, и она колыхалась над его головой, а когда Бруно хватал ее, нить рвалась. Легкое, нежное касание нити вызывало мучительное и в то же время блаженное ощущение. Потом неожиданно eresus niger начинал увеличиваться в размерах и вдруг становился головой отца Бруно. Его лицо заслоняло все небо.

---

[1] Люблю, любишь, любит *(лат.)*.

Бог сделал бы это за меня, но бога нет, напряженно думал Бруно. И начинал размышлять о женщинах. Он видел Морин, которая сидела в кафе за шахматной доской, не сводя глаз с красных и белых фигур, время от времени двигая то одну, то другую. *У нее голубые глаза, я глаза не любил голубые, но они у нее такие, что теперь я люблю голубые.* Морин носила строгую красно-белую шляпку-котелок, низко надвинутую на глаза. Как же он раньше не догадался, что шляпка сочеталась с шахматными фигурами? Неужели она специально ее носила? Нужно спросить у нее при случае.

— Нужно спросить у нее,— сказал он вслух.

— Что, Бруно?

— Нужно спросить у нее.

Светловолосая женщина подошла к нему, села на кровать, взяла его за руку, как бывало и прежде. Ее крупное лицо цвета слоновой кости было усталым, грустным. Несколько раз он видел — она тихо плакала, думая, что он спит. Кто она? Сколько ей лет? На лице у нее ни морщинки, но она явно немолода.

— Что, Бруно, дорогой?

— Муха запуталась в паутине,— сказал Бруно.

Большой araneus diadematus сплел изящную сферическую паутину в верхнем углу окна за стеклом. Обычно он висел вниз головой или сидел в трещине на раме, в маленьком жилище из паутинок, соединенном с центром сферы крепкой сигнальной нитью. Бруно целыми днями наблюдал за ним. У паука все не было добычи. Теперь же крупная муха барахталась в паутине, и паук спешил к ней.

— Вытащить муху?

Бруно не знал, хочет ли он, чтобы муху спасли, или нет. Паук, приблизившись к мухе, выпустил тончайшую нить, которая обвилась вокруг нее. Женщина отворила окно, тронула рукой паутину, разрушив ее изящную симметрию. Паук отступил, пленная муха повисла на паутинке.

— Слишком поздно. Принесите их сюда обоих. В кружке и в чашке.

Женщина опустила муху в кружку, с трудом поймала паука и посадила его в чашку. Подала их Бруно.

Муха слабо барахталась, двигая лапками и головой. Крылья у нее были повреждены обвившейся вокруг паутиной. Паук изо всех сил пытался выбраться, соскальзывая с гладкой поверхности чашки. Женщина слегка наклоняла чашку из стороны в сторону, и паук всякий раз падал на дно. Еще немного — и он утихомирился.

— Жирный паук.

— А вы не боитесь его? — спросил Бруно.— Женщины ведь боятся пауков.

— А я не боюсь. Я даже их люблю. И мух тоже.

— Грустно все это. Взгляните на крест, белый крест у него на спине. В средние века из-за этого креста пауков почитали священными.

— Может быть, муху лучше прикончить?

Бруно задумался. Вмешавшись в природу, они не знали теперь, как быть.

— Пожалуй, а паука посадите на место.

Женщина бросила муху на пол и придавила ногой. Паук был осторожно водворен в паутину, он тут же забрался в свое жилище, сжался и сделался почти невидим.

— Не закрывайте, пожалуйста, окно.

Теплый летний воздух лился в комнату. К запаху пыльных улиц, к особому запаху Темзы, гнилостному и в то же время свежему, примешивался едва ощутимый аромат цветов.

Что чувствуют эти твари? — думал Бруно. Страдала ли от боли муха, когда крепкая паутина опутала ее и поломала ей крылья?

Испытывал ли страх паук, находясь в чашке? Загадка — эти ощущения в экстремальных ситуациях. А разве менее загадочна жизнь в промежутках между ними? Если бы существовал бог, он бы озадаченно обратил свой взор к земным тварям и спросил, каково им.

Но бога нет. Я средоточие огромной сферы собственной жизни, думал Бруно, пока кто-то равнодушной рукой не оборвет паутину. Я живу уже почти девяносто лет и ничего не знаю. Я видел вселяющие ужас ритуалы природы, сам движим был простейшими инстинктами и к концу жизни не накопил никакой мудрости. Велика ли разница между мною и этими крошечными жалкими существами? Паук плетет свою паутину, иначе он не может. Я же плету собственное сознание, и оно лишь назойливый болтун, пустослов, который вот-вот онемеет. И все это сон. Явь невыносима. Я прожил жизнь во сне, просыпаться слишком поздно.

— Что же мне осталось еще? — вслух произнес Бруно.

— Что еще, милый?

— Еще.

Если бы верить, что смерть — это пробуждение. Хорошо тем, кто верит. Бруно посмотрел на свой халат, висящий на двери. Он не надевал его с тех пор, как перестал подниматься с кровати, и складки застыли в неизменном положении. Он хорошо их знал. Казалось, халат стал больше, длиннее, мрачнее. Даже солнечному свету не под силу было скрасить его мрачность. Как жалко все это оставлять, подумал Бруно. Я прошел юдолью слез и ничего не увидел в истинном свете. Реальность. Вот что еще мне осталось. Познать реальность. Но теперь слишком поздно, и я даже не знаю, что это такое. Он огляделся. Солнце освещало мрачную комнатенку, выцветшие грязные обои с рисунком из листьев плюща, тусклую ручку двери, тонкое индийское покрывало с едва заметной паучьей вязью орнамента, запыленные бутылки шампанского, которого он уже не пил. И халат.

Слезы выступили у него на глазах, потекли по лицу в бороду.

— Что такое, душа моя? Не нужно плакать.

— Не могу вспомнить, не могу вспомнить.

Что-то очень простое, думал он. Связанное с Морин, с Джейни, вообще со всем, что было в жизни. Теперь ясно, насколько бессмысленно все, чего добиваются. Если и существует что-нибудь, имеющее смысл теперь, в конце,— это должно быть что-то, ради чего действительно стоило жить и умереть. Хотелось бы знать, что же это. И только поняв, что все остальное бессмысленно, легко стать добрым и хорошим. Конечно же, все это был сон.

— Можно ли что-нибудь вернуть? — спросил Бруно.— Ведь нельзя же.

— О чем вы, милый?

Женщина все держала его за руку, сидя возле него на кровати. Но влечения он больше не испытывал. Страх убил все другие чувства.

— Если б можно было все вернуть, но ведь нельзя же.

Некоторые верят, что обретут жизнь заново. Но ничего такого быть не может, в том-то весь и ужас. Он любил всего нескольких человек, любил дурно, эгоистично. Он все запутал. Неужели только в преддверии смерти становится ясно, какой должна быть любовь? Если бы только это знание, пришедшее теперь, это абсолютное знание того, что ничто другое не важно, могло бы перенестись назад, в прошлое и очистить его от эгоистичных мелких страстей, распутать все, что он запутал. Но этого не дано.

Знала ли об этом перед смертью Джейни? Только сейчас Бруно отчетливо понял, что да. Джейни знала. Невозможно не знать этого перед лицом смерти. Джейни не проклясть его хотела, она хотела простить. А он отнял у нее эту возможность.

— Джейни, прости меня,— бормотал Бруно. Слезы текли у него по щекам, однако он был рад, что узнал это наконец.

Халат двинулся к нему и застыл у самой кровати.

Он умирает, думала Диана. За что мне послано пережить такое?

Бруно все время говорил что-то непонятное и не переставая плакал. Он едва мог есть, у него совершенно не было сил двигаться. Немощное, съежившееся тело неподвижно лежало под покрывалом. Только в мозгу у него или, может быть, в одних глазах с неистощимой силой полыхало пламя, которое вскоре должно было угаснуть.

Диана взяла Бруно за руку, и он ответил ей едва ощутимым пожатием. И сморгнул слезы. Диана вытерла ему щеку. У него не было сил поднять руку. Странно, организм по воле природы перестает функционировать и разрушается, а слезы все вырабатываются и вырабатываются.

На глаза у Дианы тоже навернулись слезы, и она вытерла их свободной рукой, тою же, что вытирала слезы Бруно, и ее слезы смешались с его слезами. За это время она очень его полюбила.

Если Бруно сейчас умрет, Денби замучает совесть. Они с Лизой ушли вечером. Диана уговорила их уйти. И вдруг Бруно стало заметно хуже.

У Дианы создалось впечатление, будто ее сестра и Денби слегка помешались. Они точно опьянели от счастья. Внешне Лиза настолько изменилась, что Диана с трудом узнавала ее. Она помолодела лет на двадцать и была очаровательна как никогда. Она все время смеялась каким-то новым смехом, которого Диана никогда раньше не слышала. Или, может быть, за все эти годы она просто забыла Лизин смех. Спит ли она с Денби? Судя по ее виду, наверняка. Их попытки скрыть счастье в доме, где витала смерть, были трогательны, но безуспешны. Они ничего не могли с собой поделать — они были до неприличия здоровы, полны надежд, жизнерадостны. Все в них ликовало.

Майлз бурно негодовал, это было очень смешно и отчасти даже снимало с души у Дианы тяжесть. Майлз долго ей не верил. Он считал, что Лиза не могла уйти к Денби, что это противоестественно. Он смотрел на Диану безумными, широко раскрытыми глазами. Тут какая-то ошибка, Диана, наверное, ошиблась, что-то перепутала. Природа не может допустить такой нелепости. Когда же наконец Диане удалось убедить Майлза, что она говорит правду, что Лиза не живет самоотреченной жизнью в Индии, что ее видели в Лондоне, в новом спортивном автомобиле Денби, что она обедала с Денби в ресторане в новом чрезвычайно модном платье, Майлз весь день был вне себя и сыпал проклятьями. Проклинал Денби проклинал Лизу. Сказал, что их связь не может продлиться долго. Она пожалеет, о боже! Как она пожалеет! Заявил, что Лиза его грязно предала. День-другой он сосредоточенно молчал, хмурился, не отвечал на вопросы. Потом загадочно сказал Диане: «Все, с этим покончено» — и засел за работу в летнем домике. Неделю спустя, гуляя по саду, Диана снова видела ту странную ангельскую улыбку, которая блуждала у него на лице, когда он писал.

Лиза не виделась с Майлзом и ничего не объясняла Диане. Просто однажды утром Диана застала Денби и Лизу на Стэдиум-стрит. Они приняли как само собой разумеющееся, что она сразу все поняла. И смотрели на нее виновато, заискивающе, лучистыми глазами, точно дети. И, как показалось Диане, сразу же стали обращаться с ней, будто с матерью. Диана тоже долго глазам своим не верила. Для нее это тоже было весьма горькое открытие. С самого начала, регулярно навещая Бруно, Диана обнаружила, что в ее

новых отношениях с Денби есть определенная прелесть. Она чувствовала в нем доброго друга, и у нее не было опасений, что она может его потерять. Теперь она ощущала его привлекательность более отвлеченно и спокойно, от него исходило уютное тепло, его присутствие утешало. То, что они вместе ухаживают за Бруно, целительно действовало на нее. Было очевидно, что Денби несчастлив. Она уважала его горе и, заглянув в будущее, готовилась как-нибудь его обласкать. Каким образом, она не задумывалась. Все обойдется без крайностей. Но горю можно будет помочь. Когда умрет бедняжка Бруно, думала Диана, я позабочусь о Денби, найду способ. Она много думала о Денби, особенно по вечерам, сидя в одиночестве в гостиной на Кемсфорд-Гарденс, и думать о нем было приятно.

А что же теперь? Лиза отняла у нее Майлза, а затем и Денби. Выслушивая оскорбленного до глубины души Майлза, Диана старалась пересилить собственную боль. Ей трудно было вынести обиду. Только теперь она поняла, сколь сильно уповала на Денби. Но лишь когда Майлз сказал, что по крайней мере она может быть довольна устранением соперницы,— только тогда она подумала о другой стороне вопроса. Денби в некотором смысле был куда надежнее, чем Индия. Если бы Лиза уехала в Индию, она стала бы для Майлза божеством. Но Лиза, разъезжающая в автомобиле Денби, откинув руку на спинку сиденья — эта картинка так и стояла у Дианы перед глазами,— с точки зрения Майлза, ниже пасть было некуда. «Она поддалась искушениям мирским и плотским,— ядовито сказал Майлз.— Будем надеяться, что до сатанинских дело не дошло!» Он, естественно, считал, что Диана довольна и что иначе быть не может. Его не интересовали ее чувства, он был поглощен своими. Он это переживет, думала Диана, он это переживет. В конце концов, мы все нашли себе пару. У Майлза — его муза, у Лизы — Денби. А у меня — Бруно. Кто бы мог подумать, что все так сложится?

Диана чувствовала, что в итоге оказалась в полном одиночестве. Денби и Лиза, с их заботливым отношением к ней, с их смиренной вежливостью, были потеряны для нее, точно умерли. Она начинала понимать, что Майлз почти не думал о ней, что ей, живой, почти не оставалось места в его сердце. Оно было занято более экзотическими предметами. Когда он рассказывал о Парвати, Диане казалось, что она ему очень близка, теперь же она считала, что ею просто воспользовались. Майлзу требовалось пережить кризис в его отношениях с прошлым, пройти через тяжкое испытание, и Диана помогла ему в этом. Теперь, придя в себя, он стал еще более самодовольным, чем прежде. Она подумывала, не сказать ли ему, что у нее тоже был роман с Денби, может быть, тогда он обратил бы на нее внимание. Но это принесло бы только лишние бессмысленные переживания.

А теперь, думала она, я сделала самую большую на свете глупость — привязалась к умирающему. Разве это не самая бессмысленная любовь? Все равно что полюбить смерть. На первых порах она присматривала за Бруно просто потому, что больше некому было. Уход за ним приносил ей успокоение, у нее появилось дело, долг, а также возможность уйти из дому, от потаенной завороженной улыбки Майлза. И наконец, там она была рядом с Денби. Потом присутствие Денби стало мучительным. Но к тому времени она уже полюбила Бруно чистой, тихой, безнадежной любовью. Он не мог дать ей ничего, кроме боли. По мере того как шли дни, Бруно слабел и все меньше сознавал окружающее, ей стало казаться, что она — соучастница его смерти, что она тоже умирает.

Диана чувствовала, что стареет, и однажды, посмотрев в зеркало, обнаружила, что сделалась на кого-то похожа. Она стала похожа на Лизу, какой та была прежде. А потом Диана начала замечать,

что все изменилось. Острая горечь прошла. Осталось сильное, возвышающее душу страдание, неизведанное ею никогда ранее. Целыми днями, сидя с Бруно, держа его изможденную, покрытую пятнами руку, она думала об этом страдании — что бы это могло быть, и откуда оно взялось, ее ли это собственное страдание или страдание Бруно. И плющ на обоях, и погнутый шарик дверной ручки, и прореха в кармане старого халата Бруно — все это стало необыкновенно родным, необыкновенно трогательным. Когда она добиралась теперь привычной дорогой с Кемсфорд-Гарденс на Стэдиум-стрит, ей казалось, что она в незнакомом городе — так много нового она видела: цветы на окнах, потеки на стенах, зеленый влажный мох между булыжниками мостовой. Даже уличный сор и тот удостаивался ее внимания. И лица прохожих открывались ей с необычайной ясностью, будто она в одно мгновение проникала в души этих людей из своего призрачного настоящего. Что бы это могло значить? — думала Диана. Неужели и Бруно воспринимает все так же? Ей хотелось спросить его об этом, только, наверное, сейчас он уже далеко и целиком поглощен собою. Она сидела возле Бруно, держа его за руку, и каждый думал о своем.

Ее боль была до того невыносима, что Диана уже даже не знала, боль ли это, и она задумывалась над тем, сделается ли она совершенно иной или останется прежним заурядным существом и забудет эти последние дни с Бруно. Она чувствовала, что, если бы она смогла сохранить их в памяти, она бы стала совсем другою. Но какой? И что именно она будет вспоминать? Что же казалось ей столь важным, чего она не могла понять и в то же время боялась утратить? Не хотела же она продлить нынешние свои страдания на всю оставшуюся жизнь?

Она пыталась думать о себе, но получалось, что думать было не о чем. Сам по себе человек ничто, размышляла она. Только его любовь к кому-то имеет смысл. Может быть, вся ее неизбывная боль — лишь выражение безнадежной любви к Бруно? Сам по себе человек ничто, и все дело только в том, что он способен любить. Наверное, так оно и есть. Она больше не чувствовала обиды на Майлза, на Денби, на Лизу. Пусть себе благоденствуют, она будет ласково опекать их, как детей. Кто научил ее этому? Скорее всего, никто, это вытекало само собой из всего хода ее размышлений. Смягчись. Отдай им всю себя. Люби их. Пусть необозримый свод твоей любви простирается над ними. Диана всем своим существом чувствовала, насколько беспомощен человек перед лицом смерти. Она воистину переживала смерть, ощущая, как сама обращается в ничто, как угасает в ней желание. Но любовь в ее душе оставалась — и это единственное, что важно на свете.

Дряхлая рука в пятнах тихо разжалась.

■

ТАТАРИНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

Советский поэт-переводчик прозаик В ее переводе с немецкого публиковались в периодике стихи И. Бехера, Б. Брехта, Г. Маурера, Эвы Штриттматтер (ГДР), с английского — рассказы австралийского писателя Патрика Уайта (Библиотека «ИЛ», 1986).

ШВАРЦ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1949 г.)

После окончания Литературного института имени Горького занимался журналистикой. В его переводе напечатаны рассказы гринидадского писателя В. Найпола.

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Новые переводы

К 100-летию со дня рождения

Вступление и перевод с болгарского ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

О Димчо Дебелянове я впервые услышал от моих болгарских друзей тридцать лет тому назад. Тогда же прочитал его, тогда же полюбил его, тогда же начал переводить. У каждого большого поэта есть одно наиболее известное в широчайших кругах стихотворение — «Я помню чудное мгновенье...», «Выхожу один я на дорогу...», «Незнакомка» и т. д. У Дебелянова таким стихотворением оказалась элегия «Помнишь ли, помнишь ли...». Вот как она звучит на русском языке:

Помнишь ли, помнишь ли маленький двор,
маленький дом, белоцветные вишни?
Ах, не врывайтесь в мой тесный затвор
дальние жалобы памяти лишней.
Я осужден на угрюмый затвор,
дальние жалобы памяти лишней,
строгая стража моя — мой позор,
казнь моя — дни моей жизни давнишней.

Помнишь ли, помнишь ли маленький двор,
шепот и смех, белоцветные вишни?
Ах, не будите замолкнувший хор,
ангельский хор моей жизни давнишней.
Я осужден на угрюмый затвор,
дальние жалобы памяти лишней.
Сном безмятежным был маленький двор,
сном были, сном белоцветные вишни.

Элегические мотивы в поэзии Дебелянова, даже когда они весьма пессимистичны, не разочаровывают в жизни, а, наоборот, очаровывают ею. Когда он говорит о том, что его жизнь останется песней, навевающей «ненужное воспоминанье», парадоксальным образом ощущаешь, что речь идет о *нужном*, необходимом воспоминании.

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ (1887—1916)
Болгарский поэт. При жизни публиковались отдельные стихотворения поэта в периодической печати. Первое издание сборника «Стихотворения» осуществилось посмертно в 1920 году. Сборник переиздавался многократно. Собрание произведений в двух томах: т. I — «Стихотворения и переводы» («Стихотворения и преводи»), т. II — «Проза и письма» («Проза и писма») — вышло в 1969 г.
Русские переводы стихотворений Димчо Дебелянова печатались в антологии «Болгарская поэзия» (М., 1970), в книге «Избранное» трех поэтов: Д. Дебелянова, П. Славейкова, П. Яворова (М., 1979). К юбилею поэта издательство «Художественная литература» выпустило книгу «Лирика» Д. Дебелянова. Публикуемые переводы выполнены для журнала «Иностранная литература».

Образ любимой у Димчо Дебелянова окутан печалью, но чист и светел, как образ родной природы, как все, что должно защищать.

Подпоручик Дебелянов погиб в 1916 году в окопах первой мировой войны.

Поэзия его с годами стала чрезвычайно популярной в Болгарии (примерно так, как у нас поэзия Блока, Есенина). Такие его шедевры, как «Вернуться в дом отеческий однажды...», «Сиротливая песня» и многие другие, знает каждый болгарин с детских лет.

■ ■ ■

Еще деревья в грезе неуемной
надеялись поймать лучи живые,
но был на небе праздник ночью темной,
и снег осыпал ветки их нагие.

Застыли скорбно, горько онемели,
приняв на плечи новые одежды,
в последний час мечты — они узрели
бесплодную тщету своей надежды.

1907

Луч

Люблю тебя, как первый луч — росу,
росу на злаках и росу на травах!
Как ястреб, сердце вольное несу
к тебе с небес на свет очей лукавых.

Ты тишину подаришь буре — мне.
Хочу тебя, как злой ручей — покоя.
Ищу тебя и в холоде, и в зное,
и в бездне, и в зазвездной вышине.

1909

Розы

Я миновал злокозненные тени
своих путей безрадостных — и вот
все больше в сердце светлых изумлений
и счастье, как прилив, растет, растет.

Небес любви, любви кристальной нашей,
я знаю, буря не коснется, нет.
И в сердце уголка не будет даже,
которого не озарил бы свет.

Сады весенней радостью полышут —
забыв о снеге, не боясь остуд.
Воскрес мой день, а ночь уже не дышит.
И розы все цветут, цветут, цветут.

1909

Стансы

I

Ушел неслышным шагом в сумрак темный
принесший жажду день... Его уход
нахмурил небо, ночь в тиши бездомной
над городом притихшим слезы льет.

И в эту ночь под этим сонным ливнем,
в ночь, что одной тебе посвящена,
моя печаль уснула сном счастливым,
твоим заветным *Да* озарена.

II

Дуновенье заморских ветров
опьяняет негаданной страстью...
О, не так ли дышала весна
первой радостью первого счастья?

Радость меркнет в тревожной тени
темной памяти, времени злого...
Те цветы, что цветут предо мной,
не развеются ль осенью снова?

1910

Одинокие

Сосна на круче горной — страж забытый,
палимый жаждой и ветрам подвластный,
как был я рад под бурей в небо взвитой
услышать стон твой сдавленный, но ясный,—
когда вернусь я в город одиноко,
где одиноким быть не перестану,
мне будет память о тебе далекой
светить и заживлять за раной рану.

Лишь потому, что буду и другую
знать чью-то муку, мучась болью скрытой,
знать стон другой, что вдаль летит, тоскуя,
сосна на круче горной — страж забытый!

1912

■ ■ ■

Вернуться в дом отеческий однажды,
когда смиренно вечер угасает
и ночь объятья тихо перед каждым,
кто скорбен и несчастен, раскрывает.
Как бремя скинуть черную усталость,
завещанную горестными днями,—
и пробудить негаданную радость
в тиши двора неверными шагами.

Чтоб повстречаться на крыльце со старой,
лицом в плечо уткнуться близкой самой,
в ее улыбке утонуть усталой
и без конца шептать ей: мама, мама...
И встать смиренно в комнате знакомой
в последней пристани под древним кровом,
и прошептать в тиши перед иконой,
впивая взгляд в нее, простое слово:
я встречу здесь, как суждено страдальцу,
последний луч, мой день свой круг исполнил...

О вопли скрытые в груди скитальца,
что мать и родину напрасно вспомнил!

1912

Сон героя

Враг отступил. Ушли раскаты грома,
вечерний ветерок развеял дым,
смежила взор усталости истома,
и встала тишь над полем боевым.

И он уснул мгновенно, наклонилась,
упала на винтовку голова.
И мать, родная мать ему приснилась,
и он услышал тихие слова:

«Врагов своих не бойся, сын любимый,
пусть даже первым будешь ты убит —
тебя зовет к отмщенью край родимый,
невинной кровью пять веков залит.

Умрешь — умри, отважен и достоен,
вернешься — знай, что весь народ родной
тебя навек прославит, верный воин,
что не скупился кровью молодой!»

Умолкла мать. А сын простер десницу —
ее обнять, за все благодаря,
и вдруг открыл глаза — взошла денница,
забрезжила румяная заря.

И трубы грянули... И, бодро встав,
пошел боец навстречу злому бою...
Он пал с улыбкой тихой на устах,
как подобает сыну и герою.

1913

Сиротливая песня

Когда погибну на войне,
грусть не пройдет по белу свету.
Мать потерял, а о жене
и мыслей нет. И друга нету.

Но сердцу нечего грустить —
пройдя по жизни сиротою,
я в утешенье, может быть,
победу смертью удостою.

Я был путям своим не рад.
И весь мой клад непотаенный
в том, что я горем был богат
и радостью неразделенной.

Уйду из мира в смертный час
без крова и без состраданья,
как песня та, что будит в нас
ненужное воспоминанье.

1916

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.)
Советский поэт, лауреат Государственной премии СССР. Автор сборников стихов «Утро в пути» (1953), «Смена дней» (1965), «Снег в сентябре» (1968), «Позднее утро» (1977), «Сюжет» (1980), «Новые времена» (1986), «Избранные произведения» в двух томах (1981). Переводил стихи болгарских и чешских поэтов, а также поэзию народов СССР.

Публицистика

АНДЖЕЙ КЕМПИНСКИЙ и ЗБИГНЕВ КИЛЯР

КТО ЕСТЬ КТО В ПОЛЬШЕ— ИНАЧЕ

Фрагменты книги

С польского

На исходе 1985 года в варшавском издательстве «Чительник» вышла книга двух молодых журналистов и социологов Анджея Кемпинского и Збигнева Киляра «Кто есть кто в Польше — и н а ч е», получившая заметный читательский отклик. Через несколько месяцев издательство выпустило в свет второй том, сейчас готовится к печати третий.

В двух томах собрано свыше сорока обширных интервью — бесед с ведущими польскими политиками и общественными деятелями. Из них в нашей журнальной подборке воспроизводятся интервью с пятью польскими государственными и общественными деятелями — министром внутренних дел ПНР, членом Политбюро ЦК ПОРП Чеславом Кищаком, писателем Яном Добрачинским, рабочим — членом ЦК ПОРП Альбином Сиваком, работницей одной из радомских фабрик — членом Политбюро ЦК ПОРП Зофьей Гжиб, а также Секретарем ЦК ПОРП Яном Глувчиком.

Разумеется, сам по себе факт издания разного рода интервью отдельной книгой — дело для той же Польши отнюдь не новое. За последние 10—15 лет там было выпущено несколько интересных сборников такого типа. Все подобного характера издания пользовались успехом. Но пожалуй, читательский резонанс, вызванный книгой А. Кемпинского и Зб. Киляра, оказался значительно более широким.

Чем объяснить эту несколько неожиданную удачу двух молодых журналистов, до того едва ли известных массовой аудитории? Ответ отчасти содержится уже в заглавии книги: «Кто есть кто в Польше — и н а ч е». В самом слове «и н а ч е» улавливается некая скрытая полемика с определенным утвердившимся каноном, в рамках которого до сих пор представлялись общественности вершители большой политики, кого в Польше принято называть «персонажами первой газетной полосы». Угадывается и некий конкретный эталон, взятый на прицел А. Кемпинским и Зб. Киляром. За год-полтора до выхода их книги в Варшаве появился объемистый том справочного характера «Кто есть кто в Польше». В этом «информаторе» достаточно сведений и данных о людях, делающих политику, но о б л и к ч е л о в е к а, о котором идет речь в той или иной статье, они не воссоздают.

«И н а ч е» для А. Кемпинского и Зб. Киляра не просто чисто формальный момент, не только то обстоятельство, что в отличие от «информатора» персонажи их книги рассказывают о себе. Важнее, ч т о и к а к они говорят о себе, как оценивают те события в жизни страны, непосредственными участниками которых были.

...Как известно, на протяжении последнего десятилетия польское общество пережило несколько сильных социальных потрясений: в августе 1980 года наступил глубокий политико-экономический кризис, последствия которого ощутимы и до сих пор. Польский рабочий класс открыто выразил в те дни свое недовольство тогдашнему партийно-государственному руководству во главе с Э. Гереком, не оправдавшему доверия народа. Этим людям пришлось оставить свои посты.

Одним из требований, выдвинутых крупнейшими производственными коллективами, было создание независимых профсоюзов, которые проявляли бы бóльшую заботу о нуждах трудящихся, нежели вконец обюрократившиеся и скомпрометировавшие себя официальные профсоюзные организации. На волне широкой общественной активности родилось профобъединение «Солидарность».

Представители правительства и новых независимых профсоюзов подписали соглашение. Обе стороны обязались тесно сотрудничать на партнерских началах, с тем чтобы общими усилиями вывести страну из создавшегося тупика. Однако вместо сотрудничества с новым государственным и партийным аппаратом руководители независимого профобъединения повели непримиримую борьбу с ним. Бесчисленные забастовки, митинги, стачки, объявляемые руководством «Солидарности» по всякому

© Copyright by Andrzej Kępiński i Zbigniew Kilar, Warszawa, 1985

Тексты интервью печатаются в сокращении.

поводу, окончательно подорвали и без того изрядно хромавшую отечественную экономику. Страна оказалась на грани катастрофы.

Именно об этих, особенно драматических, днях, неделях и месяцах рубежа 1980—1981 годов и рассказывает большинство собеседников А. Кемпинского и Зб. Киляра. «Следовало задуматься и сделать выводы из того,— свидетельствует профессор Генрик Яблоньский, в тот период председатель Государственного совета ПНР, — что с полок наших магазинов начал исчезать даже уксус — последнее, что еще там оставалось».

Обстановка в стране все больше накалялась. Представители экстремистского крыла «Солидарности» на конференциях и собраниях профобъединения открыто заявляли, что скоро вся полнота власти окажется в их руках. В этих условиях, когда на карту оказалась поставленной судьба социализма в Польше, руководство ПНР вынуждено было решиться на тяжелый, но необходимый шаг — ввести в стране военное положение. 13 декабря 1981 года неизбежное свершилось...

Для многих поляков весть об установлении в Польше военного положения явилась тягчайшим ударом. Об этих горьких минутах искренне и с болью повествуют также некоторые из собеседников А. Кемпинского и Зб. Киляра. Пожалуй, как раз интонация доверительности, искренности, ощутимая в большинстве бесед, воспроизводимых в книге «Кто есть кто в Польше...», и обеспечила ей читательский успех.

...Тяга к гласности и демократизму отношений между представителями власти и обществом — примечательная черта нашего времени. Гласность — характерная примета не только в жизни современного советского общества. Бóльшая гласность, демократизм в отношениях между «верхами» и «низами» наблюдается во многих социалистических странах и, в частности, в Польше. В ПНР гласность — своего рода здоровая реакция на ту официальную «пропаганду успехов» (вопреки фактам реальной жизни), которая процветала при Э. Гереке в 70-е годы.

Свидетельством такой гласности служит и книга А. Кемпинского и Зб. Киляра: еще недавно появление подобной работы в Польше трудно было себе представить, поскольку сфера большой политики считалась привилегией узкого круга посвященных и журналисты доступа туда не имели. Недаром в издательском предисловии к 1-му тому подчеркивается: «Представленный в этой книге групповой автопортрет составлен из индивидуальностей ярких и крайне отличных друг от друга. Из этих людей по мере развития событий и сформировался нынешний руководящий состав. Но не только это играет роль. Некогда люди из руководства не выявляли своего иного облика, кроме как политического, и это была групповая, неиндивидуализированная «физиономия». Настоящая книга свидетельствует, сколь существенный прогресс совершился в этом отношении. Пожалуй, его размах и значение еще недооцениваются».

«Групповой портрет» в книге А. Кемпинского и Зб. Киляра получился именно потому, что авторы ее сломали устоявшийся стереотип представлений о личности политика. Они ставят вопросы своим собеседникам прямо, в лоб и жаждут получить на них столь же прямые и откровенные ответы. Когда же сказанное их не удовлетворяет, они переходят в наступление, подчас демонстрируя даже некоторую жесткость, стремясь добиться от того или иного собеседника исчерпывающей характеристики, оценки, удовлетворяющей их. Это равно касается как политической сферы, так и сферы личной жизни интервьюируемых.

В этой дотошности двух молодых журналистов нет нескромности, праздного любопытства, продиктованного стремлением к сенсации. Ими руководит желание глубже постичь характеры своих собеседников, их психологию, побудительные причины их поступков, решений. Авторы ведут свой диалог для того, чтобы помочь читателям самим приобщиться к сложному миру большой политики, лучше понять людей, которые ее осуществляют день ото дня,— ту самую реальную политику, которая не может не волновать каждого. Делается это и для того, чтобы избавить немалое число читателей от поверхностных, обывательских в сущности представлений об этом мире. О них не без горечи говорит один из собеседников А. Кемпинского и Зб. Киляра:

«У рядового гражданина, который смотрит на политику со стороны, может создаться впечатление, что у нас легкая и приятная жизнь: встречи, приемы, совещания, конференции. Сторонний наблюдатель не замечает того, что таится внутри.

Не замечает тяжелого труда, которому сопутствует огромное чувство ответственности за сегодняшний и завтрашний день народа и государства. Такая работа требует не только личного самопожертвования, но и фантазии. Решения, принимаемые ныне, возможно, лишь через несколько лет или даже десятилетий принесут плоды. Необходимо уметь, по крайней мере в самых общих чертах, предугадывать последствия нынешней деятельности, ибо без политического воображения нельзя успешно руководить государством».

В послесловии к книге А. Кемпинский и Зб. Киляр спрашивают как бы сами себя: «Удалось ли получить ответы на все вопросы и прояснить все недоговоренности?» И тут же свидетельствуют: «Нет! Этого не случилось, но такое в порядке вещей... Мы считаем при этом, что, несмотря на ограничения, какие создает сам жанр интервью, нам все же удалось выявить нынешние — отнюдь не только сугубо польские — проблемы, воспроизводимые через восприятие людей, оказавшихся у кормила власти в критические — а позже в достаточно еще сложные — моменты истории нашей национальной государственности... Мы наблюдали, как обостренно-эмоционально наше поколение переживало шок, вызванный надеждами 1980-го и крахом 1981 годов.

Возможно, на некоторые свои сомнения и вопросы, возникшие в тех драматических обстоятельствах, читатель найдет ответы на страницах этого издания. Если это так, то книгу стоило издавать именно сейчас, когда становится все очевиднее необходимость извлекать из прошлого уроки, которые помогут нам жить дальше».

Своим анализом недавнего прошлого — ради будущего — публикуемая в извлечениях книга А. Кемпинского и Зб. Киляра интересна и советскому читателю. Конечно, с учетом того, что воспроизводимые тексты бесед не лишены отдельных субъективных суждений и оценок, с какими не всегда можно согласиться. Однако доверительный разговор невозможен без открытого и прямого высказывания мнений и оценок, подчас не лишенных излишней пристрастности и резкости.

С. ЛАРИН

ЧЕСЛАВ КИЩАК, генерал брони, государственный и политический деятель. Родился 19 октября 1925 года в Рочинах, Бельское воеводство, в рабоче-крестьянской семье. Выпускник Академии Генерального штаба Войска Польского.

Участник движения Сопротивления. За заслуги в борьбе с фашистскими оккупантами награжден боевыми орденами, в том числе крестом Грюнвальда III кл. С 1945 года в рядах народного Войска Польского. Многие годы проработал в органах военной контрразведки. В 1972—1979 годах возглавлял органы военной разведки и одновременно был заместителем начальника Генерального штаба ВП. В 1973 году представлен к званию генерала бригады[1] ВП. В апреле 1979 года возглавил органы военной контрразведки Министерства национальной обороны. В этом же году получил звание генерала дивизии[2] Войска Польского.

Был председателем Координационной комиссии по укреплению законности и соблюдению норм правопорядка. В июле 1981 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел, в августе того же года назначен министром внутренних дел. В 1983 году представлен к званию генерала брони[3] Войска Польского. В декабре 1983 года стал председателем Комитета Совета министров по соблюдению законности, правопорядка и общественной дисциплины.

С 1945 года — член ППР, а затем ПОРП. На VIII съезде ПОРП избран кандидатом в члены Центрального Комитета. На IX Чрезвычайном съезде ПОРП введен в состав Центрального Комитета, с февраля 1982 года — кандидат в члены Политбюро ЦК ПОРП; в июне 1986 года, на X съезде ПОРП, избран членом Политбюро ЦК ПОРП. Депутат сейма ПНР.

Имеет награды, среди которых орден Строителей народной Польши, орден Трудового Знамени I кл., Командорский крест ордена Возрождения Польши.

ЧЕСЛАВ КИЩАК

«Готов говорить с кем угодно, если это пойдет на пользу Польше...»

I

— Каким был ваш путь в политику?

— Его начало типично для людей моего поколения. В июне 1945 года я вступил в ППР, а закончив Центральную партийную школу в Лодзи, понял, что сделал свой жизненный выбор. Молодежь моего поколения, на собственной шкуре познавшая нужду, голод и безработицу довоенной Польши, а затем горечь разгрома, захват страны врагом и оккупацию,— такая молодежь очень быстро созревала политически. Возможность надеть мундир возрожденной польской армии, получить офицерские звездочки определяла не только политический выбор, но для парня из рабочей семьи — и судьбу. Мое офицерское звание — это мечта отца.

— Кем был ваш отец?

— Металлургом, рабочим одной из самых тяжелых профессий. Работать он начал еще до первой мировой войны, на одном из заводов, находившихся на территории, отошедшей впоследствии к Чехословакии. После войны работал на ме-

[1] Генерал бригады соответствует нашему званию генерал-майора.

[2] Генерал дивизии соответствует нашему званию генерал-лейтенанта.

[3] Генерал брони соответствует нашему званию генерал-полковника. *(Здесь и далее прим. перев.)*

таллургическом комбинате «Гидотто» в Хропачеве под Катовицами. Владельцем комбината был промышленный магнат князь Доннерсмарк, в его обширную империю входили угольные и железорудные шахты, металлургические комбинаты и сталелитейные заводы. В 1935 году — мне тогда было 10 лет — отца вышвырнули с завода «за строптивость». Зачисленный в разряд «подрывных элементов», он практически лишился шансов на получение работы и до 1939 года[1] оставался безработным, перебиваясь случайными заработками и обрабатывая свой надел земли. В 1942 году его вместе с моими матерью, старшим братом и теткой арестовали и бросили в концлагерь, а затем выслали на принудительные работы под Колобжег. Освободили их части Войска Польского.

— Расскажите, как вас принимали в партию. Кто дал вам рекомендацию?

— В члены Польской рабочей партии я вступил в июне 1945 года, сразу же по возвращении из своих военных странствий. На формировании моих политических убеждений сказались и семейные традиции, и собственный опыт, а также размышления над причинами слабости досентябрьской Польши и поисками источников возрождения нашей государственности в другой, народной, форме. Все это сделало меня коммунистом. В 1945 году с рекомендациями было проще, а партия нуждалась в преданных людях. Классовое происхождение, проверка в деле, участие в движении Сопротивления в коммунистических отрядах в Вене (с 1943 года) было самой надежной рекомендацией. Рекомендацию же мне дал товарищ Франтишек Живёл, рабочий, знавший меня еще до войны.

— А как вы попали в Вену и стали участником движения Сопротивления?

— Меня схватили в Кракове во время облавы и отправили на принудительные работы в Вену. К участию в Сопротивлении меня привлек товарищ по работе хорват Узаревич, носивший конспиративную кличку Антон, коммунист, участник боев в Испании. Он был связан с австрийскими коммунистами. Организация, в которую я вступил, называлась «Befreiungsfront», но об этом я узнал уже после освобождения Вены войсками маршала Толбухина в апреле 1945 года, когда по поручению руководства партячейки организовал интернациональный отряд, помогавший частям Советской Армии освобождать город и очищать его от групп вооруженных фашистов. Наш отряд подчинялся непосредственно советскому командованию, которое разместилось тогда в здании бывшей резиденции нацистов, если не ошибаюсь, на Линцерштрассе.

— Во время войны вам пришлось побывать на принудительных работах и во Вроцлаве. Каким был тогда этот город?

— Во Вроцлав меня занесло в начале июня 1941 года, и пробыл я там до апреля — мая 1943 года, когда меня направили на угольную шахту под г. Бытом.

Во Вроцлаве я работал в фирме братьев Юзефа и Бернарда Грунд. Тогда Вроцлав был красивым, чистым, ухоженным городом. Много зелени, каналов, рвов, где даже рыба водилась. И много театров, ресторанов, кинотеатров. Разумеется, нам, полякам, клейменным как скот, вход туда был строго воспрещен. Тем, кто нарушал запрет, грозило суровое наказание. За такие «преступления» многие из моих товарищей были отправлены в находившийся неподалеку концентрационный лагерь Гросс-Розен.

Особенно хорош был район Кшики — красивые виллы в окружении роскошных садов. Жили там сливки местного общества — гитлеровские сановники и крупные промышленники, в том числе и мои «хозяева».

Многое во Вроцлаве говорило о том, что он был некогда польским городом. И на кладбищах, на надгробиях, часто можно было увидеть чисто польские имена и фамилии.

В городе находилось много промышленных предприятий, большинство из них в то время перешло на выпуск продукции для военных нужд. Спешно сооружались новые заводы по производству оружия, благо, недостатка в даровой силе не было, рабов согнали со всей Европы — больше всего было поляков, русских, украинцев и белорусов.

— Как относились жители Вроцлава к людям, направленным на принудительные работы?

— Большая часть немцев именно к нам, полякам, относилась исключительно враждебно, с ненавистью. Крайне редко можно было встретить нормальное человеческое отношение. Хлеба мы получали очень мало, но делились им с советскими гражданами, которые получали его еще меньше, такими же подневольными рабочими, как и мы.

Однако было бы несправедливым не сказать о том, что встречались все-таки среди немцев и те, кто относился к нам по-человечески, а кое-кто так и просто по-дружески. Эти последние не скрывали своих левых убеждений. Скорее всего они были коммунистами.

Особенно глубоко запечатлелся в памяти один юноша, почти мальчик, лет 13—14, имени его я, к сожалению, не помню. Он часто приходил к нам, полякам, причем вечно был в синяках и кровоподтеках. На наши вопросы, что с ним, парень давал уклончивые объяснения: то он свалился с дерева, то упал с лестницы, то мать выдрала. Но вот как-то его маленькая сестренка проболталась нам, что его избивают в школе мальчишки за то, что он отказывается вступать в гитлерюгенд. Сын же вы-

[1] Год нападения на Польшу гитлеровской Германии — то есть отец Ч. Кищака так и не смог устроиться на работу в буржуазной Польше.

полнял наказ отца, данный им перед уходом на фронт.

О положении на Восточном фронте мы не располагали никакой достоверной информацией. Официальные немецкие сводки сообщали лишь об очередных «молниеносных» победах армий третьего рейха и «о близком окончании войны». И вот однажды поздней осенью этот мальчишка врывается к нам с сияющей физиономией и выкладывает: под Сталинградом окружена и уничтожается огромная немецкая группировка. Сообщил и кое-какие подробности. О них он узнал из письма отца, переданного с другом, который был тяжело ранен и на самолете вывезен из сталинградского котла. Сначала мы не очень-то поверили парню, но сообщение командования вермахта уже слушали внимательнее. Даже стали покупать по утрам (чего до сих пор не делали) «Фёлькишер беобахтер» — главный орган нацистов. Внимательно изучали его на глазах изумленных немцев. И в самом деле начали появляться отдельные осторожные упоминания о битве под Сталинградом, а вскоре взорвалась и официальная «бомба» с сообщением о сталинградской катастрофе. Какая это была радость! Теперь уже не оставалось сомнений, что немцы проиграют войну. Вскоре был объявлен трехдневный траур, закрыли кино, театры, рестораны, аттракционы. Немцы ходили мрачные, как грозовые тучи, а нас распирала радость. Проявлять ее мы могли, ясное дело, только среди своих.

Помню я и другого немца по фамилии Шнайдер. Мы с ним работали в одном цеху. Это был громадный хромоногий детина, из-за увечья его не отправили на фронт, лишили возможности сражаться за фюрера и фатерланд. Порядочный человек... Молод я был тогда, и, соответственно возрасту, задирист, и... глуп. Как-то задал ему вопрос с подвохом: «Герр Шнайдер, почему Хундсфельд [1] называется Хундсфельдом?» Шнайдер прочел мне длинную лекцию о том, что немецкий народ всегда заботился о соблюдении чистоты и гигиены и т. д. и что во Вроцлаве уже много веков назад запрещалось держать животных, в том числе и собак, в черте города. А в давние времена жил во Вроцлаве какой-то — не помню точно — фон унд цу Дуперштайн, заядлый охотник, который, подчиняясь инструкции, выстроил свою псарню на некотором расстоянии от Вроцлава, в чистом поле, которое и стало с тех пор называться Psie Pole [2].

Я внимательно выслушал лекцию герра Шнайдера и с невинной миной заявил, что знаю другую версию происхождения этого названия. По его просьбе я познакомил его с тем, чему научили меня на уроке истории в польской школе. Учеником я был прилежным, а история была моим любимым предметом, поэтому я очень хорошо запомнил и теперь с наслаждением и в подробностях изложил герру Шнайдеру свою версию о том, как на этом поле немцы потерпели постыдное поражение от поляков, множество их погибло и собаки раздирали в клочья их трупы. Шнайдер невозмутимо дослушал меня до конца, потом одной мощной лапой легко поднял меня в воздух, а другой принялся так же невозмутимо и с немецкой основательностью отвешивать мне оплеухи. Силу его ударов я помню до сих пор. Лицо мое было в крови, глаза заплыли. Утомившись, он опустил меня на пол и сказал: «Заруби себе на носу — никому такие вещи рассказывать нельзя. И всыпал я тебе для того, чтоб ты хорошенько запомнил мои слова, чтоб уцелел в войне и смог вернуться к родителям. Я порядочный немец (или человек, уже не помню) и никому ничего не скажу. А если спросят, кто и за что бил, скажи: герр Шнайдер — за плохо выполненную работу».

Во Вроцлаве было много поляков — как местных, так и пригнанных сюда на принудительные работы. Как всегда и везде, поляки и здесь участвовали в Сопротивлении, боролись с немцами как могли. Мне довелось тогда столкнуться с подпольщиками, я знал, что некоторые из них были арестованы немцами и зверски замучены. Их организация называлась «Олимп».

До сих пор я поддерживаю связь с уцелевшими подпольщиками. Мне кажется, их просьба дать название «Олимп» улице, где они собирались на конспиративной квартире, заслуживает внимания. Отдадим должное памяти тех, кого казнили за принадлежность к «Олимпу».

Как видите, я рано начал борьбу за то, что Вроцлав — город польский.

— Где вас застало начало войны Германии с Советским Союзом и какое это произвело впечатление на вас и ваших товарищей?

— Как я уже говорил, во Вроцлаве я оказался в начале июня 1941 года. Как сейчас помню дату 22 июня. Было воскресенье, солнечное, теплое. Мы с другом сидели на лавке в небольшом парке и, греясь на солнышке, разговаривали по-польски. Утром это было, около 10 часов. Подбегает какая-то незнакомая, хорошо одетая женщина, взволнованная и заплаканная, и на чистом польском языке обращается к нам: «Вы поляки?» — «Да», — отвечаем и спрашиваем, почему она плачет. Рыдая, женщина говорит, что началась война с Советским Союзом, что ее муж и сыновья служат в армии, а их части размещались на восточной границе Польши, и, может быть, кто-нибудь из них уже погиб. Кое-как успокоив ее, мы сорвались с лавки и в спринтерском темпе с радостной вестью помчались к своим. Врываемся в комнату и с порога объявляем, что уже через несколько дней — ну, может быть, недель — с немцами покончат и мы сможем вернуться домой, в

[1] Hundsfeld *(нем.)* — Собачье Поле (район Вроцлава).

[2] Psie Pole *(польск.)* — Собачье Поле.

свободную Польшу. Друзья тоже радуются: теперь-то уже войне скоро конец.

Выходим на следующий день на работу и видим, как помрачнели немцы, как их страшит война, и скрыть это они не в состоянии.

А сводки немецкого командования — сверхоптимистичны, сообщения с фронта — о неслыханных победах. Надо признать, пропаганду гитлеровцы делать умели.

Не помню точно, в конце июня или в начале июля 1941 года на такой далекий от фронта Вроцлав средь бела дня были сброшены первые в его истории советские бомбы. Несколько бомб разорвалось в районе центрального вокзала, а одной был разрушен дом «нашего» партайлейтера. Вот уж была радость!

Победы немцев мы тяжело переживали. Горько было слышать их хвастливые заверения в том, что они вот-вот устроят победный парад в Москве. Старшие и более опытные товарищи объясняли нам, что планы блицкрига рухнули. Москву немцы взять не смогли и что именно Советский Союз стал преградой на пути гитлеровских армий.

— Почему после окончания войны вы добровольно пошли служить в армию?

— Это был шаг естественный для многих молодых людей тех лет. Мои ровесники были полны решимости защищать освобожденную Польшу и происходящие в ней революционные преобразования. Энтузиазм, энергия, горячие сердца, стремление надеть желанный мундир и получить оружие — вот причины. Что же касается меня, то кроме этого в военной службе меня привлекали порядок и дисциплина.

Воспоминания о первых днях службы остались в сердце на всю жизнь. Именно тогда я познакомился и подружился со многими замечательными людьми, и эта дружба продолжается до сих пор...

Ну и вообще — ведь это было время моей юности, которую смяла война, а кто не грешил, кто не озоровал в юности! Мой друг, генерал армии Флориан Сивицкий, уверяет, что меня ни разу не наказали в дисциплинарном порядке лишь по причине моего исключительного невезения — мне так и не попался строгий командир. А это неправда, просто наши командиры знали жизнь, понимали молодежь, умели отличить важное от мелочей.

С большим уважением и симпатией я вспоминаю своих первых командиров и наставников: полковника Игнатия Кшеменя, полковника Шимона Рутковского и полковника Ежи Добровольского — еще довоенных коммунистов. Тогда, после освобождения, никто из нас не мыслил категориями «что выгоднее для меня». Нас переполняли энтузиазм, радость и гордость тем, что можно служить Родине, народу, выполнять задачи, поставленные партией.

— Что вам запомнилось о тех первых днях и месяцах вашей службы в армии?

— И захотел бы — не забудешь те дни. Казармы без окон и дверей на Белянах[1], там теперь корпуса института физкультуры, мы в разномастном обмундировании, в голоде и холоде, как и вся тогдашняя Польша. Варшава в руинах, на Висле один понтонный мост, совершенно невероятные, столь живописно описанные Вехом[2] «средства городского транспорта» и неунывающие, энергичные и изобретательные варшавяне. Служба наша в те годы была круглосуточной и без увольнительных. Не счесть бессонных ночей, иногда по нескольку сряду. Да, такое было время, но я со всей ответственностью заявляю, что никто не жаловался, не скулил, не пытался уклониться от выполнения задания. Нас окрыляла радость сознания, что делается это для свободной Польши. Жаль, мало об этом пишут. Умалчивает история и о том, что в редкие свободные воскресенья мы занимались расчисткой развалин, помогали восстанавливать Варшаву. И мне неприятно смотреть некоторые наши фильмы, в том числе и известных режиссеров, высмеивающие «людей из мрамора», кто, сидя на одном хлебе и воде, возводил дома и районы города, где и сейчас живут эти режиссеры.

— Кажется, вы лично участвовали в ликвидации одной из банд УПА[3]?

— Для борьбы с бандами УПА в юго-восточных районах Польши была создана оперативная группа «Висла» в составе нескольких дивизий под командованием генерала Стефана Моссора. Я в этих боях не участвовал, с бандами УПА я дрался в других местах. Этот период я считаю одним из самых трагических в жизни нашего народа. Выводы, сделанные мною из уроков этой трагедии, страшной братоубийственной войны, помогли мне в принятии некоторых решений в сложной обстановке 1980—1982 годов. Не хотелось, чтобы трагедия повторилась.

Раз мы коснулись этой темы, добавлю, что в последнее время некоторые граждане ПНР — разумеется, из чувства «заботы» о будущем своей страны — заключили альянс с украинскими эмигрантами из-под знака «трезубца». Например, бывший сотрудник Познанского университета Станислав Бараньчак, провозглашенный великим национальным поэтом, а вместе с ним Петр Наимский и Гжегож Лещинский вошли в состав редколлегии журнала «Сучастність», издаваемого в Мюнхене украинскими националистами. Они заявили о жела-

---

[1] Беляны — район Варшавы.

[2] Стефан Вех — польский писатель-сатирик.

[3] УПА — Украинская повстанческая армия — фашистские военно-террористические формирования (организации украинских националистов).

нии объединить с ними свои усилия перед лицом общего врага — социализма, так как уже есть опыт работы в рядах «Солидарности». Тем самым Бараньчак, Наимский, Лещинский и еще несколько польских эмигрантов оказались в одной компании с Эвхеном Стендером, человеком, который в 1945 году и 1948-м был шефом III округа ОУН-УПА; жители многих сел из повятов Томашув Любельский, Хрубешув, Влодава, Бяла Подляска и Хелм Любельский до сих пор помнят кровавые расправы «резунов» Стендера. Сегодня он с помощью Бараньчака и его политических дружков пытается выдать банды убийц, злейших врагов Польши, чьи зверства трудно передать словами, за борцов и героев освободительного движения. Тот, кто в борьбе с народной Польшей искал и находил союзников в эсэсовцах и бандитах из самых реакционных группировок польского подполья, сегодня обретает их в рядах постсолидаристской эмиграции.

— Связана ли для вас борьба против бандитов с какими-то личными воспоминаниями?

— Летом 1946 года один из отрядов небезызвестного «Огня» напал на дом моих родителей. Бандиты разгромили дом, захватили все, что было ценного, а главное — все мои документы и фотографии, даже конфирмационную. Отца зверски истязали, жизнь ему вымолила мать.

— Вы знаете тех, кто истязал отца?

— Да, я сделал все, чтобы установить фамилии и адреса бандитов, но не предпринял ничего, чтобы рассчитаться с ними. К тому времени прошло несколько амнистий: тяжкие преступления, даже убийства, были преданы забвению, поэтому я не мог, да и не хотел добиваться справедливости для себя лично.

— Что побудило вас перейти в военную контрразведку?

— Это было задание партии, а не мое личное желание, но должен сказать, работа мне не просто была по душе, она приносила настоящее удовлетворение. Значение ее трудно было переоценить. В стране действовали политические силы и организации, поддерживаемые агентами иностранных разведок, главным образом Великобритании и США. Они яростно сражались с народной властью. Не буду скрывать, что работа в контрразведке привлекала меня и чисто внешней романтической стороной. Тогда я даже и представить не мог, какие сложные и трудные задачи придется мне решать.

— В интервью «Трибуне люду» от 3 октября 1985 года вы рассказали о своем участии в работе лондонской Военной миссии под руководством генерала Юзефа Куропески. Тогда, во второй половине 40-х годов, вы боролись, причем в точном смысле этого слова, за возможность возвращения на родину поляков, сражавшихся в Англии. Сейчас мы знаем, что не всех вернувшихся встречали с почестями и цветами. Были обвинения, процессы, приговоры, многие из которых несправедливы. Что вы испытали, узнав об этом?

— Слишком тяжкая это проблема и в то же время слишком сложная, чтобы можно было изложить ее в двух словах. Мы действительно боролись за возвращение польских солдат на родину, и не без успеха, так как вернулось свыше 114 000, в том числе около 2000 офицеров. Многие из этих офицеров, так же как и большинство довоенных офицеров, оказавшихся после окончания сентябрьской кампании в лагерях для военнопленных или сражавшихся в отрядах Сопротивления, после войны вступили в ряды народного Войска Польского.

Уже в 1944 году на освобожденных территориях Польши бойцов Армии Крайовой стали принимать на службу в Первую Армию ВП. В 1945 году ряды Войска Польского пополнились офицерами и сержантами, освобожденными из лагерей, немного позже в них влились те, кто сражался в Польских Вооруженных силах на Западе. Большинство этих офицеров быстро продвигалось по службе, а сержанты становились офицерами. Многие из них заняли ответственные посты в государственной службе, в науке и культуре. Так в общих чертах обстояло дело до 1949 года. В начале 50-х годов по отношению к некоторым довоенным офицерам были выдвинуты обвинения, начались процессы, закончившиеся, как это стало теперь ясно, несправедливыми приговорами.

Арестованным в 1951—1952 годах офицерам было инкриминировано участие в тайном антиправительственном союзе ТУН (название составлено по первым буквам фамилий обвиняемых — генерала бригады Татара, полковника Утника полковника Новицкого). Власти исходили из предпосылки о том, что определенная часть довоенных кадровых офицеров, и прежде всего те, что вернулись с Запада,— враги народной Польши.

Убеждение, в корне неверное и глубоко ошибочное, строилось на основе извращенных фактов и сообщений, носивших все признаки провокации. Вернувшиеся на родину в большинстве своем были люди честные, преданные Польше. Могли среди них оказаться и те, кого завербовали иностранные разведки или диверсионные центры, выступавшие против народной власти. Вот только таких людей и надо было выявлять и обезвреживать.

В те годы пострадали невинно не только кадровые офицеры, в том числе и те, что сражались на Западе в составе Польских Вооруженных сил. Были арестованы, и зачастую по очень тяжким обвинениям, бывший Генеральный секретарь ЦК ПНР Владислав Гомулка, генерал дивизии Мариан Спыхальский, генерал бригады Гжегож Корчинский, полковник Эдвард Гронцевский и многие другие основатели и выдающиеся деятели Польской рабочей партии, руководства Гвардии и Армии Людовой. Неоправданным репрессиям подверглись также бойцы-добровольцы из интернациональных бригад, сражавшие-

ся в Испании, реэмигранты из Франции и некоторые офицеры Первой Армии ВП, в том числе будущий замминистра национальной обороны генерал брони Мечислав Обедзинский.

Довольно скоро я понял, что в деле ТУН нет полной ясности. Был я тогда молодым офицером, всеми материалами следствия не располагал — они были мне совершенно недоступны. Однако даже обрывки информации заставляли усомниться в правильности того, что мы делаем: уж слишком гладкими были тексты обвинений, чтобы быть правдивыми. Мои подозрения, к сожалению, подтвердились. Особенно тяжелым ударом для меня был арест маршала Польши Роля-Жимерского, генерала бригады Юзефа Куропески и полковника Станиславы Совинской, известной деятельницы ППР, во время оккупации занимавшей высокую должность в Армии Людовой. Этих людей я лично знал, ценил и уважал. Сбитый с толку, терзаемый сомнениями, я решил сойти с главного шоссе событий и взглянуть на них со стороны. К удивлению друзей и начальства, я подал рапорт с просьбой перевести меня из Варшавы в какой-нибудь гарнизон, все равно куда. Меня назначили исполняющим обязанности начальника контрразведки 18-й пехотной дивизии в г. Элке. Вскоре и туда добралось следствие по делу ТУН. В «связях с заговором в армии» были обвинены некоторые кадровые офицеры, которых я прекрасно знал, поддерживал с ними добрые дружеские отношения. Сейчас это не имеет особого значения, но могу сказать, что в конце концов никто не пострадал. Они продолжали служить в армии, некоторые достигли высоких должностей и неизменно пользовались уважением окружающих.

В 1953 году меня освободили от работы в органах военной контрразведки с очень скверной политической характеристикой и направили в департамент кадров Министерства национальной обороны с предписанием об увольнении в запас. Спас меня начальник департамента полковник Ежи Добровольский, который хорошо знал меня и мое прошлое. «Для сохранности» он направил меня на службу в департамент финансов МНО. Правда, я не имел ни малейшего представления об этой работе, но старался выполнять свои обязанности как можно лучше. Атмосфера вокруг моей особы стала меняться где-то в конце 1956 — начале 1957 года.

Несколько ранее изменилось отношение к офицерам, подвергнутым репрессиям в начале 50-х годов. Непросто было опровергнуть выдвинутые против них обвинения. В числе прочих причин следует назвать и такую: в ходе следствия дела против некоторых из них были прекращены за недостаточностью улик, часть обвиняемых по тем же причинам оправдал суд. Это давало основания предполагать, что в других случаях такие улики были. Установить истину можно было только путем очень кропотливой работы. К такой работе приступили в 1954 году, а в 1956-м были реабилитированы последние из несправедливо обвиненных. Для некоторых, к счастью немногих, этот акт имел лишь формальное значение — справедливость восторжествовала, но исправить зло было уже поздно.

В 1954 году из органов информации Войска Польского и из рядов госбезопасности были уволены и привлечены к уголовной ответственности лица, виновные в необоснованных обвинениях. Некоторых из них приговорили к многолетнему тюремному заключению (Роман Ромковский, Юзеф Ружаньский, Анатоль Фейгин). Офицерам же, несправедливо осужденным и реабилитированным, возместили материальный ущерб и предоставили возможность вернуться в армию. Многие из них были назначены на высокие должности и представлены к следующему званию. Юзеф Куропеска стал генералом дивизии и был назначен командующим Варшавским военным округом, а позже начальником Академии Генерального штаба ВП; Адам Узембло получил звание генерала бригады и стал начальником Военно-политической академии. Генерала бригады Франтишека Скибинского назначили на должность начальника одного из отделов Генерального штаба ВП. Вернулся в ряды армии и генерал Гелиодор Цепа...

II

— Мы знаем очень мало о вашей многолетней службе в военной контрразведке. Она окружена ореолом таинственности, заставляющим предполагать необыкновенные приключения...

— Люди действительно полагают, что наша работа такова, какой показывают ее в фильмах да завлекательных детективах. На самом же деле труд это чрезвычайно кропотливый, требующий большого терпения и немалого умственного напряжения. Тщательно исследовать данные, подтверждающие подозрения в шпионаже, тщательно проверять полученную информацию, уметь сопоставить отдельные факты и сделать из них логический вывод — вот его основа.

Мне довелось руководить людьми работящими, умными, обладающими высокими идейными и моральными качествами, благодаря чему и удалось добиться успехов в выполнении главной задачи военной контрразведки — защите вооруженных сил от происков врага.

Лучшим доказательством этих успехов стало разоблачение многих натовских агентов. Напомню хотя бы о выявлении и пресечении шпионской деятельности Ежи Павловского, известного фехтовальщика Анджея Бадовского, получавшего задания непосредственно от сотрудников шпионской резидентуры американского посольства в Варшаве, или Рышарда Чарноты, бывшего моряка, прошедшего обучение в американском разведцентре в Гамбурге.

Хорошо помню также, как были выявлены и арестованы Маргарет и Зиг-

фрид Прайсы, граждане ФРГ, агенты западногерманской разведки. Мало кто знал, что здесь поработала военная контрразведка. Анонимность — один из законов войны на «тихом фронте».

Военная контрразведка действует в тесном контакте с соответствующими службами МВД. Такое сотрудничество — обмен информацией, координация действий — приносит с давних пор хорошие плоды.

В органах военной контрразведки я прослужил свыше 30 лет. Работал на разных должностях — в столице и в других частях страны, работал и во флоте. Одолел всю служебную лестницу, поднявшись с самой нижней ступени до должности начальника ВСВ [1].

— ВСВ занимается только контрразведкой?

— Являясь составной частью армии, ВСВ в ее рядах выполняет важные и разнообразные функции. Главная ее миссия — защищать армию от происков иностранных разведок. Другие заботы связаны с обеспечением порядка, когда военнослужащие находятся за пределами казарм. Многие из этих задач решаются благодаря сотрудничеству с органами милиции. В армии служат в основном люди молодые, жизненный опыт у них невелик, они бывают несдержанны, импульсивны, иногда поступают опрометчиво, поддаются дурным влияниям и соблазнам. Вот эту «борьбу за человека» я всегда считал одним из наказов в работе органов ВСВ. Ее офицеры пользуются уважением и авторитетом в армии, снискали признание в солдатских коллективах, их часто избирают на партийные посты, в том числе и самые высокие.

Необходимость решать трудные и очень разные задачи требует от офицера этой службы высокой профессиональной подготовки; наряду с воинской специальностью надо еще обладать познаниями в области юрисдикции, психологии, социологии и многих других наук. Отсюда и необходимость постоянного самообразования, в том числе и профессионального.

Вот почему службу в органах я считаю трудной, но дающей большое профессиональное и моральное удовлетворение.

— Вы руководили также и военной разведкой. Помог ли при этом опыт работы в контрразведке?

— Да, и даже очень. Но должен признаться, что некоторые мои подчиненные в военной разведке считали, что я ограничиваю их инициативу. Не могу с этим согласиться. Познав секреты работы в контрразведке, я стремился ограничить дозу необходимого риска, свести его к минимуму. В подведомственной мне службе тогда обошлось без каких-либо заметных проколов.

— А не могли бы вы привести пример какого-либо заметного успеха разведки в те годы, когда вы ее возглавляли?

— В октябре 1973 года, в период египетско-израильского конфликта, вашингтонская администрация объявила о мобилизации своих стратегических ядерных сил и готовности к немедленной переброске тактических соединений для использования их в военных действиях на стороне Израиля. Эта операция представляла большую опасность, ибо локальный ближневосточный конфликт мог перерасти в мировую ядерную войну.

Сотрудники нашей военной разведки почти сразу же «засекли» приготовления в Соединенных Штатах и правильно интерпретировали полученную информацию. Сомнения оставались, но я поверил своим сотрудникам и, хотя душа и была неспокойна, решил доложить обо всем министру национальной обороны генералу Войцеху Ярузельскому и начальнику Генерального штаба ВП генералу Флориану Сивицкому, разыскав их на полигоне, в лесу под Варшавой. Они сочли нужным принять в расчет нашу информацию, а через несколько часов ее подтвердили и другие источники.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что работал я тогда с замечательными людьми — настоящими профессионалами, знающими, преданными родине и партии. Многому можно было научиться у них.

— А чему научили вас контакты с непосредственным начальством — генералом армии Войцехом Ярузельским и генералом армии Флорианом Сивицким? Ведь проработали вы с ними, насколько известно, много лет.

— Если говорить о генерале армии Флориане Сивицком, то о годах нашей совместной службы с ним в Силезском военном округе у меня остались самые неприятные воспоминания: я ему постоянно проигрывал в карты. Жили мы тогда по-холостяцки в одном общежитии. Не знаю, в чем уж тут дело: то ли мне не шла карта, то ли Флориан в бытность свою военным атташе в Пекине тренировался не в игре в пинг-понг, как он уверяет, а в бридже. Моего увлечения картами, которое, впрочем, давно уже прошло, не одобряли ни моя супруга, ни министр обороны генерал Ярузельский, который решил во что бы то ни стало сделать из меня «Наполеона». И в этом деле ему всячески помогало мое непосредственное руководство — тогдашний начальник Генерального штаба генерал Сивицкий. Ни одни маневры, ни одно военное учение не обходилось без моего «сольного выступления» у огромной карты с указкой в руке. Такой уж выработался ритуал, что мне первому приходилось докладывать о «противнике». Руководство учениями и полные свежих сил — они, только что прибыли — приглашенные, иногда очень высокие гости из стран-участниц Варшавского Договора, жаждали получить от меня детальную информацию. Военные меня поймут. Я давал обстоятельную, исчерпывающую характеристику обстановки, а потом на бедного начальника разведки сыпался

[1] ВСВ (Wojskowa służba wewnętrzna) — польское название военной контрразведки.

град вопросов. И каких! Ответ на каждый из них был целым докладом. Отделаться общими фразами, дать неполный ответ нечего было и думать, так как по другую сторону стола сидели опытные, знающие свое дело военачальники. Все полны энергии, сна — ни в одном глазу, а уж генерал Ярузельский — тот всегда выглядел свежим, всегда был в форме. Под руководством такого умного и требовательного начальника, каким был Войцех Ярузельский, я прошел хорошую школу. Это человек громадных, всесторонних знаний, колоссальной начитанности и блестящей памяти, большой культуры и такта, но вот «отдохнуть» не даст. Думаю, мое мнение о генерале разделяют и его теперешние сотрудники и подчиненные. Надеюсь, вы не истолкуете превратно того, что я сказал о генерале Ярузельском,— приближаясь к пенсионному возрасту, могу рассчитывать, что меня не заподозрят в корысти. Хотелось бы сказать: «Спасибо вам, Капитан[1]...»

Опыт работы в военной разведке и контрразведке очень помогает мне и теперь, когда я возглавил ведомство внутренних дел.

— Как вы в это ведомство попали?

— Я солдат. Всю жизнь я выполнял задания, которые ставила передо мной партия, и приказы начальства. Так было и на этот раз.

III

— Общеизвестно, пан министр, что основным принципом функционирования вашего ведомства является соблюдение законности. Что вы делаете для того, чтобы этот принцип осуществлялся должным образом?

— Одной из гарантий соблюдения законности сотрудниками ведомства внутренних дел является тщательный подбор кадров, высокий их профессионализм, основательное знание законов. Каждый офицер МО[2] и СБ[3] обязан закончить офицерское училище или сдать необходимые экзамены, среди которых особое место занимают юридические дисциплины. Уже несколько лет у нас действует система профессионального обучения, обеспечивающая обновление и совершенствование знаний, в том числе и юридических. Обучение проходят все сотрудники ведомства, независимо от звания. Ежегодные экзамены — серьезная проверка их квалификации.

— Но ведь знания — это еще не все...

— Совершенно верно, не менее важны уровень политической сознательности и моральные качества человека.

Недавно мы еще раз четко сформулировали кодекс моральных норм, обязательных для сотрудников МО и СБ. Знание и соблюдение этих норм являются решающим критерием в характеристике сотрудника на ежегодных проверках кадров.

— В свое время вносились предложения поставить работу МО и СБ под «контроль общественности». Как вы относитесь к такому предложению?

— Система контроля должна существовать, и на практике она существует. Да и законом она предусмотрена. Непосредственный надзор за деятельностью нашего ведомства осуществляет председатель Совета министров ПНР. Правилом стал отчет министра внутренних дел перед сеймом. Комиссия по внутренним делам и контролю за соблюдением законности сейма восьмого созыва систематически проверяла нашу работу, в том числе и то, как поставлено у нас обучение. Отчитываемся мы и перед специальной комиссией сейма. Закон об обязанностях министра внутренних дел и сфере действия подчиненных ему подразделений на местах предусматривает по требованию местных советов представлять отчеты и информацию о состоянии общественного порядка и соблюдении законности в их районе. Закон от 20 июля 1983 года о системе советов и территориальном самоуправлении предусматривает также контроль над частями милиции и отрядами ОРМО[1] по обеспечению ими спокойствия, порядка и общественной безопасности. Контроль этот осуществляют местные органы государственной администрации.

Следует, видимо, напомнить и о том, что по закону все действия сотрудников ведомства по проведению предварительного расследования, следствия и других юридических актов подлежат строгому и постоянному надзору прокуратуры. Находимся мы и под постоянным контролем НИК[2]. Таким образом, система государственного и общественного контроля над нашим ведомством существует и действует. Те же, кто предлагал ввести какой-то любительский «супернадзор», ставили своей целью парализовать действия наших сотрудников, а отнюдь не улучшить их работу.

Политический контроль над деятельностью МВД осуществляет партия. Вот примеры. 6 мая 1986 года Политбюро ЦК ПОРП ознакомилось с информацией о результатах проверки выполнения постановления XVII Пленума ЦК ПОРП в части, относящейся к нашему министерству. Проверка проводилась в марте 1986 года Центральной ревизионной комиссией ПОРП. В результате проверки установлено, что ведомство серьезно подошло к решению задач, поставленных перед ним, а это в свою очередь способствовало дальнейшему повышению куль-

---

[1] Название очень популярной в ПНР книги известного писателя и путешественника Аркадия Фидлера.

[2] МО (Milicja Obywatelska) — гражданская милиция.

[3] СБ (Służba Bezpieczenstwa) — служба безопасности. Оба эти ведомства и внутренние войска находятся в ведении Министерства внутренних дел ПНР.

[1] ОРМО (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej) — добровольные народные дружины.

[2] НИК (Naczelna Izba Kontroli) — Главная палата контроля.

туры и этики нашего труда, улучшению партийной и политико-воспитательной работы в наших рядах. Политбюро ЦК ПОРП одобрило выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию идейно-воспитательной и служебной деятельности МВД. В их основе лежит ленинское учение о работе органов безопасности и правопорядка, согласно которому они, являясь особым звеном народной власти, осуществляют идеи и политику партии, сила же их в тесной связи с трудящимися и строгом соблюдении законности.

— После одного из ваших выступлений в сейме радиостанция «Свободная Европа» усмотрела в вашей фразе «Мы не ждем, что нас полюбят» повод для издевки, заявляя, что наивно было бы этого ожидать.

— Как видно, больше им не о чем было говорить. Цепляться к словам, по-своему их интерпретируя,— известный метод РСЕ. Мы и в самом деле не рассчитываем на любовь, тем более авансом. Мы лишь требуем уважения закона и этот закон будем защищать в интересах государства и людей труда. Своей каждодневной службой на благо общества надеемся заслужить уважение. А ожидаем прежде всего трезвого и объективного подхода в оценке тех упреков и обвинений, которыми забрасывает нас внешний и внутренний враг. Было бы хорошо, если бы журналисты активней помогали разряжать атмосферу дешевой сенсационности, которой окружаются некоторые наши акции, разъясняя народу их смысл и цели.

— Общественность внимательно следит за мерами по ликвидации случаев нарушения законности и недостатков в работе МВД. В своих отчетах сейму вы говорите об этом, информируете о проводящихся в МВД проверках кадров. Однако существует мнение, что делается это недостаточно энергично, а общественность недостаточно широко информирована о принятых мерах.

— Проблеме дисциплины сотрудников наших органов и соблюдения ими законности мы уделяем много внимания. Каждый сигнал рассматривается руководством, партийной организацией, политико-воспитательными звеньями и, если надо,— судами чести. В тех случаях, когда обвинение подтверждается, решение принимается суровое и недвусмысленное. Это если говорить о реакции руководства. Но и товарищи, коллектив тоже высказывают свое мнение, осуждая неблаговидные поступки. Нам дороги доброе имя и честь каждого подразделения, всего нашего ведомства. К сигналам о нарушении законности сотрудниками наших органов мы относимся очень внимательно, тщательно их проверяем, ибо в силу специфики нашей службы часть жалоб на деятельность сотрудников СБ и МО оказывается высосанной из пальца, а иногда и чистой провокацией: например, чтобы избежать наказания, преступник заявляет, что на следствии его вынудили дать показания. Важно быстро отреагировать на каждый сигнал о нарушении дисциплины сотрудниками органов, особенно в тех случаях, когда речь идет о действиях, связанных с государственной или служебной тайной, чтобы не было необходимости подключать к делу другие организации.

В заключение хотелось бы сказать, что в МВД не дается поблажки преступникам, не дается поблажки нарушителям дисциплины. Фамилии наказанных сотрудников СБ и МО называются в печати и других средствах массовой информации. Мы не боимся, что это бросит тень на честных людей, которых в наших органах подавляющее большинство.

IV

— Известны ли вам слухи о том, будто забастовки в Польше в 1980 году провоцировали сотрудники СБ?

— А есть ли какие-нибудь доказательства, кроме слухов? Нет, разумеется. Распускались они людьми, ослепленными ненавистью к нашему строю, причем ненависть настолько ослепила их, что эти инсинуации оказались лишенными какой бы то ни было логики. Не вызывает сомнения тот факт, что первые забастовки в Люблинском воеводстве, а потом на Побережье были вызваны экономическими причинами. Однако уже с самого начала справедливое и обоснованное недовольство рабочего класса постарались использовать в своих интересах профессиональные контрреволюционеры, в том числе и из КОС-КОР, «Молодой Польши» и так называемых свободных профсоюзов, которые внедрялись в разные слои общества, в разные коллективы, инспирируя очередные забастовки, дезорганизующие экономику и нормальную жизнь страны.

Сведения об этом можно найти во многих публикациях. Интересно будет вспомнить здесь откровения Яцека Куроня («Шпигель», 8 сентября 1980 года), сдобренные изрядной долей хвастовства... «Забастовку на верфи им. Ленина тщательно подготавливали тамошние члены и сторонники КОРа... Предварительно запасли продукты, лекарства, бумагу, установили связи с предприятиями по всему побережью. В Гданьске люди из КОРа разыскали также человека, которого сделали марионеточным вождем забастовки. Валенса был окопным поручиком, а уж никак не генеральным штабом забастовочного фронта. В штабе заседал мозговой трест КОРа, который руководил действиями стачечного комитета и юридически отшлифовывал тексты, служащие для переговоров с правительством...»

— Говорят что события в Быдгоще в марте 1981 года были провокацией функционеров МВД, тем более что дело, как считают некоторые, так до конца и не выяснено.

— Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что так называемые быдгощские события были умышленной провокацией экстремистских деятелей бывшей «Солидарности». Одной из многих. Вспомните, тогда в Быдгоще в здании воеводского совета Объединенной крестьянской партии проходила «окупационная забастовка», организованная самозваным Общепольским стачеч-

ным комитетом «Солидарности» под руководством Михала Бартоще. Понятно, положение в городе было напряженным. Организаторы забастовки уже загодя, заранее призвали всех рабочих быдгощских предприятий собраться у здания воеводского совета, чтобы общегородским митингом оказать влияние на заседание совета; они распускали лживые слухи, будто на повестке дня сессии совета стоит вопрос «о социально-правовом статусе единоличных сельских хозяйств и проблеме, как прокормить народ в связи с создавшейся в стране ситуацией». В действительности же на сессии по интересующему их вопросу должен был выступить представитель местной «Солидарности». «Солидарность» получила шесть приглашений, на сессию явилось 27 ее членов во главе с Яном Рулевским. Факты доказывают, что прибыли они с намерением захватить здание воеводского совета. Тем временем на площади перед зданием собралась толпа. Воеводские власти склонны были пойти на компромисс, чтобы разрядить обстановку, но их бесцеремонно отстранили.

Нельзя было мириться с беззаконием. Когда не помогли ни многочисленные призывы к деятелям «Солидарности» покинуть здание добровольно, ни попытки со стороны членов совета покончить дело миром, пришлось прибегнуть к силе. Вокруг этого дела тогдашнее руководство «Солидарности» подняло громкую пропагандистскую шумиху, обвиняя милицию в избиении трех человек и делая на этом основании вывод о нарастающем в стране произволе. Этот предлог пытались использовать и для организации всеобщей забастовки.

Произвол и в самом деле нарастал — закон попирали политические авантюристы, действующие под вывеской «Солидарности»...

— «Дела», подобные быдгощскому, наверняка могли появиться только в неблагоприятной для органов СБ и МО, искусственно нагнетаемой атмосфере тех дней.

— Разумеется. Только в атмосфере нападок на органы защиты правопорядка стали возможны события в Отвоцке, когда соответствующе настроенная толпа набросилась на милиционеров, задержавших хулиганов, а потом сожгла здание железнодорожной милиции. Подобные эксцессы имели место в Кузнице Бялостокской, в Радощи. Известны также случаи линчевания милиционеров, пытавшихся навести порядок (в Валбжихе, Хойнове), поджоги зданий, отделений милиции, освобождение из арестантских помещений уголовных преступников (Пясечно, Стшегом), освобождение преступников из мест заключения с помощью толпы враждебно настроенных жителей (Быдгощ, Потулице, Каминск, Заленж). Известны случаи, когда сотрудникам милиции мешали в поимке преступников, когда милиционеров избивали, забрасывали камнями, поджигали их дома, угрожали им и их близким. Вокруг них создавалась обстановка запугивания и психического террора, их дома и квартиры отмечались особым знаком, их осаждали угрозами по телефону.

27 марта 1981 года в Ясле пытался покончить жизнь самоубийством через самосожжение Здислав Козел, пенсионер, бывший рабочий-нефтяник. Решившись на этот отчаянный шаг, он написал, обращаясь ко всем лидерам «Солидарности», в том числе и Леху Валенсе: «Соотечественники, обращаюсь к вам с просьбой, умоляю вас, заклинаю вас, поймите, какой вред вы наносите нашей отчизне, народной Польше. Неужели вы так слепы, неужели не видите — то, что вы делаете, ведет к национальной катастрофе. Двести лет тому назад магнаты довели страну до потери свободы, сегодня наши враги делают это руками рабочего класса, ведут к гибели страну, которую с таким трудом поднимали из руин и разрухи руки всего народа, люди моего поколения. Кто дал вам право решать судьбы страны? История по справедливости осудит вас. Если вы считаете, что то, что случилось в Быдгоще,— это вина властей, то я принимаю вину на себя и строго наказываю себя. Но знайте, моя смерть на вашей совести».

К большому счастью, пан Здислав выжил. Текст его письма я привожу так, как оно было написано, сохранив стилистику оригинала. Мне кажется, в нем очень точно отражены чувства многих людей той поры, их беспомощность и отчаяние перед лицом нарастающего хаоса, происков и козней политических манипуляторов — своих и иностранных.

— Мы помним, как летом 1981 года «Солидарность» становилась с каждым днем агрессивней, с каждым днем усиливались анархия и дезорганизация общественно-политической жизни страны. Могли бы вы, пан генерал, точно назвать день, когда правительство решительно выступило против этого?

— Власти пытались предотвратить разложение и хаос. Политические средства оказывались все менее действенными. Первое «нет» было сказано в Быдгоще. Очередное решительное «нет» государственная власть произнесла в ответ на организованную 3 августа 1981 года в Варшаве работниками городского транспорта провокационную демонстрацию и блокирование ими рондо[1] на пересечении улицы Маршалковской и Аллей Иерозолимских.

— Помнится, в этой демонстрации, парализовавшей движение в центре столицы, личное участие принимали Валенса, Буяк, Михник и другие руководящие деятели «Солидарности»...

— ...а ее участников подстрекали «к бою» Яцек Федорович и другие «недовольные» из кругов художественной интеллигенции, а также молодежные музыкальные ансамбли. Однако «пикник на рондо» не состоялся. Власти проявили решительность, и хотя акция была не из крупных, трудно переоценить ее престиж и общественно-политический резонанс.

[1] Транспортная развязка в самом центре Варшавы.

— Примером таких действий может служить и подавление забастовки в ВОПУ?

— Да. Еще одно решительное «нет» было сказано в связи с известной провокацией, организованной в конце ноября — начале декабря 1981 года главарями «Солидарности» на территории Высшего офицерского пожарного училища в Варшаве, находившегося в ведении МВД. Для объявления забастовки «Солидарностью» был использован пустяковый предлог — дисциплинарное наказание комендантом училища провинившихся курсантов. «Идею» училищных солидаристов поддержали представители этой организации, руководившие регионом Мазовии, во главе с Северином Яворским, который и возглавил провокационную забастовку в училище.

— Вскоре об этой забастовке узнала вся Польша — постаралась «Солидарность». Вы не пытались смягчить положение?

— Вокруг этой забастовки поднималось особенно много шума, ее хотели использовать как политический и пропагандистский козырь. Это была явная попытка дезорганизовать органы изнутри. Мы не упускали ни одного шанса решить конфликт мирным путем. Первого декабря я обратился к президенту Польской академии наук профессору Александру Гейштору с просьбой выступить посредником в переговорах, так как он сам выдвинул это предложение. Профессор согласился. Вместе с ним в переговорах участвовали и другие уважаемые люди, но, к сожалению, положение не изменилось. Мы потом долго разговаривали с профессором Гейштором о создавшейся обстановке, искали другие возможности разрешения конфликта. Однако сложившаяся ситуация требовала быстрой реакции. С одной стороны, не все курсанты участвовали в забастовке, а из бастовавших некоторые, поняв истинный смысл провокации, один за другим отказывались от нее. С другой стороны, на территории училища скоплялось все больше посторонних лиц. А там, кстати говоря, находился подсобный склад оружия, взрывчатки, дымовых шашек и других опасных предметов.

— Кто и когда принял решение положить конец забастовке?

— Решение принял я лично 2 декабря. В 10.00 приступил к операции особый отряд МО. Он высадил десант в намеченных точках. Через несколько минут объект был взят, зачинщики беспорядков задержаны. Внезапность была полная. Никто из участников забастовки не пострадал. Случайные свидетели, собравшиеся вокруг училища, приветствовали четкие действия милиции криками одобрения. На следующий день в адрес МВД стали поступать письма со всех концов страны, их авторы писали о том, что «пора наконец покончить с беспорядками, пресечь действия людей, не считающихся ни с чем, поступающих вопреки рассудку, справедливости и праву...».

— Это случилось незадолго до введения военного положения. Давайте же перейдем к вопросу, который до сих пор вызывает столько эмоций.

— Сейчас факт введения военного положения стал уже достоянием истории. И сказано и написано о нем очень много. Мне не хотелось бы повторять аргументы и выводы, достаточно прочно закрепившиеся в сознании подавляющего большинства поляков. Все давно уже поняли необходимость обращения к этому последнему средству в обстановке хаоса и анархии, экономического кризиса и реальной угрозы для безопасности страны и народа, которая создалась к концу 1981 года.

Думаю также, что сегодня все отдают себе отчет и в том, что принять решение о введении военного положения было непросто. Оно накладывало тяжкое бремя ответственности перед народом и историей. Нельзя было принять такое решение, не имея твердого убеждения в том, что другого выхода нет.

— Приходится слышать упреки, что с самого начала власти были настроены на «силовое решение».

— Это неправда. С самого начала беспорядков, с августа 1980 года и до декабря 1981 года, власти принимали все меры для того, чтобы достигнуть соглашения с «Солидарностью», рассматривая ее как профсоюз. Доказывают это бесспорные факты, хотя и нет недостатка в попытках их исказить. Лучшим доказательством является, пожалуй, тот факт, что в «Солидарности» состояло много членов партии, в том числе и из наивысших инстанций. Более того, вы и сами наверняка помните, как критиковали тогда правительство за то, что оно «идет на уступки».

«Одной ошибки мы не совершили наверняка — грубой силой мы не действовали,— заявил Первый секретарь ЦК ПОРП товарищ Войцех Ярузельский в своем выступлении на VII Пленуме ЦК ПОРП в феврале 1982 года.— Никто не может обвинить партию и правительство в том, что они не проявили доброй воли, терпения.

Мы верили и продолжаем верить в политический инстинкт рабочего класса, в чувство ответственности народа. Мы терпеливо протягивали руку, стремясь к договоренности. Это прекрасно знают те, кто сегодня шокирован военным положением, но не сделал ничего или почти ничего для того, чтобы избежать его. Даже когда с каждым днем страна все дальше скатывалась в пропасть и правительство внесло в сейм проект постановления об ограниченном, только на зимний период, запрете демонстраций — «Солидарность» ответила угрозой всеобщей забастовки, а всевозможные авторитеты воспылали возмущением, выразили протест. Торжествовал дух «либерум вето», вернулись времена шляхетских вольностей. Неоднократно, громко, во всеуслышание предостерегали мы от грозящей опасности. Правительство предупредило, что не остановится перед обращением к конституционным средствам

защиты государства, если это окажется необходимым. Напоминали мы об этом много раз, и во время переговоров, и с трибуны сейма, предупреждали в постановлениях IV и, наконец, VI пленумов. Мы не затаились в укрытии».

Добавлю еще: людей ответственных, несогласных с манипуляциями и политической агрессивностью антикоммунистических групп, задающих тон в «Солидарности», там не терпели, снимали с руководящих постов. Наиболее известным примером было дело Ярослава Сенкевича, сторонника переговоров с властями (в Ястшембе), но много было и других случаев...

— Что предпринимали власти, видя, что положение в стране обостряется?

— Для нас становилось все очевиднее, что с каждым днем остается все меньше шансов на победу реалистического, рабочего направления в рядах «Солидарности». В то же время быстрыми темпами нарастали экстремистские тенденции ее руководящих групп. Манипулируя профсоюзными массами, они толкали «Солидарность» к открытой конфронтации. Цель была одна — дестабилизация страны, братоубийственный конфликт.

Переговоры представителей правительства во главе с заместителем премьер-министра М. Раковским с руководителями «Солидарности» были грубейшим образом сорваны. Встреча генерала Войцеха Ярузельского, кардинала Юзефа Глемпа и Леха Валенсы, состоявшаяся 4 ноября 1981 года, не оказала сдерживающего влияния на конфронтационные тенденции в лоне «Солидарности». Не дали ожидаемого эффекта и переговоры в Министерстве внутренних дел с некоторыми умеренными лидерами «Солидарности». В создавшейся ситуации не оставалось ничего другого, как начать подготовку к более радикальным действиям.

— Она проводилась, надо полагать, в величайшей тайне?

Организационная, техническая стороны подготовки действительно сохранялись в глубокой тайне. Что же касается перемещения сил порядка, операций в Высшем офицерском пожарном училище и на перекрестке Маршалковской и Аллей Иерозолимских, то это делалось явно и рассматривалось нами как предостережение, как ушат холодной воды на головы тех, кто в своем политическом ослеплении кричал о «валяющейся на улице власти» и сознательно толкал сторонников «Солидарности» на авантюру, которая могла закончиться лишь кровавой конфронтацией. Мы рассчитывали на то, что люди наконец опомнятся и отвернутся от подстрекателей.

— То есть враги народа должны были догадываться о том, что власти готовы силой предотвратить готовящийся переворот?

— Да. Как я уже сказал, правительство не делало из этого тайны. Мы знали также и о том, что и за границей внимательно следят за всеми нашими действиями. В ночь с 6 на 7 (или с 7 на 8) ноября 1981 года американская разведка эвакуировала из ПНР вместе с семьей своего весьма ценного агента, бывшего полковника Рышарда Куклинского, хотя ему тогда ничего не угрожало. Занимая ответственную должность в Генеральном штабе Войска Польского, он был в курсе всех приготовлений к введению военного положения. Когда нам стала известна вся эта история, мы тщательно проанализировали действительные мотивы столь поспешной переброски агента и пришли к выводу, что Запад ведет... ну прямо преступную игру.

— Человек, о котором вы говорите, добрался до своего шпионского центра?

— Добрался, и его вашингтонские хозяева уже начиная с 8 ноября 1981 года имели неограниченные возможности предостеречь своих польских политических агентов, а также руководство «Солидарности» и Костела. Но они этого не сделали. Сохранили тайну.

— Почему?

— В ответе на этот вопрос как раз и содержится суть проблемы. ЦРУ решилось изъять столь искусно внедренного агента для того, чтобы дезорганизовать нашу подготовку. Вместе с тем факт его эвакуации, как и доставленная им информация, сохранялись в глубокой тайне, чтобы не ослабить самоуверенности и решительности экстремистов из «Солидарности». Быть может, предостережение хоть сколько-нибудь отрезвило бы сторонников «окончательной конфронтации»? И может быть, на памятном совещании в Радоме 3 декабря 1981 года из уст лидеров Координационной комиссии не вырвались бы слова: «пора бить по морде», «это будет их последний бой», «конфронтация неизбежна». Может, не пригрозили бы они всеобщей забастовкой в ответ на внесенный в сейм проект постановления, запрещающего забастовки на период трех зимних месяцев? Может, поубавилось бы у них спеси и самоуверенности, если бы они знали, что правительство готово прибегнуть и к чрезвычайным средствам.

Именно этого враги Польши и не хотели допустить. Они явно рассчитывали на то, что в создавшейся ситуации военное положение не поможет, что мы не сумеем парализовать контрреволюцию и что все равно дело кончится кровавой конфронтацией. А там, глядишь, и удастся сделать в Польше то же, что в Ливане... В своих мечтах они уже видели вмешательство союзных армий стран Варшавского Договора со всеми вытекающими отсюда последствиями. Итак, силы империализма устраивал «радикальный вариант» — война в Польше. Одновременно западные хозяева — уже в который раз! — обманули своих польских союзников, совершенно не заботясь об их интересах, рассматривая их как «сырье истории», инструмент в своей борьбе против социализма. Да, недооценили они безграничной преданности и покорности своих польских прислужни-

ков. Отвращение испытываешь при мысли о том, что эти люди так ничему и не научились, что они и сейчас почитают за честь бывать в посольствах некоторых западных держав, тенденциозной информацией о положении в стране зарабатывая дешевую благодарность.

Только после того, как было введено военное положение, государственный секретарь США А. Хейг дал понять, что Вашингтон «располагал определенной информацией о готовящемся кризисе». Это я цитирую статью из «Ньюсуик» от 20 декабря 1982 года. Только через год после введения в ПНР военного положения американской прессе позволили приподнять краешек завесы над тайной шпионской акции ЦРУ. Цитируемая статья пестрит недомолвками и лживыми утверждениями в бесплодной попытке как-то оправдаться перед обманутыми лидерами и экстремистами «Солидарности». Заканчивается статья следующим напыщенным резюме: «Согласно одной из легенд второй мировой войны, Черчилль решил не защищать собора в Ковентри от налетов немецких самолетов, чтобы немцы не узнали, что их тайный шифр раскрыт. Может быть, «Солидарность» выступила в роли такого собора в «холодной войне» восьмидесятых годов»? Ложь! В этой трагической роли во имя антикоммунистического крестового похода и американского глобализма должен был выступить польский народ.

— Нам эта статья известна. В ней пытались убедить читателя в том, что информацию, полученную от агента, нельзя было обнародовать из боязни деконспирировать его и тем самым подвергнуть опасности. В ней же, кстати, отмечалось, что в рядах «Солидарности» было много конфидентов[1] ЦРУ.

— Высокий правительственный чиновник США еще раз позволил себе поиздеваться над руководством бывшей «Солидарности» и своей клиентурой в Польше. Напомню, что упомянутый агент американской разведки уже 8 ноября 1981 года вместе с семьей находился в абсолютной безопасности. Американцам не было необходимости скрывать, что Куклинский был их агентом, ведь ему уже ничего не угрожало. К тому времени он находился у них, в США, а о том, что у нас он полностью «погорел», что польские власти осведомлены о его миссии, они прекрасно знали.

— Что было предпринято после того, как вы узнали о существовании американского агента и его бегстве?

— Еще раз были тщательно выверены наши планы подготовки военного положения и в них внесены необходимые коррективы. Дезорганизовать и парализовать наши действия не удалось. Хочу еще раз подчеркнуть: все подготовлявшиеся операции подчинялись одному главенствующему принципу — ни капли пролитой польской крови! Минимальный общественный и моральный ущерб!

Следует, однако, понимать, что одно дело — подготовка к введению военного положения на случай, если бы было принято соответствующее решение, и другое — принятие такого решения. Подготовка никак не противоречит моему утверждению о том, что решение о введении военного положения было принято в последнюю минуту, после того, как все другие средства были испробованы. Планы подготовки разрабатывались на тот случай, если бы усилия правительства по нормализации обстановки в стране ни к чему бы не привели, а руководство «Солидарности» продолжало курс на конфронтацию. Агент Куклинский был прекрасно осведомлен и о том, что, если бы в силу неблагоприятного развития событий было принято решение о введении военного положения, сделать это собирались по разным причинам не позднее 15 декабря 1981 года. Буквально до последнего момента власти призывали опомниться, предостерегали, не желая прибегать к крайней мере.

— Так когда же и при каких обстоятельствах было принято окончательное решение? Что перевесило чашу весов?

— В конце ноября 1981 года, а особенно после уже упомянутого совещания Координационной комиссии «Солидарности» в Радоме 3 декабря стало совершенно очевидным, что стране угрожает не только экономическая катастрофа, развал, распад государства, но и кровопролитная гражданская война; участились провокации, нарастали анархия и хаос. Забастовки стали более нормальным явлением, чем работа. Бастовали даже в учебных заведениях, школах, используя любой предлог для «протеста», который зачастую принимал совершенно неуправляемые даже для его вдохновителей формы. Захват государственных и общественных зданий тоже стал нормой.

На совещании в Радоме Гжегож Палка и Збигнев Буяк предложили создать «рабочую милицию», соответственно экипированную, чтобы она могла «защищать бастующих и манифестантов от вмешательства сил порядка». Такую «милицию» пытался создать Северин Яворский на металлургическом комбинате «Варшава».

Наконец, было принято решение о проведении в Варшаве 17 декабря 1981 года массовой демонстрации, которой отводилась роль запала в предстоящей конфронтации.

Каждый, кто честно проанализирует события тех дней, неизбежно придет к выводу, что катастрофа была очень близко.

12 декабря 1981 года на совещании КК «Солидарности» в Гданьске, на верфи им. Ленина, дело обстояло уже совсем плохо (о чем Служба безопасности получала своевременную, по мере развития событий, информацию). Возобладали призывы к конфронтации. Безумцев не мог сдержать разумными советами даже адвокат Владислав Сила-Новицкий, хотя его и трудно было бы назвать сторонником коммунизма. Не могло их удержать и руководство Костела. Нам известно,

[1] Осведомитель.

что 9 декабря 1981 года примас[1] Юзеф Глемп принял главарей «Солидарности» — вместе с Валенсой и некоторыми советниками. Мне рассказал об этой встрече один из ее участников. Легко понять, почему о встрече с главой Костела в те решающие дни Лех Валенса и его советники до сих пор никому не говорят. Ведь как раз тогда Костел выступил сдерживающим началом для экстремистов «Солидарности», до этого они всячески использовали его авторитет. Сама собой напрашивается аналогия: точно так же контрреволюционные элементы восприняли знаменитую проповедь кардинала Стефана Вышинского на Ясной Горе в августе 1980 года, призывавшего верующих соблюдать спокойствие и нормально работать. Вот тогда-то и раздались крики: «В канал его, Вышинского, в канал!»

— Кто был инициатором введения военного положения?

— Инициатором можно назвать стремительно обостряющееся положение в стране. На это указывали Политбюро, Центральный Комитет ПОРП на своих пленарных заседаниях, правительство, центральные и местные органы власти. Тысячи граждан в своих письмах умоляли предпринять что-нибудь, спасти страну от катастрофы, от грозящего ей голода, от бед наступавшей зимы. Беспокойство и тревога звучали в выступлениях и депутатов сейма.

В создавшейся ситуации предложение председателя Совета министров генерала армии Войцеха Ярузельского о введении военного положения было воспринято председателем Государственного совета профессором Генриком Яблоньским с полным пониманием. Государственный совет, пользуясь предоставленным ему конституцией правом, принял на своем заседании (путем голосования) постановление о введении военного положения на территории Польской Народной Республики с 13 декабря 1981 года. Ночью же с 12 на 13 декабря 1981 года был учрежден Военный совет национального спасения под руководством генерала армии Войцеха Ярузельского. Мне известно, что об этом были заблаговременно информированы представители руководства ПОРП, других партий в ПНР и правительство.

— Кто непосредственно разрабатывал общую концепцию введения военного положения?..

— Планы разрабатывались в узком кругу: генерал армии Войцех Ярузельский — Первый секретарь ЦК ПОРП, председатель Совета министров, министр национальной обороны; генерал брони Флориан Сивицкий — начальник Генерального штаба, заместитель министра национальной обороны; генерал дивизии Чеслав Кищак — министр внутренних дел.

Планы действий воинских частей разрабатывали офицеры Генерального штаба ВП и других органов Министерства национальной обороны. Работой сотрудников Управления Совета министров руководил его начальник, генерал бригады Михал Янишевский. Что же касается нашего министерства, разрабатывались планы в соответствии с поставленными перед ним задачами: охрана важнейших промышленных предприятий, изоляция экстремистских активистов «Солидарности» и профилактика в отношении некоторых других лиц, обеспечение порядка и спокойствия в общественных местах, а также радикальное пресечение уголовной преступности...

V

— Когда и при каких обстоятельствах было принято решение приступить к действиям по вашему ведомству?

— Пресловутая точка над «i» была поставлена генералом армии Ярузельским в разговоре со мной 12 декабря 1981 года в 14.20. Подобный же разговор о последних приготовлениях перед началом решительных действий состоялся и с генералом брони Флорианом Сивицким. Через несколько минут после разговора с генералом Ярузельским всем начальникам воеводских управлений милиции был передан закодированный сигнал. У них оставалось очень немного времени на перегруппировку своих сил и средств и выдачу распоряжений подчиненным звеньям. Действовали мы в самом тесном контакте с руководством Министерства национальной обороны.

— В своих выступлениях на сейме вы рассказывали, пан министр, о том, как действовали в период военного положения все подчиненные МВД части. Как теперь, по прошествии времени, вы охарактеризовали бы специфику их действий в чрезвычайной ситуации?

— В период военного положения ведомство внутренних дел выполняло прежде всего свои основные, предусмотренные законом функции по охране внутренней безопасности страны, поддержанию общественного порядка, борьбе с преступностью и защите личной безопасности граждан. Так что ничего чрезвычайного, специфического в наших действиях в тот период не было, разве лишь сознание, что обычные функции приобрели особое значение.

— Приходилось слышать упреки в том, что, получив в условиях военного положения бóльшую возможность прибегать к репрессиям, сотрудники органов слишком охотно пользовались ею. Не кажутся ли вам подобные суждения упрощающими дело?

— Да разве можно говорить об «упрощении» — это просто насквозь лживые утверждения! Выполняя задание, поставленное партией, правительством, Военным советом национального спасения, наши органы действовали прежде всего в интересах самого же народа.

Поставленные перед нами задачи мы старались решать таким образом, чтобы введенные военным положением меры как можно меньше нарушали ритм общественной жизни, чтобы граждане,

[1] Глава Костела в ПНР.

подавляющее большинство которых не было виновато в том, что происходило в стране, а теперь вынуждено нести тяготы военного положения, как можно меньше чувствовали эти тяготы. По инициативе наших органов довольно скоро были отменены некоторые ограничения, вызванные военным положением. Не обращались мы и ко многим мерам, которые предусматривались законами военного положения — если, конечно, прибегнуть к ним нас не вынуждали объективные причины.

— Что делалось конкретно для того, чтобы избежать лишних репрессий?

— Единственным выходом в таких случаях является достаточно широкая, действенная профилактика. И вот пример: только за первые четыре с половиной месяца после введения военного положения сотрудниками МВД было проведено более ста тысяч профилактических бесед-предостережений, благодаря которым удалось удержать от негативных действий очень многих людей. Тем самым они избежали последствий нарушения закона. А следует, видимо, напомнить, что именно в этот период наши внутренние враги всеми доступными способами, в том числе и с помощью западных диверсионных радиостанций, открыто подстрекали народ к агрессивным действиям против народной власти и даже давали подробные инструкции, когда и в какой форме выступать, с чего начинать, где собираться. Среди населения было немало сбитых с толку, дезориентированных людей, находившихся под влиянием антиправительственной пропаганды, которая с такой яростью велась до последнего дня.

А вот и еще один пример (он кажется мне достаточно убедительным): без всяких репрессий, в том числе и административных, было ликвидировано несколько десятков нелегальных групп и отрядов, в том числе и в рабочей среде, благодаря гибким профилактическим действиям, благодаря аргументации, доверительным беседам и другим мероприятиям отнюдь не репрессивного характера.

— В качестве примера ограничений военного положения часто приводится факт «наглухо закрытых» государственных границ и невозможности выехать за границу.

— Это скорее пример еще одного досужего вымысла. Несмотря на понятное при военном положении ужесточение контроля — а этого требовали интересы государства,— МВД тем не менее в отношении выездов за границу проводило эластичную политику. В 1982 году получили загранпаспорта и выехали за рубеж 1 019 436 человек, из них 339 697 — в капстраны. Уже в первые дни после введения военного положения в чрезвычайных случаях выдавались заграничные паспорта, а через несколько недель получили возможность получить выездные документы и лица, выезжавшие по приглашению родных и с туристическими группами.

— Военное положение создавало возможности для усиления действий по борьбе с преступностью, которая приняла устрашающие размеры в 1981 году, и с другими проявлениями социальной патологии. Что удалось сделать органам в этой области?

— И в самом деле, в этой области создавалось тревожное положение; особенно беспокоил нас рост тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. К известным уже многие годы криминогенным факторам, таким как алкоголизм, паразитический образ жизни, деморализация и социальная неприспособленность молодежи, прибавилась анархия, распространившаяся на все сферы жизни, а ведь это влекло за собой несоблюдение законов и норм общежития. Последствия экономического кризиса также сказались на росте преступности. Вместе с тем наглядно проявились элементарные упущения в охране общественного и личного имущества, я бы сказал даже — беспечность и небрежность. Все это привело к огромному росту хищений и краж, разбойных нападений и ограблений. Дезорганизация рынка стала причиной подлинного взрыва спекуляции.

Переплетение всех этих обстоятельств привело к такому росту преступности, что мы, невзирая на все принятые меры, до 1984 года не могли остановить его. Естественно, это вызывало большое беспокойство и у нас, и у руководства партии и правительства. Много внимания уделял этой проблеме товарищ Ярузельский. По его распоряжению был предпринят ряд мер в масштабах всей Польши, по его же распоряжению 2 декабря 1983 года был создан при Совете министров Комитет по соблюдению законности, правопорядка и общественной дисциплины, который координировал все действия органов правопорядка в их борьбе со злом.

— Когда эти действия дали заметные результаты?

— Какой-то поворотный пункт в деле борьбы с преступностью, приостановление ее роста наметились лишь в 1984 году. В 1985 году впервые за это время был зарегистрирован спад преступности, наблюдалось меньше краж и меньше хозяйственных преступлений. Возросла и раскрываемость преступлений.

В начальный период после введения военного положения главное внимание было привлечено к наведению порядка в общественных местах, борьбе с хулиганством. В помощь работникам милиции были приданы отряды РОМО[1], ОРМО и солдаты войск, находящихся в ведении МВД... Ну и, конечно, наряду с этим мы широко информировали население — через средства массовой информации и в личных встречах — о возросшей преступности, чтобы люди знали об этом, сами принимали меры, да и нам помогали. Мы понимали, что плотину на пути лавины преступлений мы сможем возвести лишь при активной поддержке общественности.

[1] ROMO (Rezerwowe Odwody Milicji Obywatelskiej) — резервные части милиции

— Следовательно, в период военного положения МВД ставило своей задачей также и ликвидацию криминогенных факторов? Если так, то какие конкретные меры вы можете назвать?

— Прежде всего мы постарались ограничить сферу воздействия главных криминогенных факторов. Одним из них является алкоголизм. Каждое четвертое преступление в стране совершалось лицами в нетрезвом состоянии, в таком состоянии находилось семеро из каждых десяти участников драк, восемь из каждых десяти насильников. В 1982 году было вскрыто свыше 14 000 фактов нелегального производства и продажи алкоголя, в то время как в 1983 году всего лишь 1 400 — не потому, что их было тогда меньше, просто милиция стала лучше работать, да и условия работы для нее стали благоприятнее. Были приняты самые жесткие меры по отношению к водителям, совершившим тяжкие преступления в нетрезвом состоянии. На улицах городов патрулями в этом году было задержано свыше 600 000 пьяных, которых доставляли в вытрезвители, а иногда и домой. Благодаря этому они лишены были возможности нарушить порядок, а преступники — их ограбить. Принесла свои плоды и кампания пропаганды трезвости, особенно на крупных предприятиях, где иногда создавалась просто критическая ситуация, и ограничение доступности алкоголя (контроль за соблюдением времени продажи его в магазинах, ликвидация притонов и других мест нелегальной торговли водкой). Применялась еще и такая мера — систематический строжайший контроль за соблюдением порядка на стадионах.

— Насколько мы понимаем, профилактическими мерами предусматривалось также предупреждение патологических отклонений в поведении молодежи?

— Разумеется. Тут нам пришлось сражаться с теми бедами и опасностями, которые громоздились еще с 70-х годов. Именно тогда был отмечен скачок в росте наркомании, причем самым страшным оказалось то, что абсолютное большинство охваченных ею составляли люди молодые, часто несовершеннолетние. Заметьте, что именно наше ведомство уже с середины 70-х годов настойчиво обращало внимание общественности на рост наркомании среди молодежи. Полученные сведения мы передавали медикам и другим организациям, сами делали что могли.

— В свое время средства массовой информации много сообщали о таких милицейских акциях, как «Посессия», «За безопасность движения»...

— Операция «Посессия» проводилась нами в 1983 году. Но еще до этого, уже в 1982 году, мы провели большую операцию под кодовым названием «Агломерация» — по повсеместному наведению порядка и спокойствия, борьбе с преступностью и хулиганством в крупных городах («Посессия» — то же самое, но в сельской местности), а также операцию «Рынок» — тут мы объявили войну спекуляции, которая била прежде всего по самым бедным слоям населения.

— Мы вынуждены признать — то, о чем вы нам рассказали, меняет стереотипный образ милиционера с дубинкой в одной руке и квитанцией на штраф в другой...

— Да, уж пора бы покончить с этим дурацким стереотипом. Видимо, надо стараться еще шире информировать общественность о том, чем именно занимается наше ведомство. И мне бы хотелось еще раз напомнить о самоотверженности, выдержке, политической сознательности, проявленных работниками службы безопасности и милиции при выполнении чрезвычайно ответственных задач как в период военного положения, так и после его отмены...

VI

— Давайте вернемся еще, если вы не против, к первым минутам после введения военного положения. Когда и при каких обстоятельствах узнал об этом решении примас Польши кардинал Юзеф Глемп?

— В ночь на 13 декабря 1981 года кардинал принял сопредседателя совместной Комиссии правительства и епископата Казимежа Барчиковского, министра Ежи Куберского и генерала бригады Мариана Рыбу, которые сообщили ему о решении ввести военное положение и о причинах, вызвавших это решение.

— А ваша семья, ваша жена и дети — когда они узнали о том, что вводится военное положение?

— Из утренней речи товарища Ярузельского, которая передавалась по радио и телевидению. Сохранение тайны обязательно для всех. Моя семья не была исключением.

— Хотелось бы ощутить атмосферу первых часов после введения военного положения. Что вы чувствовали, о чем думали?

— Больше всего запомнилось ощущение огромной тяжести и ответственности за успех и быстроту операции, ответственности за то, чтобы она обошлась без жертв. Думаю, это испытывали все мы. Ведь мы очень хорошо понимали роль этого радикального средства для будущего нашего народа.

— А теперь, пожалуйста, подробнее о первых часах после введения военного положения.

— Эти часы прошли в неимоверном напряжении. 12 декабря 1981 года. Проходят минуты, четверть часа после 24.00, а заседание общепольской комиссии «Солидарности» в Гданьске все продолжается. По всей стране уже началась перегруппировка войск. Важнейшие административные и государственные объекты и главнейшие магистрали взяты под контроль армией. За безопасность объектов связи, радио и телевидения отвечали смешанные военно-милицейские группы. А они все заседают. Встает проблема: войти в здание и задержать участников заседания ОК или не рисковать. Решили не входить.

— Почему?

— Сил и средств у нас для этой операции хватало. И разработали мы ее в деталях. Однако с одобрения генерала Ярузельского я приказал начальнику воеводского управления милиции г. Гданьска генералу Ежи Анджеевскому задержать колонну особых моторизованных частей МО, которая уже вышла из Вейхерова и двигалась к верфи им. Ленина в Гданьске, где заседали главари «Солидарности». Колонну остановили в полутора километрах от верфи. Заседание ОК охраняли отряды боевиков, значит, неизбежно пришлось бы применить силу, то есть возникла реальная опасность кровопролития. Мы не хотели довести до этого, и я и сейчас считаю, что поступили мы правильно.

— И все-таки члены ОК были задержаны...

— Через полтора часа. Мы подождали, пока они не начали расходиться. Конечно, если бы их взяли во время заседания, скрыться не удалось бы никому, и тогда через несколько месяцев, в апреле, уцелевшие члены ОК не выступили бы с инициативой создания ТКК [1]. И тем не менее мы не раскаиваемся в сделанном.

— А вы не боялись неудачи с введением военного положения? Ведь лидеры «Солидарности» утверждали, что их поддерживают 10 миллионов поляков.

— Мы прекрасно знали, каким образом проходил застарую набор в ряды «Солидарности», какими принципами руководствовались при этом. Думаю, всем известны механизмы политического и психологического манипулирования людьми. Очень хорошо эти механизмы представлены в фильме Романа Венчека «Достоинство». Фильм производит сильное впечатление, в нем убедительно показаны разлад и драмы в семьях, раздираемых на части ловкими манипуляторами.

Думаю, стоит обратить внимание вот на какой факт: незадолго до введения военного положения в отряды добровольных резервов милиции РОМО были призваны тысячи людей, главным образом рабочих. Явка была почти стопроцентной. Нам эти отряды очень помогли. Например, при интернировании задержанных, при поддержании порядка на предприятиях. Никто не отказался выполнить приказ. А ведь среди этих тысяч большинство состояло в «Солидарности». Разве это не говорит о том, кто и против кого ввели военное положение?

Стало оно в полном смысле этого слова самообороной народа от тех, кто покушался на его самые жизненные интересы. Подавляющее большинство населения страны на практике, своими действиями доказало, что им дороги спокойствие и безопасность Польши. Только поэтому так невелики были потери при введении военного положения, хотя все равно мы скорбим о них.

Зато у нас есть все основания полагать: на Западе не верили, что Войско Польское и патриотические силы страны, принимая ответственное решение, получат поддержку народа, в том числе и многочисленных членов «Солидарности», и что собственными силами справятся с положением. Неверие в патриотизм и политический разум поляков было большой ошибкой наших недругов; а поворот событий вызвал у них разочарование и озлобил их.

— Об интернировании говорят еще и до сих пор. Можно услышать и леденящие кровь россказни, как тысячи людей держали на морозе под открытым небом, на стадионах, поливали их водой...

— Да, распускали когда-то подобные слухи. А сейчас даже радиостанция «Свободная Европа» не решится их повторить. А тогда распускали их наши враги, кричали об этом радиостанции, писалось об этом в нелегальных газетенках и листовках. Ложь эту никто и не стал опровергать. А вот что было, то было — действительно на морозе, под открытым небом несли службу солдаты и работники милиции. А интернированные пребывали в теплых помещениях, где им были обеспечены все условия для нормальной жизни. Размещали интернированных или в специально подготовленных комнатах тюремных зданий, или в отведенных для этой цели домах отдыха, например, в Голдапи, Явоже, Кокотке... А некоторые, вроде Леха Валенсы, так и вовсе не имеют никаких оснований жаловаться — содержались они в весьма комфортабельных условиях.

— А в каких условиях содержались остальные интернированные?

— Парадоксально, но интернированные оказались неожиданно в привилегированном положении по сравнению с основной массой населения. Вспомните, страна переживала глубочайший кризис, трудно было купить спички, мыло, они же ни в чем не нуждались. Не запрещали мы и сбора средств в их пользу, не запрещали представителям польского и международного Красного Креста знакомиться с условиями, в которых они содержались. Я не собираюсь никого убеждать в том, что содержание в изоляции, разлука с семьей — приятные вещи, но решительно отвергаю демагогические заявления об издевательстве над интернированными...

— Одним словом, западная пресса намеренно распускала ложные слухи?

— В этом нет никаких сомнений. Ведь на ее страницах появились сенсационные сообщения о «тысячах людей на стадионах, которых держали на морозе и поливали водой...». Рекорд глупости и лжи побила считающаяся солидным изданием газета «Монд». В номере от 22 декабря 1981 года была опубликована следующая заметка:

«Смерть Тадеуша Мазовецкого. Рабочие и интеллигенция вместе сражались

---

[1] ТКК — Tymczasowa Komisja Krajowa — Временная всепольская комиссия, новый центральный нелегальный орган «Солидарности».

и теперь вместе умирают на шахтах, на улицах городов, в концентрационных лагерях генерала Ярузельского... В одном из таких лагерей умер Тадеуш Мазовецкий... Оставил сиротами троих сыновей... Память о нем сохранится в польской истории.

К ш и ш т о ф П о м я н».

Думаю, нет необходимости добавлять, что ни «Монд», ни Кшиштоф Помян не сочли нужным опровергнуть своей лжи. Нечего было, как видно, сказать и самому «покойнику» — пану Мазовецкому.

— Военное положение, необходимость которого не вызывает сомнений, было введено оперативно и дало ожидаемые результаты. Можно ли сказать, что, учитывая его положительный опыт, вы стали сторонником силовых решений?

— Нет, ни в коем случае. Я считаю, что политические проблемы должны решаться политическими средствами. Репрессии — это крайность. Мы должны вести диалог, разговаривать и объясняться с каждым, если он не заклятый враг социалистической Польши. Мы никому не запрещаем участвовать в созидании будущего нашей отчизны. Как сказал товарищ Ярузельский, мы не спрашивали человека, откуда он пришел к нам, и тем более не будем спрашивать об этом сегодня. Главное — чистые и искренние намерения, подтвержденные делом.

VII

— В интервью «Трибуне люду» вы использовали выражение «лежачего не бьют». Можно ли это отнести сегодня к так называемой оппозиции?

— Формулировка эта относится прежде всего к 1981 — 1983 годам. Тогда в соответствии с законами о военном положении, по решению партии, правительства, сейма, действуя в интересах народа, мы предприняли акцию изоляции наших политических противников, лишая их возможности враждебных нам действий. При этом мы никогда не руководствовались соображениями «реванша». В недостатке терпения нас не обвинишь.

— Зато вас обвиняют в излишней снисходительности к противникам социализма.

— С противником мы сражаемся до тех пор, пока он ведет враждебную деятельность. Но вот он перестал воевать, и мы становимся снисходительными, стараемся забыть его вину. Сколько раз лично мне приходилось принимать членов семьи интернированных или арестованных, и я всегда старался по мере своих сил им помочь, понять трагедию человека. Да вот хоть этот пример. Ян Юзеф Липский, член бывшего КОС-КОРа, непримиримый враг нашей партии и социализма, многие годы был известен своей антикоммунистической деятельностью. Изоляцию он заслужил, тут уж никакого сомнения. Однако по состоянию здоровья мы его освободили, с нашей помощью он получил заграничный паспорт и выехал в Лондон на лечение. Кстати говоря, состояние здоровья отнюдь не мешает ему вести очень активную работу в оппозиции. И не только.

Были случаи, когда наша толерантность, желание помочь людям использовались для того, чтобы нас обмануть. Взять хотя бы Яна Литинского, исключительно активного деятеля КОС-КОРа. По просьбе его матери, которая пришла ко мне вся в слезах, он получил пропуск на выход из тюрьмы, чтобы присутствовать при конфирмации своей тяжело больной дочери — его присутствие, по словам матери, оказало бы благотворное воздействие на здоровье ребенка. Я лично ходатайствовал о выдаче такого пропуска Литинскому, он его получил, но не вернулся, как обещал, в тюрьму, а воспользовался случаем и «ушел в подполье», где скрывается и до сих пор. По-другому вел себя Яцек Куронь, тоже получивший право покинуть тюрьму в связи с трагедией в семье. Правда, до сих пор он упрямо придерживается враждебных нам взглядов, несмотря на то что жизнь перечеркнула все его планы и расчеты. Насколько мне известно, он и сам это понимает.

— Означает ли сказанное, что «оппозиции» уже не существует, что она сейчас не представляет опасности. И вообще, что такое оппозиция в наших условиях?

— Вряд ли возможно в коротком высказывании дать полную картину так называемой оппозиции в Польше после второй мировой войны. Вся ее практическая деятельность активно поддерживалась внешними силами. Поэтому понятие «оппозиция» в устах наших противников приобретает просто карикатурный смысл. Можно ли отнести к оппозиции тех, кто целенаправленно разрушал национальную экономику, подрывал государственные устои, во всем сотрудничал с ревизионистами, обеими руками огребая деньги за свои услуги, а под конец сбежал за границу и устроился на теплом местечке в разведцентре? Это политическая «оппозиция»? А не вернее ли назвать ее просто вражеской агентурой? Ладно, пусть этот вопрос остается риторическим, но скажу, что значительная часть тех, кто и сегодня занимается враждебной политической деятельностью, не до конца понимая ее истинного смысла, расцениваются нами как не совсем потерянные для нас люди. Им нужно только помочь вернуться на правильный путь, и на такую помощь они вправе рассчитывать. Мы не боремся со взглядами, пусть они даже и очень отличаются от наших, мы боремся с враждебными для Польши, ее народа действиями.

— Значит, сегодняшнюю оппозицию можно приравнять ко вражеской агентуре?

— Нет сомнения — тот, кто за свои услуги получает от Запада деньги, является просто-напросто политическим агентом антикоммунизма. Можете ли вы представить себе какого-нибудь деятеля оппозиции США, Великобритании или Франции, который попирал бы интересы своей страны, разорял ее экономику, с

радостью приветствовал санкции против собственного народа, передавал, скажем, польскому посольству сведения политического и экономического характера, позволяющие нам успешно конкурировать на международных рынках с этими странами во вред их внешней торговле?

— Пан министр, вот вы несколько раз подчеркнули, что окопавшиеся на Западе группы бывшей «Солидарности» действуют как агенты вражеских разведок. Неужели и в самом деле люди, называющие себя профсоюзными деятелями, занимаются шпионажем?

— Может, это и не шпионаж в его классической форме, но никто меня не убедит в том, что данные о размещении воинских частей, характере производства и численности рабочих некоторых предприятий и т. п. представляют интерес исключительно для членов профсоюза. А именно такую информацию покупают за гроши Пентагон и ЦРУ у тех, кто называют себя профсоюзными деятелями. Да и сама связь между остатками так называемого подполья в Польше и антипольскими группами на Западе ведется шпионскими методами: шифры, тайнопись, новейшая электронная аппаратура. Кстати, на Западе и не делают из этого секрета, а лидеры оппозиции и постсолидаристского подполья прекрасно отдают себе отчет в том, от кого и за что получают деньги.

— Каковы размеры финансовой помощи Запада «оппозиции»?

— Те цифры, которые сообщает «оппозиция»,— лишь камуфляж и только верхушка айсберга, в официальных же рапортах всевозможных организаций на Западе, в фондах «помощи борцам за демократию» в Польше фигурируют миллионы долларов. Об истинном масштабе помощи профессионалам «оппозиции» красноречиво свидетельствует их «инвалютный» образ жизни и затянувшееся нежелание заняться каким-либо трудом.

— Насколько многочисленно так называемое подполье?

— В своих выступлениях в сейме я регулярно сообщаю цифры, которые меняются в соответствии с изменением ситуации. Подполье с каждым днем съеживается и тает. И это не только результат нашей работы, но и перемена в настроениях людей. В среде тех, кто еще занимается этой деятельностью, усиливается ощущение ее бессмысленности, ненужности. Всех более или менее активных деятелей подполья мы хорошо знаем.

— Так почему же «подполье» не ликвидируется? И каковы у него в наши дни возможности продолжать свою деятельность?

— Мы проводим гибкую политику сдерживания — в рамках законности, разумеется. Враги Польши очень хотели бы выставить ее в черном цвете — этаким государством, где царствует террор. их радует каждый случай ареста, который можно подвести под рубрику «политический». А когда нет таковых, то и обычные уголовники выдаются ими за «политических». К репрессиям мы прибегаем лишь в крайних случаях, расценивая их и как предостережение для других. А ведь у всех есть семья, мать, отец, дети... Что же касается силы подполья, то вы сами можете ее оценить, сопоставив кичливые обещания и угрозы с их фиаско на практике. «Конспираторам» немногое удается сделать. И все-таки время от времени они стараются напомнить о себе, ведь иначе не будет долларов. Нарастающий процесс общественно-политической нормализации положения в стране все больше теснит их к краю общественной жизни, а мы эту тенденцию поддерживаем.

— Вы разговаривали с эмиссарами подполья. О чем? Как проходили эти беседы?

— Я уже говорил, что в своей внутренней политике польские власти руководствуются принципом политического разрешения социально-экономического кризиса. Сила аргументов, а не аргумент силы. Вот почему я и разговаривал с «эмиссарами подполья», как вы изволили выразиться, и впредь буду вести с ними переговоры. Готов говорить с кем угодно, если это пойдет на пользу Польше и делу, которому я служу. О подробностях переговоров рассказать не имею права — так мы условились. Удивляет только то, что в разговоре мои собеседники вроде бы соглашались со мной, а на практике этого не подтвердили. Может, им просто не позволили? А ведь сам факт возможности свободно разойтись по домам после встречи мог бы заставить их задуматься.

— В беседе с профессором Генриком Яблоньским мы упомянули провокатора Азефа, работавшего на царскую охранку. Вспомнили же мы о нем потому, что использование провокаторов — это старый, испытанный метод, к которому прибегает аппарат насилия, хотя он, как и все остальные, оказывается неспособным сдержать надвигающуюся революцию. Известны ли вам распространенные в стране слухи о том, что 15 августа 1980 года Леха Валенсу в контейнере привезли на Гданьскую судоверфь сотрудники службы безопасности?

— Вы правы, утверждая, что прогрессивные силы революции никогда не прибегали к методам провокации как недостойным. МВД в своей работе решительно отвергает этот метод, упомянутые вами слухи не имеют ничего общего с правдой. Но вот сбор необходимых нам в работе сведений, в том числе и из конфиденциальных источников — это правда. Понятное дело, все, что касается этих лиц, содержится в тайне, так что больше я, пожалуй, ничего не скажу.

— Но может быть, скажете, раз уж об этом зашла речь, сколько МВД расходует денег на охрану Валенсы? Весной 1983 года Валенса прихватил меня с собой на прогулку в автомашине по городу, и у меня создалось впечатление, что о его личной безопасности заботятся ваши подчиненные.

— Всем известно, что Валенса уже несколько раз писал заявления в МВД о попытках покушения на него. По его словам, такие попытки были предприняты во время его поездки за рубеж в 1980 — 1981 годах. О некоторых попытках сообщалось в нашей печати. Это

неправда. Валенсу с его согласия служба безопасности охраняла еще до введения военного положения. Он наверняка хорошо помнит разговор на эту тему с генералом К. в апартаментах одного из гданьских отелей накануне съезда «Солидарности».

В Польше живут люди, которые продолжают оставаться соперниками Валенсы и представляют угрозу для его карьеры. Случалось, они публично давали выход своей ненависти к нему. Только в Труйместе[1] проживают два-три претендента. Главное для них не должность, а большие деньги, которые она приносит, и прежде всего зелененькие бумажки. Так что мы не можем исключить возможности провокаций по отношению к Валенсе — они, разумеется же, были бы приписаны МВД. И громче всех тогда стали бы кричать виновники. Вот почему особа Валенсы охраняется. И могу сказать, что сотрудничество Валенсы с моими подчиненными в Гданьске развивается нормально, к удовлетворению обеих сторон.

— Информация — главное в работе разведки. О том, что служба безопасности имела своих сотрудников в рядах «Солидарности», мы знаем хотя бы из радиопередач — прямой трансляции того, что происходило на заседании КК в Радоме и совещании главарей подполья после введения военного положения (декабрь 1981 года). Кто эти люди?

— Не скрою, СБ собрала довольно полную информацию о подполье в стране и его филиалах за рубежом. В основном это результат работы сотрудников разведки и контрразведки, внедренных в структуры внутри страны и за границей. Разумеется, они глубоко законспирированы.

— Узнаем ли мы когда-нибудь их фамилии?

— Представляю, какой бы вызвало шок, назови я некоторые фамилии! По понятным причинам мы этого не сделаем. Но если правительство сочтет необходимым, мы обнародуем — нет, не фамилии, а некоторые материалы, доставленные этими людьми.

— О чем эти материалы?

— Могу лишь сказать, что они показали бы в полном блеске истинный, антинародный, характер подполья и «оппозиции», их связей с иностранными разведками, малодушие и всю степень морального падения лидеров «демократической оппозиции», как они гордо себя именуют.

— Могли бы вы указать примеры приведения в исполнение приговоров по отношению к бежавшим за границу изменникам? Когда будут приведены в исполнение приговоры по отношению к Руражу и Спасовскому?

— Примеров таких я привести не могу, их просто нет. В отличие от некоторых так называемых «демократических» стран Запада, польское социалистическое государство даже по отношению к изменникам родины не практикует таких методов, как преследование и исполнение вынесенного приговора за пределами страны. Техническая сторона дела трудностей не представляла бы, найти в «демократическом» мире наемных убийц очень просто. Спасовских и руражей охраняют только поначалу, когда их головы еще чего-то «стоят». А потом уже эти головы не охраняют, да и зачем? Пусть думают сами о себе. Могу вас заверить, что спокойно они не спят.

— Значит, сегодня им остается бояться только угрызений собственной совести?

— Вы шутите? У изменника нет родины, нет у изменника и совести.

VIII

— Очень много говорят о ваших тесных контактах с представителями Костела. Как обстоит дело в действительности?

— Первые официальные контакты с представителями церковной иерархии имели место вскоре после введения военного положения. Я встретился тогда с кардиналом Франтишеком Махарским, краковским митрополитом, человеком, исполненным достоинства и здравомыслия. Однако наиболее тесные связи я поддерживаю с архиепископом Бронисловом Домбровским, секретарем епископата Польши. Я очень ценю его политическую культуру и умение прислушиваться к аргументам. Мы обсуждали и продолжаем обсуждать очень много проблем и частных вопросов, ищем возможности их положительного решения. Не всегда наша беседа идет легко, зачастую мы стоим на противоположных позициях. И все-таки большинство вопросов удавалось решать, при этом не последнюю роль сыграло обоюдное желание найти приемлемый компромисс. Я всегда говорил, что политика — искусство компромисса.

— На взаимоотношения государства и Костела наверняка повлияло убийство ксендза Ежи Попелушки. Можно ли сегодня добавить что-нибудь к тому, что уже говорилось по этому поводу?

— Очень немного. Убийство ксендза Попелушки, независимо от субъективных побуждений виновных в нем, объективно обернулось политической провокацией, направленной против политики партии и правительства. И ударом по ведомству внутренних дел, сотрудниками которого были виновники преступления.

— Как в ведомстве восприняли и оценили факт убийства? Что о нем думают сотрудники СБ и МО?

— Сразу же и безоговорочно осудили виновных. И в коллективах, и на партийных собраниях.

— Как вы считаете, убийство ксендза Попелушки сильно подорвало моральный авторитет аппарата МВД?

— Конечно, когда сотрудник какого-либо учреждения совершает преступление, это накладывает пятно на все учреждение, наносит ему моральный ущерб.

[1] Три города Побережья — Гданьск, Сопот, Гдыня, составляющие мегаполис.

подрывает его авторитет. Однако тут мы имеем дело с совершенно особым случаем.

Убийство совершено сотрудниками службы безопасности, то есть учреждения, которое призвано стоять на страже безопасности граждан, следить за тем, как на практике соблюдаются гарантированные конституцией безопасность и права граждан. Ясно, что любое наше противоправное деяние не остается незамеченным врагами народной Польши, вызывает их радость и дает пищу для нападок на нас.

А посмотрите, что делает служба безопасности после того, как стало известно об исчезновении ксендза Попелушки? Немедленно организует широкий, в масштабе всей страны, розыск. Очень быстро был установлен факт убийства и люди, его совершившие. И хотя ими оказались сотрудники службы безопасности, об этом было сказано прямо и открыто. Вместе с прокуратурой выявляются все обстоятельства преступления, не обойдена ни одна мелочь. Всякий, кто способен объективно мыслить, должен понять, что такие действия ведомства снимают с него вину за случившееся, что это преступление не может запятнать его доброго имени.

— А не вызвало ли это ослабления аппарата?

— Может, вместо прямого ответа на этот вопрос я поделюсь своими чувствами и мыслями того периода. Я ощутил общее стремление работать четче, повысить дисциплину. Ни одного случая увольнения, никаких трудностей с набором новых кадров. Так что те, кто надеялся, что убийство ксендза Попелушки и его последствия ослабят аппарат МВД, были разочарованы. Нежелательные явления могут иметь место в любой социальной среде, важно исключить возможность сделать на их основе далеко идущие обобщения.

— А такие обобщения делались и до сих пор делаются.

— Мы знаем. Могу заверить вас, что мы всегда воздерживались от поспешных обобщений, хотя поводов для них было предостаточно. Вспомним хотя бы убийство старшины милиции Здислава Кароса, отца двух малолетних детей. А ведь в числе убийц — ксендз Сильвестр Зых и студент Люблинского католического университета Станислав Матейчук.

Преступление, особенно убийство, всегда будоражит общественное мнение. Таким потрясением стало, к примеру, и убийство Улофа Пальме. Во многих выступлениях западной печати критиковались неумелые действия и бессилие шведской полиции как в отношении охраны премьер-министра, так и при расследовании убийства. Писалось и о том, что прокурор, осуществляющий надзор над следствием, подал заявление об отставке, поскольку ему всячески мешали в работе как раз те люди, которые по долгу службы обязаны были помогать.

— Что вы, как специалист, думаете об этом — это и в самом деле неумелые действия или...

— Не считаю себя компетентным оценивать действия шведской полиции. Но если бы мне поручили раскрыть тайну смерти великого шведского политика, я, как профессионал, естественно, начал бы с рассмотрения всех рабочих гипотез, а также задал бы основной в каждом расследовании вопрос: cui bono, то есть, кому выгодно, чтобы Улоф Пальме, сторонник политики разрядки и сотрудничества в Европе, сошел с европейской политической сцены...

IX

— Вы не раскаиваетесь, что избрали профессию, требующую самоотречения и риска? Ведь на хлеб можно зарабатывать и иным путем. И трудно представить, чтобы при такой работе у человека был нормальный дом, семья, личная жизнь.

— Профессию я избрал хоть и в молодом возрасте, но вполне сознательно. С годами обязанностей прибывало, справлялся. Сейчас, когда оглядываешься на пройденные годы, как-то отчетливее видишь, какой все-таки трудной и ответственной была работа. А семья, хотя и без восторга встречала неудобства, неизбежные в жизни военного, тем не менее всегда помогала мне и помогает до сих пор. Ненормированный рабочий день, смена гарнизонов, бесконечные переезды отнюдь не облегчали семейной жизни, а особенно обучения детей — дочери Евы и сына Ярослава. Сейчас они уже взрослые, и я на них не жалуюсь. Дочь замужем за хорошим человеком. Ярек — слушатель IV курса Высшей офицерской автомобильной школы.

— Не могли бы вы рассказать о своих чисто человеческих слабостях, пристрастиях, недостатках?

— Могу признаться, что я страстный охотник. Что же касается других «человеческих слабостей», то о них надо было спрашивать лет 30 — 35 назад. Вот тогда было бы о чем поговорить. А сейчас я уж и позабыл о них ..

— Вы и в самом деле были образцовым учеником?

— Учился в общем-то на отлично, но вот образцовым никогда не был. В каждой драке принимал участие, вечно ходил в синяках.

— Пан генерал, а уроки религии вы посещали? Какие отметки получали?

— Отец был далеко, а мать хотела жить спокойно, так что уроки религии посещал. Впрочем, тогда католическая религия считалась государственной, а ее преподавание в школах — обязательным.

— Сейчас вы атеист. Когда вы окончательно расстались с Костелом?

— Это трудно назвать расставанием. Уже в начальной школе меня одолевали сомнения — не без влияния отца. Очень уж резко дела некоторых моих знакомых не соответствовали их словам. И все стены у него иконами обвешаны, и в

воскресенье лежит в костеле крестом, а сам совершает свинства. Потом пришла война с ее горем и ужасами, и тут уж я окончательно порвал с религией. Но мне бы хотелось, чтобы меня правильно поняли. Хоть я и атеист, но уважаю людей искренне и глубоко верующих; разумеется, если их вера — все равно какая — не расходится с их делами. С Костелом, а вернее с ксендзами, у меня установились хорошие отношения. Я считаю, что вместе с ними в разное время мы сделали немало хорошего и для отдельных людей, и для Польши. Я уважаю тех священнослужителей, которые, следуя призванию, исполняют свой долг в службе божьей, уважая при этом закон и соблюдая интересы государства.

— Как вы себя сейчас чувствуете? Недавно вы перенесли операцию. Что это было?

— Чувствую я себя прекрасно. Действительно, в январе прошлого года я перенес внезапный острый приступ воспаления желчного пузыря. Операцию мне сделали в центральной клинической больнице МВД без пяти минут двенадцать — в прямом и переносном смысле этого слова. Оперировал замечательный хирург профессор Чеслав Турский. Через 14 часов после операции он поставил меня на ноги, и, как изволите видеть, я двигаюсь довольно бодро.

— А говорили, что оперировали совсем не поэтому...

— Знаю я, что говорят, все враки. Я действительно был ранен, но это случилось на охоте, несколько лет назад. Неопасно. И что самое смешное, ранил меня коллега, кстати прекрасный охотник.

— Вы не боялись операции?

— Нет. Во-первых, я вообще не отношусь к боязливым или тем, кто трясется над своим здоровьем, а во-вторых, у меня и времени-то не было испугаться. Приступ, консилиум врачей, решение оперировать — и через 10 минут я уже лежал на операционном столе.

— Вы ничего не боитесь? Вы вообще никогда не испытывали чувства страха?

— Раз уж я решился говорить правду, то и на этот вопрос надо отвечать правдиво. Боюсь. Только не чего, а кого. Боюсь собственную жену, как, впрочем, все мужья на свете.

Ну, а если говорить серьезно... Последний раз я испугался, причем основательно, в июле 1967 года, в Демократической Республике Вьетнам. Отправился я туда с группой офицеров в разгар войны с американцами. Возглавлял группу генерал брони Тадеуш Тучапский. Приехали мы для того, чтобы ознакомиться с опытом боев. В ту пору американская авиация яростно бомбила страну, обращая в прах города и промышленные предприятия. Самолеты охотились даже за отдельными целями. Наша группа разделилась. Я с товарищами ночью отправился окружными полевыми дорогами вдоль лаосской границы в район Тхань-Хоа. Дороги были ужасные, через реки мы переправились по «мостам» из бамбуковых стволов, кое-как связанных лыком. Американские самолеты бомбили непрестанно, освещая цель. Вьетнамские товарищи решительно отказались везти нас по шоссе, где 10 дней назад погибла делегация дружественной страны.

Отдохнув и позавтракав в полевой бамбуковой «гостинице», прикрытой банановыми листьями, мы отправились к морю осмотреть «стратегическую деревню», которой предстояло сдерживать наступление американцев. Женщины, старики и дети превратили ее в настоящую крепость. Нам хотелось побывать на батарее зенитной артиллерии, которая располагалась километрах в двух от деревни, на берегу моря. Вела туда песчаная дорога, вдоль которой то и дело попадались небольшие, очень мелкие колодцы. Когда мы были на полпути, внезапно со стороны моря на бреющем полете появилась группа американских «фантомов». Верьте мне, господа, наверняка я в тот момент побил мировой рекорд по прыжкам в длину, бросившись вниз головой в ближайший колодец. Поместился я только до пупа, ноги и прочее оказалось в распоряжении солнца и «фантомов». С трудом приняв нормальную позу, весь в песке, я выглянул из колодца. Товарищи мои спрятались не лучше. Не знаю, долго ли это продолжалось, но мне показалось — целую вечность. И мне вдруг стало страшно. Жутко, кошмарно страшно. Неужели я умру вот так глупо, за много тысяч километров от Польши? И это унизительное чувство собственного бессилия, ведь у меня не было даже пистолета, я не мог даже пострелять вверх, чтобы придать себе храбрости.

— После того как вас ранили, вы продолжаете охотиться?

— Какое там «ранили»! Иногда даже полезно получить заряд дроби в голову, как-то, знаете ли, встряхивает. Ну конечно же, я продолжаю охотиться, хотя свободного времени так мало...

— Ну и как получается? Хорошо стреляете? Каковы успехи?

— Стреляю средне. А успехи? Охочусь на то, на что удается получить разрешение. С переменным успехом.

— А какого-нибудь крупного зверя — зубра, медведя — вам не доводилось подстрелить?

— На зубра и медведя я не ходил. И разрешения не было, да я и не добивался его. Пусть на этих зверей охотятся «валютные» охотники, которые платят нам за лицензию десятки тысяч долларов. Волки вот зато даже снятся мне, но я так ни одного и не подстрелил.

— Мы слышали, что вы большой болельщик футбола. Правда?

— Правда, и не только футбола. Люблю все виды спорта, за небольшим исключением. Сам когда-то гонял тряпичный мяч, бегал, ходил на лыжах. Разумеется, все это в любительском и к тому же не самом лучшем варианте. Люблю бро-

дить по горам. Очень люблю природу. А как болельщик я скатился на самое дно. На матчи уже не хожу, «болею» в удобном кресле перед телевизором.

— Спорт вы любите больше книг?

— Стараюсь оба занятия сочетать. Разумеется, хорошую книгу люблю больше.

— А какого рода литературу вы предпочитаете?

— Книги по истории, мемуары. К сожалению, в последние годы читал в основном служебную «литературу».

— А какую вы любите музыку?

— В отличие от Суворова, который, как уверяют историки, обожал барабанную дробь, я люблю музыку лирическую, мелодичную и спокойную, люблю мелодии, которые запоминаются, которые и через много лет можно напеть, насвистеть. Легкая, приятная музыка успокаивает, снимает напряжение.

— Какие люди вам импонируют?

— Умные, отважные, с характером. И необязательно скромные при этом, но если они к тому же и скромные, я их ценю и уважаю еще больше.

— А кого вы не любите?

— Глупых, псевдоинтеллигентов, заносчивых, трусов, бесхарактерных. Не выношу надутых индюков. Презираю людей, которые забывают и близких, и друзей, когда им удается «подняться вверх».

— Не все люди отзываются о вас с симпатией. Вас это огорчает?

— Нет. Неприязненное отношение — неизбежная часть того багажа, который должен нести человек, занимающийся политикой. Я понимаю, что не все разделяют мою точку зрения, не все согласны с моими решениями, что есть люди, которые меня не любят. Вот только удивляет иногда отсутствие самой элементарной культуры у тех, кто меня критикует. Вместо аргументов — клевета, вздорные домыслы, а то и просто оскорбления, вместо полемики по существу — вульгарная брань. Я стараюсь сдерживать себя. И то же советую моим политическим противникам. Не исключено, что со многими, за исключением, разумеется, ярых врагов социалистической Польши, мы могли бы в чем-то найти общий язык для блага нашей общей родины, которую любим одинаково, хоть и видим ее разной.

— Люди, которые смотрят ваши выступления по телевидению, в большинстве своем согласны с тем, что вы говорите, но вот сами вы кажетесь им человеком грозным и угрюмым.

— Никакой я не грозный, а тем более не угрюмый. Жаль, если создается обо мне такое впечатление. Что делать? Могу лишь сказать вам, что ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и чувство юмора.

— Вы охотно принимаете людей и лично беседуете часто с весьма одиозными фигурами. Почему? Чего вы ожидаете от таких встреч?

— Две тому причины. Во-первых, люди сами стремятся попасть ко мне по своим личным делам, каждый считает, что разобраться в нем может лишь министр внутренних дел. Вторая причина — в моем собственном желании больше общаться с людьми, нельзя же ограничиваться лишь рапортами и отчетами сотрудников. Ведь как бы правилен и глубок ни был такой отчет, составлен он человеком, который мыслит точно так же, как и я. Один и тот же стереотип мышления. А значит, есть опасность оторваться от жизни, от объективной реальности, от людей. Я встречаюсь со многими очень интересными людьми, которым есть что сказать, а я и хочу и люблю слушать умных людей... даже если мы расходимся во взглядах.

— Есть ли человек, который мог бы лучше вас руководить Министерством внутренних дел?

— В нашем ведомстве много людей умных, опытных, достойных уважения. И вообще, нет людей незаменимых. Что же касается меня, то я никогда не держался судорожно ни за одно кресло, а уж за это последнее — и вовсе. Жесткое это кресло и неудобное. Но обязанности свои стараюсь выполнять как можно лучше.

— О чем вы мечтаете?

— Как следует выспаться. И еще полежать на траве, желательно у воды. Поохотиться на оленя или другого крупного зверя, побив мировой рекорд — вы знаете, тут тоже бывают мировые рекорды. И мечтаю о том, чтобы в нашей стране были порядок и спокойная жизнь, чтобы в ней воцарилась полная стабилизация, благосостояние и справедливость. Чего боюсь? Войны. Проклятой войны. У меня и моего поколения война отняла молодость, а страну ввергла в разруху. У наших детей и внуков война может отнять не только молодость, но и жизнь, уничтожить не только Польшу, но и всю Европу, а может быть, и планету.

— Гордятся ли вашей карьерой семья и близкие?

— Мы никогда не говорим об этом, но думаю, им небезразлично то, чего я добился в жизни.

Перевод В. СЕЛИВАНОВОЙ

(Окончание следует)

Критика

Т. МОТЫЛЕВА

БРАТЬЯ МАНН И ПОЛИТИКА

Полемические заметки

Посмертная слава обоих братьев Манн прочна и, казалось бы, не подвергается сомнению. И тем не менее в 1985 году в Западном Берлине появилась книга, само название которой заключает в себе нечто издевательское: «Несведущие маги. О Томасе Манне и Генрихе Манне».

Как понимать это название? По мнению автора книги, оба писателя были по сути своей натуры и своего творчества людьми аполитичными. В публицистике же они пытались говорить о том, чего не знали, не понимали. Они осмеливались ввязываться в идейные схватки своего времени, но «собственно политические вопросы: власть и ее механизмы, взаимодействие общественных групп, значение политических и социальных интересов — все это оставалось для них закрытым»... Главными стимулами в деятельности обоих братьев были, по мнению автора книги, не какие-либо гражданские чувства, не ощущение кровной причастности к судьбам их страны, а скорей желание прославиться, многолетнее соперничество. (Генрих Манн, утверждает автор, в начале века завидовал младшему брату, ставшему знаменитым после выхода «Будденброков»,— а Томас Манн в начале 20-х годов завидовал успеху, который выпал после крушения империи кайзера на долю автора «Верноподданного».) ...Критик старается доказать, что произведения обоих братьев не могли претендовать на подлинную силу художественного убеждения. По его словам, Томас Манн, отвергавший «всякую тенденциозность и ангажированность», мог одновременно сочувствовать и шарлатану-гипнотизеру, и застрелившему его Марио («Марио и волшебник»), мог симпатизировать не только демократу Сеттембрини, но и мракобесу Нафте («Волшебная гора»); а Генрих Манн доходил-де в своей сатире до такого заострения, которое «наносило сильный ущерб литературной ценности его социально-критических романов»[1].

Не будем держать читателя в неведении относительно личности автора этой книги. Его имя — Иоахим Фест — в последние годы стало широко известно в странах Запада; его главный труд, объемистая биография Гитлера, переведен ни много ни мало на пятнадцать языков (о чем с гордостью сообщается в анонимной справке об авторе, помещенной в конце книги «Несведущие маги»). Отчасти именно сочинение Феста положило начало «моде на Гитлера», принявшей характер поистине скандальный и в ФРГ, и не только в ФРГ. По-своему логично, что литератор, столь заметно приложивший руку к новейшим попыткам реабилитации фюрера, теперь стремится дискредитировать двух классиков немецкой литературы XX века, которые деятельно участвовали — и как художники и как публицисты — в борьбе с фашизмом.

Для того чтобы выявить и опровергнуть с помощью фактов все передержки, заведомо ложные оценки и хитроумные умолчания, которые имеются в опусе Феста о братьях Манн, понадобилось бы, пожалуй, написать книгу не меньшего объема, чем сам этот опус. Но в такой крупнокалиберной стрельбе в данном случае нет необходимости. Основные художественные произведения обоих романистов давно и хорошо у нас известны. Наши исследователи показали, что основные проблемы эпохи **входят в самую суть** творчества обоих писателей — при всех различиях между ними. И философская символика романов Томаса Манна, сумевшего «вырвать миф из рук фашизма», исследовать истоки национального позора и национальной трагедии; и гротескные образы учителя Гнуса и верноподданного буржуа Дидериха Геслинга, созданные Генрихом Манном задолго до того, как слово «фашизм» вошло в международный обиход,— отмечены большой остротой обобщающей социально-критической мысли.

Здесь стоит обратиться к тем сторонам наследия Г. и Т. Маннов, которые И. Фест готов вовсе сбросить со счета: к их публицистике. Это тем более уместно потому, что в 1986 году в издательстве «Радуга» появились две ценные книги — и в той и в другой есть немало текстов, публикуемых

[1] Joachim Fest. Die unwissenden Magier. Über Thomas und Heinrich Mann. Berlin/West, 1985, S. 11, 27, 96.

на русском языке впервые. Это сборник статей и писем Т. Манна под названием «Художник и общество» (составитель и автор предисловия С. Апт) и сборник статей и автобиографических фрагментов Г. Манна под названием «В защиту культуры» (составитель и автор предисловия Г. Знаменская).

Обе эти книги — включающие, конечно, лишь небольшую часть статей или писем обоих авторов — ясно свидетельствуют, что в творчестве и Генриха и Томаса Маннов публицистика не случайная дань потребностям дня и не приправа к романам: она занимает в их наследии значительное место, даже в чисто количественном смысле, а тем более по существу, по содержанию. В статье или эссе, иногда и в личном письме, возможен — и подчас даже нужен — более прямой разговор о современной политике, чем в романе или повести. Отношение обоих пишущих к коренным проблемам эпохи встает тут не в сложном обличье образов, иллюзий, символов, а дается, так сказать, открытым текстом. Иной раз статьи или письма содержат поучительный автокомментарий к романам и того и другого писателя или к их творчеству в целом.

Сборники заставляют вспомнить о том, что оба брата были во многом очень несхожи — прежде всего по творческим склонностям, по складу таланта. По-разному сложились и их идейные пути — по крайней мере в первые десятилетия деятельности.

Оба выросли в среде зажиточного, родовитого бюргерства и с детства усвоили привычные взгляды своей среды: буржуазно-охранительные, националистические. Генрих Манн «переболел» воинствующим консерватизмом, притом с явной шовинистической окраской,— еще в пору своих литературных дебютов, в возрасте 24 лет. Но уже на рубеже столетий он проявил талант обличителя в романе «Земля обетованная», ярко и открыто антибуржуазном. Еще за несколько лет до первой мировой войны Генрих Манн заявил о себе в печати как убежденный противник кайзеровского режима и официального ура-патриотизма. А в первый год войны написал большой очерк о Золя, где прославил гражданское мужество французского писателя, бросившего вызов клерикальной и военной реакции. Здесь содержатся строки, ставшие для Генриха Манна программными: «У литературы и политики один и тот же объект, одна и та же цель, и, чтобы не выродиться, они должны проникнуть друг в друга. Идея — это действие, совершающееся во имя человека; так пусть же политик будет мыслителем, а мыслитель действует!» В очерке цитируются слова Золя: «Всякий раз, стоит мне углубиться в тот или иной материал, я натыкаюсь на социализм». В этих словах очень точно выражена логика идейного развития самого Генриха Манна.

Это был момент крайнего расхождения между обоими братьями. Томас Манн во время войны поддался напору националистических настроений — они выразились в его книге «Размышления аполитичного» (1918). Понятно, что писателя ни в коей мере не интересовали «немецкое коммерческое господство» и колониальные захваты. Войну, которую вела Германия, он пытался истолковать как борьбу в защиту духовных, культурных устоев германского «авторитарного государства». Уже в те дни, когда книга вышла в свет, Т. Манн начал понемногу пересматривать взгляды, выраженные в ней. Этот пересмотр, медленный и мучительный, продолжался в последующие годы материалы, помещенные в книге «Художник и общество», позволяют яснее увидеть трудный ход эволюции писателя, движение от консервативно-бюргерской «аполитичности» к активному антифашизму. Оглядываясь назад, он признавался: «При последних словах «Размышлений» я стоял уже не там, где стоял при первых словах. Я прошел дальше, как подобает духу живому...» По другому поводу он вспоминает: «Еще консервативные «Размышления аполитичного» вышли в момент катастрофы, в 1918 году. Даже немецким националистам проку от этой книги не было». В дальнейшем, говорит Т. Манн, его взгляд обострился, он задолго до прихода Гитлера к власти понял, какую опасность представляет нацизм для Германии, для Европы и для всего мира: «Мне удалось дополнить свое понимание гуманизма политикой, найти подобающее мне место в борьбе человечества и делать свое дело в этой борьбе». Знакомой американке, предостерегавшей его против чрезмерного увлечения гражданской деятельностью, он отвечал: «Политика? Мучительная и постыдная мировая история? Ну конечно, она давит на грудь, как стопудовая тяжесть; но ведь, с другой стороны, она интересна и увлекательна, и если правота делает человека счастливым, то я должен быть очень счастлив, ибо в своих прогнозах насчет «национал-социализма» я оказался совершенно прав...»

В годы эмиграции Генрих и Томас Манны выступали солидарно как убежденные, страстные противники фашизма. Все же существенные различия оставались — отчасти и в их взглядах, и тем более в их образе жизни, окружении, судьбе. Томас Манн увенчанный Нобелевской премией еще в 1929 году, пользовался прочным признанием в буржуазно-либеральных кругах Западной Европы и США, к его слову прислушивались многие люди, далекие от передовых идей времени. Генрих Манн, который гораздо раньше брата «дополнил свое понимание гуманизма политикой», в годы Веймарской республики завоевал большой авторитет в среде левой интеллигенции. Подобно Золя, он в своих идейных поисках «то и дело натыкался на социализм» — вполне закономерно, что он в первые годы эмиграции, находясь во Франции, вошел в тесный контакт с коммунистами, участвовал вместе с ними в борьбе за антифашистский Народный фронт; его книги и статьи стали в гитлеровской Германии — как дружески-шутливо писал ему брат — «бестселлерами запрещенной литературы». ...В годы второй мировой войны для обоих писателей сложилась новая ситуация. Генрих Манн, вынужденный перебраться в

США, подвергался фактическому бойкоту со стороны хозяев литературного рынка и был почти что обречен на молчание. Томас Манн, занявший почетное место в литературной жизни США, принятый как гость в Белом доме, получил возможность обращаться к немцам по радио: так возник его цикл боевых политических речей — «Немецкие слушатели!» [1].

И Генрих Манн, и Томас Манн обличали фашизм как абсолютное зло, как преступный режим, враждебный человечеству. Оба они призывали соотечественников опомниться, стряхнуть с себя власть обманщиков и злодеев. Но их статьи, как и речи Томаса Манна,— не просто призывы. Они богаты социальным и нравственным содержанием. Это — **размышляющая публицистика.** И примечательно, что оба брата, при всех различиях в складе мышления, не раз приходили, независимо друг от друга, к сходным выводам. Все то, что, по ложным заверениям Феста, оставалось для них «закрытым» — механизм фашистской власти, взаимодействие общественных групп,— проницательно обсуждалось в их работах.

Оба они задумывались над генезисом и природой фашизма. Генрих Манн еще в 1924 году назвал итальянских фашистов «послушными прислужниками капитала». И еще в 1931 году он предсказывал возможность, даже вероятность, торжества фашизма в Германии.

Понятно, что Генрих Манн основательно исследовал, продумывал природу германского империализма и милитаризма еще в ходе работы над романом «Верноподданный», а затем и над романом «Голова» (1925), завершающим томом трилогии «Империя». И в своих выступлениях, и высказываниях о фашизме он уделял большое внимание историческим, социально-экономическим факторам. Томас Манн тоже немало размышлял над этими проблемами и в 20-е годы, и тем более в годы эмиграции. Вместе с тем его особенно тревожили идеологические, психологические предпосылки фашизма. В статье «Культура и политика» (1939) мы находим такое любопытное признание: «Ведь где был бы я сегодня, на чьей бы я находился стороне, если бы мой консерватизм упорно держался за немецкость, которой весь ее дух и вся ее музыка не помешали докатиться до мерзейшего поклонения силе и до угрожающего основам европейской цивилизации варварства!» «Немецкость», националистическое ослепление — один из самых зловредных, самых ядовитых истоков варварства XX века: об этом Т. Манн не уставал напоминать своим читателям — и самому себе.

Не раз он пытался дать, так сказать, комплексное определение фашизма, охватывающее и социальные, и политические, и идеологические его аспекты. «Я, конечно, не выдержал бы экзамена по марксизму, но, хоть я и знаю, что у фашизма есть своя духовная сторона и что в нем надо видеть реакционное движение против рационалистической гуманности XIX века, я не могу не видеть в нем одновременно политически и экономически реакционного движения, контрреволюции чистой воды, попытки всего старого, изжившего себя социально и экономически, подавить народы и их стремление к счастью, помешать всякому социальному прогрессу, окрестив его страшным именем большевизм». Советские читатели могут тут сказать: ведь это же азбука, политграмота, это само собой разумеется! Но стоит заметить, что в сочинении Иоахима Феста, переведенном на пятнадцать языков, Гитлер охарактеризован как «великий революционер». Понятно, что Фесту и его единомышленникам сегодня не может нравиться томас-манновская дефиниция фашизма как «контрреволюции чистейшей воды».

Оба брата Манн ясно понимали — и утверждали,— что опасность фашизма и после краха третьего рейха не устранена окончательно. В статье, написанной в 1946 году и опубликованной впервые на английском языке, Т. Манн напоминал, что зло фашизма отнюдь не чуждо и западным демократиям,— даже в США оно «лихо поднимает голову»... Он писал далее: «То, что мы называем фашизмом и что всегда связано с расовой дискриминацией, насилием над меньшинством и враждебностью к иностранцам, есть злосчастная смесь неграмотной нелитературности и болезненной ненависти, которой почти все равно, против кого она направлена, лишь бы она могла шельмовать, преследовать и, чего доброго, убивать... Расизм, в частности,— это горе-аристократизм, жалкий суррогат нищего духом, который может казаться себе все-таки благородным, когда говорит: пусть я ничто, но я не еврей и не негр. В большом и международном масштабе расизм, как прежде национал-социализм, есть средство оправдания всякого империалистического, агрессивного духа, подавления и порабощения «неполноценных рас». Эту роль играл расизм в Германии, и не подлежит сомнению, что никакой другой роли он никогда не может играть».

Борьба против расовой нетерпимости и прочих атрибутов фашистской идеологии, как и полемика с обывательской аполитичностью, высокомерным эстетством,— приобретала у Томаса Манна особо острые, порой мучительные акценты. Это объяснялось — как верно замечает в предисловии к его книге С. Апт — «не в последнюю очередь беспокойной совестью, сознанием своей причастности к тем идейным заблуждениям, которые в числе прочих причин привели Германию к нацистскому варварству со всеми его последствиями». Именно в таком свете надлежит видеть его статью под странным и шокирующим заголовком «Братец Гитлер». В ней дана зарисовка личности фюрера, убийственная по своей меткости. И попутно сказано: «Братец... Несколько неприятный и позорный братец; он действует на нервы, это довольно-таки мучительное родство». В парадоксальной форме выражена здесь мысль, что фашизм гитлеровского образца, со всеми его преступлениями,— порождение германской истории и вырос при попустительстве со стороны миллионов немцев.

[1] Пять речей из этого цикла были опубликованы в «ИЛ», 1975, № 6; еще три речи вошли в сборник «Художник и общество».

Обостренное, даже несколько болезненное чувство национальной самокритики, свойственное Томасу Манну, сказалось в очень заметной форме в 1943 году, когда у него возникло принципиальное разногласие с Бертольтом Брехтом. После того как на территории Советского Союза был создан Национальный комитет «Свободная Германия», политический и организационный центр немецких антифашистов, у Брехта возникла мысль, что пора создать подобный же центр на территории США. Томас Манн отказался поддержать эту инициативу. В письме к Брехту он постарался мотивировать свою позицию. Да, он был убежден и открыто говорил, что будущим победителям надо будет разрушить «преступную коалицию юнкерства, военщины и тяжелой промышленности, несущую ответственность за две мировые войны», он возлагал надежды на «настоящую очистительную немецкую революцию» — но был против объединения немецких антифашистов, находившихся в США: он считал, что такое объединение будет «расценено лишь как патриотическая попытка защитить Германию от последствий ее чудовищных преступлений». Скажем прямо: в данном вопросе Томас Манн был неправ, а прав был Брехт, а также и Генрих Манн, принявший его сторону.

У Генриха Манна был — по сравнению с его младшим братом — несколько иной взгляд на проблему национальной вины. Он еще в первые годы изгнания установил прочные связи с наиболее революционной частью немецких эмигрантов, и ему было ясно, что далеко не все немцы внутри страны поддались преступному нажиму нацистов. В его публицистике 30-х годов есть вдохновенные страницы, посвященные героизму борцов-подпольщиков. Правда, Г. Манн в иных статьях склонен был переоценивать силы внутригерманской оппозиции Гитлеру. Но он не ошибался, считая, что в его стране имеются — и не могут быть истреблены до конца — резервы антифашистского Сопротивления.

Вместе с тем и Томас Манн в статьях и речах по радио в последний период войны взволнованно-внимательно отмечал то, что ему удавалось узнать о деятельности противников Гитлера внутри страны. А после разгрома рейха он — признавая заслуги Г. Манна как «социального ясновидца и воспитателя» — с мягким юмором констатировал, что его старший брат «умудряется не питать к немцам зла», в отличие от него самого. Оттенки разногласий между братьями, как мы убеждаемся, существовали и сохранялись. Но в решающем и главном они были единомышленниками.

Оба писателя и до войны, и тем более после войны ясно понимали, что фашизм — явление не исключительно немецкое и что Гитлер не пришел бы к власти, не удержался бы так долго у власти, если бы ему не потворствовали западные капиталистические правительства. Еще в 1938 году Томас Манн писал: «Близорукая, слабая и бестолковая политика западноевропейских держав предоставила национал-социалистскому режиму такую полноту власти, которая дает возможность этим людям творить, ничего не боясь и ни с чем не считаясь, решительно все, что потребуют их желания и низменные инстинкты». Обоих братьев в послевоенные годы тревожило, что силы мировой реакции так быстро активизировались и подняли голову. «Те, кто правил миром,— утверждал Генрих Манн в 1949 году,— временно отодвинуты на задний план, но они не утихомирились. Одержимые глупостью и ложными идеями, они продолжают разрабатывать все новые и новые планы, опирающиеся только на власть и богатство, и поэтому — бессмысленные». А Томас Манн за полтора года до смерти, в 1954 году, с глубокой горечью писал в личном письме, что в ФРГ антифашизм «не моден» и даже «подозрителен».

В книге «Художник и общество» впервые публикуется на русском языке работа Т. Манна «Судьба и задача». Это доклад, прочитанный им в Библиотеке конгресса США в октябре 1943 года. Именно там были произнесены слова Т. Манна, впоследствии не раз повторявшиеся им и ставшие крылатыми,— о страхе перед коммунизмом как «главной глупости нашей эпохи» и о том, что трудно представить себе будущее «без коммунистических черт».

Симпатии обоих братьев Манн к Советскому Союзу коренились в их приверженности к русской литературе, которую они с молодых лет высоко ценили. (В личной библиотеке Томаса Манна, хранящейся в его архиве в Цюрихе, и в личной библиотеке Генриха Манна, хранящейся в его архиве в Берлине, ГДР, много книг русских классиков в немецких переводах.) Материалы, обнародованные теперь в сборниках публицистики братьев Манн, позволяют яснее увидеть, что у них обоих русские литературные привязанности не ограничивались отдельными великими именами. Оба они ценили русскую литературу как **национальное целое,** исключительно своеобразное и духовно богатое. Именно в этом смысле русская классика входила в контекст их **политических** размышлений.

Статья Томаса Манна «Русская антология» была задумана как предисловие к специальному выпуску немецкого журнала, посвященному русской художественной прозе. Томас Манн, который еще на исходе первой мировой войны ратовал за мир с Россией, горячо приветствовал положительные сдвиги в советско-германских отношениях. И статью «Русская антология», где даны краткие отзывы о ряде русских писателей, от Пушкина до Алексея Толстого, он закончил словами: «...Россия и Германия должны знать друг друга все лучше и лучше. Они должны рука об руку идти в будущее».

Генрих Манн подвел итог своим многолетним раздумьям над русской литературой в автобиографическом труде «Обзор века», завершенном вскоре после окончания второй мировой войны. В дни напряженных событий на советско-германском фронте он был убежден в победе Советского Союза. В «Страницах из дневника», опубликованных впервые в московской газете «Литература и искусство» в апреле 1942 года, он писал: «Исполнение судеб — в руках Красной Армии». И оказался прав.

Именно в этой связи, видимо, возникли его размышления об интеллектуальных традициях народа, сокрушившего фашизм. «Социалистическая революция могла удаться, результат ее — Советский Союз — может существовать, потому что и то и другое — духовные завоевания. Но духовные битвы протекают в тиши, каков бы ни был неистовый шум, который они в конечном счете производят. Сто лет великой литературы — это русская революция до революции...» Г. Манн вспоминает о том, как немецкие интеллигенты его поколения еще в конце прошлого века «с трепетом» читали русские романы. Книги русских писателей, «от Пушкина до Горького», помогали глубже понять жизнь и человека и «воспринимались как учение». «Русская литература — эта революция, запечатленная в книгах,— навечно вошла в конце прошлого века в мир и сознание западной интеллигенции».

Томас и Генрих Манны относятся к плеяде тех западных деятелей культуры, которые на исходе минувшего столетия зачитывались Толстым и Достоевским, Чеховым и Горьким,— а в первой половине века двадцатого в трудных исканиях находили пути к участию в борьбе за лучшее будущее человечества. К этой плеяде принадлежат и Анатоль Франс, и Ромен Роллан, и Герман Гессе, и Теодор Драйзер, и Бернард Шоу, и еще немало других. Несколько десятилетий назад они были для нас современниками, союзниками. Теперь их книги — достояние истории литературы. В их наследии нетрудно найти то, что спорно или устарело. Но по главной своей сути наследие этих гуманистов XX века остается живым.

Косвенным доказательством актуальности их наследия является, между прочим, и та неуклюжая атака, которую предпринял против братьев Манн биограф Гитлера.

◆

Редакцию посетили...

АЛАНКАРАГЕ ВИКТОР СУРАВИРА, СИРИЛАЛ КОДИКАРА, ПЬЯДАСА ВЕЛИКАННАГЕ (ШРИ-ЛАНКА)

У нас в гостях побывала делегация Фронта народных писателей Республики Шри-Ланка: президент Фронта Аланкараге Виктор Суравира и два члена руководства — Сирилал Кодикара и Пьядаса Великаннаге. Имя А. В. Суравиры знакомо советскому читателю, две его повести переведены на русский язык. Писатель рассказал о деятельности возглавляемой им организации, о современном состоянии шриланкийской литературы. Фронт народных писателей объединяет около 400 литераторов, пишущих на сингальском и тамильском языках, существует это объединение уже восемнадцатый год.

— Задача писателей нашего Фронта,— сказал А. В. Суравира,— создавать произведения, близкие народу, произведения, отражающие чаяния простых людей. Если в 50-е годы цейлонские авторы находились в основном под влиянием литературы Запада, то теперь творчество наших писателей находится в неразрывной связи с проблемами народа и общества. Немалая заслуга в этой трансформации принадлежит Фронту народных писателей. Наибольшей популярностью у читателей сегодняшней Шри-Ланки пользуется художественная проза, причем в последние годы растет интерес к жанрам политического и в особенности исторического романа. Многие современные прозаики Шри-Ланки пытаются через прошлое страны, через ее историю, осмыслить процессы и преобразования, происходящие в современном обществе, провести исторические параллели. Развивается деревенская проза, поэзия.

Гости проявили большой интерес к деятельности «Иностранной литературы» и выразили желание поддерживать постоянные контакты с нашим журналом.

ДАРА КАЛАНЬЯ ПХЕТДАУХЫАНГ КХАМОН (ЛНДР)

Гостьями редакции стали также лаосские литераторы: Дара Каланья, заместитель главного редактора ежемесячника «Ваннасин» («Литература и искусство»), и Пхетдаухыанг Кхамон, заместитель главного редактора журнала «Мэньин лао» («Лаосская женщина»). Помимо журналистской деятельности обе наши гостьи пишут стихи и прозу. Они рассказали нам о литературной жизни своей страны. Современная литература Лаоса зародилась в освобожденных районах в первой половине 70-х годов. Жанр прозы появился сравнительно недавно, и основную творческую силу составляют молодые писатели, которым в ЛНДР уделяется особое внимание. Значительным событием стало проведение в прошлом году двухнедельного семинара, в работе которого приняли участие 60 молодых литераторов. В Лаосе, рассказали гостьи, нет профессиональных поэтов и прозаиков: люди, увлеченные литературным трудом, пишут в свободное от основной работы время и за опубликованные произведения гонорара не получают. В стране, где еще совсем недавно значительная часть населения была неграмотна, сегодня особенной популярностью пользуется поэзия — во всех журналах и газетах непременно существует раздел, где печатают стихи молодых поэтов.

Оба журнала, которые представляли наши гостьи, печатают и произведения зарубежной литературы, в том числе и советской, правда, чаще всего в переводах с европейских и вьетнамского языков. Дара Каланья перевела с английского и французского на лаосский М. Горького, М. Шолохова, Б. Полевого, Н. Островского, Ч. Айтматова. Пхетдаухыанг Кхамон сказала, что большую помощь лаосским журналам оказывает Советский культурный центр во Вьентьяне.

И мы, и наши гости выразили желание поддерживать активные связи между нашими журналами.

Г. ЧХАРТИШВИЛИ

Критика

Философские аспекты

Т. ГРИГОРЬЕВА

ВСТРЕЧА С ГУМБОЛЬДТОМ — ВСТРЕЧА ВРЕМЕН

Мы предлагаем вниманию читателей статью советского востоковеда, доктора филологических наук Т. П. Григорьевой. В ней предпринимается попытка осмыслить явления духовной жизни прошлого под углом зрения насущных проблем современного мира. Здесь и поиски нравственного идеала, и проблема нового мышления.

Редакция надеется на продолжение разговора.

Какую ни возьми из последних работ, заслуживающих внимания, обнаруживается нечто общее. Взгляд перестает скользить по поверхности явлений, задерживается, сосредоточивается на одном, устремляется вглубь. Дробится безликая масса, казавшаяся однородной, и появляются не обломки, а лики — лики прошлого, настоящего, будущего. Как в очерке Вл. Новикова «Ощущение жанра» [1]. Названия главок говорят сами за себя: «Взгляд в прошлое», «Взгляд вокруг», «Взгляд в будущее». Но это один и тот же взгляд, обретающий полноту, а вместе с ней — проницательность. И оттого «рассказ» воспринимается не в виде плоскости, а в виде кристалла, оживают невидимые грани, и он находит свое, незаменимое место в системе прозы. И сама эта система прозы оживает, потому что на нее смотрят новыми глазами, превращаясь из «безжизненной и неисторичной вертикально-иерархической схемы: наверху роман, посередине повесть, внизу — рассказ» в живую триаду, где все отдельное полноценно, жизненно, и оттого становится полноценным и жизненным само целое: «триада «роман-повесть-рассказ» не прямая линия, а скорее треугольник, где каждый жанр взаимодействует с каждым» [2]. И так во всем — бунт против линии — указующего перста, во имя поиска «высшего смысла жизни». Не случайно очерк пронизывается шукшинским вопросом: «Что с нами происходит?» А происходит то, что позволяет увидеть «предельно сконцентрированный на единственно неповторимой жизни героя взгляд неравнодушного и беспощадно честного рассказчика», который «открывает читателю единый смысл времени, судьбы народа, а то и человечества» [3].

Поистине, дробится опоясывающая линия, высвобождая потенции разума. «Может быть, потому и тяготеет роман к дроблению на новеллы, что он хочет искать не одну точку опоры, а сразу несколько. И когда эти точки соединятся, произойдет необходимая нам встреча с истиной» [4]. Видимо, истине отвечает не линия, а «точка» — пересечение разных линий, та точка, которая у Платона воплощает единое, полноту бытия. Возможно, возвращается на новом витке истории ощущение того, что все укоренено в бытии и, стало быть, целостно по своей природе, и это не может не сказаться на самоощущении человека: «Мы должны быть вместе, оставаясь каждый самим собой» — и в этой идее, еще не всеми услышанной и осознанной,— призыв времени.

Не нами провозглашенная мысль — без полноты единичного нет полноты единого — обретает второе дыхание, от каждого требует личной ответственности.

Возможно, исчерпала себя «линия» Мефистофеля:

Я — части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот — порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел — поверхность твердых тел.

(Перевод Б. Пастернака)

Но это присказка, сказка будет впереди. Речь пойдет о соотечественнике Гёте, Вильгельме фон Гумбольдте (1767—1835). Видимо, в начале прошлго века в лучших умах

[1] См. «Новый мир», 1987, № 3, с. 240.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же, с. 254.

мира уже созревала волнующая нас идея, вылившаяся в вопрос: «Что с нами происходит?»

«В начале было Слово»

Это было два года назад. Семинар был посвящен 150-летию со дня смерти Гумбольдта, великого гуманиста, основателя Берлинского университета, друга Гёте и Шиллера [5]. После таких встреч ощущаешь реальность «осевого времени», в котором общаются близкие по духу люди, или начинаешь верить, что все причастное истине рано или поздно становится достоянием людей.

В России чтили Гумбольдта, но думается, что подлинное его открытие только начинается, о чем свидетельствуют и публикация двух книг его сочинений [6], и организация усилиями таких энтузиастов, как профессор Г. В. Рамишвили, гумбольдтовской школы в Тбилиси. Факт сам по себе знаменательный. Но ни преданность делу, ни величайший энтузиазм ученых были бы недостаточны без фактора времени. Каждая эпоха в конечном счете находит в глубинах памяти то, что созвучно ее нуждам, ее нарождающемуся ритму. И не случайно в четвертой четверти XX века выбор падает на таких мыслителей, как Гумбольдт. Вникая в его идеи, лучше понимаешь переживаемый момент истории. Ученый, видевший смысл истории в универсальном развитии индивидуальности, в нации — «духовную форму человечества», «форму индивидуализации человеческого духа», не может не волновать нас.

О Гумбольдте не скажешь определенно, кем он был — лингвистом, историком, филологом, философом. Он интересовался всем, но всем интересовался ради одного. Главной его заботой был человек — расширение его «внутреннего бытия». «Выявление человеческой духовной силы... есть высшая цель всего движения духа, окончательная идея, которая должна явственно вытекать из всемирно-исторического процесса, ибо возвышение или расширение внутреннего бытия — вот то единственное, что отдельная личность, насколько она к этому причастна, вправе считать своим нетленным приобретением, а нация — верным залогом будущего развития новых великих индивидуальностей».

Особенность ученых такого рода — они не замыкаются в пределах одной профессии, ибо знание для них не самоцель, а путь к истине. Своей деятельностью они снимают границы между науками, предоставляя им возможность сообщаться между собой и сообща идти к постижению чего-то главного, ради чего и должна существовать наука. То огромное знание, к которому приобщался ученый в уединении кабинета или в странствиях, нужно было для одной цели: осознать, «как все многообразие языков вообще связано с процессом формирования человеческого рода. Не является ли это обстоятельство случайно сопутствующим жизни народов?.. Или оно является необходимым, ничем другим не заменимым средством формирования мира представлений, ибо к этому, подобно сходящимся лучам, стремятся все языки, и их отношение к миру представлений, являющемуся их общим содержанием, и есть конечная цель наших исследований».

Через осознание индивидуальной природы языков ученый хотел понять законы человеческого существования, движение истории, о чем свидетельствуют названия его трудов: «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» или «Размышления о всемирной истории», «Размышления о движущих причинах всемирной истории», «О духе, присущем человеческому роду».

Разные языки являют единство. Отпочковываясь от праязыка, или праязыков, они идут своим путем, одни умирают, другие приходят им на смену, но каждый выполняет свое назначение в живом организме мирового сообщества. Языки не возникают по воле случая, и даже не оформленные письменно, «скудные и грубые языки» несут в себе «богатый материал для утонченного и многостороннего воспитания».

Культура общечеловечна, но общечеловечной она может быть только в том случае, если индивидуальна, воплощена в неповторимой форме. Нация — духовная хранительница народа, и если она оскудевает, страдают другие народы, ибо сокровищница духа принадлежит всем. Невидимыми протоками соединяются между собой народы, и жизненно важно для их сохранения, чтобы эти протоки не были забиты илом невежества и предрассудков. Посягательство на другие культуры ведет к разрушению собственной, угнетающий становится угнетаемым — таков закон.

Доказывая принципиальное равенство языков, Гумбольдт говорил и об их неизбежном различии. У каждого народа в силу его географического положения и исторического опыта складывается свой угол зрения на мир, который выражается в специфике языковой структуры: «Разные языки — это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения его». Значит, если не принять во внимание чей-то угол зрения, картина не будет полной, если какой-то язык неестественным образом выпадает, то нарушается жизнедеятельность целого. Качественное различие языков, таким образом, обусловлено *законом целого*.

Именно язык дает возможность понять наиболее устойчивые, константные черты народа. Если литература в большей степени связана с преходящим историческим моментом, то язык воплощает историческую судьбу народа, его празадачу в ста-

---

[5] Я имею в виду ежегодный семинар, организуемый Главной редакционной коллегией по художественному переводу и литературным взаимосвязям при СП Грузии, под председательством О. Ф. Нодия. Не могу не признаться, что встреча с грузинской интеллигенцией — истинный праздник для души.

[6] Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. Под редакцией и с предисловием д. ф. н., проф. Г. В. Рамишвили. М., 1984.

Вильгельм фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. Составление, общая редакция и вступительные статьи д. ф. н., проф. А. В. Гулыги и д. ф. н., проф. Г. В. Рамишвили. М., 1985.

новлении человеческом. И наверное, когда-то научатся понимать грамматику языка как грамматику духа народа и пережитой им истории. По крайней мере, Гумбольдт ставит эту задачу, привлекая внимание к «внутренней форме», «внутренней силе» языка, считая достоинством того или иного языка «не то, что способен выразить данный язык, а то, на что этот язык вдохновляет и к чему побуждает благодаря собственной внутренней силе».

Эта внутренняя сила формирует духовность, определяет уровень человеческой нравственности. Народ, язык которого утратил по той или иной причине внутреннюю силу, наносит ущерб мировому сообществу, в котором будет не хватать какого-то невосполнимого голоса. Поэтому Гумбольдт и придает особое значение внутренней силе, духу языка, без которого не может состояться ни один народ. Эта внутренняя сила может быть реализована при правильном отношении между отдельными частями целого (между отдельными народами и отдельными людьми) — при отношении взаимопритяжения, а не взаимоотталкивания, взаимоуважения, а не подавления одного другим. Но тогда сознание должно преодолеть механический взгляд на целое как сумму частей, на часть — как несущественное, более второстепенное, чем целое.

Гумбольдт говорил о принципиальном равенстве людей и народов в то время, когда господствовал расизм и европоцентризм. В строгом смысле учение Гумбольдта не системное знание, оно и не претендует быть системой. Это живое знание, имеющее непосредственное отношение к человеческому опыту, к судьбам людей и народов. Потому оно и пришлось ко времени в 80-х годах XX века, когда назрела необходимость в глобальной перестройке сознания во имя сохранения целого, самого гена жизни. Нравственное содержание его учения — «лингвистический гуманизм» (Г. В. Рамишвили) — определило метод, форму, стиль его трудов. Взгляды Гумбольдта можно рассматривать и как следствие благоприятной среды, высокой активизации мысли в Германии XVIII века, и как некое отклонение от классической немецкой философии [7]. Говоря словами современного французского философа Ж. Кильена, на которые обращает внимание Г. В. Рамишвили: «Различны пути двух современников послекантовской эпохи — Гегеля и Гумбольдта... один «из которых доводит до своего завершения греческий рационализм», а второй (Гумбольдт) «в самый разгар триумфа первого пробует выявить будущий статус разума». По Кильену, решение Гумбольдта «очень оригинально», и оно является «уникальным в контексте послекантовской философии».

[7] По свидетельству А. В. Гулыги, «Гумбольдт преодолевал кантианство, утверждал единство природы и человека, физического и духовного мира. «Нельзя отрицать, что физическая природа составляет одно великое целое с нравственной, те и другие явления подчинены одним и тем же законам» (А. В. Гулыга. Немецкая классическая философия. М., 1986, с. 157).

Новое качество мышления — закон диалектики

Гумбольдт действительно являет иной «статус разума», что делает его созвучным людям XX века. Кстати, может возникнуть вопрос, и закономерный: не лучше ли читать самого Гумбольдта вместе с превосходно написанными сопроводительными статьями? Но круг интересов Гумбольдта необъятен, мне же хотелось бы выделить один момент — проблему индивидуального и целого у Гумбольдта. Стоит ли повторять, что это одна из животрепещущих проблем нашего времени, когда проверке подвергается само сознание, сама способность человека, как вида, к выживанию. Иначе говоря, то, что во взглядах Гумбольдта близко тому направлению ума, которое мы называем «новым мышлением» и от которого, по мнению наиболее проницательных умов, зависит жизнь на Земле.

Вопрос этот действительно не нов. В начале века В. И. Вернадский выражал беспокойство по поводу методологической заторможенности науки: «Основное представление, на котором построена (спекулятивная) философия, абсолютная непреложность разума и реальная его неизменность не отвечают действительности. Мы столкнулись реально в научной работе с несовершенством и сложностью научного аппарата homo sapiens. Homo sapiens не есть завершение создания, он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее... В тех затруднениях понимания реальности, которые мы переживаем, мы имеем дело не с кризисом науки, как думают некоторые, а с медленно и с затруднениями идущим улучшением нашей научной основной методики» [8].

Мысль со времен Аристотеля вынуждена была абстрагироваться — иначе не развилась бы наука и на ее основе современная цивилизация. Но абстрактная мысль чревата раздвоением мира, неизбежно утрачивает связь с бытием, приходит в противоречие с целостным подходом. В поисках преодоления этого противоречия наука, оснащенная знанием, возвращается к целостному видению.

Собственно, совершенно нового мышления в принципе быть не может: «из ничего ничто не возникает» (ex nihilo nihil fit). Прошлое встроено в наше сознание (и потому от прошлого нет избавления даже тем, кто хотел бы этого). Научная, а еще раньше поэтическая мысль сколь существует, столько и трудится над созиданием этого «нового мышления», и в этом залог его торжества. Дело, стало быть, не в том, чтобы изобретать нечто новое (не дай бог, упустим время!), а в том, чтобы осознать имеющееся. Новое мышление есть, в сущности, новое качество мышления, или новый уровень сознания,— не потому, что «всякое новое

[8] В. И. Вернадский. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. Книга вторая. М., 1977, с. 55.

есть хорошо забытое старое», а потому, что это мышление действительно в чем-то будет принципиально новым, переструктурируется, то есть изменится метод мышления — в силу действия законов диалектики: количество накопленного знания перейдет в новое качество мышления.

Если раньше это «новое мышление», или целостное видение, было уделом отдельных личностей, которых мы называем мудрецами, провидцами, гениями, то теперь этот способ мышления становится фактом сознания, то есть по сути доступен той части человечества, которая приобщена к знанию. Собственно, уже и наука, не говоря о литературе и искусстве, заявляет о необходимости адекватного метода отражения действительности, о необходимости преодолеть односторонность, «одномерное мышление», как несоответствующее многомерности мира. Усложняются материя и методы ее постижения. Начинают осознавать и то важное обстоятельство, что это мышление доступно не «человеку разумному», но «человеку разумному и гуманному» (homo sapiens und humanitas).

Это продиктовано самой природой. Неоспоримым аргументом в пользу нового мышления является, по-моему, тот факт, что человеческий мозг пока задействован на незначительную долю (может быть, этим и объясняется абсурдность мировых ситуаций). Природа же отбрасывает то, что ненужно для ее саморазвития. Или говоря словами К. Э. Циолковского: «Зачем существует мир... к каким высотам идет через человека — наверняка через человека!.. раз в природе существует мозговой аппарат человека, а для этого природе понадобились миллиарды лет, значит, он природе необходим... материя через посредство человека не только восходит на высший уровень своего развития, но и начинает мало-помалу познавать самое себя!»

Значит, сама природа предусмотрела иное состояние сознания, его расширение, и не считаться с этим человек не может, то есть это все равно произойдет, если человек успеет измениться, если не успеет, природа будет искать другой источник разума. Приходится решать: или «научиться думать по-новому», или освободить землю для других, более разумных существ. И никогда так остро не стоял этот вопрос. Поэтому и к прошлому изменилось отношение, начинают извлекать уроки из истории Востока и Запада, от негативизма переходят к творческому переосмыслению прошлого, и это обнадеживает.

Условие единства — целостность отдельного (индивидуальное и есть единое)

Чему же нас учит Гумбольдт? «Мною движет глубокое чувство того, что все рождающееся в душе, будучи истечением единой силы, составляет одно большое целое и что все единичное, словно овеянное тою же силой, должно нести на себе признаки своей связи с этим целым». В этом суть его взглядов — в предощущении всеобщей целостности: целое — не слагаемое, не сумма частей, а присущее, вездесущее, не внешнее, а внутреннее свойство вещей. (Сколь ни дробим вещь, осколки сохраняют образ целого, и это целое может быть воссоздано.) Это относится и к человеку. Гумбольдту близка мысль Протагора: «Человек — мера всех вещей».

«Мы должны найти правильное понятие Единства, в котором снимается всякая противоположность единства и множества. Назвать такое единство Богом я считаю неразумным, так как этим его напрасно удаляют от себя. Я с большей охотой придерживаюсь того, что ближе всего и кажется наиболее вероятным. Таким Единством является Человечество, и Человечество не что иное, как собственное Я. Я и Ты, как постоянно утверждает Якоби,— исключительно одно и то же, так же как Я и Он, Я и Она и все люди...»

На пересечении единого и единичного лежат все разгадки. Целостность общего обусловлена целостностью отдельного, *отдельное сознается как мера всеобщего.* Нет единого вне единичного, или единичное и есть единое. Значит, путь к единству — в выявлении целостности, полноты отдельного; человечество реализуется через человека. Значит, разрушая единичное, мы неизбежно разрушаем единое. Когда это будет осмыслено, родится экологическое сознание, ощущение всеобщности, потребность бережного отношения к человеку и к тому, что его окружает. Но такое отношение и предполагает взгляд на отдельное не как на часть, необязательное, заменимое звено в цепи явлений, а как на само по себе сущее, микромир.

Согласно Гумбольдту: «В индивидуальности заключена тайна всего бытия». В этом — пафос его размышлений: «...свобода с большей силой проявляется в отдельном человеке, а природная необходимость — с большей силой в массах и в человеческом роде, и для того, чтобы известным образом определить царство первой, необходимо прежде всего развить понятие индивидуальности». То есть через полное развитие, раскрытие индивидуальности достигается царство свободы, всякая иная свобода неистинна, как, положим, неистинна свобода дикарей, хотя им и может казаться, что они свободны. Если целостность, гармония отдельного есть мера целостности и гармонии всеобщего, к которому извечно устремлено человечество, есть присущность, то есть потенция каждого, то и выявляется она каждый раз неповторимым, индивидуальным образом. (Все остальное — соответствующий уровень социального развития — служит условием для этого раскрытия индивидуального, как, положим, почва для зерна: если зерно попадет на каменистую почву, оно не прорастет, но оно не прорастет и на прекрасной почве, если окажется загубленным.)

Понятие «индивидуальности» Гумбольдт относил и к отдельным людям, и к отдельным нациям. Но Гумбольдт не был бы Гумбольдтом, если бы не признавал, что закон этот проявляет себя по-разному в разное время. Свойство доминанты — ее смещаемость. «Так же обстоит дело с индивидуальностью нации: в ряде исторических периодов это различается в них с большей ясностью, чем в отдельных лю-

дях, так как в определенные эпохи и при известных обстоятельствах человек развивается как бы в массе». Однако продолжает действовать духовный принцип индивидуальности, «подобно тому как самое слабое растение благодаря своему органическому развитию разрушает стену, выдерживавшую воздействие веков. Наряду с тем направлением, которое народы и отдельные индивиды придают развитию человеческого рода своими делами, они оставляют последующим поколениям формы духовной индивидуальности, оказывающие более длительное и интенсивное воздействие, чем события и происшествия».

Истинное и ложное (свет и тьма)

Индивидуальность укоренена в бытии, в ней — первичный закон существования и разгадка бытия, но есть ее противоположность, обратная проекция — вторичный закон существования,— кажущаяся индивидуальность, индивидуализм, который не укоренен в бытии. Истине сопутствует псевдоистина, ложное выдает себя за правду, подражая ей (как Сатана в дантовом «Аде» принимает три лика, уподобляясь святой троице, но их цвет воплощает не любовь, а злобу. не всемогущество, а бездушие, не всезнание а невежество). Ложное во веки веков прикидывается истинным — так устроен мир,— и хотя (с точки зрения мудрецов Востока и Запада) ложное не субстанционально и потому нереально, оно творит реальные действия. И потому Гумбольдт видит конечную цель человеческого развития в снятии того, что противоположно индивидуальности: «Субъективность отдельного индивида снимается, смягчается и расширяется субъективностью народа, субъективность народа — предшествующими и нынешними поколениями, а субъективность этих последних — субъективностью человечества вообще».

Что значит — «субъективность индивида снимается субъективностью народа»? Преодолевается эгоцентризм, этот источник мирового зла, псевдоиндивидуальность. Эгоцентрик, теряя связь с миром, ориентируясь только на себя, на свое «я», неизбежно приходит в противоречие с законом целого, утрачивая же ощущение целостности, своей причастности миру, отчуждаясь от него, начинает саморазрушаться изнутри. Это, собственно, тема всей литературы XX века, озабоченной его болями.

Эгоцентризм снимается преданностью своему народу. Истинный человек не может не чувствовать себя «частью» своего народа, что он составляет с ним целое и что это целое внутри него, и, стало быть, саморазрушаясь, он невольно разрушает и целое, которым может дорожить превыше всего. Он индивидуален и национален, то есть только тогда и индивидуален, когда национален, и только тогда национален, когда индивидуален.

Что значит — субъективность народа снимается субъективностью человечества? Значит, правильные отношения внутри целого, когда к отдельному относятся как к носителю этого целого. Истинная нация заслуживает уважение и доверие других народов, когда ощущает себя частью человечества, свою причастность остальному миру. Но ощущать свою причастность остальному миру она может, если сохраняет свою индивидуальность.

И эта истина выглядит парадоксальной: истинным интернационалистом может быть лишь патриот своего народа; не оценивший своего прошлого, не может оценить и прошлого других.

Вот что говорил об индивидуальной неповторимости наций Вивекананда в нелегкое для Индии время, когда решалась ее судьба — сохранится или не сохранится ее «внутренняя сила»: «У всякой нации, как и у каждого отдельного человека, есть в ее жизни одна-единственная тема, которая служит центром ее существования, основная нота, вокруг которой группируются все остальные ноты гармонии. Если она ее отбросит, если она отбросит принцип своей собственной жизненности, направление, переданное ей веками,— она, эта нация, умирает» [9]. И в той же лекции, прочитанной в Мадрасе, Вивекананда продолжал: «То, чего сегодня ждет весь мир и, быть может, низшие классы больше, чем высшие, невежественные больше, чем аристократия ума, угнетенные больше, чем угнетатели,— это грандиозная идея духовного Единства Вселенной... единственная и бесконечная сущность, которая существует в вас, во мне, во всех... идея, что вы и я не только братья, но вы и я — одно» [10]. И как это перекликается со словами Гумбольдта: «Таким Единством является Человечество, и Человечество не что иное, как собственное Я. Я и Ты...» Притом это не «абсолютное Я» Фихте: «абсолютное Я» Фихте всегда было для меня неприемлемо и неясно, так как оно, снимая действительное Я, не что иное, как гипостазирование химерического». Здесь комментарии, по-моему, излишни.

И чувство индивидуальности нации противоположно чувству «субъективности народа», как истинное чувство, во благо других, противоположно неистинному, во благо себя. Нация, не преодолевшая субъективность, националистические комплексы, приходит к саморазрушению (как и эгоцентрик, и по той же причине: приходит в противоречие с законом целого). Саморазрушается всякая односторонность: гибнет и человек, не преодолевший свою «субъективность», и нация, увлекаемая чувством национальной исключительности, национального превосходства, разрушается изнутри. Нарушив закон целого, она этим целым отторгается как инородное тело.

Гумбольдт идет дальше, говоря о *субъективности человечества*. И человечество в целом не может не пострадать, если не снимет своей субъективности, односторонности по отношению к космосу, не примет во внимание, что и оно не первично и не конечно, не само по себе, а есть часть другого целого, более высокого порядка, и не потому, что оно входит в это целое,

[9] Цит. по: Ромен Роллан. Собр. соч., т. 19. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. Л., 1936, с. 278.

[10] Там же, с. 279.

скажем, в галактику, в Солнечную систему, а потому, что оно подчиняется тем же законам в бесконечной череде явлений, где одно служит опорой и условием другого, если целостно. Если целостно, становится единым со всем, или, говоря словами буддийских мудрецов, в зерне заключена Вселенная, а по словам неоплатоников — точка есть символ единства. Все едино по структуре, различается по масштабу и ритму, но все, как говорил А. Л. Чижевский, в нашей Солнечной системе пульсирует в ритме Солнца. Человек в процессе своего утробного развития проходит все стадии эволюции, и «мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу» (А. И. Герцен). Ощущение всеединства доступно тому, кто преодолевает свою «субъективность»,— сознанию, которое называют «расширенным», или целостным, «космическим мышлением», и которое позволило великим ученым и художникам делать открытия всечеловеческого масштаба, а писателям XX века выражать свою боль и страх за планету с небывалой силой, ибо раздирается тело Земли на полигонах, и не может не разрываться сердце человека, пульсирующее в одном ритме с токами Земли.

И не случайно писатели, обеспокоенные тем, что происходит за «фасадом третьего мира», воспроизводят звуки древних гимнов:

Бесчисленные немые угрюмые предки
спят беспокойным сном в пропитанной кровью земле.
Ступай по ней осторожно, осторожнее, чем ягуар.
Лунной ночью прильни ухом к почве —
Узнаешь о неисчислимых тайных страданиях.
А если услышишь звуки веселья, то это лишь эхо смеха,
которым смеются, чтобы не умереть.
Ступай осторожно, ибо каждый дюйм почвы — заброшенная и забытая могила предка[11].

Но вернемся к Гумбольдту и к мысли о том, что единое сохраняется лишь в индивидуальной форме, и, стало быть, разрушая индивидуальное, неизбежно разрушаем единое, пестуя индивидуальное, сохраняем единство, спасаем жизнь от распада. Истинная индивидуальность целостна, включена в целое и, естественно, им озабочена. (Как говорил Конфуций: «Истинный человек не групповой, но всеобщ (озабочен состоянием всего мира — *Т. Г.*), а мелкий человек групповой, но не всеобщ (то есть «субъективен», озабочен интересами своей группы ради собственной выгоды, но, не заботясь о целом, отпадая от него, плохо кончает.— *Т. Г.*)» [12].

Наконец, сама целостная структура, тип связи, позволяющий отдельному быть самим собой, реализовать свою природу, избавляет от стремления существовать за счет другого в принципе, то есть исчезает необходимость отнимать у другого, чтобы иметь самому, сам стимул угнетения. «Благотворным следствием этого является полная согласованность одного элемента с другим, так что ни один из них, так сказать, не затеняет другого». При этом типе сознания невозможно отношение господства-подчинения, которое возможно при той логике, которая часть выдает за целое или целое сводит к части[13]. Причину расцвета греческой культуры, греческой семьи народов, Гумбольдт видел в том, что «ни одна из народностей не угнетала другую, но все процветали, одинаково следуя своим устремлениям». Целостное видение и открыло Гумбольдту нераздельность единого и единичного: «Общегреческое единство сплачивало всех, накладывая одновременно печать своеобразия на проявления деятельности каждой народности, начиная от государственного устройства и кончая ладом, в котором играл флейтист... Так складывалось греческое мирочувствие, во всем нацеленное на то, чтобы прийти к вершинам развития путем наиболее яркой индивидуализации».

Все подвержено единым законам

Вернемся к сфере языка, чтобы убедиться в универсальности принципов Гумбольдта: «Как непосредственная эманация органической сущности в ее чувственной и духовной значимости язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном и где благодаря всепроникающей силе образуется целое». Гумбольдт мыслит сообразно законам естественного мира и потому в его рассуждениях нет двойственности. И в языке он видит действие всеобщих законов. «Язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым целым... уже в простом предложении, поскольку оно основано на грамматической форме, видно ее завершенное единство». На первый взгляд некое смещение, или непривычные пространственно-временные представления, на самом деле это и есть то целостное видение, которое присутствует в человеке как инстинкт самосохранения и которое неизбежно развивается или следует из диалектического мышления.

---

[11] Иан Керью. Деревня Рим-Агрикола: фасад третьего мира и скрытые за ним пейзажи «ИЛ» 1987 № 3, с. 105.

[12] Могу привести живые примеры. Иные журналисты, собираясь на форум мира, самим своим образом мысли, поведения, своей групповой логикой провоцируют на вражду, якобы защищая государство, приносят в жертву его истинные интересы, то есть в угоду малому жертвуют большим. Или пишут о тех странах, в которых работают, с недоброжелательством и высокомерием, за которыми чаще всего скрывается плохое знание страны, а в результате — связи между народами не укрепляются, а разрываются. Не имеющий собственного достоинства не считается с достоинством других.

[13] Целостное мироощущение неизбежно сопряжено с идеей глубинного равенства и справедливости. Иначе и быть не может, если все по природе своей едино и целостно. Говоря словами японского писателя, Нобелевского лауреата Ясунари Кавабата: «Если у вселенной одно сердце, значит, каждое сердце — вселенная». Но это в потенции; достигается подобное теми, кто освобождается от раздвоенности и субъективности.

Язык присутствует в мыслящем человеке как «инстинкт разума», и в этом смысле он не складывается постепенно, как привыкли думать в соответствии с идеей поступательного движения, прогресса, а рождается сразу, как раскрывается цветок или распускается почка. То есть, целостное видение многомерно, схватывает не только линейные связи, по горизонтали, но и точечные, по вертикали,— взгляд как бы сверху, с высоты, что позволяет уловить одновременность этих связей, не только их последовательный, но и одновременный характер, когда в одном присутствует все: в миге — вечность, в точке — полнота бытия. Не «то или это», или — «сначала то, потом это», а то и это одновременно (как это происходит во всех природных явлениях и может происходить в сознании как высшем их проявлении). «Это есть ты» (tat tvam asi) — сквозная мысль упанишад, а говоря словами чаньского (япон. дзэнского) поэта Сэн-цаня (VII век.): «Нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего — все в одном, одно во всем». Подобный тип связи меняет самоощущение, статус отдельного: оно связано не с рядом стоящим, предыдущим или последующим, а как бы выходит за пределы времени и пространства, приобщаясь к целому через свою собственную природу. Центр везде, в каждой точке. В языке заложена модель мира, в одном предложении присутствует весь язык (оно и не могло бы появиться, если б уже не было языка). Все имманентное природе не исчезает, лишь отдаляется, продолжая присутствовать в каждом моменте жизни и время от времени дает о себе знать; прошлое живет в настоящем. Мир, раз «сотворенный», творится заново каждый миг. Мир, когда-то возникший из точки, точечен в своей основе, присутствует в каждой точке (сингулярен, говорят ученые), и в этом основа его единства.

Гумбольдт не раз возвращается к мысли: «Каким бы естественным ни казалось предположение о постепенном образовании языков, они могли возникнуть лишь сразу. Человек является человеком только благодаря языку, а для того чтобы создать язык, он уже должен быть человеком». И это не мешает, а наоборот, дает возможность Гумбольдту воспринимать язык не как застывшее, раз навсегда данное образование, готовый продукт — «эргон», а как поле деятельности человеческого духа, как «энергией», процесс духовного творчества, «формирующий орган мысли», что накладывает на язык высочайшую ответственность за состояние человеческого духа. Заложенный в человеке, как «интеллектуальный инстинкт разума», язык предназначен вывести человека в царство разума (ноосферу), ибо язык не только отражает мир, но и творит его, выполняет мыслетворящую функцию. Действительное назначение языка, по Гумбольдту,— гуманизировать мир. Но это станет возможным тогда, когда язык перейдет с уровня функции (обслуживания человека) на уровень сущности (его возвышения, очеловечивания), обретет полноту, свою индивидуальную природу.

Творящее слово

Дихотомическое сознание разделило мысль и слово. (Не потому ли в наше время мир как бы отпал от логоса?) Если мысль и язык связаны не только в прямом, но и в обратном порядке, то плохой язык, плохая речь неизбежно разрушают мышление, основу человеческого существования. Между словом и миром, согласно Гумбольдту, существует «энергетическая связь», то есть правильно расставленные, живые слова служат источником энергии, необходимой для жизни. Если нарушаются правильные отношения, слова умирают и, как все омертвевшее, пагубно действуют на все живое. Слова могут не только рождать, но и убивать мысль, засорять сознание. Слов должно быть ровно столько, сколько нужно для мысли. Изобилие слов, не обремененных мыслью, действует мучительно на человека, слово выполняет функцию, противоположную изначальной: творит не гармонию, а хаос, увеличивает энтропию.

Беда времени — беда слова — его выхолощенность, вместо живого слова — знак, абстракция, энергетически, эмоционально опустошенная,— приводит к одномерному, усеченному сознанию. И это, по сути, непреодоленная «субъективность», следствие распада сущности и явления, формы слова и его духа, что проявилось в односторонности формальных методов, противоречащих целостному подходу. Недаром говорят о кризисе духа как болезни века, о возможности которой предупреждал уже Гумбольдт: «Еще в 1806 году, считая такое определение языка и понимание слова как знака до некоторой степени правильным,— отмечает Г. В. Рамишвили, — Гумбольдт предостерегал: становясь «господствующим», такое понимание может превратиться в «крайне ложное представление» о языке, «убивающее» в нем все «живое» и «духовное».

Действует губительно на психику и псевдоязык, штампованные фразы, массовое чтиво, за которыми проглядывает глубокое безразличие к человеку, не только потому, что они лишают его вкуса и возможности думать, но потому главным образом, что, нарушая естественные связи между словом и мыслью, ввергают мир в неупорядоченное состояние. Почему не волнуют, не остаются в художественном активе порой очень острые, злободневные вещи? Не потому ли, что только по видимости злободневны, не выявляют истинные причины, связь времен? Мысль рождается не идеями, а живым словом. Живое же слово укоренено в бытии. Оно индивидуально и всеобще сопряжено с минувшими и грядущими веками. Отсюда бунт против лжелитературы, против бездарности, серости как причины распада всеобщих связей, порождающих хаос в душе и наяву.

И этот бунт есть свидетельство начавшегося возрождения, возвращения от знака к сущности, преодоления бездуховности, формализма в любом его проявлении, инструментализма, всеобщей объективации, есть свидетельство нарождающегося от-

ношения ко всему — и к языку, и к человеку — не как к объекту, средству, а как к цели, к целому. Значит, забота о чистоте языка, о духовности культуры имеет высшее назначение, ибо там, где гибнет язык, гибнет и человек, там, где гибнет язык, невозможно научиться думать по-новому и спасти жизнь на земле. При целостном мышлении разным языкам не тесно, каждый выполняет свое назначение в общем процессе очеловечивания мира, в «акте превращения мира в мысли». Не разница исчезает — без нее немыслимо единство,— а непонимание, препятствующее целому. И словам будет не тесно, если они обретут свою природу, свою полноту, тогда слово и сможет преобразить мир.

Идеи подобного рода трудновыводимы логическим путем, здесь мало быть логиком, здесь нужно быть нравственной личностью, озабоченной «будущим статусом разума». «Объективная истина проистекает от полноты сил субъективно-индивидуального». Как только индивидуальное достигает завершения, снимается односторонность, все приходит в согласие, человек постигает истину. Но для того, чтобы «сделать очевидной внутреннюю истину форм, затемненную в реальном явлении», сам метод познания должен быть целостным. Когда «некое живое дыхание овевает целое, в нем открывается внутренний характер — измерено и описано то и другое быть не может».

Истина — есть целое

Истина не исчисляется, ибо истина есть целое, а целое, как известно, недоступно дискурсивному разуму. Если центр везде, в каждой точке (притом это не та аксиоматическая точка, которая служит началом линии, скажем, рассуждений, а точка как единое), то неизбежен взгляд сверху, как бы из космоса (правда, не обязательно при этом находиться в космосе — Циолковский, не выходя из дома, обладал этим видением[14]; хотя выход в космос, несомненно, сыграл свою роль в становлении нового мышления, которое не случайно называют «космическим»). Там, где ставится задача познать связи в их совокупности, голографическую структуру или — мир в его многомерности, там требуется и соответствующий метод мышления. Говоря словами Гумбольдта: «Именно там, где достигается вершина и глубина исследования, прекращается механическое и логическое действие рассудка, наиболее легко отделимого от каждого своеобразия, и наступает процесс внутреннего восприятия и творчества». То есть глубина познания предполагает подключение интуиции, схватывающей явление в его целостности. Открытия интуиции претворяет в жизнь логика. Так, собственно, было всегда, переносится лишь акцент с одного на другое, меняется доминанта, которая не может не меняться в процессе познания мира.

Попробую привести пример, что дает целостный подход как методологическая основа при написании, например, истории национальных литератур. (Вопрос этот актуален, если учесть, что пишется многотомная «История всемирной литературы» и истории литератур Востока.) Видимо, дает возможность наилучшим образом показать индивидуальную природу литератур и их единство на уровне мировой, не уподобляя одно другому, не нивелируя различия, иначе говоря, позволяет перейти с уровня множественности на уровень единства, со стадии эмпирического рассмотрения, когда исследование сводится главным образом к описанию фактов литературы, на стадию их теоретического осмысления. А теория, как известно, занимается или призвана заниматься не фактами ради фактов, а ищет закон, которому эти факты подчиняются. Я не говорю, что такого подхода наша практика не знала, но что греха таить, есть и односторонность, и стремление выдавать часть за целое, рассматривать явление литературы изолированно, вне связей, обусловивших его природу, и пристрастие к факту.

Это не значит, что при целостном подходе допустимо пренебрежительное отношение к фактам. Как раз наоборот. К факту устанавливается действительно ответственное, уважительное отношение, как, скажем, к явлению, закономерно возникшему в процессе эволюции художественного сознания, носителю определенного типа связей во времени и пространстве — эстетическому, историческому, социально-психологическому феномену, который позволяет судить не только о законах поэтики, но и о структуре художественного сознания в целом. Как в одной капле воды отражается океан, в одном предложении, по Гумбольдту,— характер языка, так и в одном факте литературы при правильном, глубоком его прочтении проглядывает целое. Уже тем самым определится место одной литературы в сонме других литератур, составляющих уже на более высоком уровне мировую общность.

И об этом пишет Гумбольдт в статье «О задаче историка»: «Следовательно, надо идти одновременно двумя путями: искать историческую истину, беспристрастно, критически изучать то, что происходило, и затем соединять обнаруженное, интуитивно постигая то, что этим средствам недоступно. Тот, кто пойдет только первым путем, упустит сущность самой истины; тот же, кто, пренебрегая первым, изберет второй путь, окажется перед опасностью исказить истину в ее деталях».

Действительно, верность факту, по закону парадокса, может привести к его искажению, если нет ощущения целого. Другое дело, что ощущение целого дается кропотливой работой над фактами. «*Привнести* форму в лабиринт событий всемирной истории... форму, в которой только и проявляется подлинная связь событий, он (ис-

---

[14] Не могу устоять от искушения привести слова Лао-Цзы: «Не выходя со двора, можно узнать Поднебесную, не выглядывая в окно, увидеть Небесное дао (путь). Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому мудрец не ходит, а знает, не смотрит а называет, не действует, а достигает» («Даодэцзин», 47. Соч. китайской классики, т. 6, Токио, 1968, с. 262).

торик.— *Т. Г.*) сможет только в том случае, если *выведет* эту форму из самих событий».

Есть и еще условие правильного понимания — истина не открывается равнодушному уму (и уже поэтому никакая машина не заменит человека), но открывается нравственному человеку, озабоченному последствиями своего дела. «Все сводится единственно к этой ассимиляции исследующей силы и исследуемого предмета. Чем глубже историк силою своего гения и знаний понимает людей и их деяния или чем большая человечность придана ему природой и обстоятельствами и чем четче проступает эта его человечность, тем полнее он выполнит поставленную перед ним задачу. Это доказывают хроники».

Свободный ум гуманен

Природа разумна, иначе не породила бы, видимо, сознание и не сделала бы так, что истинно свободный ум всегда гуманен, он охраняет и связует одно с другим. О зависимости наблюдаемого от наблюдателя — наблюдатель становится частью наблюдаемого и ответствен за него в человеческом плане — физики (Н. Бор, Эйнштейн) заговорили более полувека назад. И философы задумались о вине молчания, когда настало время говорить, говорить о том, что одного нет без другого, и если «разумное существо» забудет стать «разумным и гуманным», то кончится его время.

Итак, целое открывается через глубинное знание природы отдельного, не извне, а изнутри. К отдельному складывается отношение как к уменьшенной модели целого, микромиру, и в этом смысле — символу. Осознание отдельного как меры всеобщего есть следствие глубинного знания и способности к отзывчивости, состраданию. Собственно, подлинное понимание любого текста культуры предполагает единство с ним. Иначе говоря, нельзя понять чужую культуру, не любя народ, ее созидавший, не зная грамматики чувств, языка человеческих отношений, что, естественно, дается действительным знанием его истории. *Можно обо всем сказать через одно, но нельзя об одном сказать через все.* (Наверное, это имел в виду Гумбольдт, говоря: «В индивидуальности заключена тайна всего бытия») И потому описательный подход (который был необходим и неизбежен для своего времени, времени накопления информации) теперь недостаточен.

Факт оказывается «вещью в себе», коли не выявлены его связи, и потому не может считаться достоверным, если не дает представления о культурном поле, его породившем. На эмпирическом уровне науки, когда к факту относились как к истине в последней инстанции, не принимая во внимание его невидимые связи, выглядело естественным обращение к готовым схемам, скажем, европейских литератур, фазы которых долгое время служили эталоном для исследователей восточных литератур. Но что получалось? Факт восточной литературы, изъятый из системы органических связей, из собственного культурного поля, закладывался в другую программу и неизбежно утрачивал свою истинную природу, выглядел не полнокровным носителем своей культуры, а пасынком культуры другого народа, где он, этот факт литературы, чувствовал себя неуютно и не мог найти достойного себе применения (то есть использовался функционально, призван был подтвердить абсолютный характер схемы, которая вовсе не являлась абсолютной).

Нетрудно догадаться, что речь идет о европоцентристском подходе, о тенденции подгонять явления восточных литератур к представлениям, выработанным на основе художественного опыта европейских народов. И это объясняется тем уровнем науки (или отсутствием последнего), когда целое понимали как сумму частей (хотя со времен милетской школы известно, что это не так) или как единообразие, тождество, допускающее некоторые нюансы, не принципиальные расхождения — некую специфику колорита. Так или иначе выдвигался количественный, а не качественный критерий целостности, который в силу своей односторонности искажал и обеднял мировую литературу, заменяя многообразное единство единообразным подобием, в котором терялись все собственные голоса.

Вопрос этот принципиальный, жизненно важный. Подмена одного другим приводит к краху обе стороны именно в силу нарушения закона целого, правильного взаимодействия сторон. Положим, когда стратегию подменяют тактикой, гибнет то и другое, ибо тактика нуждается в стратегии и осуществляет ее — это ее средство, путь; лишая же стратегию пути, обрекают ее на гибель. И так во всем. Положим, нужное дело — политика и нужное дело — литература, но когда одно подменяли другим, исчезало то и другое, ибо говорило не своим языком, одевалось не в свои одежды. Литература, не убеждавшая образом и словом, обесценивала идею, в которую переставали верить. И политика теряла силу, когда вырождалась литература. Или историки — искажали прошлое, подгоняли материал жизни под готовые схемы и тем загораживали будущее. Так было и раньше, но мудрость древних взывала: «Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?»

Иначе говоря, если мы хотим понять законы, положим, мировой литературы, мы не должны это делать в ущерб отдельному — национальным литературам,— сводя целое к облюбованной части или подгоняя все части действительно единого мирового процесса к одной из составляющих, сводя многообразие ее форм к единственному образцу (скажем, смена фаз европейской литературы). В строгом смысле слова невозможно доподлинно описать ни один из памятников литературы. Каждый неисчерпаем, обусловлен веками и потому всегда шире тех, кто смотрит на него и кто неизбежно ограничен своим временем и своими возможностями.

Однако при целостном подходе и принцип историзма, обретая полноту, становится действенным (не словом, а делом)

ибо каждый исторический факт начинает говорить не о самом себе, а о некоей закономерности, которая позволяет понять его место в общей системе связей. Культура есть вечное наследование и вечное обновление унаследованного. Она имеет свой ритм, пульсирует как все живое, и, уловив этот ритм, можно понять, почему смещаются акценты, одна доминанта сменяется другой.

Целостный подход, стало быть, есть единство слова — дела, субъекта — объекта. Казалось бы, просто: делай свое дело, ощущая его как общее [15]. От осознания этого закона и зависит «расширение внутреннего бытия» каждого и участь целого, самого гена жизни.

---

[15] Об этом думали люди еще в далекой древности; можно вспомнить предсмертные слова Будды: «Состоящее из частей подвержено разрушению, трудитесь прилежно».

◆

Встреча с Максом Фришем

(Швейцария)

На встречу, организованную журналом «Вопросы литературы», Макс Фриш немного опоздал. Евгения Александровна Кацева (ответственный секретарь журнала «Вопросы литературы», переводчик многих произведений Фриша) передала его извинения, а от себя добавила, что Фриш только что приехал из Ленинграда, очень устал, плохо себя чувствует, но не мог не приехать, узнав, что на встречу собрались германисты с разных концов Москвы. Писатель не хотел подводить людей...

Макса Фриша хорошо знают в Советском Союзе — многие его книги переводились на русский язык. «Иностранная литература» познакомила читателей с пьесой «Бидерман и поджигатели», романами «Homo Faber», «Назову себя Гантенбайн» повестями «Синяя Борода» и «Человек появляется в эпоху голоцена», а совсем недавно журнал опубликовал рассказ «Стенограмма одного несчастья».

— В Советском Союзе я в третий раз,— говорит писатель. — Первую поездку можно назвать «авантюрой». Однажды на вечеринке я в шутку предложил друзьям поехать в Советский Союз и назначил им встречу для уточнения деталей на следующий день в кафе. Наутро я об этом даже не вспомнил. Напомнила о моей затее жена. Я пошел в кафе, будучи уверенным, что никто не явится, однако, к моему удивлению, пришли все. Сначала мы хотели поехать автобусом, но потом решили лететь, и тут действительно многие отказались — осталось несколько человек, достаточно состоятельных и достаточно здоровых. Поездка состоялась, но от нее у меня остались сумбурные впечатления. Мы не общались с людьми, видели только то, что нам показывал «Интурист».

В 1968 году я приезжал на горьковские торжества, а потом твердо решил, что приеду снова, лишь когда в вашей стране начнутся перемены. Кажется, сейчас именно такой момент...

Мы на Западе внимательно следим за тем, что происходит у вас. Очень многим, в том числе и мне, нравится то, что делает господин Горбачев. Я — западный социалист, то есть человек, имеющий критическую позицию, свое понимание вещей. И я вижу, что если сейчас в мире сохранится status quo, то очень возможна катастрофа. Поэтому необходим диалог, где все мы выскажемся откровенно, необходимо новое мышление, новые жизненные установки, борьба с догматизмом. К этому диалогу в обстановке гласности были готовы все приехавшие на форум «За безъядерный мир, за выживание человечества».

— Хотелось бы знать, что вы думаете о молодежи?

— Молодежь, как правило, находится в движении но это движение надо направлять, чтобы уберечь его от ошибок и крайностей. И здесь очень важна роль общества, на перемены в котором откликается молодежь. Вспомним 1968 год, год бурных событий в Западной Европе и Америке. Многие молодые люди, тогдашние «бунтари», в конце концов стали террористами, другие впали в отчаяние...

— Как вы относитесь к задачам литературы?

— Много лет писатели ведут разговоры о целях и задачах литературы. В разное время у меня бывало разное отношение к этой проблеме. Когда-то на меня очень повлиял Бертольт Брехт которого считаю своим учителем. Я думал, что литература, а особенно театр должны быть дидактическими. Затем я от этой теории отошел. В другое время — придавал большое значение притчам. Сейчас много думаю о документальной литературе, мне кажется, что это очень важная литература. Верю и в силу поэзии. И в связи с этим всегда вспоминаю творчество Пабло Неруды.

Разговор заходит о произведениях самого Фриша, о его отношении к ним, о том, как они приняты в разных странах. Писатель знает, что его повесть «Человек появляется в эпоху голоцена» пользовалась успехом в ФРГ, Италии, Скандинавских странах, в Америке. Он уверен, что проблемы распада личности, взаимоотношений с природой, покорения природы — это то, что привлекает читателей. Фриша радует, когда ему говорят, что книга и у нас принята хорошо.

— А какую из своих книг вы сами любите больше всего?

— Ту, которую давно не перечитывал — шутит писатель. — Ну и, конечно, ту, над которой работаю... Надо сказать, что я использовал много автобиографических материалов, но никогда не писал автобиографий. Сейчас у меня появилось ощущение, что я все сказал читателям, сжег все мосты. И теперь у меня возникла потребность написать настоящую автобиографию.

В этот приезд я лучше узнал страну, но, к сожалению, опять мало общался с людьми «из толпы». Очень мешает то, что я не знаю языка. И все же я понял, что мои книги чем-то привлекают русских, и не перестаю удивляться, почему люди интересуются тем, что написано много лет назад, какое им дело до радостей и огорчений старого человека из другого, буржуазного мира? — Писатель недоуменно улыбается.

Но когда участники встречи рассказывают Фришу, как охотно его книги читают молодые люди в нашей стране, что над его пьесами работают многие театры, когда зачитывают телеграмму, в которой театр «из глубинки» приглашает его на премьеру «Бидермана», видно, что он растроган...

Л. ХАРЛАП

О ВЫСОКОМ ИСКУССТВЕ

Из переписки К. И. Чуковского с американскими славистами

Вступление, перевод с английского и комментарии М. ЛОРИЕ

Новое издание книги Корнея Ивановича Чуковского «Высокое искусство» вышло в 1964 году, после двадцатитрехлетнего перерыва. (Как известно, до издания 1941 года менее обширные труды автора на ту же тему выходили неоднократно, начиная с 1919 года.) Читатели, вероятно, помнят, что выходу нового издания предшествовала публикация ряда статей о переводе на страницах «Литературной газеты». Статьи эти были частично включены в книгу в качестве новых глав или дополнений к прежним. В приложенной к книге библиографической справке К. Чуковский писал: «В 1941 году, перед самым началом Отечественной войны, та же книжка, исправленная и сильно дополненная, была переиздана Гослитом под заглавием «Высокое искусство». Вряд ли она вызвала в читателях большой интерес, так как, естественно, все их внимание поглотила война. Книжка прошла незамеченной».

Теперь мы можем смело сказать, что Корней Иванович был неправ. Книга его отнюдь не «прошла незамеченной». Так или иначе на нее ориентировались едва ли не все работы о художественном переводе, вышедшие у нас и за рубежом в послевоенные, 50-е, годы. И новое ее издание снова вызвало многочисленные отклики как старых, так и новых читателей. Книгу узнали переводчики и литературоведы-русисты в Англии и в США. Сейчас в «Советском писателе» готовится очередное издание «Высокого искусства». В эту книгу включен и новый материал, в том числе неоконченная статья о переводах «Евгения Онегина», сделанных Бэбетт Дейч, Кейденом и Набоковым. В нескольких случаях книга стала предметом оживленной переписки с автором, послужила отправной точкой для содержательных диалогов о состоянии переводческого дела у нас и за рубежом. Два таких диалога мы приводим в выдержках. Для публикации оставлено только то, что непосредственно касается «Высокого искусства» и состояния переводческого дела в СССР и США. «Собеседники» К. И. Чуковского: Сидней Монас — писатель, историк, переводчик с русского и с немецкого, профессор русского языка и литературы в Техасском университете, и Эрнест Симмонс — литературовед и переводчик, автор книг о Л. Толстом, Достоевском, Чехове, профессор русского языка и литературы в Колумбийском университете. К. Чуковский писал своим американским корреспондентам по-русски, они ему — по-английски. Письма к К. Чуковскому сохранились в его архиве, а ксерокопии его писем любезно присланы адресатами. Письмо С. Монаса от 27 сентября 1964 года К. Чуковский перевел сам, когда готовил часть переписки для опубликования в «Мастерстве перевода».

От Э. Симмонса, 2 апреля 1965 г.

Дорогой Корней Иванович!

Благодарю Вас за «Высокое искусство», прочел его с волнением и радостью. Столь многое в этой книге близко и моим интересам. Несмотря на Ваши скромные заявления в начале книги, Вы в ней выступаете как самый настоящий ученый, но полагающий, как и я, что ученый труд не обязательно должен быть скучным. Многие ученые—это несостоявшиеся литераторы, а некоторые литераторы — несостоявшиеся ученые, как Гоголь, например, когда он пытается писать и преподавать историю. В Вас же ученость и писательское искусство сочетаются в счастливом союзе талантов, какой редко найдешь в одном человеке.

В Вашей книге столько положений, с которыми я согласен, что перечислить их в письме невозможно. Я поражаюсь Вашим познаниям в лингвистике и той полнейшей свободе, с какой Вы ориентируетесь в нескольких литературах, особенно в английской, первые познания в которой я получил под руководством видного шекспироведа Дж. Л. Киттреджа в Гарварде. Одно из главных достоинств Вашей книги — обилие иллюстраций, от забавнейших «поймать краба» и «черной Марии» в начале книги до множества поучительных примеров «не-

точной точности», бедного и богатого словаря, стиля, слуха, ритма, синтаксиса, интонации и т. д. в основной ее части.

Особенно мне понравилась Ваша расправа с Б. Г. Герни [1], которая окажется полной неожиданностью для его здешних почитателей. Жаль, что у Вас не было под рукой его перевода «Мертвых душ», недавно переизданного, «коренным образом переработанного» и «горячо встреченного»,— думаю, что Вы бы нашли там материал для критики, аналогичной Вашим замечаниям по поводу его «Ревизора». А между тем Герни — живой и изобретательный переводчик, и таланта у него побольше, чем у большинства других наших переводчиков.

Очень ценны Ваши наблюдения над баснями Крылова в передаче сэра Бернарда Пэйрса [2], который много лет был моим близким другом и незадолго до смерти не раз выражал свою радость по поводу Ваших похвал его переводам, не упоминая, однако, о Ваших упреках. Невыносимые англицизмы — вот что нарушает очарование его в общем-то искусных переложений, в которых ему часто удавалось уловить дух оригинала. Есть тут у нас один немного сумасбродный молодой человек, Гай Дэниелс, мечтающий издать томик своих переводов басен Крылова. То, что я видел в рукописи, сделано неплохо. Он только что выпустил томик Лермонтова, стихи и прозу, много такого, что раньше на английский не переводилось. Вас позабавило бы его воинствующее предисловие, в котором большое место уделено проблемам перевода.

Блестящий раздел о Шекспире в Вашей книге доставил мне огромное удовольствие. Я слышал о популярности переводов Радловой на советской сцене, и Ваш анализ этих переводов явился для меня откровением. (Прежних Ваших критических трудов о ней мне не довелось читать.) Разумеется, Шекспир писал для театра, но в этом нет ничего несовместимого с поэтическим творчеством. Как Вы знаете — и как следовало бы знать Радловой,— Шекспир считается величайшим из английских поэтов, и всякий переводчик, игнорирующий этот факт, обречен на неудачу. Мне жаль, что Вы почти не пишете о шекспировских переводах Пастернака, жаль хотя бы потому, что здесь многие люди, слабо знающие или вовсе не знающие русского языка, считают их лучшими переводами шекспировских драм на русский.

Ваши взгляды на Констанс Гарнет [3] полностью совпадают с моими (я писал о ней некролог в «Нью рипаблик»). Я подписываюсь под Вашей хвалой ее заслугам — буквально миллионы американских и английских читателей впервые приобщились к сокровищам русской классической прозы благодаря трудам этой героической женщины,— однако о самих ее переводах я сужу строже, чем Вы. Она не только не воспринимала различий в стиле — у нее Гоголь, Достоевский, Тургенев, Чехов и др.— все пишут стилем Констанс Гарнет, а это некий средневикторианский стиль, в котором слышатся академические предсмертные хрипы. Что еще хуже, ее давнишнее появление на сцене и популярность ее переводов мешали издателям искать новых переводчиков — ведь снова и снова переиздавать ее переводы обходится дешевле. Но Вы правы: беда в том, что на первых стадиях ее работы не нашлось компетентного критика, который указал бы ей на ее ошибки и многому мог бы ее научить. Не забывайте, что в те времена — да и теперь — в Америке и Англии трудно найти критика, который интересовался бы вопросами перевода и знал бы русский достаточно, чтобы обнаружить ошибки. А если такие и были, наши крупные отделы рецензий едва ли пожелали бы именно им поручать рецензирование переводов.

В том, что пишет Сидней Монас, есть доля правды, но он рисует положение слишком мрачными красками. Едва ли найдется хоть одно сколько-нибудь значительное произведение русской прозы и драматургии XIX века, которое не было бы переведено на английский; вышло на английском языке также немало образцов литературы древнерусской и XVIII века. Самые выдающиеся из этих произведений многократно переиздавались, многие из них, особенно в Англии,— в новых переводах. С русской поэзией дело обстоит хуже, но за последнее время вышло огромное количество переводов ее на английский, между прочим— три полных новых перевода «Евгения Онегина», так что теперь есть уже семь переводов этого шедевра. Вам, возможно, известен перевод Владимира Набокова, на который я давал отзыв в «Санди Нью-Йорк таймс». Он вызвал целую дискуссию. Это четыре тома: один — собственно перевод, два — совершенно необычные комментарии и четвертый — русский текст издания 1837 года и при нем поразительный трактат о просодии, который должен Вас заинтересовать. Набоков более чем разделяет Ваши опасения относительно непереводимости «Евгения Онегина» — он полагает что перевести «Онегина», да и всякое рифмованное произведение на английский язык рифмованными стихами и притом сохранить его форму «тематически невозможно». Сам он в своем переводе делает попытку сохранить ритм, но даже ритмом жертвует, если ритм мешает точной передаче смысла данной строки. Что касается требования Сиднея Монаса насчет массового перевода мемуаров, дневников и т. д.— это едва ли выполнимо по издательским условиям как здесь, так и в России, и любой другой стране. Когда такие переводы появляются, на то обычно бывает какая-то особая причина. В общем, за последние несколько лет в Америке и в Англии переводов русской худо-

---

[1] Об американском переводчике Б. Г. Герни, исказившем в своем переводе стиль «Ревизора» Гоголя, К. Чуковский гневно пишет в «Высоком искусстве», М., 1964, с. 133—136.

[2] Б. Пэйрс (1867—1949) —английский писатель и переводчик. О его переводе басен Крылова см. «Высокое искусство», с. 116—118.

[3] Констанс Гарнет (1862—1946) — английская переводчица. Перевела более 70 томов произведений русских классиков — Герцена, Гончарова, романы Л. Толстого почти полные собрания сочинений Гоголя Тургенева, Достоевского, Чехова. См. «Высокое искусство», с. 245—248.

жественной литературы было множество.

Что же касается качества всех этих переводов, тут Вы совершенно правы: в большинстве случаев оно неимоверно низко, особенно в поэзии. Напоминает то ремесленничество, которое Вы в Вашей книге описываете как типичное для России XIX века. У нас нет своей «школы перевода», подобной той замечательной школе, какая создана в Советском Союзе. За очень немногими исключениями, перевод, особенно с живых языков, никогда не считался у нас «высоким искусством». И не создался у нас тип переводчика — художника и ученого. На это есть несколько причин, которые я сейчас не буду рассматривать, но, пожалуй, главная из них — коммерческий подход наших издателей, которые не разделяют даже убеждения Пушкина, что переводчики — «почтовые лошади просвещения». Проблески возрождающегося интереса к этому искусству можно усмотреть в недавних демаршах некоторых наших ведущих поэтов — Одена, Лоуэлла, Уилбура[4], но и они, по Вашим понятиям, едва ли годятся в переводчики русской поэзии. Совсем недавно организована специальная комиссия для создания национального переводческого центра на деньги, выделенные из Фордовского фонда.

Но что нам действительно нужно — это обширная научная литература по теории и критике перевода, которая установила бы высокие художественные требования, как это делаете Вы в своей книге. Это содействовало бы возвышению всей переводческой практики до уровня искусства. Уже по одной этой причине я бы хотел увидеть Ваше великолепное «Высокое искусство» в переводе на английский — книга помогла бы некоторым нашим переводчикам осознать, что они работают в искусстве, а не просто заняты делом, которое приносит им немножко денег. Впрочем, Вы понимаете, что Вашу книгу, в которой, естественно, главное внимание уделено переводам на русский язык, особенно трудно как следует перевести на английский.

От К. Чуковского, 15 апреля 1965 г.

Дорогой профессор Симмонс!

Благодарю Вас за дружеское письмо.

Меня очень обрадовало Ваше доброе письмо о моей книжке. Как это чудесно, что и «Пушкин» и «Лев Толстой» вышли in «paperback reissues»![5] Теперь эти книги станут доступны широким массам. Жду их с нетерпением. Надеюсь, что в книге о Пушкине найду Ваши переводы «Дара напрасного» и «lines to Anna Kern»[6]. Сэра Бернарда Пэйрса я знал тоже. Это был очень простодушный, феноменально рассеянный, талантливый человек, я познакомился с ним на фронте в 1916 году. Кажется, он был военным корреспондентом «Times'a»[7]. Среди переводов Пастернака есть отличные, но я никак не могу заставить себя любить его переводы «Ромео и Джульетты», «Гамлета» и др. Поэтому я и не говорю о них в своей книжке. Сейчас я написал предисловие к сборнику его стихотворений, который выйдет в нынешнем году в Гослите, и там не упоминаю о его переводах. Хотелось бы посмотреть «Dead Souls» by B. G. Guerney[8]. Он дельный работник, но торопыга, вечно впопыхах, и поневоле ему приходится халтурить. Очевидно, все дело упирается в доллары. Во всем виновата the highly commercial attitude of your publishers[9]. Очень хотелось бы мне подробнее узнать о специальной комиссии, стремящейся создать National Translation Center[10]. Работает ли эта комиссия? Какие у нее функции? Достаточно ли она авторитетна? Примет ли она к сердцу качество переводов с русского?

Четырехтомный «Eugene Onegin» у меня есть. Очень интересная работа! Я ведь помню Vld. Nab. четырнадцатилетним мальчиком. Уже тогда он подавал большие надежды. Его комментарии очень колючие, желчные, но сколько в них свежести, таланта, ума! Хотелось бы прочитать Вашу рецензию в «Sunday New York Times»[11]. Другие переводы «Евг. Онегина» — особенно Бэбетт Дейч — ужасны.

Если Вы знакомы с Guy Daniels[12], попросите его прислать мне том его «Лермонтова». Пожалуйста.

Готовится новое издание «Высокого искусства». Разрешите, пожалуйста, процитировать там два абзаца из Вашего письма — относительно Гарнет и о положении переводческого искусства в США.

Мне 83 года, я хвораю и могу не дожить до осени. Но если доживу, буду счастлив принять Вас у себя в Переделкине. Сейчас я работаю над своей старой статьей о Walt Whitman'e[13], читаю чудесные книги о нем, написанные Gay Wilson Allen'ом[14]. И жалею, что не читал их раньше. (...)

От К. Чуковского, без даты.

Дорогой профессор Симмонс!

Спешу поблагодарить Вас и за Ваши книги, и за ласковые надписи на них. (...)

Еще раз спасибо за драгоценный подарок.

Но тут же позволю себе не согласиться с Вами по одному мелкому поводу. Ваша рецензия о «Евгении Онегине» в переводе

---

[4] Уинстен Хью Оден (1907—1973) — английский поэт, с 1939 года жил в США. Роберт Лоуэлл (1917—1977) — английский поэт, много переводил европейских поэтов. Ричард Уилбур (род. в 1921 г.) — американский поэт, профессор английской литературы, переводчик Мольера.

[5] Переиздание в мягкой обложке *(англ.)*.

[6] Английский вариант названия стихотворения А. С. Пушкина «К**», посвященного А. П. Керн.

[7] «Таймс».

[8] «Мертвые души» в переводе Б. Г. Герни *(англ.)*.

[9] Сугубо коммерческий подход ваших издателей *(англ.)*.

[10] Национальный переводческий центр *(англ.)*.

[11] «Санди Нью-Йорк таймс».

[12] Гай Дэниелс.

[13] Уолт Уитмен.

[14] Речь идет о книге английского литературоведа Г. Аллена «Уолт Уитмен как человек, поэт и легенда» и об изданном им собрании сочинений Уитмена.

Юджина Кейдена показалась мне слишком снисходительной *. Можно восхищаться трудолюбием мистера Кейдена, его добросовестностью, даже его талантливостью, но его перевод все же трагически не соответствует подлиннику. (. . .)

От Э. Симмонса, 26 мая 1965 г.

(. . .) Рад был узнать, что Вы готовите «Высокое искусство» для нового издания, и продолжаю мечтать о том, чтобы оно было переведено на английский без ущерба для доказательности Ваших отличных иллюстраций [15]. Да, разумеется, можете использовать в Вашей работе любые выдержки из моего письма.

Вполне понимаю, что вызвал Ваше недовольство своей рецензией на перевод «Евгения Онегина», сделанный Кейденом. В данном случае возобладало мое сочувствие к этому несчастному, который посвятил всю жизнь переводу на английский многих тысяч строк русской поэзии, не получив за это никакого признания, и мне захотелось сказать хоть несколько добрых слов о его трудах. Но между строк моей рецензии можно прочесть, что самого перевода я отнюдь не одобряю.

От К. Чуковского, 10 июня 1965 г.

(. . .) Отрывки из Вашего письма об «Искусстве перевода» я, с Вашего разрешения, печатаю в новом издании книги — те отрывки, где Вы говорите о положении переводческого дела в США [16].

Бэбетт Дейч (Deutsch) прислала мне свой новый перевод «Евгения Онегина» (Penguin edition) — этот перевод гораздо лучше того слабого перевода, который она опубликовала в 1936 году.

Кстати, Ваш перевод «Я помню чудное мгновенье» на стр. 209 Вашего Pushkin'a мне очень понравился. Вы передали и ритм и стиль. Так перевести эти строки мог только истинный поэт.

Будьте здоровы. Надеюсь — до скорого свидания!

Ваш Чуковский

От Э. Симмонса, 1 мая 1967 г.

(. . .) Надо ли говорить, что я буду счастлив хотя бы на старости лет увидеть одну из своих серьезных книг переведенной на русский в Советском Союзе. Это было бы мне куда дороже, чем все французские, немецкие, японские и китайские переводы некоторых моих других работ.

Я со своей стороны энергично убеждаю здешних издателей выпустить переводы некоторых из лучших советских трудов по литературоведению и, кажется, добился кое-какого успеха. Я считаю, что быстро приближается время для конструктивных научных диалогов между нашими и вашими писателями, учеными и критиками.

От К. Чуковского, 19 мая 1967 г.

(. . .) Готовится новое издание моей книги «Высокое искусство». Я включил туда не только отрывок из Вашего письма ко мне (о переводе), но и краткую характеристику Ваших трудов. (. . .)

Вы, может быть, видели в апрельском «New Yorker'e» развязное и лживое письмо переводчицы моей книги «От двух до пяти». Я мог бы опровергнуть ее ложь десятками имеющихся у меня документов. Но мне стало жалко бедную халтурщицу, и я махнул на нее рукой. Посылаю Вам список ее типичных ошибок и должен откровенно сказать, как меня удивляет, что не нашлось в американской литературе ни одного критика, который указал бы миссис Мортон на сделанные ею ошибки. Появилось около 20 рецензий, все хвалят книгу, но никто не знает подлинника, никто не обратил внимания на грубые ошибки переводчицы. У нас в СССР для всякой переводной книги точность перевода в значительной мере гарантируется участием редактора-друга, который хорошо знает оба языка. Жаль, что некоторые издательства в США, гоняясь за прибылью, выпускают на книжный рынок книги, не проверенные специалистами. Я лично всегда был благодарен и М. Ф. Лорие, и Р. Е. Облонской, и З. С. Лазаревой, редактировавшим мои переводы О. Генри, Дефо, Уитмена и Синга. Благодаря такой системе, введенной А. М. Горьким, в наших издательствах стало невозможным появление таких неряшливых работ, как работа миссис Мириам Мортон.

Шлю задушевный привет миссис Э. Симмонс и надеюсь, что Вы уже переехали в свое «Переделкино» — в Дублин [17]. Весна в этом году в Подмосковье чудесная!

Ваш Чуковский

От Э. Симмонса, 7 июня 1967 г.

(. . .) Да, я читал в «Нью-Йоркере» ответ миссис Мортон на Вашу критику ее перевода «От двух до пяти». Если учесть список ошибок, которым Вы были так любезны меня снабдить, не говоря уже о многих других, Вами не упомянутых, можно сказать, что ответ ее свидетельствует о крайнем малодушии. Это — подтверждение того, что я писал Вам год назад о плачевном положении с рецензированием переводов у нас в стране, особенно переводов с русского, поскольку рецензенты, как правило, не знают русского языка или знают его очень плохо. Правда, время от времени немногочисленные крупные журналы пытаются приглашать квалифицированных рецензентов и прилично оплачивают их работы. Но гораздо чаще менее известные журнальчики поручают рецензии кому попало и пла-

---

* См. «The New York Times Book Review» 2.I.1965, «Russian in English Dress». *(Прим. К. Чуковского.)*

[15] В 1984 году в США вышла книга «A High Art, translated and edited by Lauren G. Leighton».

[16] Письмо Э. Симмонса К. Чуковский цитирует в «Высоком искусстве», 1966 (Собр. соч., т. 3, с. 518).

[17] Дублин — дачный поселок в штате Нью-Гемпшир, где Симмонс проводил большую часть года.

тят за них гроши, а то и не платят вовсе! Особенно это относится к литературе для детей. И лишь очень редко наши издатели (в отличие от ваших, следующих заветам Горького) поручают двуязычному «редактору-другу» тщательно сверить перевод с подлинником. Более того, если, как нередко бывает, подлинник трудно достать, рецензент и не пытается его разыскать. Часто такой подлинник можно найти только в какой-нибудь большой городской библиотеке, а рецензент живет от такой библиотеки за сотни миль. К тому же платят рецензенту так мало, что он вообще не считает нужным доставать оригинал и тратить время на кропотливую сверку его с переводом.

Между прочим, я подал мистеру Вудсу, редактору отдела детской литературы в «Нью-Йорк таймс ревью», идею просить Вас написать для их осеннего приложения статью о русской литературе для детей. Я очень надеюсь, что Вы найдете для этого время. А сейчас мне еще пришло в голову, что Вы могли бы, воспользовавшись этим случаем, поговорить о недостатках миссис Мортон.

От К. Чуковского, 10 ноября 1967 г.

(. . .) Mrs. Morton — бессовестная женщина. Она присылала мне в позапрошлом году свой «перевод» моего «Чуда-дерева». Я откровенно сообщил ей, что ее перевод отвратителен, и умолял ее не печатать его. Стыд и позор издательству, которое печатает такую мерзятину. Это не перевод, а клевета. Ее книги я не видал.

Я получил «Мастера и Маргариту» (в издании «The Grove Press») [18].

Конечно, идиомы московского просторечия не переведены здесь, но в общем перевод умный и талантливый. Очень хотелось бы получить Вашу рецензию об этих переводах!

Выполнить желание мистера Вудса (Woods) я, к сожалению, не мог: на меня навалилась корректура нескольких моих книг; пришлось прокорректировать больше 3000 страниц — было не до писания! (. . .)

От Э. Симмонса, 24 октября 1967 г.

(. . .) Вы, вероятно, получили колоссальную антологию Мириам Мортон «Житница русской детской литературы», в которую вошли «Тараканище», «Чудо-дерево» и «Мойдодыр», а также почтительные комментарии насчет Вас и несколько цитат из Ваших писаний. Я рецензирую ее для «Нью-Йорк таймс». К сожалению, в моей дачной библиотеке у меня есть лишь очень немногие оригиналы тех 109 вещей, которые вошли в книгу, поэтому в своей рецензии я не мог привести сопоставлений. Да и места на такие вещи дается минимум. Однако я упомянул о Вашем недовольстве ее переводом «От двух до пяти». А также воспользовался случаем сказать о Вас несколько слов, которые, надеюсь, будут Вам по душе. Если у Вас этой книги нет, я с удовольствием пришлю ее Вам, так же как и свою рецензию, которая должна появиться через несколько недель. (. . .)

Здесь только что вышли два перевода «Мастера и Маргариты» Булгакова. (. . .) Я написал отзыв об этих двух переводах для «Сатердей ревью», с кое-какими сравнениями. Если хотите — с удовольствием вышлю и издание «Харпер энд Роу», и свою рецензию. (. . .)

От Э. Симмонса, 17 декабря 1967 г.

(. . .) Прилагаю рецензию на «Мастера и Маргариту». Роман получил здесь хорошую прессу, но расходится, видимо, не очень бойко. Мою оценку как романа, так и обоих переводов вы найдете в рецензии. Эта моя работа, видимо, навела американский ПЕН-клуб на мысль пригласить меня, вместе с Оденом и романистом Гленуэем Уэскоттом, в жюри по присуждению премии за лучший перевод этого года. Честно говоря, я пока не читал в этом году ни одного первоклассного перевода с русского на английский, разве что «Мастер и Маргарита» Мирры Гинзбург, но английский язык у нее не безупречен. Может быть, Вы назовете кандидатуру? (. . .)

От К. Чуковского, 23 декабря 1967 г.

Дорогой Mr. Simmons!

Сейчас я получил вырезку из «The New York Times Book Review» — Вашу статью «Riches from Russia» [19], из которой я узнал, что Вы готовите книгу «Introduction to Tolstoy's Writings» [20]. Это очень обрадовало меня; чрезвычайно своевременная и нужная книга.

Книги, составленной Mrs. Morton, я еще не видал и охотно верю Вам, что она has ably fulfilled her-self imposed purpose[21], но, простите меня, я не вижу wisdom in her criteria [22] для суждения об искусстве художественного перевода. Какие бы она ни изобретала критерии, ее переводы моих вещей бездарны и чудовищно неверны. Она присылала мне свой перевод «The Magic Tree» [23], и когда я откровенно сказал ей свое мнение, она обещала мне не печатать этого перевода. Я продолжаю утверждать, что мои сказки are untranslatable [24]:

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,

[18] Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» вышел в США почти одновременно в двух издательствах, в разных переводах. Тот перевод, о котором здесь идет речь, выполнен Миррой Гинзбург, переводчицей с русского и еврейского. Кроме Булгакова она переводила Бабеля, Замятина. В ее переводе вышел также сборник советских сатирических рассказов, два сборника советской научной фантастики и «Сказки народов Сибири», посвященные ею памяти К. Чуковского. Автор второго перевода «Мастера и Маргариты» — Майкл Гленни.

[19] Сокровища из России *(англ.)*.

[20] Вступление к произведениям Толстого *(англ.)*.

[21] Умело справилась с задачей, которую сама перед собой поставила *(англ.)*.

[22] Мудрость в ее критериях *(англ.)*.

[23] «Чудо-дерево» *(англ.)*.

[24] Непереводимы *(англ.)*.

И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Если переводчик не передаст этих пяти *ка*, он не передаст экспрессивности этого трехстишия. Без этих пяти *ка* строки эти *не существуют*.

Или возьмите слово «Одеяло», которым начинается строфа. Это слово привлекло меня тем, что в нем на две согласные — *целых четыре* гласных. Это одно из благозвучнейших слов для детской гортани. Я просто не умею писать без этой внутренней музыки:

Прибегали // два курченка,
Поливали // из бочонка,
Приплывали // два ерша,
Поливали // из ковша,
Прибегали // лягушата,
Поливали // из ушата.

О ритмике и говорить нечего. Ритмика должна быть гибкой, зависящей от сюжета. Музыка стиха — для меня первое дело. Если бы в строке:

Улетела простыня

не было двух *т*, я не напечатал бы этих стихов.

Поэтому я без всякой запальчивости, сохраняя доброе отношение к Mrs. Morton, которую считаю почтенной труженицей,— заявляю, что она взялась за невозможное дело, что переводить стихи — не ее специальность.

Бог с нею! Возможно, что прозу она перевела лучше. Кроме того, за нею остается заслуга, что она первая открыла американцам нашу детскую литературу — пусть неумело, но с добрым чувством, с любовью. За это ей можно простить многое.

Вас же я хочу от всей души поблагодарить за Ваше дружеское расположение ко мне. Увы, я не «Uncle Chukosha» [25], но давно уже «Grandfather Chukosha» [26]. Меня глубого трогает отзыв такого авторитета, как prof. Ernest Simmons. (. . .)

От. К. Чуковского, 1 января 1968 г.

Дорогой проф. Симмонс.

Спасибо за статью «Out of the Drawer» [27].

Я прочел ее с большим удовлетворением. Очень основательная, солидная статья, дающая американским читателям множество ценных сведений. Но я позволю себе не согласиться с Вашим утверждением, будто «both renderings are adequate and endeavour with varying degrees of success to reflect the quality and spirit of B's prose» [28].

Я сверял с оригиналом переводы Мирры Гинзбург и часто восхищался ее находчивостью в передаче русских идиом. Перевод г-на Michael Glenny значительно хуже (как Вы сами указываете своими цитатами: «crept», «Casanova». «Magel tov.»). Я могу прислать Вам десятки подобных ляпсусов мистера Гленни. Он — халтурщик, плохо знающий русский язык.

Мирра Гинзбург — художник. Ее переводы пьесы Бабеля «Закат», советской сатиры, Замятина обнаруживают и артистизм, и мастерство, и даже талантливость. Ее огромный плодотворный труд по ознакомлению читателей США с советской литературой должен же быть вознагражден! Было бы чудесно, если бы ей выдали премию.

Жду обещанного снимка Вашего кабинета. Пожалуйста, не забудьте!

С Новогодним приветом! Кланяюсь Mrs. Simmons!

Ваш К. Чуковский

От Э. Симмонса, 1 февраля 1968 г.

Дорогой Корней Иванович!

Ваше великолепное сравнение русского текста Вашего «Чудо-дерева» с переводом миссис Мортон окончательно убедило меня в том, что стихи она переводит плохо. Жалею, что, когда я писал отзыв на ее антологию, у меня не было под рукой оригинала. Я вряд ли мог бы указать на все погрешности, которые нашли Вы, особенно на тонкое использование «ка»,— но часть из них вполне мог бы обнаружить. Так или иначе, не следовало бы ей печатать свой перевод после того, как Вы ей сделали столько замечаний по тому тексту, который она Вам прислала, или уж пусть бы честно постаралась его исправить. Все дело в том, что *она не поэт*, а я всегда был убежден, что переводить поэзию можно, только будучи хоть немного поэтом. (. . .)

Вполне согласен с тем, что Вы пишете о моем отзыве на «Мастера и Маргариту». Перевод Мирры Гинзбург несомненно намного превосходит работу Гленни, особенно в смысле большей верности оригиналу, что я пытался показать на примере его вопиющих ошибок — я тоже мог бы набрать их куда больше, если б позволяло место. Но я признаю свою вину за ту фразу из рецензии, которую Вы приводите,— возможно, она продиктована тем, что английский язык у Гленни более изощренный и современный. (. . .) Так или иначе, предпочтение, которое я отдал переводу Мирры Гинзбург, подхвачено издателями и использовано в рекламе, что доставляет мне некоторое удовлетворение. Кстати, Вам, может быть, известно, что Мирра Гинзбург в письмах в «Нью-Йорк таймс» и в «Паблишерс уикли» раскритиковала отзыв Патриции Блейк на эти два перевода, опубликованный в «Таймс», и указала на недостатки перевода Гленни. Он ответил неубедительно и в очень неприятном тоне. (. . .)

■

От К. Чуковского, 17 апреля 1964 г.

Дорогой профессор Сидней Монас!

Итак, мы оба пришли к убеждению, что и в США и в Англии русская художественная литература в большинстве случаев переводится плохо [29]. У многих переводчиков

[25] Дядюшка Чукоша *(англ.)*.

[26] Дедушка Чукоша *(англ.)*.

[27] Из ящика письменного стола *(англ.)*.

[28] Оба перевода вполне удовлетворительны, оба переводчика пытаются, с переменным успехом, передать особенности и дух прозы Булгакова *(англ.)*.

[29] Это письмо было написано в ответ на две статьи С. Монаса, вошедшие в сборник «Craft and Context of Translation». Рецензию на этот сборник см. в «Мастерстве перевода. 1964». М., 1965.

совершенно отсутствует чувство литературной ответственности. Нет компетентной, страстно заинтересованной критики, которая осуществляла бы строгий — и притом постоянный — контроль над англо-американскими переводами с русского.

Встречаются, конечно, переводы высокого качества — исполненные с любовью, талантливо, но это редкость и чистейшая случайность, нисколько не характерная для общей культуры переводческого искусства. Вдруг появятся отличные переводы «Записок» Аксакова, или тургеневской «Первой любви», или герценовских «Былого и дум», или «Клопа» Маяковского, но это нисколько не мешает большинству переводчиков из года в год безнаказанно коверкать по своему произволу и Гоголя, и Толстого, и Чехова, и Блока, и Шолохова. (...)

Партизанская борьба с этим злом недостаточна. Здесь нужна планомерная, систематическая, неослабная, повседневная деятельность целого коллектива литературных работников, и, судя по Вашей статье, Вы — один из тех, кто мог бы не без успеха участвовать в такой плодотворной работе: в Вашей статье мне послышалась та же обида за русскую литературу, за ее славу и честь, какая томит и меня. Было бы чудесно, если бы Вы выступили с целым рядом горячих статей где-нибудь в «Atlantic» или в «New Yorker» в защиту русской художественной прозы и лирики от многочисленных ее исказителей — небрежных и косноязычных переводчиков.

Право же, русская литература достойна того, чтобы ее переводили не ремесленники, а подлинные художники слова.

Поэтому я всем сердцем сочувствую Вашему призыву, обращенному к наиболее сильным мастерам перевода: Эрроусмит, Латимор, Уилбер, Гехт, изучайте русский язык!

Впрочем, дело не только в отсутствии сильных талантов. Главная беда — отсутствие устойчивых принципов. Не выработано сколько-нибудь отчетливых, надежных критериев для оценки тех или иных переводов русской художественной литературы на английский язык.

Если бы в литературной среде эти критерии были более ясны, в Нью-Йорке в 1962 году не могла бы появиться такая «Антология русских стихов», где даже высшие достижения нашей поэзии превращены в унылую серую массу, удручающую своей заурядностью.

Пренебрежение к стилю переводимого текста, к его поэтической форме привело эту книгу к тому, что Фета здесь не отличишь от Людмилы Татьяничевой, а Боратынского от — Сергея Острового.

Составители книги — люди почтенные, опытные, не лишенные литературных заслуг. Они отдали своей «Антологии» много труда, и среди их переводов встречаются порою неплохие. Но посмотрите, что сделали они с «Незнакомкою» Блока, как хило и дрябло звучит у них «Во весь голос» Маяковского, как анемична у них «Встреча» Валерия Брюсова,— и Вы поймете то горькое чувство, с которым я читал эту книгу.

Неудача ее составителей объясняется именно тем, что основные принципы их работы неправильны, глубоко порочны. Эти принципы давно уже пора осудить.

Пора сказать громко и внятно: нельзя воссоздавать на другом языке то или иное произведение поэзии, не воспроизводя его стиля.

Литераторы, о которых мы сейчас говорим, нарушали эту заповедь не раз. Вздумав, например, познакомить англо-американских читателей с лесковским «Левшой», они даже попытки не сделали передать в своем переводе словесное искусство Лескова, которое Горький назвал «чародейным». Отнять у Лескова его гротескный, причудливый стиль — не значит ли это ограбить его? *

Такое же пренебрежение к стилю переводимого текста проявляется в англо-американских переводах советских стихов для детей.

Года два тому назад в американской печати появился перевод одной из моих сказок — «Тараканище». Переводчицы (миссис Мортон и миссис Уирен) питали, по их словам, самые искренние симпатии ко мне и вообще к нашей детской словесности. И все же, когда я познакомился с их переводом, я почувствовал себя так, словно мне дали пощечину. Это был не перевод, а оскорбление действием. Все те истертые штампы сюсюкающего стихоплетства для малых детей, которые я всегда ненавидел, вся пошлятина истасканных ритмов и дешевеньких рифм, с которой я всю жизнь боролся, которую жаждал вытравить из детской словесности, — были, словно в насмешку, навязаны мне в этой милой самоделке переводчиц.

Горе мое было тем тяжелее, что обе они работали от чистого сердца. Им и в голову не приходило, что своим переводом они оскорбляют меня, навязывая мне ненавистный стиль.

С самым дружественным и доброжелательным видом обе лэди тиснули свой перевод в виде приложения к моей книжке «От двух до пяти», которая вышла (в переводе миссис Мортон) в двух университетских издательствах: «Калифорния Юниверсити пресс» и «Кэмбридж Юниверсити пресс».

Вскоре после выхода книжки «От двух до пяти» в американской печати появилось восемь рецензий о ней. Рецензии серьезные, вдумчивые, но характерно: *ни одна не заинтересовалась вопросом о качестве перевода* разбираемой книжки.

Качество это очень неровное. Иные страницы переведены хорошо, иные кое-как, наобум, впопыхах, с десятками вопиющих ошибок. На эти ошибки не обратили никакого внимания. Перевод «Тараканища» тоже

---

* «Anthology of Russian Verse», New York, 1962; «The Steel Flea, a Story by Nicolas Leskov». New York, 1964. Обе книги явились в итоге совместной работы поэта Babbette Deutsch и литературоведа, историка А. Ярмолинского, автора книг «Достоевский», «Тургенев». *(Прим. К. Чуковского.)*

не заинтересовал никого. Никто даже не сравнил перевода и подлинника.

Это — добрая воля рецензентов и критиков, и не мне порицать их за это.

Отмечаю же я этот факт лишь затем, чтобы указать на конкретном примере, как мало внимания уделяют у вас вопросам перевода русских книг.

Конечно, я очень далек от того, чтобы огулом осудить все переводы произведений нашей русской словесности, напечатанные в Англии и в США. С великой радостью приветствовал я в советской печати переводы «Евгения Онегина» (Реджинальда Хьюита), переводы «Клопа» Маяковского и «Тени» Евгения Шварца (Франклина Рива), переводы Мориса Бэринга, Изайи Берлина, Джеймса Дэффа [30] и других. Во всех этих превосходных работах талант переводчиков сочетается с высокой культурностью и с уважительным отношением к переводимому тексту. О, если бы эти работы могли стать образцами для всех ваших переводчиков русской поэзии и прозы.

Yours sincerely Корней Чуковский

От С. Монаса, 27 сентября 1964 г.

Дорогой Корней Иванович!

Прежде всего я должен извиниться за то, что прошло так много времени с тех пор, как я получил Ваше чудесное письмо. Я не отвечал так долго не потому, что Ваше письмо не нашло во мне отклика, а скорее потому, что откликом моим было ощущение, что мне необходимо что-то сделать в отношении современного состояния здешних переводов с русского,— иначе я просто не считал себя вправе Вам отвечать.

Так вот, я не сидел сложа руки.

Сколь эффективной окажется моя деятельность — посмотрим. Печальный опыт научил меня, что в таких делах не следует тешить себя надеждами. Но я хотя бы немного облегчил свою совесть и могу писать Вам с более легким чувством.

Серию статей для «Атлантик» или «Нью-Йоркер» — как Вы предлагали — я не написал, может быть, еще напишу. А написал я большую обзорную статью, в которой касаюсь, между прочим, современных переводов. Статья появится в зимнем выпуске «Гудзон ревью» за 1964—1965 годы. Когда она выйдет, я пошлю Вам экземпляр.

Более существенно то, что мы затеваем широкое общественное обсуждение проблем перевода — не только с русского, но и со многих других языков. В наши планы входит печатание обзорных статей и рецензий о работе наших переводчиков, создание при некоторых наших университетах специальных курсов, где молодежь могла бы обучаться искусству художественного перевода, и многое другое. В настоящее время главная наша задача: вооружить наиболее даровитых переводчиков — тех, для кого перевод не ремесло, а искусство, — теоретическими установками и общими принципами. Я перевел отрывки из Вашего письма ко мне, распространил их среди моих друзей и тем привлек внимание к нашему делу. Я был уверен, что Вы не станете против этого возражать.

Со всем, что Вы говорите, я совершенно согласен. Главное зло — именно в отсутствии критериев. Как правило, ни наши критики, ни издатели не обращают внимания на качество перевода. Но сейчас положение немного улучшается (независимо от того, что предпринимаем мы). Решено ежегодно присуждать поощрительную (и довольно крупную) премию за лучший художественный перевод. Среди критиков и даже среди издателей появились такие, которые стали предъявлять к переводчикам более серьезные требования. Но в основном положение по-прежнему остается таким, каким Вы его узнали по собственному горькому опыту.

Вот главные враждебные силы, мешающие нашему делу:

КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. Если переведенная книга имеет хороший сбыт, издателю незачем заботиться о качестве ее литературного стиля. Это не надо понимать совсем буквально. Существуют издатели-коммерсанты, которые все же верны высоким литературным идеалам; есть и такие, которые лишены этих качеств, но жаждут прослыть идейными. Но, говоря вообще, коммерческие соображения враждебны нашему делу. Оборотная сторона этого положения та, что работа переводчика очень плохо оплачивается. Заработать на жизнь переводами почти невозможно, и большинство наших лучших переводчиков вынуждены наряду с переводами заниматься какой-нибудь побочной работой. А профессионалы вынуждены работать такими темпами, при которых высокое качество исключается, даже если они и способны его достигнуть. Даже относительно свободные университетские издательства ограничены коммерческими соображениями. К тому же они, по традиции, публикуют главным образом научные, а не литературные труды. И хотя здесь наблюдаются некоторые благоприятные сдвиги, все-таки есть еще злосчастная тенденция предъявлять к художественному переводу те же требования (стилистические), что и к научному. Результаты это дает самые плачевные, и в этой связи я назову нашего второго врага —

ПЕДАНТИЗМ. С XVI по XIX век переводом на английский занимались прежде всего писатели и поэты. Они не только обогатили язык, но и честно служили почтовыми лошадьми просвещения. Благодаря им Гомера, Вергилия, авторов Библии, Плутарха, Монтеня, Сервантеса можно читать практически как английских писателей. А затем, в течение XIX столетия, произошла любопытная перемена. Переводом завладели ученые. Это было вызвано, конечно, потребностью в большей точности и в более глубоких знаниях, и в какой-то степени цель была достигнута. Некоторые из ученых (к сожалению, очень немногие) еще

[30] Морис Бэринг (1874—1945) — английский поэт, критик и переводчик. Переводил стихи Лермонтова. Изайя Берлин (род. в 1909 г.) — английский литератор, переводчик, социолог. Специалист по русской литературе XIX в. Джеймс Дэфф — английский профессор-латинист, перевел «Былое и думы» Герцена, «Семейную хронику» Аксакова.

заботились о том, чтобы писать хорошую английскую поэзию и прозу. Для большинства же соображения стиля, тона, фактуры, красоты, легкости, выразительности и силы совершенно отходили на второй план. Эта традиция укоренилась в области переводов с греческого и латыни. Наихудшим образом она проявилась в Бутчер-Ленговских переводах Гомера и в бесчисленных учебных подстрочниках и шпаргалках. (...) Она привела к постоянным стычкам профессоров и поэтов, причем долгое время профессора брали верх. Отчасти так обстоит дело и сейчас.

ПУБЛИКА. Это проблема американская, англичан она касается значительно меньше. Аморфность публики и полная невозможность предсказать ее реакцию. Мы в Америке совершенно не знаем, каковы наши читатели, сколь они многочисленны и сколь неоднородны. Мы много раз оставались в дураках, ошибались в ту и другую сторону. Это — результат быстрых социальных перемен и роста (а иногда и непонятного временного упадка) интереса к литературе. В этом отношении мне кажется, наше положение больше сродни положению писателей в СССР, чем в Англии, хотя у нас и нет прочной традиции уважения к культуре, которая была у вас в России даже и до революции. Я не хочу сказать, что публика — наш враг, это было бы абсурдом. Я скорее имею в виду ее неоднородность, аморфность, ненадежность. Ясно, что и в этом вопросе многое связано с коммерцией. Кроме того — и в этом есть как преимущества, так и недостатки,— мы, литераторы, гораздо более неорганизованы, разобщены, заняты более разнообразными делами и географически более разбросаны, чем — насколько я могу судить — наши собратья в других странах, включая СССР. К тому же мы закоренелые индивидуалисты. Нас трудно организовать.

Всему этому противодействует новое положение поэтов в университетах и растущее значение наших университетов, как центров практически *всякой* непредубежденной умственной деятельности. Мне кажется, что старая вражда между поэтом и ученым *начинает* ослабевать. За последнее десятилетие многие блестящие поэты работали на кафедрах классической литературы, среди них Ричмонд Леттимор, Уильям Эрроусмит и Роберт Фицджеральд. От греческого и латыни интерес стал распространяться и на живые языки, но лишь за последние 7—8 лет — на русский. До этого времени студенты, изучавшие в нашей стране русский язык, если и руководствовались литературными интересами, то лишь во вторую очередь. За исключением Владимира Набокова не было ни одного значительного поэта-профессионала, который бы хорошо знал русский. Примерно с 1956 года, и особенно после того, как Борис Пастернак стал такой широко известной фигурой (в Америке), это положение начало изменяться, и, следуя примеру античников, все больше поэтов стали интересоваться переводом с русского. Многие из них еще недостаточно хорошо знают язык. Поэтому Роберту Лоуэллу пришлось работать над своими переводами, или, как он их называет, «имитациями», Анненского и Пастернака вместе с Ольгой Карлейль (внучкой Андреева), а Оден работал с Максом Хэйуордом над переводом некоторых поэтов молодого поколения. Но многие из наших молодых поэтов изучают русский основательно, и я думаю, что это даст прекрасные результаты. Вообще-то я не считаю сотрудничество лучшим разрешением вопроса, хотя всегда найдутся исключения, противоречащие этому взгляду, например — Шекспир Шлегеля-Тика. В идеале поэт не должен быть вынужден полагаться на «предварительный» перевод.

За истекший год вышло три новых перевода «Онегина». Ни один из них не удовлетворяет полностью, но все они лучше тех, что были у нас раньше. Есть и другие обнадеживающие явления.

Мне, со своей стороны, было очень интересно то что Вы пишете о нынешних русских переводах американской литературы. У меня сложилось такое впечатление, что, хотя выбор того, что переводится, стал смелее, разнообразнее и интереснее, качество переводов чрезвычайно неровное, как в прозе, так и в поэзии.

Очень надеюсь на продолжение нашей переписки и обещаю впредь отвечать аккуратнее.

Если есть какая-нибудь книга или книги, которые я мог бы Вам послать, пожалуйста, не стесняйтесь и напишите. Я был бы счастлив оказать Вам эту услугу. С наилучшими пожеланиями

Всегда Ваш Сидней Монас

Приписка по-русски:

Сердечный привет Вам и большое спасибо.

От К. Чуковского, 18 октября 1964 г.

Дорогой профессор Сидней Монас.

Очень жаль, что Ваше письмо запоздало. Я с удовольствием включил бы его в свою книгу «Искусство художественного перевода», которая давно уже ушла в типографию. Письмо очень интересное. Оно внушает надежду, что переводы наших классиков на английский язык будут с каждым годом улучшаться. Вы очень тонко анализируете причины низкого качества большинства нынешних переводов. Недавно мне попался на глаза перевод лесковского «Левши», сделанный Babbette Deutsch, и, хотя я уважаю эту писательницу за ее «Poetry of our Time»[31], ее перевод ужасен, так как она даже не пытается передать *стиль* подлинника.

Книга моя скоро выйдет в свет. Чуть она выйдет, я в тот же день вышлю ее Вам. В 1965 году предвидится ее новое издание, и туда я (с Вашего позволения) включу Ваше письмо[32]. Будьте добры, сообщите мне, что перевели Lattimore, Arrowsmith и Robert Fitzgerald. С их переводами я, увы, незнаком. Перевод «Евгения Онегина», сделанный Набоковым, разочаровал меня. Комментарии к переводу лучше самого перевода.

---

[31] Поэзия нашего времени *(англ.)*.

[32] Письмо С. Монаса К. Чуковский цитирует в «Высоком искусстве», 1966 (Собр. соч., т. 3, с. 518—519).

Дочь Леонида Андреева [33] я знаю. Боюсь, что ее «Imitations» будут гораздо хуже оригиналов. Вообще «Imitations» — очень сомнительный жанр, пригодный для XVIII века. (...)

От К. Чуковского, 27 июня 1965 г.

Дорогой проф. Монас.

Посылаю Вам свою статью, напечатанную в «Литературной газете», так как в ней я цитирую (с Вашего разрешения) Ваше письмо ко мне.

Статья эта в расширенном виде будет напечатана в новом издании моей книжки «Высокое искусство».

С восхищением читаю переводы Lattimore'a и Arrowsmith'a (...)

От С. Монаса, 20 августа 1965 г.

Дорогой Корней Иванович!

Я с большим удовольствием прочел Вашу статью «Чудотворство любви» в «Литературной газете», № 75. Меня глубоко тронула Ваша похвала Звягинцевой, поскольку всем тем немногим, что я знаю об армянской поэзии, я обязан именно ее переводам. У меня сложилось впечатление, что переводы эти превосходны, но ведь трудно судить об этом человеку, который армянского не знает совсем, а русский — главным образом по книгам. Мне было приятно увидеть цитату из своего письма, приятно и удивительно увидеть ее рядом с высказываниями Эрнеста Симмонса, которого я знаю и люблю, с которым у меня бывают разногласия, но всегда дружеские и которого я лишь очень редко видаю, хотя живем мы не так уж далеко друг от друга. Своих соотечественников всегда было легче встретить за границей. Благодарю Вас и за то, что прислали статью, и за добрые слова о моем обзоре.

Я очень рад, что Вам понравились переводы Эрроусмита и Леттимора. Мой друг Эрроусмит в последнее время что-то приуныл. Его бы очень подбодрило, если бы Вы написали ему несколько слов о Вашем отношении к его переводу, и я был бы Вам очень благодарен.

После моего предыдущего письма к Вам произошло много всяких событий. Одно из них — основание Национального переводческого центра, брошюру о котором прилагаю. Поначалу дотация, которую мы получили, казалась очень большой; на поверку она не так уж велика, если учесть то, что предстоит охватить все языки и все эпохи. В правление вошли кое-какие издатели (они представляют некоторые из лучших фирм и сами принадлежат к наиболее интеллигентным членам своей профессии), но главным образом — писатели, поэты и переводчики. Пока сделано немного; как всегда, какое-то время тратится зря на совещания, консультации и пр., но мы бодро смотрим вперед. Я надеюсь, что Вы разрешите мне иногда обращаться к Вам за советом.

На зиму наш Центр намечает созвать в Нью-Йорке — возможно, совместно с Национальной библиотечной ассоциацией — симпозиум о переводе детской литературы. Я тотчас подумал о Вас не просто как об идеальном его участнике, но как о человеке, который должен в нем участвовать в первую очередь. Мне бы не хотелось слишком Вас утруждать или присылать приглашение, которое Вам было бы неудобно ни принять, ни отклонить, но если бы Вы могли приехать, это было бы большой радостью для нас и очень интересно для всех. В случае Вашего согласия мы могли бы оплатить Вам дорогу и (вероятно) пребывание здесь. Если приехать Вы не можете, то могли бы прислать нам доклад — я должен бы посоветоваться об этом с другими членами правления, но уверен, что это можно устроить. Пишу я о том же англичанину Дж. Р. Толкиену[34] (чьи замечательные книги для детей Вам, может быть, известны, так же как и его сага для взрослых «Братство кольца»). Если у Вас есть еще кандидатуры, буду благодарен за подсказку. (Подумываю я также об Итало Кальвино.[35]) Нам бы хотелось собрать детских писателей, независимо от того, переводят они сами или нет, но таких, которых вопросы перевода не оставляют равнодушными. Как Вы считаете?

Искренне Ваш
Сидней Монас

---

[33] Описка К. Чуковского — речь идет не о дочери, а о внучке Леонида Андреева Ольге Карлейль.

[34] Джон Роланд Толкиен (1892—1973) — английский писатель, литературовед, профессор английского языка и литературы.

[35] Итало Кальвино (1923—1985) — итальянский писатель-новеллист. Собирал и переводил с диалектов на итальянский язык народные сказки. См. русский перевод: «Итальянские сказки», 1956 г.

Публикация М. ЛОРИЕ и Е. ЧУКОВСКОЙ

◆

ВЛАДИМИР ГЕРИЧ (СФРЮ):

«МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ПЕРЕВОДИЛ ВСЕГДА»

В Югославии, стране, расположенной, как любят говорить сами югославы, «на перекрестке европейских дорог», искусство перевода искони является одной из самых уважаемых литературных профессий. Сербские, словенские, хорватские переводчики лучших произведений мировой литературы всегда славились оперативностью. Особенно в деле перевода русских классиков — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького. Многие их произведения переводились с журнальных публикаций и с помощью таких ежемесячных изданий, как «Српски книжевни гласник» в Белграде, «Савременик» в Загребе, «Люблянски звон» в Словении, «Црногорац» в древнем Цетинье, очень быстро становились достоянием читательских масс. Традиции переводческого цеха продолжаются и в наши дни. Во всех республиках СФРЮ наряду с Союзом и Обществами писателей существуют и Общества литературных переводчиков, объединяющие тех, кто занят переводом и пропагандой зарубежной художественной литературы всех времен и народов.

В редакции «Иностранной литературы» побывал известный современный хорватский переводчик зарубежной, прежде всего русской и советской литературы ВЛАДИМИР ГЕРИЧ. Он удостоен специальной премии Всесоюзного агентства по авторским правам за активную работу по пропаганде классической и современной литературы народов СССР. Есть у нашего гостя и еще одно постоянное увлечение (собственно, первая его профессия) — театральная режиссура. Обычно Герич ставит те пьесы, которые сам переводит. Он автор множества популярных радиопередач по произведениям русских классиков и советских писателей.

«Как и когда началась Ваша переводческая деятельность?» — с этим и другими вопросами к Владимиру Геричу обратилась по просьбе журнала критик и театровед Наталья Вагапова, знакомая нашему читателю также по переводам произведений югославских авторов.

В. Герич: Моя жизнь так тесно связана с переводом, что сейчас уже трудно вспомнить, когда, собственно, это случилось. Мне кажется, я переводил всегда. Начал еще в студенческие годы.

Если говорить о пристрастиях, то они носят скорее жанровый характер: охотнее всего я перевожу поэзию и драматургию. Наверное, это связано с моим увлечением театром, с работой на радио; хочется не только увидеть напечатанным на своем родном языке любимого поэта или драматурга, но и услышать собственный перевод со сцены, по радио. Стоит ли добавлять, как долго порой приходится ждать выхода книги. А вот спектакль или радиопередача, если повезет, могут состояться значительно раньше. Всем нам свойственно желание поскорее увидеть окончательный результат своей работы.

Н. Вагапова: Итак, поэзия и драматургия. Кого из русских поэтов Вы особенно любите?

В. Г.: Переводить русских поэтов — подлинное наслаждение. Моя русская «переводческая библиотека» включает множество имен — от Пушкина до Блока и Есенина, Ахматовой, Цветаевой и наших современников: Евтушенко, Мориц, Казаковой.

Одним из моих первых опытов были переводы пушкинской поэзии, благосклонно принятые критикой. Затем я перевел маленькую трагедию «Моцарт и Сальери» для радиопостановки, которую сам же и осуществил. Совсем недавно закончил работу над новым вариантом либретто оперы «Евгений Онегин» по заказу Хорватского национального театра: прежний вариант, сделанный еще в прошлом веке, сегодня ис-

полнять невозможно. Огромное удовлетворение получил я от этого труда. Не забудьте: не так-то легко «вгонять» мой родной язык в ямбы; пушкинский шестисложник — что ни говори — рожден на русской почве!

Из последних работ хотел бы упомянуть прошедшую по загребскому радио передачу о Велимире Хлебникове, поэте, у нас пока известном лишь узкому кругу почитателей. Сделанные для этой передачи переводы надеюсь вскоре опубликовать. Недавно вышла подготовленная и переведенная мною книжечка стихов ленинградского поэта Даниила Хармса, вызвавшая живой интерес любителей поэзии и литературной молодежи.

Н. В.: Трудно поверить, что при столь обширном знании русской и советской поэзии Вы обошли стороной нашу прозу. Неужели Вы не переводили русскую классику?

В. Г.: Разумеется, переводил. Просто, боясь показаться нескромным, я решил ограничиться рассказом о главных работах последних лет. Давно уже, лет десять — пятнадцать назад, я перевел том прозы Достоевского (туда вошли, в частности, «Записки из мертвого дома») для двенадцатитомного собрания, выпущенного загребским издательством «Знанье». Переводил и тургеневскую прозу для десятитомника сочинений Тургенева, отдельные произведения Салтыкова-Щедрина, Бунина...

Мы переходим к деятельности нашего гостя, связанной с пропагандой русской классической и советской драматургии. Владимир Герич часто выступает одновременно и как переводчик, и как режиссер новых для югославской публики зарубежных пьес (так было, например, с драмами Шекспира, Мольера и известной пьесой австрийского писателя П. Хандке «Каспар»).

Н. В.: Какое место в Вашей жизни занимают переводы, связанные со сценическим искусством?

В. Г.: Ваш вопрос затронул не только мои творческие пристрастия, но и больной для каждого переводчика драматургии вопрос — постановки в театрах. Наши, да, наверное, не только наши, театры иногда проявляют граничащий с рутинерством консерватизм, когда речь идет о расширении репертуара. Особенно это касается пьес современных зарубежных авторов, которым свойственно обостренное внимание к проблемам морали и общественной жизни. Часто отпугивают театральные дирекции и такие особенности современной драмы, как свободная композиционная структура, нежелание авторов укладываться в рамки привычных жанров, амплуа. Поэтому, когда я буду рассказывать о своих переводах современной советской драмы, часто речь пойдет о пьесах, ожидающих своего постановщика. Иногда талантливейшие произведения попадают на сцену чуть ли не случайно. Так, совсем недавно вместо «отпавшего» по техническим причинам «Алхимика» Бена Джонсона мне удалось вставить в репертуар одного из наших театров «Прошлым летом в Чулимске» Вампилова. И смею вас уверить, премьера, состоявшаяся, простите за невольный каламбур, прошлым летом в Сплите, прошла с большим зрительским успехом, несмотря на жару и конкуренцию телевидения, передававшего репортажи с футбольного чемпионата. Переводы «Утиной охоты» и «Провинциальных анекдотов» пока ждут счастливого случая в ящике моего письменного стола вместе с «Восхождением на Фудзияму» Айтматова и Мухамеджанова, «Энергичными людьми» Шукшина, пьесами Гельмана, Петрушевской. Правда, некоторые из них прозвучали по радио.

Более счастливая сценическая судьба у моих переводов пьес Арбузова, Алешина — они отвечают сложившимся у нас традиционным представлениям о советской пьесе. Следует только напомнить читателям «Иностранной литературы», что страна у нас небольшая. Театры довольно часто обновляют афишу, и поэтому хорошая зарубежная пьеса в среднем выдерживает пятьдесят представлений. Но в общем, хотя наши театры, по моему глубокому убеждению, могли бы уделять советским пьесам больше внимания, лично мне грех жаловаться. Режиссер Б. Виолич готовит сейчас к постановке мой перевод «Кабалы святош» Михаила Булгакова. За тридцать лет, что я тружусь в литературе, опубликованы или прошли в театрах и на радио переводы драм Сухово-Кобылина, «Дяди Вани» Чехова, «Горя от ума» Грибоедова, «Месяца в деревне» Тургенева...

Н. В.: Раз уж разговор коснулся постановок классической драматургии, не могли бы Вы поделиться мнением по одной из спорных проблем современного искусства. Как Вы относитесь к попыткам «вольного обращения» режиссера с классическими пьесами? Ведь купюры в авторском тексте, всякого рода перестановки и «дописывания» приводят порой к изменению смысла?

В. Г.: К попыткам откровенной и навязчивой «актуализации» классики в театре и кинематографе я отношусь отрицательно. В таких случаях режиссерский замысел раскрывается в течение первых десяти минут спектакля или фильма, все остальное превращается в нудную иллюстрацию, публика скучает, а актеры не могут «развернуться» по-настоящему.

Другое дело — подлинно творческий подход к классике. Образцами такого подхода для меня являются «История лошади» по рассказу Льва Толстого «Холстомер» в постановке Георгия Товстоногова, «Женитьба» Гоголя в режиссуре Анатолия Эфроса — я видел эти спектакли на гастролях в Югославии — и такие фильмы, как «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова или «Васса» Глеба Панфилова. Из спектаклей югославских театров мне запомнилась поставленная лет семь назад в Белграде Бранко Плешей «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина. Прекрасный, современный спектакль! Не насилуя текста, режиссерскими и актерскими средствами постановщик приблизил к нам гуманистические идеи драматурга. Настоящая классика требует уважения к себе, она упорно сопротивляется искусственной «модернизации»— будь то Чехов или Нушич,— история

театра последнего десятилетия свидетельствует об этом со всей очевидностью.

Н. В.: Наш разговор — по сути дела беседа о контактах советских и югославских литераторов, деятелей искусства. Продолжая эту тему, позвольте задать Вам, знатоку современной советской литературы, такой вопрос: как представлена она на полках книжных магазинов Югославии, в планах центральных издательств?

В. Г.: О том, как обстоит дело с переводами советской поэзии и драматургии, отчасти можно уже было составить себе представление. По-моему, наибольшей популярностью пользуются у нас в стране ваши поэты, хотя, конечно, и здесь можно еще многое сделать. С переводами современной советской прозы мы, случается, опаздываем, порой упуская превосходные вещи. Из произведений Чингиза Айтматова нашим читателям, насколько мне известно, пока знакомы только «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке» и «Белый пароход». А между тем разве не заслуживает быть переведенным на хорватскосербский роман «И дольше века длится день»? Но убедить издателей ввести в обиход новое имя, новое крупное произведение нелегко. Они руководствуются прежде всего коммерческими соображениями, неохотно идут на риск. Мои коллеги — переводчики из Белграда,— пожалуй, более оперативны и настойчивы: благодаря их усилиям наш читатель может познакомиться с творчеством Юрия Трифонова, Валентина Распутина. Переводят и Василия Шукшина, хотя, на мой взгляд, недостаточно и как-то робко. Лично я восхищаюсь его прозой и думаю, что переводческие трудности, связанные с передачей его яркого, образного языка, вполне преодолимы.

Н. В.: Каковы Ваши пожелания советским переводчикам югославской литературы? Что из недавно вышедших произведений могли бы Вы рекомендовать к переводу?

В. Г.: Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что отнюдь не причисляю себя к специалистам по литературам Югославии. Далеко не все, заслуживающее внимания, удается прочесть. Поэтому мои пожелания будут носить чисто личный, «читательский» характер. Кстати, многое из того, что мне представляется интересным, у вас уже переведено или переводится: молодая проза, драматургия. Хорошо, что вышли книги таких своеобразных писателей, как Драго Янчар, Андрей Хинг. Недавно изданы три пьесы одаренного молодого Горана Стефановского. Естественно, из всей нашей многонациональной литературы я лучше всего знаю свою, хорватскую. Думаю, что заслуживают перевода две поэтессы: Весна Парун, чьи отдельные стихотворения знакомы советским читателям, и Весна Крмпотич — автор своеобразной философской лирики, навеянной индийскими впечатлениями. Популярен роман Павле Павличича «Белая Роза» — неплохой образчик современного детектива. Кстати, он, кажется, вот-вот выйдет в издательстве «Радуга». Из писателей других республик кроме упомянутых мной словенских и македонских авторов в последнее время привлекли внимание критики сербские писатели Борислав Пекич, Слободан Селенич, Живойин Павлович. Большим успехом пользуется исторический роман Данко Поповича «Книга о Милутине».

Н. В.: Какие же проблемы стоят в центре внимания югославских писателей в последнее десятилетие?

В. Г.: В центре внимания всей послевоенной югославской литературы находится, по общему признанию, проблема гуманизма. Естественно, каждое поколение писателей по-своему осмысливает исторический опыт, привносит в литературу нечто новое.

Прозаиков и драматургов последнего десятилетия занимают темы, связанные с поворотами европейской истории, истории Югославии в послевоенные годы. Литература вновь обращается к вопросам личной и социальной морали, затрагивает такие темы, как взаимоотношения личности и общества, доверие к человеку, его ответственность за свои поступки. К сожалению, большая часть этих произведений появилась тогда, когда острейшие вопросы нашей жизни уже были так или иначе разрешены самим ходом общественного развития. Книги эти отличает репортажная манера изложения и попытки «найти виновных». Это не относится, пожалуй, только к повести Драгослава Михаиловича «Когда цвели тыквы». Но все-таки хорошо, что подобные книги пишутся и выходят — в конечном итоге это оздоровляет общественный климат.

Еще одна тема, присутствие которой ощущается в литературе наших дней,— осмысление национальной истории, в том числе и истории культуры. Одно из лучших произведений такого рода — написанная Чедо Прицей пьеса «Отставка», посвященная видному театральному деятелю прошлого века, основоположнику современного хорватского театра Степану Милетичу. Режиссер Георгий Паро выпускает спектакль по этой драме в Хорватском национальном театре. Воссоздание ключевых моментов нашей духовной истории стимулирует мысль, активизирует нравственные искания.

Н. В.: Прежде чем закончить интервью, позвольте задать традиционный вопрос: каковы ваши творческие планы на ближайшее будущее?

В. Г.: Планы мои прежде всего касаются русской поэзии. Лет двадцать назад я издал переводы стихотворений Сергея Есенина. Сейчас к ним прибавился перевод поэмы «Анна Снегина» и еще нескольких произведений. Книгу эту я хочу назвать «Рябиновый костер». Считаю своим долгом закончить давно начатую работу над сборником стихотворений двух прекрасных русских женщин — Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Мечтаю выпустить стихотворения Велимира Хлебникова. Я в восторге от недавно вышедшей в Москве книги этого поэта. С нетерпением жду появления сборника, анонсированного издательством «Советский писатель».

Н. В.: И наконец, последний вопрос: что следовало бы улучшить в организации сотрудничества и обмена опытом переводчиков художественной литературы?

В. Г.: Позволю себе ответить с полной откровенностью. В деле перевода современной литературы очень важны два момента: своевременная информация и столь же своевременное получение необходимых книг. Я побывал во Всесоюзном агентстве по авторским правам, в издательствах, получил исчерпывающую информацию о том, что выходит в ближайшее время, получил рекомендации, но... не смог получить уже вышедших книг.

С трудом и не всегда вовремя добывая необходимые нам советские издания через своих личных друзей, мы порой вынуждены приобретать западные публикации, далеко не всегда доброкачественные и объективные. Нам необходимы советские издания Хлебникова, Гиппиус, Гумилева, чтобы снабдить наши переводы надежным научным аппаратом. Во время встреч издателей и зарубежных переводчиков русской и советской литературы столы должны буквально ломиться от книг и журналовв. Это будет ее лучшей пропагандой.

Н. ВАГАПОВА

◆

Редакцию посетили...

ГЮНТЕР ХЕРБУРГЕР (ФРГ)

В декабре 1986 года в нашей стране побывал западногерманский писатель-коммунист Гюнтер Хербургер, автор многих произведений (рассказов, стихотворений, романов и сценариев). На русский язык переведены пока лишь некоторые его стихи.

— Я родился в 1932 году и принадлежу к поколению детей военной поры, — рассказывает писатель. — Моя семья была расколота на две части: в ней были как рьяные нацисты, так и противники режима. Мой отец погиб на фронте. Меня воспитывала мать и ее родители — люди либеральных взглядов. Когда я, одиннадцатилетний мальчик из гитлерюгенда, приходил домой, дедушка включал радио, и мы слушали передачи из Англии и Швейцарии, в которых говорилась правда о фашизме.

После войны на смену старым педагогам пришли учителя-антифашисты. Тогда я начал знакомиться с настоящей литературой.

Я проучился год в университете Мюнхена, затем столько же в Париже: я знал французский, которому меня научил дедушка, читал французские книги. Затем десять лет скитался по Европе и Северной Африке, испробовал множество профессий. Был чернорабочим, санитаром. Узнал, что такое безработица. Жил на улице. Познал голод, холод, унижения. Одно время, чтобы как-то прожить, вынужден был даже воровать... В начале 60-х годов я очутился в Западном Берлине. Тогда и начал писать. Это занятие увлекло меня: писал стихи, прозу. Так и стал писателем...

Г. Хербургер, без сомнения, один из значительных авторов среднего поколения, пишущих на немецком. Он из тех, кто не подстраивается под моду, не приглаживает свои произведения в угоду публике. Первый сборник рассказов Г. Хербургера вышел в 1964 году. Затем он писал сценарии для радио, телевидения и кино, выпустил несколько книг лирических стихов, опубликовал романы «Месса» (1969) и «Иисус в Осаке» (1970). По рассказам Хербургера «Завоевание цитадели» и «Старший учитель Хофер» в ФРГ сняты фильмы, вызвавшие интерес.

Г. Хербургер известен и как автор детских книг «Бирне может все» и «Бирне может еще больше». Его новые произведения, романы «Полет в сердце» и «Глаза борцов», — части большого эпического повествования «Туя».

— Мой метод можно сравнить с работой импрессионистов, — продолжает писатель. — Это метод наблюдения, скольжения по поверхности, фантазии с последующим внезапным возвращением в действительность. Фантастическая литература очень близка мне.

Своими учителями Г. Хербургер считает Германа Броха, Исаака Бабеля. О Бабеле писатель говорит с восторгом:

— Тонкий психологизм, глубокий лиризм, колоритная речь героев, живость характеров, яркая метафора — все это в сочетании с революционным пафосом, показом силы Советской власти и жестокой романтики эпохи. И вдруг — состояние меланхолии, трагедии содеянного. Я очень рад, что Бабель не только родствен мне по духу, но и, как оказалось, близок географически: в тринадцати километрах от Исны, где я родился, в местечке Пфронтен, есть кладбище, на котором покоятся предки Исаака Бабеля. Семья Бабеля выехала из Германии в Россию в начале XIX века. Так что мы с Бабелем земляки.

Нынешняя поездка Гюнтера Хербургера в СССР — третья встреча с нашей страной. Писатель был у нас дважды в 1983 году: в составе делегации ГКП по вопросам культуры и для участия в международном марафонском забеге в Москве.

— Новая встреча с вашей страной просто замечательна. Сбылась моя мечта посмотреть Сибирь. Путешествие было таким же, как стиль моих произведений, — фантастическим! — говорит писатель. — Я хочу еще и еще приезжать в СССР, собираюсь писать о Михаиле Булгакове: я посетил его дом в Москве на Садовой, надеюсь, что здесь создадут музей. Буду рад, если мою прозу переведут на русский язык и меня лучше узнают в вашей, ставшей мне близкой, стране.

ТАТЬЯНА КОБЗЕВА

К нашим иллюстрациям

На коне мечты

«Если вы знакомы с современным искусством Индии, значит, вы знаете и Хусейна»,— утверждает известная индийская журналистка Сара Абрахам. Новая серия акварельных работ 72-летнего Макбула Фиды Хусейна, по единодушному мнению критиков, явилась крупным успехом замечательного мастера. Эта серия была закончена Хусейном почти через сорок лет после первой в его жизни выставки. Тот 1947 год был концом английского правления в Индии и началом творческого восхождения никому не известного рисовальщика киноафиш, твердо решившего стать художником.

Сегодня в Индии существует «мода на Хусейна». Завсегдатаи светских салонов Бомбея, Дели и Калькутты стремятся блеснуть «знанием периодов» маэстро, знакомством с его многочисленными сериями и творческими экспериментами. Картины его давно уже стали самыми дорогими в стране — стоимость некоторых из них достигает астрономической суммы в пятьдесят, а то и в сто тысяч рупий. Обладание «подлинным Хусейном» является символом преуспевания владельца картины, свидетельствует о его безукоризненном художественном вкусе. С грустной улыбкой Хусейн рассказывал, что получает множество писем, в которых хозяйки богатых домов сообщают размеры своих гостиных, цвет обоев и просят его поскорее нарисовать для них знаменитых хусейновских коней, «непременно вдохнув в них душу». При этом они обычно добавляют, что цена для них не имеет значения...

«Пикассо Индии», «индийский Сальвадор Дали», «гений», «законодатель вкусов» — так называют почитатели, критики, пресса этого эксцентричного, непредсказуемого, вызывающего споры и в то же время такого традиционного, истинно индийского художника. Известность Хусейна шагнула далеко за пределы Индии. Совместная работа с французским художником и модельером Пьером Карденом, выставки в Сен-Паоло (с Пикассо), в Нью-Йорке, Париже, Вене, Лондоне, Токио, после которых знаменитые картинные галереи мира покупали Хусейна для своих коллекций, солидные монографии, выпущенные известными издательствами в США и Швейцарии,— все это принесло художнику международное признание. «Слава пришла ко мне с сединой и скорее всего случайно»,— шутит Макбул Фида Хусейн. Он с нескрываемой иронией относится к ажиотажу вокруг своих работ и к оценкам «знатоков» Двадцать лет назад, когда его известность только начиналась, Хусейн проделал эксперимент, чтобы выяснить, как он выразился, «кто есть кто» среди искусствоведов и критиков. Серию из 22 картин о южноиндийском штате Керала он выставил в одной из самых престижных картинных галерей Бомбея — «Пундоле арт гэллери». По договоренности с владельцем галереи, старинным другом художника, все картины Хусейна были без его характерной подписи и подавались публике как работы молодого талантливого художника. Ни одна из них не была продана или удостоена внимания. Когда же через девять месяцев те же картины были снова выставлены уже с подписью Хусейна, они в течение получаса разошлись по цене, втрое превышавшей стоимость картин «молодого талантливого художника».

Истинными ценителями искусства Хусейн считает простых людей, среди которых он рос и с которыми никогда не порывал связей. Древний эпос, богатейший индийский фольклор, традиции искусных ремесленников, яркие краски и шум деревенских ярмарок являются тем источником, из которого Хусейн черпает материал для своих картин и по которому сверяет свою палитру. Его живопись формировалась под воздействием выразительной скульптуры древних индуистских храмов, старинной миниатюры «басоли» и красочных народных танцев Раджастхана. Как писал известный индийский искусствовед С. С. Капур, в картинах Хусейна «неясные, интуитивные, зачастую традиционные символы слиты воедино с современными формами и имеют как сегодняшнее, так и вневременное звучание. И если наивную чистоту можно счи-

тать первоосновой искусства, то такая наивность — главная, отличительная черта творчества Хусейна. Лучшие работы этого абсолютно современного художника остаются в то же время и как бы глубоко архаичными».

Хусейн любит вывозить свои картины в отдаленные деревни и показывать их крестьянам. Не было еще случая, рассказывает он, чтобы картины им не понравились или их не поняли, как это иногда случается в больших городах. Когда он разрисовал свой «Фиат» цветами и фигурами танцовщиц и коней газеты долго судачили об очередной экстравагантной выходке Хусейна. Но в деревне его машину восприняли как должное и в отличие от Бомбея не забросали камнями — в Индии издавна существует традиция раскрашивать повозки, особенно к праздникам.

Макбул Фида Хусейн родился в Солапуре, захолустном городке штата Махараштра, в 1915 году в семье счетовода. Его мать умерла, когда Хусейну было шесть месяцев, и он вместе с остальными семью детьми остался на руках отца и деда. Семья Хусейна не имела особенного достатка, но, заметив раннюю склонность Макбула к рисованию, отец все же отправил его в художественную школу в городе Индауре, где Хусейн проучился около года. На этом формально его художественное образование закончилось. Макбул много ездил по городу и его окрестностям на стареньком велосипеде, рисовал портреты встречавшихся ему по дороге людей, фантастические закаты, плавные индаурские пейзажи. Он с жадностью всматривался в яркие краски народных гуляний, свадеб и танцев, рисовал детские игрушки, повозки и особенно лошадей. Знаменитые кони, которые прославили Хусейна в Индии и за рубежом,— это воспоминания бедного детства, впечатления от праздничных балаганов и торжественных выездов индаурского махараджи. Позже пришли конь пророка Мухаммеда Дульдул, конь Чинтамани или священный конь древнего жертвоприношения Ашвамедха. «Мои кони созданы воображением, я никогда не делал зарисовок с натуры,— признавался Хусейн.— Меня вдохновил один китайский художник, чьи кони были нарисованы широкими, энергичными мазками. Это кони мечты, соединение мощи и грации, женственности форм и силы дракона».

Ровно пятьдесят лет назад Хусейн переехал в Бомбей, где стал зарабатывать на хлеб рисованием киноафиш. «Индийский Голливуд» — Бомбей — вступал тогда в пору своего расцвета, и молодой Хусейн уже не боялся остаться без куска хлеба, хотя и на большее тоже не мог рассчитывать — за афиши он получал всего шесть пайс в день. По вечерам Хусейн изучал анатомические пособия в соседнем медицинском колледже, рисовал по памяти сюжеты из кинофильмов, делал детские игрушки на продажу. Здесь, в закопченных переулках мусульманского квартала Гранд-роуд, он прожил с женой и шестью детьми целых двадцать лет в одной-единственной комнате. Хусейн навсегда остался верен улочкам, на которых он учился живописи у жизни и откуда началась его слава.

Сегодня художник живет в многоэтажной башне, построенной на отвоеванной у моря земле. Его квартиру узнает любой — на белой двери характерной хусейновской кистью изображены неизменные кони, танцовщицы, цветы. Угощая крепчайшим чаем, налитым в глиняный стаканчик, Хусейн роняет тихие слова на хинди в свою белую шелковую бороду, за которую его прозвали «пророком». «Мне кажется, что я сделал очень мало,— говорит он,— я чувствую, что могу гораздо больше. Поэтому мне не сидится на одном месте, я много путешествую. Без впечатлений нет творчества. Но куда бы я ни поехал, меня всегда тянет домой. Нигде, кроме Индии, я жить не могу. Здесь мои корни».

Художник теперь все чаще возвращается к истокам, ко дням своей молодости. Тридцатилетний Хусейн был свидетелем агонии британского правления в Индии. В двух шагах от Гранд-роуд впервые в адрес колонизаторов прозвучало гневное «Вон из Индии!» Махатмы Ганди. Хусейн впитывал приметы исторических событий, он рисовал «отца нации» М. Ганди, Джавахарлала Неру, точным сатирическим пером изображал английских колониальных властителей и их индийских сатрапов. У Хусейна-художника свои счеты с колонизаторами. «Двести лет британского правления,— говорит он,— разрушили наше мировосприятие, отторгли нас от наших культурных традиций, нам навязывались чуждые каноны, чуждые ценности, а наши собственные именовались «варварскими». Тогда как нашу культуру разрушали настоящие варвары. Мы отвергли их школу и начали собственный поиск». В 1948 году Хусейн вступил в бомбейскую группу прогрессивных художников, в которую в то время уже входили Суза, Бакре, Ара, Гаде, Раза, ставшие впоследствии признанными мастерами живописи независимой Индии. «Моя новая акварельная серия «Британское правление»,— говорит Хусейн,— это сатира. Я хотел создать собирательные образы. В детстве в Индауре я видел, как махараджа пресмыкался перед британским чиновником, как развлекались колонизаторы и богатели ростовщики. Мои акварели — обобщение портретов конкретных людей, которые предавали Индию».

Макбул Фида Хусейн — член верхней палаты парламента Индии. В прошлом году он поднял свой авторитетный голос в защиту единства индийской нации, против попыток обострить межобщинные противоречия в стране. Вместе с другими известными художниками Индии он поддержал призыв Комитета к межобщинной гармонии, призыв начать кампанию против сил коммунализма. В нынешнем году он возглавил жюри всеиндийского конкурса молодых художников, в рамках которого проводятся выставки, семинары и творческие дискуссии, в которых он принимает живейшее участие.

У себя в мастерской он продолжает экспериментировать. Пробует силы в фотографии, скульптуре, поэзии урду, написал книгу «Рассказ о кисти», снял несколько фильмов, раскрывающих лабораторию творчества, один из которых — «Глазами художника» — получил приз «Золотой медведь» на международном кинофестивале в Берлине в 1967 году. Хусейн расписал потолок католической церкви в Бомбее, построенной известным индийским архитектором Чарльзом Корреа, оформил здание нового международного аэропорта имени Индиры Ганди в Дели.

На одной из первых зарубежных выставок Хусейна в 1961 году в Нью-Йорке, когда в Америке абстракционизм находился в зените славы, один критик, пораженный «старомодностью» его полотен, поинтересовался, почему Хусейн продолжает рисовать человеческие фигуры, ставшие «неактуальными в современном искусстве». «Как я могу рисовать абстракции, когда вокруг меня 600 миллионов обездоленных?» — ответил художник. Глубокое уважение к ценности и неповторимости человеческой жизни, сострадание к боли являются краеугольным камнем его творческого кредо. Хусейн остро реагирует на человеческое горе. Так было, когда он откликнулся серией плакатов на террор пакистанской военщины в 1971 году в Восточном Пакистане, а позже — серией незаконченных кричащих картин — на бойню в палестинских лагерях Сабра и Шатила и серией полотен о насилии и терроризме после трагических событий в Дели осенью 1984 года. Хусейн испытал настоящее потрясение, когда услышал о трагической гибели премьер-министра Индии Индиры Ганди. В тот день, 31 октября 1984 года, он нарисовал большое полотно в тревожных черно-красных тонах, положившее начало новому циклу картин, в которых художник выразил свою ненависть к жестокому и трагическому недугу, поразившему двадцатый век — политическому убийству. В названии одной из тридцати картин этого цикла стоит известное всему миру слово Бхопал — трагедию жителей этого города Хусейн поставил в один ряд с гибелью Махатмы Ганди, Сальвадора Альенде, Гарсиа Лорки, Патриса Лумумбы, Маджибура Рахмана.

Хусейн всегда в гуще политических событий. Он социален. Его позиция выверена всей его жизнью. Будучи мусульманином по рождению и воспитанию, глубоко ощущая традиции исламской культуры, художник в то же время служит своим творчеством всей многоликой культуре Индии. Его циклы «Рамаяна» и «Махабхарата» свидетельствуют о широте его мировоззрения, свободного от шор коммунализма. И это, в частности, делает Хусейна необычайно современным и актуальным.

«Поразительная работоспособность Хусейна,— пишет Сара Абрахам,— не дает многим увидеть стоящий за его полотнами труд. Полная самоотдача в сочетании с упорством, сдержанностью, тонким восприятием, глубинным проникновением, твердостью руки и наивностью ребенка делают его таким, каков он есть». Сейчас Хусейн работает над новой серией картин под общим названием «Двадцатый век». Через галерею портретов людей, сыгравших в нашем веке важную роль в судьбе человечества, Хусейн хочет показать вчерашний и сегодняшний день нашей планеты — то, что он наблюдал на протяжении всей своей жизни и какой он видит нашу планету сейчас. «Я не уверен, что успею дожить до конца этого века,— улыбаясь, говорит 72-летний художник.— Поэтому я должен торопиться».

А. Т ОРЛОВ
Бомбей

На снимках — работы М. Ф. Хусейна.

Среди книг

Издано в СССР

С БАРАБАНОМ И ТРЕХСТРУНКОЙ

Лао Шэ. Сказители. Роман. Перевод с китайского и предисловие Н. Спешнева. Москва, «Радуга», 1986.

Театральные подмостки и нелегкая участь тех, кто ступает на них,— этой теме посвящены десятки произведений литературы и искусства. В Китае театральное действо издавна было популярнейшим зрелищем, но актеры считались париями, актерство — презренным занятием. Об этом писали выдающиеся драматурги и прозаики — Тянь Хань, У Узугуан, Чжан Тяньи, Лао Шэ.

Лао Шэ был знатоком и страстным поклонником театра. Он знал и о закулисной, порой неприглядной и позорной, стороне актерской жизни. В повести «Актер» запечатлена трагическая история талантливого юноши. Известно, что среди актеров Пекинской оперы — традиционного китайского театра — не было женщин. Амплуа героя повести — женские персонажи. Не в силах противостоять домогательствам пресыщенных толстосумов, он вынужден и в жизни играть эту роль. Все глубже увязая в трясине порока, он меняет «покровителей» и, наконец, оказывается выброшенным, как надоевшая ненужная игрушка.

Впервые в китайской литературе Лао Шэ написал об актерах-сказителях. Немало страданий и унижений приходилось на их долю. Недаром говорили: «Век заниматься сказительством — три века маяться». Лао Шэ с детства заслушивался сказами и речитативами шошудов. Во время антияпонской войны этот популярнейший среди простого народа жанр превратился в действенное орудие патриотической пропаганды. Писатель сблизился со многими рассказчиками, тесная дружба связала Лао Шэ и с довольно известным тогда сказителем Фу Шаофаном и его приемной дочерью. Немало впечатлений военных лет легли в основу романа «Сказители» (1948—1949).

Необычна судьба этого произведения. Оно было написано во время пребывания Лао Шэ в Америке, куда он был приглашен в порядке культурного обмена, и только через тридцать с лишним лет роман пришел к китайскому читателю. Оригинал «Сказителей» был утерян, оставался лишь англоязычный вариант. Обратный перевод на китайский выполнила Ма Сяоми, лично знавшая Лао Шэ и тех артистов, которые стали прообразами героев романа.

Роман повествует о семье актеров, не захотевших остаться в оккупированной японцами столице. В гоминьдановском Чунцине сказителю Баоцину, чтобы иметь возможность выступать, приходится завоевывать благосклонность власть имущих, терпеть интриги и непорядочность коллег, идти на всякие ухищрения в конкурентной борьбе. К этому добавляются семейные беды: гибнет под бомбежкой брат; постоянно скандалит жена, не расстающаяся с бутылкой; обманута и опозорена дочь; несчастна и Сюлянь, его приемная дочь. Но Баоцин находит в себе силы противостоять ударам судьбы. Барабан и трехструнка для него не только средство заработать на жизнь — в его душе живет подлинный артист, и в этом источник оптимизма и неукротимой энергии героя. Баоцин мечтает о своем театре и школе сказа, он пытается отстоять право артиста на человеческое достоинство преодолеть веками складывавшееся представление о врожденной порочности людей искусства. Так, при виде бездельников, бесцеремонно заявляющихся в его квартиру, чтобы поглазеть на Сюлянь, он вынужден сдерживать гнев. Но когда одна из актрис начинает обхаживать «дорогих гостей», Баоцин взрывается: «Я попрошу вас запом-

нить — здесь не публичный дом, здесь театр». Огромное воздействие на Баоцина оказывает друг семьи — революционный писатель Мэн Лян (по свидетельству вдовы Лао Шэ, художницы Ху Цзецин, образ во многом автобиографичен). Сказитель все глубже осознает гражданский долг артиста, он вступает в Организацию сопротивления Японии, участвует в бесплатных концертах. Сопоставляя образ Баоцина с героями повести «Актер» или известного романа «Рикша», раздавленными враждебной средой, можно видеть его принципиально новые черты. Они говорят о переломе в мировоззрении писателя, который поверил в нравственную силу и социальную значимость человека из народа.

Те же идеи звучат и в поэтическом образе юной сказительницы Сюлянь; перипетии ее драматической судьбы — сюжетный стержень романа. Сюлянь, как это было принято в Китае, куплена у нуждающихся родителей и обучена ремеслу песенного сказа. Не сразу она осознает унизительность своего положения. Сначала немного наивная, по-детски восторженная, она вдруг начала замечать презрительные взгляды окружающих, циничное внимание чужих мужчин. Взрослея, Сюлянь понимает, что певичке и сироте уготован путь на панель либо незавидная участь быть проданной в наложницы какому-нибудь богачу. Мучаясь и тоскуя, она ищет и не находит выхода из порочного круга. В горестных раздумьях о невозможности стать свободной, сохранить достоинство, Сюлянь даже приходит к мысли о самоубийстве. Лао Шэ выступает здесь мастером психологического женского портрета. Эта сторона дарования прозаика известна советскому читателю, знакомому с пронзительными страницами горькой исповеди героини его повести «Серп луны». В романе передан противоречивый, изменчивый мир души взрослеющей девушки. В нем преобладают минорные тона — это муки одиночества и тоска по любви, гнетущий страх быть проданной, «как курица», боль и разочарование обманутого чувства, но над всем торжествует отчаянное стремление жить и во что бы то ни стало отстоять себя как личность. Недаром в имени героини заложен традиционный символ стойкости и чистоты — Сюлянь означает «прекрасный лотос», цветок, «уходящий корнями в тину, но не запачканный ею». Пережитое не сломило девушку, а в чем-то и обогатило ее душу. Одухотворенней и глубже стало ее мастерство сказительницы, в голосе Сюлянь появились новые краски.

В романе Лао Шэ нашли сатирическое отображение нравы гоминьдановских заправил, спекулянтов, наживающихся в годы военной смуты. Таков шаржированный образ самодовольного Ли Золотого Зуба. Символом богатства для этого афериста являются золотые авторучки, и он постоянно носит их в нагрудном кармане — сразу четыре. Он решает жениться на сказительнице Циньчжу, не брезговавшей «побочным ремеслом» Больше всего ему импонирует ее умение тратить деньги — у самого Ли уже иссякла фантазия. В карикатурной манере описана их свадьба. Невеста стремится выглядеть знатной дамой, поэтому под шелковое платье «она нацепила три комплекта белья, пояс для чулок, корсет, накрутив поверх всего еще несколько метров атласа». Ни на минуту не расстается она с огромной веткой мэйхуа, символизирующей девичье целомудрие.

«Сказители» были созданы Лао Шэ перед самым возвращением в КНР. На родине, очевидно считая рукопись романа безвозвратно утерянной, он написал пьесу «Жемчужина Фан», которая стала драматургическим переложением, а частично и продолжением романа. Главные герои носят в пьесе уже другие имена, но основные черты характеров сохранены. Действие пьесы охватывает период 1948—1950 годов. Установление народной власти обусловило новый поворот в судьбах артистов, сбываются их мечты и чаяния. Но пьеса оказалась несколько растянутой, ее последний акт чрезмерно риторичен. Роман в художественном плане — более цельное и законченное произведение. Любопытно, что в нем стилизованы некоторые жанровые черты сказовой формы. «Сказители» — яркий пример глубоко народной основы творчества Лао Шэ, истоки которого уходят в далекую фольклорную традицию.

З. АБДРАХМАНОВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО ДУШИ

Нидзё. Непрошеная повесть. Перевод с японского, предисловие и комментарий И. Львовой. Перевод стихов А. Долина. Москва, «Наука», 1986.

Судьба этой книги, написанной без малого семьсот лет назад, может считаться поразительной и и даже чудесной. Список с ее утраченной рукописи, выполненный в XVII веке, пролежал несколько сот лет в хранилищах императорского дворца и был случайно обнаружен лишь в 1940 году.

А теперь благодаря труду И. Львовой и советские читатели могут присоединиться к числу ценителей и знатоков этого любопытного образца японской словесности. столь счастливо, хоть и несколько запоздало избежавшего забвения.

К началу XIV века, когда была создана эта книга, японская литература уже числила за собой богатую и давнюю историю. Особенностью этой истории было превалирование лирики над эпосом, своего рода предварение лирикой всех прочих литературных родов и видов. И хотя считается, что первый в мире роман родился на японской почве — я имею в виду прославленную «Повесть о Гэндзи, блистательном принце» Мурасаки-сикибу (XI в.),— его повествовательные формы отнюдь не сводятся к эпическому началу. Повествовательная традиция, предшествовавшая «Непрошеной повести», по большей части вырастала из поэтической стихии.

Особую линию составляли «никки» (дневники) и «дзуйхицу» (род эссе, написанные по принципу «следования за ки-

стью»), организованные в соответствии с чередованием впечатлений и событий, но и в этих эссе, как горные вершины среди долин и полей, высились поэтические творения их авторов и героев. Стихами — японскими и китайскими — проникнуты и произведения, которые принято относить к «военным анналам», то есть японскому военно-феодальному эпосу. Лирическая стихия питала и рожденную в смутное время феодальных усобиц «Непрошеную повесть» Нидзё, сочетающую элементы дневниковой прозы и поэтику ранних японских придворных романов.

Ее автор, придворная дама, в прошлом фаворитка принявшего постриг императора, безусловно, владела богатством литературной истории Японии и Китая и виртуозно слагала пятистишия, отмеченные не только изощренной техникой, но и, как того требовала литературная мода тех лет, непосредственностью сиюминутных переживаний.

Она пишет историю своей жизни, начиная с ранней юности, и к этой истории применимы слова старинного японского поэта, печалившегося в буддийском духе о непрочности всего сущего: «жизнь, как роса, упавшая на траву...».

Судьба этой женщины была неразрывно связана с императорским дворцом, резиденцией Повелителей Неба, которые уже давно не могли ни царствовать, ни управлять. Фактическая власть в стране принадлежала не аристократии, а клану самураев, и во дворце с его многочисленными флигелями и галереями сохранился своеобразный заповедник старинной культуры — с синтоистскими ритуалами и буддийскими церемониями, с традиционными структурами связей и отношений, с принятыми с незапамятных времен дворцовыми развлечениями, еще не утратившими привкус древней магической обрядности. По сравнению с веком «золотой древности» изменилось одно: тревожный и бурный мир за дворцовой оградой усилил буддийский компонент в сложном и многосоставном переживании мира. Бренность жизни, иллюзорность постоянства, вынужденный постриг императоров по распоряжению самурайских властителей, превратность судеб и отношений...

Ах, право, что явь,
что сон — все равно в этом мире,
где вечного нет,
ведь и вишен цвет, распустившись,
снова тотчас же опадает...

таково одно из пятистиший Нидзё, выражающее в канонически-хрестоматийном виде суть миросозерцания тогдашней придворной литературной элиты.

История Нидзё — тоже история бренности и превратности, рассказанная на буддийский лад и завершающаяся буддийской концовкой. И одновременно ее книга — это мир яркой индивидуальности, творческой и человеческой, мир напряженного чувства и мысли, живая душа, бьющаяся под бременем невзгод и несчастий...

«Монашество — обычный финал многих женских судеб в эпоху феодализма. И все-таки можно сказать, что жизнь Нидзё сложилась особенно несчастливо»,— пишет в предисловии И. Львова. В самом деле, в два года потерявшая мать, Нидзё к пятнадцати годам остается без отца, любившего ее более других детей. «Ах, если бы существовала дорога, по которой я могла бы уйти с ним вместе!» — горевала тогда Нидзё, повторяя слова, многократно до нее и после нее перефразированные в поэтических плачах и элегических стихах. А вскоре новый удар — умирает младенец, рожденный ею от императора. Теперь она уже не мать маленького принца, да и несчастье это, как она понимает, кара, посланная ей за грешную любовь к придворному Акэбоно, Снежному Рассвету.

Так начинается путь ее души к буддийскому монашеству — путь, заповеданный ее отцом на смертном одре: «Если в будущем любовь государя остынет, если у тебя недостанет средств по-прежнему жить при дворе и нести придворную службу, без колебаний, не мешкая, от чистого сердца прими постриг! Став монахиней, ты спасешься в будущем, потустороннем существовании и утешишь покойных родителей, сможешь молиться, чтобы всем нам снова встретиться в едином венчике лотоса...»

А какова была альтернатива? Стать «девой веселья» или уступить домогательствам человека низкого и недостойного...

Затруднительно, да и излишне было бы пересказывать сюжет средневековой повести, живой и изысканной, поэтической и полной событий, которыми богата любая человеческая история. Читатель найдет в ней и увлекательный сюжет, и предания о буддийских праведниках, и описания придворных игр и обрядов, и переписку влюбленных, и дневник святого паломничества придворной красавицы, ставшей монахиней Нидзё... А так как во всем священном и религиозном для японцев всегда был ощутим слой художественного и эстетического, паломничество Нидзё — это и паломничество по «храмам природы», и поэтическое паломничество — по местам, где некогда останавливался и слагал свои пятистишия преподобный Сайгё, прославленный поэт средневековья, или — к могиле гения древней поэзии Какиномото Хитомаро, причисленного традицией к лику Бессмертных.

Книга завершается обдуманной концовкой, венчающей это биографическое, бытописательное, возвышенно-поэтическое повествование: «Я думала о превратностях моей жизни, но размышлять в одиночестве о пережитом было невыносимо, вот почему, подражая Сайгё, я отправилась странствовать. А чтобы не пропали бесследно мои думы, написала я сию непрошеную повесть, хотя и не питаю надежды, что в памяти людской она сохранится...» Надо сказать, композиция книги и ее финал дают основания считать книгу завершенной. И все же неизвестный переписчик XVII века заканчивает свой труд пометкой: «В этом месте рукопись опять отрезана, и что написано дальше — неизвестно». Что ж, может быть, и в самом деле, в каком-нибудь старом монастыре

отыщется продолжение этой «непрошеной повести», чтобы не оскудела сокровищница «памяти людской»...

Л. ЕРМАКОВА

МОРАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ РУФУСА ДОУЗА

Маркус Кларк. Осужден пожизненно. Перевод с английского И. Головня и Т. Сикорской. Вступительная статья А. Петриковской. Москва, «Художественная литература», 1986.

У каждого народа есть «живая классика» — любимые книги, читаемые из поколения в поколение. Как правило, такие произведения глубоко связаны с национальной историей и несут большой заряд гуманистических идей. Это помогает им находить путь к сердцам и умам читателей последующих эпох.

Есть такие книги и у австралийцев. В истории этой молодой нации (в 1988 году Австралийский Союз будет отмечать свое 200-летие) немало суровых и мрачных страниц. И прежде всего — колониальное прошлое, тесно связанное с жестоким режимом каторги. Не секрет, что освоение европейцами пятого континента начиналось с превращения Австралии в «самую крупную тюрьму Британской империи».

Естественно, что в австралийской литературе XIX века тема колониального опыта и каторги стала определяющей, а первые романы «Квинтус Сервинтон» (1830—1831) Г. Сейвери и «Приключения Ральфа Рэшли» (1829—1845) Дж. Такера были написаны каторжниками. Но если книги Сейвери и Такера, а также Ч. Роукрофта и А. Харриса сохраняют сегодня литературный интерес, то роман Маркуса Кларка «Осужден пожизненно» (1870—1872) и сейчас пользуется неизменной любовью австралийских читателей. Все возрастающее внимание уделяют ему и литературоведы.

В предисловии к роману писатель говорит, что «ранее художественная литература изображала каторжника либо в начале, либо в конце его жизненного пути», он же «стремился показать не только весь механизм английской каторжной системы, тщательно разработанной и проводимой под эгидой властей, но также и плоды этой системы»[1].

Увлекательный, во многом опирающийся на опыт романтизма, роман Кларка «Осужден пожизненно» сегодня мы вправе рассматривать как исторический, но вряд ли роман мог считаться историческим в момент выхода в свет, когда каторга, ее ужасы и трагические последствия были совершенно недавней реальностью. Живы были и поднадзорные, и надзиратели, отбывали свои сроки пожизненно осужденные. А главное заключалось в том, что австралийское общество за столь короткий срок еще не смогло освободиться от психологических стереотипов, навязанных мрачной Системой, почему роман Кларка воспринимался как современный, как обвинение Системе, калечащей людей.

Невинно осужденный и навечно сосланный на каторгу молодой англичанин Ричард Дивайн (чтобы не компрометировать мать, он называет себя Руфусом Доузом), за неполных двадцать лет, проведенных в тюрьмах Австралии, проходит все круги ада, но в итоге оказывается несломленным духовно и одерживает моральную победу над своими врагами. За исторической достоверностью, правдивостью изображения жизни английского и австралийского общества XIX века, за страшными реалиями каторги с ее карцерами, треугольниками, поркой, виселицами, физическими извращениями, людоедством и т. п. в романе раскрывается как бы второй уровень, его глубинный гуманистический смысл: победа человеческого духа, в основе которого такие высокие моральные качества, как самопожертвование, сострадание, доброта, любовь. Сам отверженный и бесправный, понимающий невозможность возвращения к прежней жизни, к прежнему социальному статусу, герой Кларка все же сохранил тот духовный стержень, который помогает ему оставаться человеком в нечеловеческих условиях, так что книга эта не только и не столько о физических пытках и истязаниях, которые способен вынести человек, сколько проверка в экстремальных условиях его моральных сил. Как раз этот философский, морально-психологический аспект романа и обеспечивает ему актуальное звучание и в наши дни.

Кларк беспощаден в обличении социального и нравственного зла, которое он персонифицирует в некоторых человеческих характерах. Среди них есть однозначные «черные злодеи», страшные в своем человеконенавистничестве и одновременно расчетливом прагматизме. Это кузен Доуза Фрер, ставший его тюремщиком и обманом завладевший возлюбленной Руфуса Сильвией. Это и преступник-людоед Габбет. По социальному положению они полярны, но одинаковы в своей бесчеловечной сущности.

Более сложен характер Джона Рекса, который выступает как двойник Руфуса Доуза. Внешнее сходство, объяснимое тем, что они сводные братья, только подчеркивает их полное моральное различие. Рекс — убийца, вор, мошенник, игрок; он присваивает себе имя и наследство Руфуса, обманывая его мать; бесчестен с женщинами и т. д. Его природный ум, сметка, сила, храбрость и бесстрашие, используемые только в личных целях, его эгоизм — все это дает отравленные плоды и еще более подчеркивает величие и силу духа главного героя. Одна из сильных сторон романа Кларка — его полемическая заостренность против ханжеского религиозного лицемерия. В переписке с доктором Мурхаусом (епископом Мельбурнским) Кларк выдвигал мировоззренческую концепцию,

[1] Кларк М. Осужден пожизненно. 1986, с. 23.

которая по существу была атеистической, он писал: «У нас долго была Религия без Морали; давайте попробуем теперь Мораль без Религии»[1]. Такая постановка вопроса была смелой и прогрессивной для своего времени. Кларк ищет лучшее в человеке, считает, что высокие моральные качества делают человека богоравным.

В романе сатирически представлены священнослужители. Один из них, Микин,— воплощение религиозного ханжества, патологической глухоты к страданиям своей паствы — заключенных. Страшнее священник Норт, внешне как бы олицетворяющий христианские добродетели, а на самом деле человек порочный и низкий. Для окружающих он — заботливый пастырь, но по существу — эгоист и вероотступник; для Доуза он сначала — воплощение надежды, а впоследствии — самого страшного зла, предательства.

Характер Норта настолько важен Кларку, что он заставляет Руфуса вести дневник, чтобы как можно полнее раскрыть внутреннюю жизнь священника, его сосредоточенность на собственном «я», на удовлетворении личных желаний и в конечном итоге — моральную слабость, сделавшую Норта орудием зла. Норт чем-то отвратительнее даже откровенных злодеев Фрера и Габбета, так как прикрывает эгоизм и своекорыстие проповедями о милосердии и любви.

Особую роль в романе играют женские характеры: мать Руфуса и Сильвия — ведь в ад австралийской каторги ввергла главного героя любовь к матери. Он, однако, ни разу не подвергает сомнению свой поступок: жертва во имя материнской чести кажется Доузу оправданной. Сильвия же, сначала — девочка, которую Доуз спасает от гибели на необитаемом острове, затем — жена Фрера, олицетворяет для страстотерпца любовь и сострадание. Даже когда он узнает, что Сильвия ничего не сделала для смягчения его участи, ее образ как символ чистоты и добра помогает ему выстоять, не сломиться душевно в самые страшные времена на каторге острова Норфолк. Создается впечатление, что образам матери и Сильвии и роману Кларка в целом присуща некоторая аллегоричность. Австралийская каторга — это конкретное социальное зло, порожденное колониальной политикой Великобритании, и прообраз экстремально враждебных человеку обстоятельств и общественных отношений, из которых может выйти духовно непобежденным только тот, кто до конца сохранил в себе Человеческое.

Впервые роман Кларка был переведен на русский язык в 1903 году. Предлагаемый современному читателю перевод заново выполнен Ириной Головня и Татьяной Сикорской Интересная вступительная статья А. Петриковской помогает читателю понять произведение, изображенную в нем эпоху.

О. ЗЕРНЕЦКАЯ

[1] What is Religion? A Controversy Between the Late Marcus Clarke and Dr Moorhouse (Bishop of Melbourne). Melbourne, 1895, p. 64.

Издано за рубежом

ОТ ЭПОХИ МАМЛЮКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Гамаль аль-Гитани. Итхаф аз-заман би-хикайат джалба ас-султан. Каир, «Дар аль-Мустакбаль аль-араби», 1984.
Гамаль аль-Гитани. Ахраш аль-мадина. Каир, «Ахбар аль-йаум», 1985.
Гамаль аль-Гитани. Диковинная история султанского брадобрея, 1984.
Гамаль аль-Гитани. Джунгли города, 1985.

К числу заметных событий литературной жизни Египта можно отнести почти одновременный выход в свет двух сборников рассказов одного из ведущих современных прозаиков страны Гамаля аль-Гитани. Перу сравнительно молодого автора — аль-Гитани родился 9 мая 1945 года — принадлежит более двадцати книг, в том числе восемь сборников рассказов, шесть романов и шесть книжек публицистики (военные репортажи, исторические очерки), литературоведческие работы. Для аль-Гитани-писателя характерно раннее творческое созревание. Свой первый рассказ он сочинил в четырнадцатилетнем возрасте, в 18 лет впервые опубликовался, в 1968 году вышел его первый сборник рассказов «Дневник юноши, жившего тысячу лет назад». Теперь книги аль-Гитани выходят уже одна за другой, его известность перешагнула границы Египта и арабских стран, его переводят на английский, французский, испанский, итальянский. На русском языке опубликованы некоторые его рассказы и роман «Аз-Зейни Баракят»[1]. Большинство рассказов сборника «Диковинная история султанского брадобрея» создано в конце 70-х — начале 80-х годов, лишь два написаны им в 60-е. Временной диапазон сборника «Джунгли города» значительно шире. Он подытоживает путь аль-Гитани-новеллиста на протяжении почти двадцати лет: в него входят рассказы, создававшиеся с 1962 по 1979 год. Собранные вместе, они позволяют проследить творческую эволюцию писателя, лучше оценить его вклад в развитие новеллистического жанра в литературе Египта и других арабских стран.

Шестидесятые годы, когда аль-Гитани сформировался как писатель, были эпохой правления президента Насера. Этот период характеризовался, особенно в начале, прогрессивными преобразованиями в жизни страны, общим подъемом культуры, рас-

[1] Гамаль аль-Гитани Аз-Зейни Баракят. Перевод с арабского Т. Кузьминой. Москва, «Радуга», 1986.

цветом литературы и театра. В то же время проявлялись негативные черты режима, связанные с авторитарными методами правления. Лица, высказывавшие свое недовольство, прежде всего деятели культуры, порой подвергались преследованиям и репрессиям. Поражение Египта в войне с Израилем в 1967 году показало внутреннюю непрочность положения страны.

Семидесятые годы, когда у власти стоял президент Садат, характеризовались чуть ли не полным отказом от достижений насеровского периода, воцарением капитализма в его наиболее циничных и варварских формах, разгулом спекуляции и американизацией образа жизни господствующей верхушки. Культура страны пришла в упадок. В ней все больше начал проявляться коммерческий, спекулятивный дух, писателей и деятелей искусства стали ценить не за талант, а за «гибкость спины», умение потрафить вкусам нуворишей. Многие литераторы не смогли устоять против соблазнов «сладкой жизни» и переметнулись в правительственный лагерь, но были среди них и такие, кто, несмотря на тяжелые испытания, сохранили верность высокому долгу художника: всегда и при всех обстоятельствах говорить правду. Среди них был и Гамаль аль-Гитани.

Египетские критики относят аль-Гитани к новеллистам так называемой «новой волны» — течения, сформировавшегося к середине шестидесятых годов среди молодых литераторов, считавших прежнее неореалистическое направление, которое господствовало в предыдущее десятилетие, слишком узким и прямолинейным и потому обратившихся к новым формам. У аль-Гитани, однако, сложная, порой причудливая форма не заслоняет реалистической основы произведений. В ранних рассказах писатель имитирует средневековые египетские хроники, рисуя картины народных бедствий и ничем не ограниченного произвола в период правления последних мамлюкских султанов накануне завоевания Египта турками-османами (1517 г.): это «Диковинная история султанского брадобрея», «Странная повесть об Али Ибн аль-Кясихе», «Снятие покрывала с известий об Ибн Саляме» и «Слеза плачущего по Тайбаге, защитнику обиженных». Но, описывая события давно минувших дней, аль-Гитани проецирует их на современность: его герои, обряженные в средневековые одежды и говорящие архаическим языком, воплощают социальные и психологические типы сегодняшних египтян, а нарисованные им картины безвременья и упадка вызывают в памяти арабские страны накануне израильской агрессии.

Однако уже в ранний период аль-Гитани не всегда придает современности исторический колорит, а со временем рассказы, непосредственно посвященные сегодняшнему дню, начинают преобладать, в частности, рассказы на военную тематику, выросшие из фронтовых репортажей: писатель во время арабо-израильской войны был корреспондентом газеты «Ахбар аль-яум» на Суэцком фронте. В сборник «Джунгли города» включены «Ракета «Земля — земля» — первое произведение аль-Гитани, переведенное на русский язык,— и «Рассказы о незнакомце», проникнутые глубоким патриотическим чувством, которое, однако, не мешает писателю остро видеть социальные проблемы Египта — огромную пропасть между простым народом, вынесшим тяготы войны, и пренебрежительно относящимися к нему чиновниками-бюрократами.

В трех рассказах повествуется о преследованиях за политические убеждения, об узниках тюрем и концлагерей и их судьбе после освобождения. (Два из них, «Джунгли города» и «Письмо девушки с Севера», написаны в первой половине шестидесятых годов, а третий, «Беспокойство», датирован 1980 годом.) Эта сторона жизни в Египте знакома аль-Гитани не понаслышке: в 1968 году он сам был осужден на шесть месяцев тюрьмы за участие в левом движении.

Ряд рассказов представляет собой сатирические зарисовки египетской жизни в период так называемого «инфитаха» — политики «либерализации» или «открытых дверей», провозглашенной Садатом. В них предстают неприглядные стороны египетской действительности: коррупция буржуазных верхов, лицемерие и демагогия властей, духовное убожество и тупость полиции, нищета и забитость народных масс. Таковы новые рассказы «Нагота», «На вахте», «Отбросы», «Урожай», «На политическом уровне», а также более ранний — «Трамвай», включенный в сборник «Джунгли города».

Сравнение ранних произведений аль-Гитани с теми, что созданы в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, говорит о значительном прогрессе его творчества. Писатель избавился от шероховатости стиля и языка, присущих ему прежде, его реализм стал более зрелым и глубоким, манера письма — проще и доходчивей.

А взятые вместе рассказы талантливого прозаика-гуманиста Гамаля аль-Гитани дают широкую панораму жизни египетского народа на протяжении последних десятилетий с интересными экскурсами в его историческое прошлое.

Л. СТЕПАНОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Mario Vargas Llosa. ¿Quién mató a Palomino Molero? Barcelona, «Seix Barral», 1986.

Марио Варгас Льоса. Кто убил Паломино Молеро? 1986.

Уже при первом взгляде на обложку нового романа перуанского писателя Марио Варгаса Льосы у читателя возникает мысль о том, что речь идет о детективе. Такое предположение быстро подтверждается. Повествование начинается с того, что в окрестностях перуанского города Талара обнаруживают обезображенный труп солдата Паломино Мо-

леро, который проходит службу на соседней военно-воздушной базе. Далее местная полиция расследует убийство и в конце концов обнаруживает виновников преступления...

Кто же и почему расправился самым зверским образом с тихим и робким парнем из бедной семьи, поэтом и гитаристом, которого даже в казарме с ее дикими нравами все любили за добрый характер и умение смягчать сердца своими болеро? Неписаные законы рецензирования детективных произведений запрещают отвечать на эти вопросы, чтобы не лишить читателя удовольствия от участия в раскрытии тайны.

Однако опуская детали — не столь уж существенные, поскольку ценность последнего романа Варгаса Льосы вовсе не в его закрученном сюжете,— отметим сразу: книга прежде всего интересна тем, что писатель в ней обращается к показу тех причудливых и чудовищных социальных фантасмагорий, которых так много на его родине. Эти стороны перуанской реальности, уродливое переплетение буржуазных порядков с патриархально-варварским укладом в Латинской Америке вообще (но особенно в Перу) ведут ко всепроникающему насилию верхов над низами, которое, по словам самого писателя, порождает «коллективное оподление, проявляющееся в самых разных социальных сферах». Жертвой такого «оподления» и стал Паломино Молеро, ибо — и тут мы чуть-чуть приоткроем завесу над тайной, заключенной в романе,— он, человек из отверженной касты бедняков, да еще с индейской кровью в жилах, осмелился полюбить чистой и беззаветной любовью девушку другого круга, дочь начальника военно-воздушной базы полковника Миндреау. И хотя действие романа Варгаса Льосы происходит в 50-х годах, а с тех пор даже в Перу многое изменилось, подобная история вполне могла случиться и в наши дни. Насилие — разнузданное, вседозволенное, ненаказуемое — продолжает твориться в этой стране и по сей день, и писатель это прекрасно знает: недавно он был председателем комиссии, расследовавшей зверское убийство в сельве Перу группы журналистов, которые, как считают в стране, были уничтожены по приказу распоясавшейся военщины.

Тот факт, что Варгас Льоса вдруг обратился к детективному жанру, на самом деле написав острый социальный роман, сам по себе не удивителен — к такому приему сейчас обращаются многие серьезные писатели Запада (в частности, и другой видный представитель «нового латиноамериканского романа», мексиканец Карлос Фуэнтес, написал политический детектив «Голова гидры»). Гораздо интереснее для нас другое обстоятельство: что перуанский писатель снова возвратился к тем социальным проблемам, с которыми он столь успешно дебютировал в литературе два десятилетия назад.

«Талант Варгаса Льосы, рано сформировавшийся, рано раскрывшийся талант однолюба,— писала в свое время видный наш ученый-литературовед И. Тертерян. — Он знает одну лишь тему — родину, Перу, ее прошлое и настоящее».

Правда, было в последнее время исключение из этого правила — роман «Война конца света» (1981), в котором писатель обратился к крестьянскому восстанию, происходившему в Бразилии в XIX веке; но и в этом значительном произведении он проецировал его проблематику на Перу. Однако в следующем своем произведении — романе «История Майты» (1984), в котором писатель пытается вскрыть корни ультралевацкого авантюризма в революционном движении Латинской Америки вообще, беспощадно разоблачая несостоятельность местных «революционеров»-троцкистов,— он снова обращается к реальностям своей страны. Стремясь обрести «второе дыхание» в своем творчестве, Варгас Льоса, долгое время живший в разных странах Западной Европы, где он преподавал в ряде университетов, возвращается на родину: воздух ее просто необходим ему, чтобы продолжать писать.

И вот — новый роман. Хотя он быстро разошелся и сразу же выдержал несколько изданий, подтвердив огромную популярность автора, критика в испаноязычных странах приняла книгу в общем благожелательно, но все же несколько сдержанно. Признавая, что роман написан твердой рукой мастера, все тем же свойственным Варгасу Льосе ясным и прозрачным языком, рецензенты отмечали, что в нем нет новых «открытий», что писатель как бы «повторяет пройденное».

Согласимся, что «Кто убил Паломино Молеро?» — не самый яркий и интересный роман писателя. Любому прозаику, даже исключительно талантливому, не всегда под силу удержаться на уровне прежних произведений, принесших ему широчайшую славу. Более того, отметим, что в этой книге особенно много натурализма, который, впрочем, характерен для всех произведений автора — по его убеждению, он вносит сочность в ткань прозы, делает ее демократичней, приближает читателя к мироощущению простых «людей улицы». Но все это, на наш взгляд,— не определяющее при оценке последнего произведения Варгаса Льосы.

А важно другое — роман его, по нашему твердому убеждению, свидетельствует, что писатель трудно и мучительно ищет свою подлинную тему. Именно отсюда — элемент «повторения пройденного», из которого он стремится черпать вдохновение, добиться нового прилива творческих сил.

Действительно, нельзя не заметить при первом же чтении, что в романе «Кто убил Паломино Молеро?» Варгас Льоса снова обращается к трагическим явлениям в жизни своей родины. Он ярко показывает социальную несправедливость, царящую в Перу, ужасающую нищету и безысходность, которая впервые поразила его, когда он еще подростком из зажиточной Лимы приехал учиться в провинциальный городок Пиура — эти будоражившие его совесть юношеские впечатления и легли в основу знаменитого романа «Зеленый дом», опубликованного в 1966 году и вышедшего затем практически во всех странах мира.

В новом произведении писатель возвращается к теме антимилитаризма, давно ставшей одной из ведущих в его творчестве — писатель расценивает реакционно настроенных военных своей страны как важную составную часть правящей элиты, угнетающей народ. Эту сторону жизни Варгас Льоса хорошо знает — он сам был кадетом офицерского училища «Леонсио Прадо», где на себе познал чудовищные нравы перуанской казармы, прошел школу выучки, насаждаемой мракобесной военщиной. Эти традиции и их ломающий психику человека эффект он показал в другом романе — «Город и псы», который был опубликован в 1963 году и также получил всемирную известность (отметим, кстати, что по этой книге чилийский режиссер Себастьян Аларкон, живущий в эмиграции в Советском Союзе, недавно снял фильм «Ягуар», с успехом идущий на наших экранах — тема и по сей день политически актуальна).

Возврат перуанского прозаика к своей исконной проблематике — независимо от того, насколько сильным оказался его последний роман,— безусловно сулит в будущем новые открытия, ибо творческий потенциал Варгаса Льоса, которому в прошлом году исполнилось 50 лет, огромен.

...На этом, казалось бы, можно и поставить точку. Однако этот краткий отклик на произведение выдающегося писателя был бы неполным, если бы мы умолчали и еще об одной стороне его деятельности, вызывающей споры.

В последние годы Варгас Льоса в отличие от большинства своих коллег — мастеров культуры Латинской Америки, стоящих на революционных позициях,— постепенно эволюционировал в сторону умеренно центристских взглядов. Это его право. Более того, он стал выступать в печати с заявлениями буржуазно-либерального толка, которые иногда многих шокируют. И это — его право. Но и наше право — категорически не соглашаться с Варгасом Льосой, когда он, высказываясь в защиту свободы творчества и прав человека и резко критикуя диктатуры на континенте, не всегда четко характеризует различия между странами, ставит под сомнение стратегию и тактику левых сил. Чем вызвана такая эволюция взглядов писателя: то ли инерцией старых ожесточенных споров, все больше утрачивающих ныне свою актуальность; то ли свойственным некоторым талантливым и самобытным художникам желанием во что бы то ни стало быть «не такими, как все» (вспомним яркий пример Борхеса, у которого был аналогичный «синдром»); то ли обостренным стремлением оградить свою внутреннюю независимость, отвергая любые догмы, с какого бы фланга они ни выдвигались? Нельзя забывать и того, что Варгас Льоса живет в сложном мире, под воздействием сильных, часто противоречиво действующих «полей»; так он долгие годы был президентом ПЕН-клуба и на этом посту испытывал мощное давление, хотя, к чести его должно быть сказано, находясь на этом посту, он не позволял себе ни одной реакционной декларации и стремился прежде всего сплотить писателей...

Тем не менее бросается в глаза поразительная «несовместимость» большой прозы писателя, подспудный политический смысл которой вполне четок и в целом прогрессивен, и отдельных его выступлений в печати, которые невнятны и малоубедительны. Романам его веришь, многим газетным статьям — нет. А по нашему твердому убеждению, истинное мироощущение писателя выражают как раз его романы, в которых он по-прежнему борется против социальной несправедливости, насилия угнетателей, поджигателей войн, остается верен единожды взятой им линии говорить правду о жизни своего многострадального народа, чьи тяготы и бедствия он ощущает сердцем. Именно это в нем нам интересно и важно.

А потому мы все ждем от Варгаса Льосы новых, больших и ярких прозаических произведений, каждое из которых — событие.

ХУАН ЮБО

◆

Из месяца в месяц

Австрия

«ТУРРИНИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТАЛАНТЛИВ»

На пресс-конференции, посвященной перспективам развития современного театрального искусства Австрии, новый директор венского Бургтеатра Клаус Пейман назвал среди лучших, по его мнению, драматургов страны Томаса Бернхарда и Петера Туррини.

Петеру Туррини всего 42 года. Он был сталеваром, складским рабочим, солдатом, директором отеля, актером, руководил дискуссионными клубами. Шестнадцать лет назад он написал свою первую пьесу «Зеро — зеро». Сейчас его имя не сходит с афиш крупнейших театров Австрии, ФРГ, ГДР.

«Петер Туррини, — отмечает газета «Фольксштимме» в рецензии на новую постановку психологической драмы «Детоубийство», — всегда с особой чуткостью откликается на наиболее острые проблемы современности; при этом успех его произведений не зависит от капризов моды».

«Туррини написал одну из самых ужасных, жестоких, пугающе правдивых пьес», — восклицает корреспондентка западногерманского еженедельника «Вохенпрессе» Элеонора Тун по поводу нашумевших народных сцен драмы «Заколоть свинью».

Одиночество, разобщенность, неумение и нежелание понять друг друга — таков круг проблем, которым посвящены пьесы Туррини «Йозеф и Мария», «Хозяйка», «Охота на крыс».

«Охота на крыс» — самая известная работа драматурга. Вот что пишет о ней западногерманское издание «Франкфуртер альгемайне цайтунг»: «Это горькая аллегория; сюжет ее подобен «герметическим структурам» Томаса Бернхарда. Пьеса свидетельствует о глубоком неприятии автором бездуховности и физиологичности. Великолепный язык и стиль не оставляют никаких сомнений в том, что Туррини по-настоящему талантлив».

В 1981 году прогрессивный австрийский режиссер Дитер Бернер снял по пьесе «Охота на крыс» художественную киноленту «Настоящий мужчина». Фильм «Альпийская сага», созданный Дитером Бернером по сценарию Петера Туррини на год раньше, стал этапным для кинематографа Австрии.

Албания

СОРОК ЛЕТ НАСТОЙЧИВЫХ УСИЛИЙ

В НСРА широко отмечается 40-летие албанского кино. «Наше киноискусство зародилось в первые годы народной власти. Оно отражало революционные преобразования в обществе, осуществлявшиеся под руководством партии, — пишет в посвященной юбилею статье газета «Зери и популит». — Особенно сильное развитие албанская кинематография получила в 60-е годы, количество выпускаемых в прокат кинолент значительно увеличилось, повысился их идейно-художественный уровень».

В настоящее время албанские кинематографисты ежегодно снимают 14 полнометражных фильмов. Такие фильмы, как «Маки на стенах», «Возмужание Беки», «Лицом к лицу» и другие, получили признание не только у албанской публики, но и за рубежом, были награждены различными призами и дипломами.

По случаю юбилея в столице страны Тиране прошло торжественное собрание, на котором с докладом «40 лет настойчивых усилий и труда по созданию нового национального искусства» выступил народный артист НСРА, директор киностудии «Новая Албания» В. Ажика.

В дни празднования юбилея в Албании состоялся VII национальный кинофестиваль, на котором было показано 12 полнометражных художественных кинолент, снятых киностудией «Новая Албания», а также телевидением НСРА. Главный приз фестиваля присужден кинокартине «В окружении свиты» режиссера С. Кумбаро. Президиум Народного собрания НСРА наградил киностудию «Новая Албания» орденом Знамени.

Великобритания

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «УИТБРЕД»

Литературной сенсацией минувшего года стало для Великобритании присуждение одной из самых авторитетных наград года — премии «Уитбред» — роману писателя японского происхождения.

32-летний британский подданный Кадзуо Исигуро родился в Нагасаки. Его семья перебралась в Англию, когда мальчику было шесть лет, и с тех пор он ни разу не был на родине. Однако действие романа «Художник плывущего мира» (1986), написанного на английском языке, происходит в Японии. В центре повествования — фигура художника Оно, процветавшего в годы фашистской диктатуры и оказавшегося в полной духовной изоляции после поражения в войне. Коллеги, ученики и даже семья отвернулись от человека, который своим искусством способствовал пропаганде японского милитаризма.

Это книга о чести, верности, предательстве и еще — о разлагающем действии американизации на японскую культуру. «Я выбрал местом действия Японию, —

Кадзуо Исигуро.

(Журнал «Ньюсуик»)

сказал в интервью журналу «Ньюсуик» К. Исигуро,— потому что уже не живу в этой стране и могу более раскованно выражать связанные с ней мысли и чувства».

Успех выпал на долю писателя, имя которого за последние годы не раз уже было на устах у литературных критиков, благожелательно встретивших его первый роман «Туманный вид на холмы» и две пьесы.

«Нет сомнения, — пишет обозреватель журнала «Ньюсуик» Эдвард Бер, — что романы Исигуро возвещают о появлении на международной литературной арене нового большого таланта. Этот лауреат премии «Уитбред» уникален: англичанин, который обладает эмоциональностью и тонким стилем, исконно присущими японской литературе. Исигуро обогатил английский роман новой эстетикой, которая может оказать серьезное влияние на современных английских писателей...»

Венгрия

РОМАН-ЛЕКСИКОН Ф. ТЕМЕШИ

Издательство «Магветё» выпустило в свет первый том романа - лексикона, романа-словаря Ференца Темеши «Прах», который сразу же стал популярным у венгерского читателя. «Эту книгу с огромной радостью прочел бы сам Иштван Эркень, так же как, впрочем, и «Книгу воспоминаний» Петера Надаши и «Введение в художественную литературу» Петера Эстерхази»,— считает известный критик Иштван Лазар (журнал «Уй тюкёр»). «Выдающимся произведением обогатил нашу литературу Ференц Темеши»,— пишет другой не менее известный критик Иштван Феньё в статье, озаглавленной «Роман о шести поколениях» (газета «Непсабадшаг»). Но Иштван Феньё сам же и спрашивает: «А роман ли это?»

Книга Ф. Темеши оригинально задумана. Весь ее материал, все ее романное содержание изложено в виде статей, как в энциклопедическом справочнике. В первый том вошли статьи от А до К. Автор рассказывает о жизни вполне узнаваемого города — Сегеда, где сам он и родился (у города в книге другое название). Прием, избранный писателем, дает ему возможность свободно, на первый взгляд произвольно обращаться с событиями, персонажами, со временем (романного времени как такового нет), но из перекрестных ссылок, как это принято в энциклопедиях, вырисовываются взаимосвязи этих событий, времен и персонажей. Из мозаики словарных статей, единодушно отмечают критики, возникает яркое, светлое, красочное панно, радующее как своими отдельными фрагментами, так и гармонией в целом. Роман-лексикон охватывает период в 40 лет, с 1933 по 1973 год. Перед читателем предстает чрезвычайно запутанный, сложный мир человеческого общежития, а на этом фоне — история одной семьи.

Критик Петер Балашша (журнал «Кёнььвилаг»), отмечая недостатки романа, в то же время признает, что Ф. Темеши оригинально, по-своему решает один из важнейших вопросов венгерской эпики, пробиваясь от дробных, малых форм к большому эпическому полотну, собирая обрывки воспоминаний, осмысливая осколки национального и частного опыта, показывая, как отдельные эпизоды складываются в историческое прошлое.

И. Феньё считает, что у Темеши ощущается та же любовь к народу, та же серьезность в постановке проблем, та же иронико-сатирическая интонация, что и в романе крупнейшего венгерского писателя XIX века Йожефа Этвеша «Сельский нотариус».

Многие критики находят, что язык романа-лексикона остроумен, экспрессивен, «весь замешан на народной речи».

ГДР

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шесть исследовательских институтов, двадцать авторов — славистов, германистов и историков — работали над вышедшей недавно в ГДР «Историей русской литературы от истоков до 1917 года».

«Эта книга, — пишет в газете «Нойес Дойчланд» видный литературовед Ирмтрауд Гучке, — рассчитана на широкий круг читателей. Ее особенности — ясный язык, эмоциональность, четкость оценок — вовсе не ориентация на «любительский уровень». «История русской литературы» увлекательна не вопреки, а именно благодаря своей научности».

Необходимо было исследовать не только творчество отдельных писателей, но и целые литературные эпохи. В отличие от изданной в 1965 году «Истории классической русской литературы», рассматривавшей период с 1790 по 1905 год, в новую монографию вошли разделы, посвященные древнерусской литературе и литературе 1905—1917 годов. Этот факт сразу оказал свое воздействие на популяризацию шедевров русской словесности в ГДР: одно лишь издательство «Кипенхойер» запланировало на текущий год выход в свет «Радзивилловской летописи», «Домостроя», мемуаров Екатерины II. Впервые будут опубликованы на немецком языке очерки И. А. Гончарова. Сборник «Принцесса Мымра» представит творчество Алексея Ремизова. Этот список, отмечает «Нойес Дойчланд», легко дополнить, взяв в руки планы таких крупных издательств, как «Реклам», «Ауфбау», «Фольк унд вельт» и других.

«Важное место в двухтомнике, — продолжает И. Гучке, — занимает анализ традиций, русская литература рассматривается как часть

Мюнхенский фотомузей, сообщает западногерманский журнал «Культурхроник», выставил в своей «Галерее в фойе» 30 неизвестных фотографий Бертольта Брехта. Они были сделаны в двадцатые годы аугсбургским фотохудожником Конрадом Реслером.
На снимке: Бертольт Брехт

(Журнал «Культурхроник»)

мировой литературы. Поэтому особое внимание уделено влияниям различных культур на русскую литературную мысль и, в свою очередь, ее влиянию на культуры других стран. Немало страниц при этом рассказывают о русско-немецких литературных связях».

МАРГАРЕТЕ НОЙМАН 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет писательнице Маргарете Нойман. Большой популярностью пользуются в ГДР ее романы «Зеленый салон», «Веберы», книга воспоминаний «Оренбургский дневник». Хорошо известны стихи и рассказы М. Нойман и советскому читателю. Отмечая свойственные рассказам писательницы философичность и психологическую точность образов, литературовед Ирмтрауд Гучке сравнила их с прозой Василия Шукшина.

«Произведения М. Нойман, — пишет Клаус-Дитер Шёневерк в газете «Нойес Дойчланд», — отличает умение видеть особенное в повседневном, раскрывать неповторимые и индивидуальные черты характера, выделяющие людей из толпы и вместе с тем сближающие их».

Две новеллы, выпущенные издательством «Ауфбау» накануне юбилея М. Нойман, знаменуют, по мнению рецензента, новый этап в ее творчестве.

В основу новелл легла биография выдающегося немецкого скульптора Эрнста Барлаха. Первая история рассказывает о его путешествии в Россию в 1906 году и о том влиянии, которое эта поездка оказала на формирование мировоззрения и эстетических взглядов Барлаха. «Скупым, выразительным языком, — пишет К.-Д. Шёневерк, — Маргарета Нойман рисует сложный мир художника, описывает его философские искания, перипетии его судьбы».

Повествуя во второй новелле о преследованиях, которым Барлах подвергся в годы фашизма, писательница поднимает вопрос об ответственности художника перед историей.

Обе новеллы построены на письмах Барлаха и носят, как подчеркивает рецензент, строго документальный характер.

Греция

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

В Греции широко отмечалось 90-летие со дня рождения известного поэта Костаса Кариотакиса (1896—1928), творчество которого оказало заметное влияние на греческих поэтов первых трех десятилетий XX века. В Афинах, Салониках, Янине и других городах состоялись вечера, читательские конференции, выставки, посвященные жизни и творчеству классика.

В сентябре на родине К. Кариотакиса в г. Превезе был проведен научный симпозиум, организованный городским муниципалитетом и филологическим факультетом Янинского университета. В работе симпозиума приняли участие авторитетные греческие и зарубежные филологи-эллинисты.

Участники симпозиума отметили: в творчестве и философских исканиях К. Кариотакиса нашли наиболее полное отражение эстетические и художественные поиски «Союза молодых писателей», созданного в 1914 году в Афинах. Многие выступавшие подчеркивали, что основные мотивы произведений Кариотакиса — мечты о возрождении былого величия Греции, горечь, растерянность, скептицизм, разочарование — в значительной степени были предопределены общественным климатом Греции первых десятилетий XX века, и прежде всего трагическим поражением Греции в греко-турецкой войне 1919—1922 годов. Ряд выступлений на симпозиуме содержал анализ сложного, неоднозначного отношения к возглавлявшейся Кариотакисом «пессимистической школе» поэтического поколения 30-х годов (Й. Сефериса, Я. Рицоса, Н. Вреттакоса, О. Элитиса и других) — поколения, стремившегося преодолеть разочарование и найти для себя пути созидания, выработать новый способ самовыражения, свой максимально трезвый и критический подход к действительности.

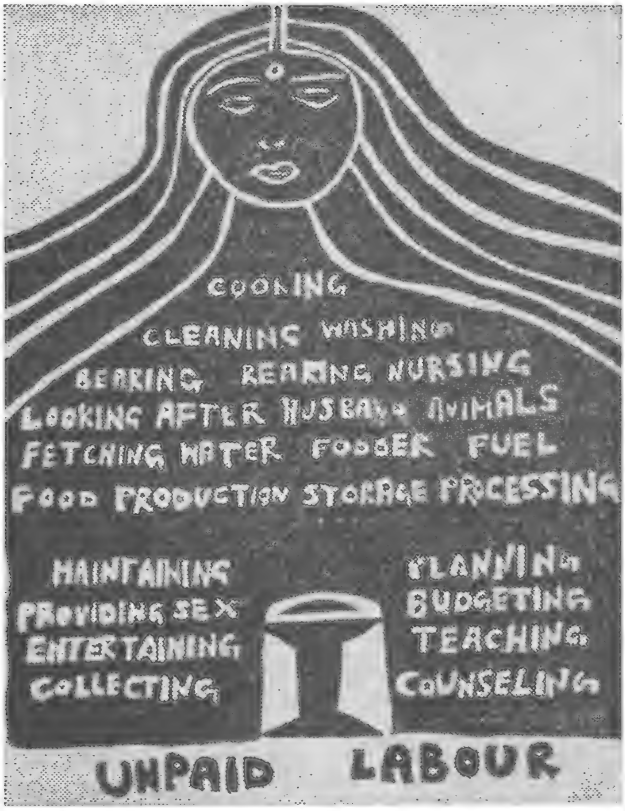
В дни работы симпозиума в Превезе состоялось открытие мемориальной стелы, посвященной Кариотакису. Была показана большая выставка «Кариотакис в документах». Состоялся также поэтический вечер, на котором прозвучали лучшие стихи поэта и его собратьев по перу, а также переводы этих стихов на многие европейские языки.

Индия

«КАЛИ — ЖЕНЩИНАМ»

Так называется первое специализированное индийское издательство, выпускающее книги для женщин. Оно создано в Дели в 1984 году.

«Богиня Кали — олицетворение силы, которая истреб-



Плакат «Неоплачиваемая работа», выпущенный издательством «Кали — женщинам».

(Газета «Хиндустан таймс»)

kali for women

Фирменный знак издательства «Кали — женщинам».

(Газета «Хиндустан таймс»)

ляет невежество, в честь Кали мы и назвали свое издательство, — рассказывает на страницах «Хиндустан таймс» Риту Менон, одна из основательниц и редакторов издательства. — Наша задача — помочь женщинам Индии, женщинам развивающихся стран осознать, что каждая из них — личность и у нее есть свои права, помочь женщинам в реализации их творческих способностей, деловых качеств. Мы хотим, — продолжает Риту Менон, — чтобы голос женщин третьего мира был услышан и в странах третьего мира, и за его пределами».

Издательство выпускает общественно - политическую литературу, связанную с женским движением, с положением женщины в семье, в обществе (вот названия некоторых книг — «Государство, семья и женщина», «Женщина и идеология в современной Индии», «Феминизм и национализм в третьем мире», «Женщина в мусульманском раю»), выпускает и художественную литературу, книги для детей. Привлекая лучшие писательские, журналистские силы, издатели стремятся сделать свою продукцию доступной для самого широкого читателя. Цена книг не высока.

Одна из последних новинок — «Правдивые истории». Это собрание рассказов, переведенных на английский язык с семи главных языков страны. «Правдивые истории», поведанные представительницами литератур хинди, урду, маратхи, бенгали и других, были хорошо встречены читателями и критикой (рецензии в «Санди геральд», «Форум газетт»). Авторы рецензий отмечали яркость дарований, свежесть авторского восприятия, точность в передаче «регионального сознания», местного колорита. «Произведения, тщательно отобранные для этой книги, — пишет один из рецензентов, — отнюдь не «женское рукоделие», — они исполнены подлинной силы и страсти».

«ПОДЛИННО НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ»

Гуджаратский прозаик Панналал Патель (род. в 1912 году), завоевавший популярность романами и рассказами из жизни индийской деревни, в связи с 75-летием был удостоен высшей литературной награды страны — премии издательства «Гьянпитх».

Нелегок был жизненный путь Пателя — уроженца одной из глухих деревушек северного Гуджарата, пишет критик Яшвант Мехта в еженедельнике «Нью эйдж». Еще подростком отправляется он искать счастья в Ахмедабад. Был он и слугой в богатом доме, и рассыльным, и рабочим на текстильной фабрике, но чем бы ни занимался юноша, он всегда оставался страстным любителем книги, исподволь в душе его зрело желание самому попробовать силы в литературе. В Ахмедабаде судьба сводит его с молодым поэтом Умашанкаром Джоши (впоследствии — президентом Литературной академии Индии). По его совету Панналал начинает писать рассказы о простых крестьянах, всю жизнь отдавших земле. Первым, кто по достоинству оценил талант молодого писателя, был классик гуджаратской литературы Джхаверчанд Мегхани: он опубликовал рассказы Пателя в своем журнале, предпослав им свое предисловие, а вскоре вышел в свет и первый сборник рассказов — «Счастье и горе, идущие рядом...».

Особое место в прозе писателя занимает роман-эпопея «Все, чем владеет человек», в котором повествуется о жизни индийской деревни в голодный год. Это произведение было впервые издано в 1947 году и с тех пор неоднократно переиздавалось.

Испания

МОДЕРНИЗМ В КИНОИСКУССТВЕ

Показом фильма Абеля Ганса «Наполеон» открылся в Мадриде подготовленный Национальной фильмотекой тематический цикл «Авангардизм», сообщает газета «Паис». В течение месяца на экране одного из столичных залов было показано около сорока лент, познакомивших зрителя с историей и сегодняшним положением различных модернистских течений в кинематографе.

«Паис» пишет: «Широкий зритель получил возможность увидеть ленты, ему, как правило, малодоступные и поэтому малознакомые, а также получил представление о модернистских течениях. Программа охватывает период с 1904-го («Путешествие через невозможное» Жоржа Мельеса) по 1976 год («Там-там» Адольфо Арриеты), но большинство включенных в нее фильмов создано в 20—30-е годы. Цикл представил искусство разных стран, разные направления модернизма: сюрреализм, футуризм, экспрессионизм. На афишах можно было увидеть имена Рене Клера, Фернана Леже, Мана Рэя, Жана Конто, Жана Эпштейна, В. Пудовкина, Д. Вертова, Г. Козинцева, Л. Кулешова и многие другие. Особо отмечается участие в показе фильмов испанских режиссеров разных поколений: Сегундо де Чомона, Луиса Бюнюэля, Немесио Мартинеса Собревилы, Рамона Гомеса де ла Серны, Хименеса Кабальеро, Пере Портабельи.

Характерной чертой этого направления в кино, подчеркивает газета, является то, что режиссеры многих фильмов — не профессиональные кинематографисты: среди них есть художники, фотографы, писатели, критики, теоретики искусства. Еще одна общая особенность цикла, о которой в интервью газете «Паис» говорит режиссер Мигель Миас, состоит в следующем: «Всем этим фильмам тесны рамки традиционного кино. Это одна из форм протеста против кинобизнеса».

Кинокритик Анхель Фернандес-Сантос рассказывает о влиянии советского искусства на развитие модернизма в кино. В частности, анализируется связь, существующая между эстетическими взглядами Владимира Маяковского, которого газета называет «титаном в искусстве», и теорией и практикой этого течения.

Италия

РОМАН ЭЛЬЗЫ МОРАНТЕ НА ЭКРАНЕ

Известный режиссер Луиджи Коменчини перевел на язык кино одно из наиболее значительных произведений итальянской послевоенной литературы — роман Э. Моранте «История» (1974), снис-

Кадр из фильма Л. Коменчини «История».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

кавший огромный читательский успех и изданный тиражом в полтора миллиона экземпляров.

В центре романа — судьба Иды Манкузо, простой итальянки, пережившей в годы войны гитлеровскую оккупацию, бомбежки, высылку в концлагерь, а после возвращения — голод и нищету. Насилие ворвалось в жизнь Иды в образе немецкого солдата (вскоре у нее родился маленький Узеппе), а шестью годами позже она пережила нелепую гибель старшего сына Нино, вслед за этим — столь же нелепую смерть Узеппе — и лишилась рассудка.

«Роман Эльзы Моранте, с его эпической широтой охвата действительности, множеством героев, детальными описаниями и авторскими отступлениями явно предрасполагает к созданию масштабной кинопостановки, где картины итальянской действительности военных и послевоенных лет были бы воссозданы с той же документальной точностью,— замечает в газете «Паэзе сера» Каллисто Козулич.— Однако Коменчини пошел иным путем, чрезвычайно усилив и развив присутствующее в романе лирическое начало». «Объективны» в фильме только вкрапления кинохроники, добавляет К. Козулич, в основном же зритель видит реальность той поры глазами главных героев — духовно сломленной Иды, не способной разобраться в окружающем ее хаосе, объятой страхом за судьбу сыновей, и малыша Узеппе — тяжело больного, но наделенного неутолимой жаждой жизни, щедро дарящего людям свою любовь и ждущего от них взаимности.

По мнению режиссера, его художественный метод отчасти близок к киноэкспрессионизму. «Но если экспрессионисты искажали реальность, утрируя ее черты, то Коменчини, наоборот, как бы что-то «вычитает» из реальных картин»,— подчеркивает К. Козулич. Так, улицы Рима лишены специфически «римских» примет и неправдоподобно безлюдны; эпизоды прибытия союзников или передвижения массы эвакуированных, предполагающие участие значительного количества людей, решены слишком скупо, словно на театральной сцене. Особенно «разряжен» звуковой ряд, музыки в фильме очень мало.

Критика выделяет игру исполнителей главных ролей — Клаудии Кардинале и маленького Андреа Спады. «Нечасто доводится увидеть в современном кино взгляд ребенка, с такой глубиной и полнотой ощущающего противоречия «взрослого» мира. Разве что в фильмах самого Коменчини»,— пишет в журнале «Синема» Франсуа-Режи Барбри.

«ПИРАНДЕЛЛО — ЧЕЛОВЕК, ПИСАТЕЛЬ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ»

Так называлась большая выставка, проходившая в Милане, пишет газета «Унита». Среди ее экспонатов — рукописи и письма Луиджи Пиранделло (см. «ИЛ», 1986, № 1), наиболее значительные издания его произведений, эссе, написанные им для газеты «Коррьере делла сера», в которой он вел рубрику художественной критики.

Экспонаты раздела «Пиранделло — руководитель труппы» (книги, письма, зарисовки мизансцен, эскизы костюмов, афиши) рассказывают о деятельности «Художественного театра», созданного драматургом в 1925 году и просуществовавшего три года. Впервые в практике итальянского театра, «выросшего» из комедии дель арте с характерной для нее импровизацией и потому по преимуществу актерского, Пиранделло стал создавать в нем новые по духу спектакли, подчинив все их компоненты режиссерской воле. Большое внимание он уделял световому и цветовому решению спектаклей, но главным нововведением Пиранделло - постановщика, напоминает «Унита», явился отказ от сцены-«коробки» с невидимой «четвертой стеной» и вовлечение публики в драматическое действие. Эти особенности были отчасти предопределены уже самим внутренним устройством театра Одескальки, где ставила свои спектакли труппа: не было огней рампы, которые обычно «разделяют» сцену и зрительный зал, зато были соединявшие их лесенки и т. п. Создав 50 постановок (около половины из них — по собственным пьесам), Пиранделло был вынужден распустить труппу в связи с финансовыми трудностями: щедрый на посулы фашистский режим, не дождавшись от Пиранделло желаемой поддержки, вскоре перестал предоставлять субсидии «Художественному театру».

Обозреватель газеты «Унита» Аджео Савьоли особо выделяет тот раздел экспозиции, где представлены реконструкции сценографии спектаклей (в том числе — созданных такими выдающимися итальянскими режиссерами, как Джорджо Стрелер и Луиджи Скуарцина), позволяющие проследить сценическую историю пьес Пиранделло. Так, макеты декораций отражают эволюцию их сценографии от разрисованных театральных «коробок» к воплощениям современных концепций сценического пространства.

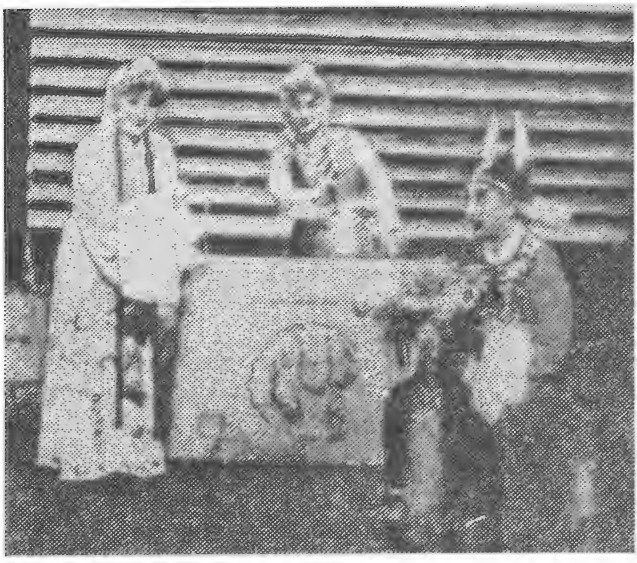
Аудиовизуальный раздел экспозиции знакомит зрителей с кинофрагментами из архива Итальянского радио и телевидения, запечатлевшими лучших актеров страны в пьесах Луиджи Пиранделло.

Выставка стала продолжением программы культурных мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня кончины драматурга.

Китай

«ЗАНОВО ОТКРЫТЫЙ» ТАН СЯНЬЦЗУ

Заметным событием в культурной жизни страны стали торжества в честь классика китайской драматургии Тан Сяньцзу (1550—1616). С его произведениями встретилась широкая аудитория, в Пекине был проведен научный симпозиум, где китайские и зарубежные ученые выступили с докладами, посвященными жизни и творче-



Сцена из спектакля «Ханьдань» Тан Сяньцзу.

(*Газета «Чайна дейли»*)

ству драматурга. Китай, как отметила газета «Чайна дейли», «заново открыл и оценил своего выдающегося соотечественника».

Тан Сяньцзу родился в провинции Цзянси. Благодаря блестящим способностям он быстро взошел на высокие ступени чиновной лестницы, но впоследствии, став жертвой политической игры, подвергся преследованиям и был сослан в провинцию. Позже Тан оставил государственную службу, всецело посвятив себя наукам и искусству.

Тан Сяньцзу добился значительных успехов и на новом поприще — как поэт, прозаик, историк, но наибольшую известность принесли ему пьесы. Именно в пьесах, по общему мнению китайских литературоведов Тан Сяньцзу с наибольшей полнотой и достоверностью воплотил дух народа, дух своего времени.

В годы жизни драматурга, во времена династии Мин, в китайском обществе начали постепенно переосмысляться традиционные идеологические догмы, определявшие отношение человека к миру, к обществу, к себе самому. Писателей и поэтов уже не устраивали литературные стереотипы, внимание их все больше привлекали подлинные мысли и чувства человека. Тан Сяньцзу, пишет обозреватель газеты «Та Кун пао», одним из первых почувствовал назревшую необходимость сближения искусства с жизнью. В пьесах Тана извечный спор добра и зла предстал в формах живой, современной ему действительности,— драматург ставил вопросы, которых раньше никогда не касалось традиционное искусство. Поэтому творчество Тан Сяньцзу, заключает обозреватель, сыграло огромную роль «в борьбе с ортодоксальным конфуцианством, имперским идеологическим контролем, с невежеством, косностью, подавлением личности, в борьбе за свободу человека, за гуманизм».

Польша

В ПОСТАНОВКЕ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ

На экраны ПНР вышел художественный фильм «Хроника любовных событий», снятый Анджеем Вайдой по мотивам одноименного романа Тадеуша Конвицкого. Сценарий фильма написан Конвицким при участии Вайды. Действие происходит в Вильно в 1939 году на грани двух миров — «мира юности, еще не искаженного опытом, и грозной исторической бури, в которую никто не верил, хотя она надвигалась неотвратимо», пишет журнал «Фильм». Почти хроникальная запись любовной истории, разворачивающейся в специфической культурно-этнической атмосфере довоенных польских «кресов», окрашена ностальгическим лиризмом и представляет собой «путешествие без хеппи-энда», драматическую повесть о безвозвратно утраченном времени, об эпохе, запертой на ключ. Фильм Вайды — диалог прошлого и будущего, отмечает рецензент, «странный разговор, полный недомолвок и вопросов, оставшихся без ответов».

По общему мнению критиков, в этой работе Вайда вновь проявил себя как выдающийся мастер экспрессивной детали, виртуозного контрапункта зрительного и звукового ряда. Своим успехом фильм во многом обязан и работе оператора Эдварда Клосинского: критики считают, что таких богатых по колориту и мягких по рисунку съемок не было в фильмах Вайды со времени «Барышень из Вилько» (1979). Высокую оценку получила игра исполнителей главных ролей (в картине снимались пять дебютантов), большой творческой удачей признано участие Т. Конвицкого, выступившего в роли Незнакомца.

В настоящее время, по сообщению французского журнала «Нувель обсерватёр», А. Вайда готовит в краковском театре «Стары» спектакль по роману Достоевского «Бесы» (сценарий Жан-Клода Каррера), где роль Шатова играет Ежи Радзивиллович, знакомый зрителям по фильму «Человек из мрамора». Впервые постановка «Бесов» была осуществлена Вайдой в том же театре в 1971 году. затем последовали инсценировки «Идиота» («Настасья Филипповна», 1977) и «Преступления и наказания» (1985). Повторное обращение режиссера к «самому значительному», по его словам, роману XIX века, обещает стать крупным событием в общественно - культурной жизни ПНР, считают критики.

Кадр из фильма А. Вайды «Хроника любовных событий».

(Журнал «Экран»)

Румыния

КНИГА О СКУЛЬПТОРЕ

В парижском издательстве «Фламмарион», сообщает журнал «Магазин литтерер», вышла монография Понтюса Юльтена, Наталии Думитреску и Александра Истрати «Брынкуш», посвященная Константину Брынкушу (1876—1957), выдающемуся румынскому скульптору. долгие годы жившему в Париже, одному из основоположников абстракционизма в европейском ваянии (советским зрителям его работы знакомы по выставке 1981 года «Москва — Париж»).

«Искусство есть создание еще неведомого», «Связь че-

Константин Брынкуш.

(Журнал «Магазин литтерер»)

К. Брынкуш. Большой петух (из серии «Птица в пространстве»).

(Журнал «Кензен литтерер»)

ловена с вечностью — высшее счастье» — эти афоризмы Брынкуша говорят о весьма требовательном отношении к собственному творчеству, к искусству в целом, подчеркивает в «Магазин литтерер» известный критик Паскаль Бонафу.

Авторы монографии, пишет другой журнал, «Кензен литтерер», рассказывают о жизни и творчестве К. Брынкуша, об огромном влиянии, которое он оказал на развитие скульптуры XX века. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом — фотографиями работ скульптора, его рисунками, портретами. Большим достоинством исследования о Брынкуше, отмечает обозреватель «Кензен литтерер», является то, что авторы составили каталог всех его работ — в гипсе, камне, бронзе, дереве — с подробным комментарием к каждой. Прежде всего выделены значительные в творчестве Брынкуша серии «Портреты», «Птица в пространстве», мемориальный комплекс в г. Тыргу-Жиу (Румыния), а также отдельные работы, ставшие классикой ваяния в нашем столетии,— «Бесконечные колонны», «Скульптура для слепого», «Спящая муза», «Платон».

«Магазин литтерер» столь же высоко оценивает монографию П. Юльтена, Н. Думитреску и А. Истрати о румынском «творце простых форм», считая ее «большой удачей искусствоведов».

США

«ПОЧЕТНЫЕ ПРИХОЖАНЕ»

Газета «Таймс литерари сапплмент» публикует рецензию на спектакль театра «Кэриб» по пьесе известного американского писателя Джеймса Болдуина «Почетные прихожане». Автор рецензии Джеймс Кемпбелл напоминает, что Дж. Болдуин был одним из основателей американского негритянского театра, возникшего лишь в 50-х годах,— раньше, как отмечал Болдуин, «негры не принимали театр, ибо театр не принимал их». Пьеса «Почетные прихожане», в реалистической манере повествующая о жизни негритянской семьи, написана в 1955 году, но актуальна и по сей день.

«Почетные прихожане» — «двухэтажная» драма. На верхнем этаже, в своего рода «домашней» церкви, Маргарет Александер проповедует Евангелие прихожанам, в числе которых и ее несовершеннолетний сын Дэвид. Дэвида считают талантливым и многообещающим церковным пианистом, но его, похоже, не интересуют «божественные материи», пишет Дж. Кемпбелл. Он, как и его отец Льюк, полуниший джазовый музыкант, обитающий в нижнем этаже дома, хочет жить более земными заботами.

«Дьявольское увлечение» Дэвида буги-вуги пугает Маргарет, но и заставляет задуматься о правильности собственного выбора в жизни, о своей вере, продолжает рецензент. Что для нее вера? Твердое убеждение или только прибежище? Дж. Кемпбелл заостряет внимание на том, что внешняя атрибутика религии для прихожан важнее самой ее сути. Героиня пьесы вспоминает, что, когда Льюка выгнали с работы, все «сестры» и «братья» пребывали в состоянии религиозного экстаза и не проявили ни малейшего сочувствия к страдающей «душеискательнице» Маргарет. А еще раньше один из верующих сказал ей: «Ты живешь во имя Бога, потому что ничего другого тебе не остается».

Дж. Кемпбелл прослеживает «родословные» героев пьесы по другим произведениям писателя, по вехам его собственной судьбы. Дж. Болдуин, сын негритянского пастора, в 30-е годы тоже обратился к вере, стал «братом Болдуином» и проповедовал христианское учение в Гарлеме. В 1963 году в эссе «Огонь в следующий раз» он рассказал о том, как брат Болдуин покинул церковь и отправился жить «в мир». А историю Дэвида, только в иной форме, писатель отразил в своем первом романе «Поведай с горы» (1953).

По мнению рецензента, острое перо Болдуина направлено против тех явлений, которые не дают возможности талантливому негритянскому подростку найти свое место в мире.

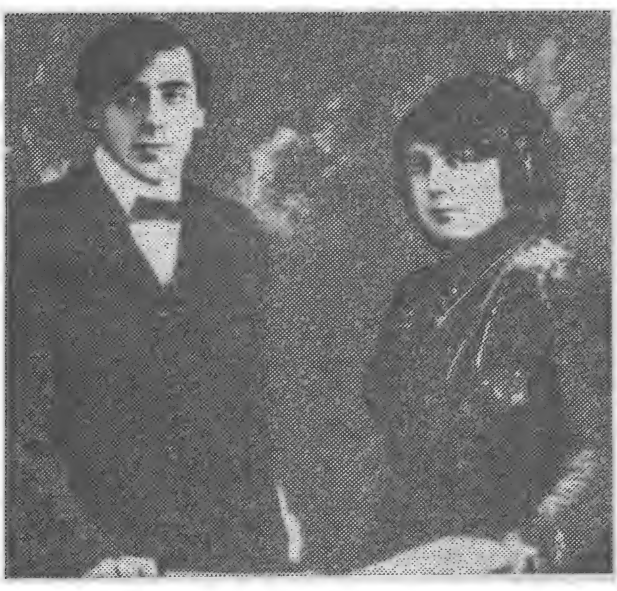
Франция

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ АХМАТОВОЙ И ЦВЕТАЕВОЙ

Почти одновременно в Париже вышли два сборника — «Вечер» А. Ахматовой в

М. Цветаева с мужем С. Эфроном. Редкая фотография.

(Журнал «Кензен литтерер»)



переводе Сильви Текутов (издательство «Ле нуво коммерс») и «Попытка ревности и другие стихотворения» М. Цветаевой в переводе Евы Мальре (издательство «Ла Декуверт»). Подчеркивая неимоверную сложность задачи, которую взяли на себя обе переводчицы, рецензент журнала «Кензен литтерер» Кристиан Муз справедливо замечает, что «русская метрическая система не тождественна французской, механическое копирование здесь невозможно». Чтобы сохранить верность духу оригинала, продолжает К. Муз, перевод должен быть не копией, а подобием оригинала, созданным средствами иной поэтики, и насколько адекватны окажутся эти средства, зависит от культуры и художественного чутья переводчика. Так, Сильви Текутов сочла возможным несколько отойти от точных рифм и метров классически-строгого ахматовского стиха и приблизить его к верлибру, иначе Ахматова звучала бы по-французски чересчур архаично. По мнению рецензента, С. Текутов удалось сохранить «гармоническую страстность» русской поэтессы. Правда, для перевода, сетует критик, выбран ранний сборник Ахматовой, который «дает представление лишь об одном ее измерении», в котором еще нет «нравственной, трагической, философской глубины», свойственной ее позднейшим произведениям.

Марина Цветаева представлена французскому читателю более полно: в сборнике, включающем стихотворения и поэмы разных лет, более двухсот страниц. Это не первый опыт перевода Цветаевой во Франции, еще двадцать лет назад издательство «Галлимар» выпустило книгу ее поэтических произведений в переводах Эльзы Триоле. Однако Ева Мальре, подчеркивает критик, пошла иным путем, чем Триоле, значительно сгладившая неправильность стиха, эмоциональную непредсказуемость цветаевской поэзии. Метод Е. Мальре ближе к тому, который избрала сама Цветаева, переводя на французский язык стихи Пушкина, а суть его — в возможно близкой передаче структуры стиха, — как его формы, так и внутренней напряженности. «Создается впечатление, что Еве Мальре чудом передалось неистовство Цветаевой, в переводе — тот же скачущий ритм, те же переносы, синкопы, контрастные созвучия, то же обилие восклицательных и вопросительных интонаций, что и в подлиннике».

Появление новых книг А. Ахматовой и М. Цветаевой во Франции, отмечает журнал «Кензен литтерер», свидетельствует о значительном интересе французской читающей публики к русской советской поэзии.

ФРГ

ТРИ КНИГИ О НИКАРАГУА

Обзорная статья Петера Мора «Когда народ борется за право на жизнь» в журнале «Культур унд гезельшафт» посвящена трем книгам, объединенным общей темой и вышедшим почти одновременно в различных издательствах ФРГ.

«Никарагуанский дневник» известного драматурга Франца Ксавера Крёца — «книга очень честная, исполненная горячего сочувствия к борющемуся народу, и ее невозможно читать без волнения», — отмечает рецензент. Впечатления от поездки переплетены в ней с размышлениями о литературе, о месте писателя в современном мире. Два месяца, проведенные вдали от родины, создали, по выражению П. Мора, «временную и пространственную дистанцию, необходимую для подведения итогов». Крёц делится с читателями своими сомнениями и разочарованиями, много говорит о кризисе театра (сохранившего, по его мнению, «лишь развлекательную функцию»), о возрастающей роли публицистики. Пытаясь объективно разобраться в никарагуанских событиях, он приходит к однозначному выводу: «Американцы хотят освободить этих людей от свободы и ни от чего более. Они беззастенчиво используют в Манагуа тот же арсенал антикоммунистической пропаганды, что применяется, скажем, в Цвизеле или Траунштайне».

Характеризуя книгу Дитмара Шёнгерра «Никарагуа любовь моя», рецензент подчеркивает ее документальный характер. Шёнгерр, инициатор «Ла Посолера» — международного проекта помощи сандинистам, — завоевал безусловное доверие населения страны. Он с восторгом пишет об энтузиазме и сердечности простого народа, о деятельности ведущих политиков, рассказывает, приводя свидетельства очевидцев, о жестокостях, творимых контрас. Шёнгерр, вложивший в реализацию проекта «Ла Посолера» значительную часть собственных средств, призывает к активной действенной поддержке Никарагуа. «Здесь нужна не просто любовь, а планомерная работа, — восклицает он. — Здесь нужны врачи, плотники, учителя!»

Книгу Клауса-Петера Вольфа «Дни, горящие, как раны» можно отнести к жанру приключенческого романа, продолжает рецензент, однако и в ней преобладают автобиографические детали: так же как и его герой, Вольф некоторое время был членом интернациональной бригады имени Карлоса Фонсеки. Увлекательная фабула, считает П. Мор, не заслоняет главного — стремления показать, что скрытые атаки, которым подвергается Никарагуа со стороны могущественного соседа, наносят не меньший ущерб, чем прямая военная агрессия.

Три книги, хотя они и очень разные, заключает рецензент, помогают понять то, что происходит сейчас в Никарагуа, а их авторы несомненно заслужат признания».

Япония

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В ПАРИЖЕ

В течение четырех месяцев в парижском Центре Помпиду проходила выставка «Японский авангардизм 1910—1970 гг.», представившая наиболее яркие произведения живописи, дизайна и архитектуры Страны Восходящего Солнца. Экспозиция стала центральным мероприятием представительного фестиваля японского искусства, проходившего в столице Франции. Культурная программа фестиваля включала также киноцикл из ста фильмов, озаглавленный «Кино и литература Японии с эпохи Мэйдзи до наших дней». Зрители увидели экранизации известных западному читателю произведений крупных прозаиков Р. Акутагава, Я. Кавабата, Ю. Мисима, Дз. Танидзаки, снятые А. Куросава, К. Мидзогути, Н. Осима и другими прославленными мастерами японского кинематографа.

В библиотеке Центра Помпиду состоялась выставка-продажа японских книг, а издательство «Галлимар» специально к фестивалю выпустило антологии японской поэзии и новеллы. Интерес к японской литературе во Франции очень велик: об этом шла речь на литературном коллоквиуме, в котором приняли участие с японской стороны прозаик Ясуси Иноуэ и поэт Макото Оока, а с французской — писатели Клод Симон и Маргерит Юрсенар.

С концертной программой выступили японские исполнители классической музыки, как национальной, так и европейской. Особый интерес вызвала выставка «Японские истоки в западном изобразительном искусстве», открытая в галерее Остье. Вместе с тем, как пишет обозреватель «Магазин литтерер» Пьер-Морис Обри, «не все экспонаты выставки «Японский авангардизм 1910—1970 гг.» оправдали ожидания публики — японский авангардизм в живописи слишком напоминает западный модернизм».

Мероприятия фестиваля, а также многочисленные статьи в периодической печати дали возможность французской публике ближе познакомиться с японским искусством, литературой, философией и историей.

В следующем номере:

Роман
английского писателя Тома Шарпа
«Дальний умысел»

Роман
Андрея Гуляшки (Болгария)
«Чудак»

Андраш Керести (Венгрия)
«Чэлленджер: видеолента»

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Г. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.05.87. Подписано в печать 13.07.87 А 08572. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч. изд. л. 28.28.

Тираж 455 000 экз. (1-й завод: 1 — 405 000 экз.). Зак. 1990.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Из серии «Британское празление».

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1988 году журнал «Иностранная литература» предполагает опубликовать следующие произведения:

ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ (Чили)
Любовь и тьма (роман)

ГЕНРИХ БЁЛЬ (ФРГ)
Заботливая осада (роман)

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН (ГДР)
Новая благодать (роман)

ЭДГАР ЛИ ДОКТОРОУ (США)
Жизнь поэтов (повесть)

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария)
Юстиция (роман)

РАДЕК ЙОН (ЧССР)
Помни о смерти (роман)

ФРАНЦ КАФКА (Австрия)
Замок (роман)

РОБЕР МЕРЛЬ (Франция)
Заря занимается не для всех
(роман-репортаж)

ОЛДОС ХАКСЛИ (Великобритания)
О дивный новый мир (роман)

ЧЖАН СЯНЬЛЯН (КНР)
Мимоза (роман)

ДЭШИЭЛ ХЭММЕТ (США)
Большие деньги.
106 тысяч вознаграждения (повести)

УМБЕРТО ЭКО (Италия)
Имя Роза (роман)